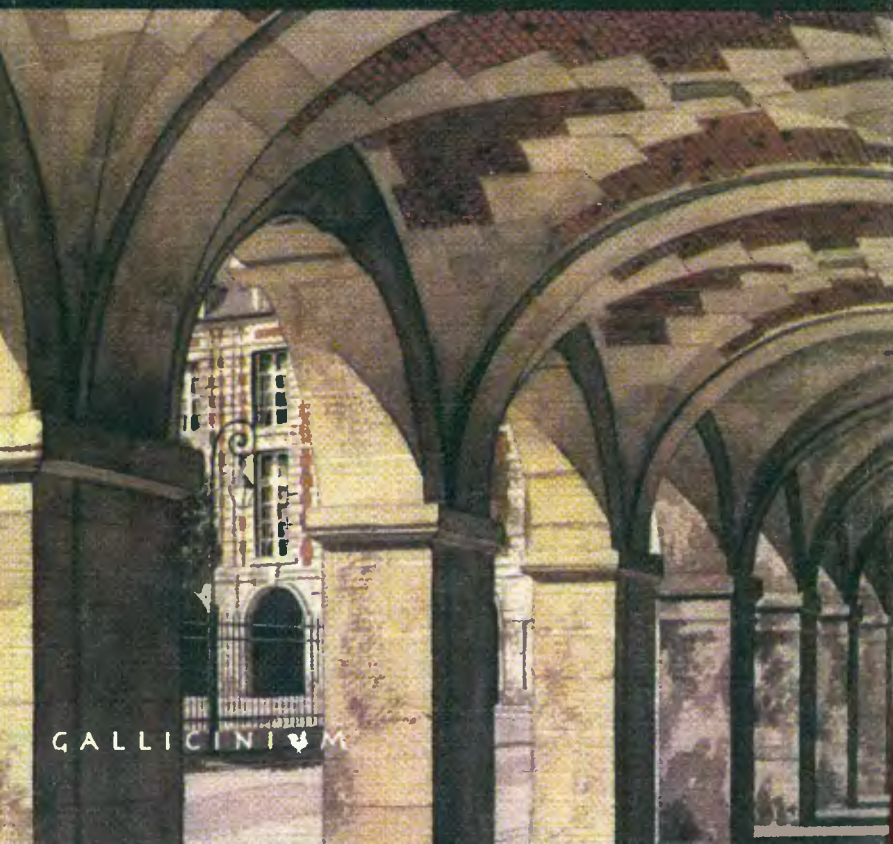


Морис ХАЛЬБВАКС



Социальные классы и морфология



GALLICINI M

GALLICINIUM



Maurice HALBWACHS

Classes sociales et morphologie

Présentation de Victor Karady

*Ouvrage réalisé dans le cadre du programme
d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien
du Ministère français des Affaires Etrangères,
de l'Ambassade de France en Russie.*

Les éditions de Minuit

1972

Морис ХАЛЬБВАКС

Социальные классы и морфология

Перевод с французского
А. Т. Бикбова и Н. А. Шматко

Под общей редакцией
А. Т. Бикбова

Институт экспериментальной социологии, Москва
Издательство «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург

2000

Хальбвакс М.

Х97 Социальные классы и морфология / Пер. с фр.
А. Т. Бикбова, Н. А. Шматко; отв. ред., послесл.
А. Т. Бикбов; составл., биограф. очерк В. Каради. —
М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.:
Алетейя, 2000 г. — 509 с. — (серия «Gallicinium»).

ISBN 5-89329-193-X

*Подготовлено и осуществлено в рамках
программы «Пушкин» при поддержке
Министерства иностранных дел Франции,
посольства Франции в России.*

*Данное издание выпущено в рамках программы
Центрально-Европейского Университета
«Translation Project» при поддержке Центра
по развитию издательской деятельности
(OSI — Budapest) и Института «Открытое общество.
Фонд содействия» (OSIAF — Moscow).*

Впервые на русском языке выходит сборник работ французского исследователя, стоящего, наряду с Э. Дюркгеймом и М. Вебером, у истока современной социологии. В тематических разделах книги отражена разносторонность научных интересов М. Хальбвакса: социальная структура и условия социальных практик; реальность общества, группы и индивида; связь психологии, экономики и статистики с социологией; функционирование коллективных форм чувствования, восприятия и мышления; история и логика формирования городского пространства; причины демографических изменений; соотношение реального и воображаемого в социологическом объяснении.

Особую важность публикация имеет для прояснения рабочего контекста современной социологии и социальной истории. Для специалистов: социологов, философов, этнологов, историков, аспирантов и студентов, а также широкого круга интеллектуалов.

ISBN 5-89329-193-X



9 785893 291933

© Les éditions de Minuit, 1972 г.

© Институт экспериментальной социологии, 2000 г.

© Издательство «Алетейя», 2000 г.

© А. Т. Бикбов, Н. А. Шматко, перевод, 2000 г.

© А. Т. Бикбов, послесловие, 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 КЛАССЫ, ПОТРЕБНОСТИ И СТИЛИ ЖИЗНИ

- 9 Потребности и устремления
в социальной экономике
- 26 Замечания к социологической постановке
проблемы классов
- 47 Материя и общество
- 89 Характеристики средних классов

Глава 2 КОЛЛЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

- 111 Коллективная психология по Шарлю Блонделю
- 130 Коллективная психология рассудочной
деятельности
- 155 Индивидуальное сознание
и коллективный разум
- 169 Выражение эмоций и общество

Глава 3 СОЦИАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ

- 183 Земельная политика муниципалитетов
- 209 Планы расширения
и благоустройства Парижа до XIX века
- 238 Религиозная морфология
- 245 Браки во Франции во время и после войны

Глава 4 ТЕОРИЯ И МЕТОД

- 291 Статистический эксперимент и вероятность
- 331 Закон в социологии
- 356 Статистика в социологии
- 378 Методология Франсуа Симьяна.
Рационалистический эмпиризм
- 425 Точка зрения социолога

Приложения

- 447 Каради В. Морис Хальбвакс:
биографический очерк
- 463 Бикбов А. Т. Метод и актуальность работ
Мориса Хальбвакса
- 506 Литература

Глава 1

классы, потребности и стили жизни

Потребности и устремления в социальной экономике (1905)*

Видные немецкие экономисты Вагнер и Шмоллер сознательно сопроводили свои большие работы психологическим вступлением: они и не стремились скрыть, что исходили из весьма абстрактной и конструктивной концепции человеческих устремлений (Шмоллер) и из комплексных данных социологии и истории, касающихся этих устремлений (Вагнер). Проанализировав здесь только недавно вышедшую работу Шмоллера¹, получим ли мы социальную и экономическую психологию, избавленную от *априорных* принципов и четко сознающую свой объект исследования?

Современная психология, утверждает Шмоллер, показывает, что чувства суть изменение в равновесии нервных клеток, а нервная система — это, главным образом, инструмент реагирования и воспроизведения. Люди могут испытывать сходные чувства, но они склонны к ним в той мере, в какой они подражают друг другу. Уже по своей природе, в силу схожести организмов, они

* Опубликовано в: *Revue philosophique*. № 59. Paris.

¹ *Schmoller*. *Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre*. Leipzig: Duncker u. Humblot. 1^{re} partie, 1900; 2^e partie, 1904.

часто чувствуют одинаково: это-то и является источником любого общества. В действительности чувства суть главный предмет рефлексии и общения, поскольку каждому свойственно стремление к счастью. Но счастье — труднодостижимое равновесие, оно требует обучения и опыта: следует непрерывно перестраиваться, человек должен уметь замечать, что в новых условиях ему плохо, если он упрямо продолжает реагировать по-старому. Нужно учиться регулировать и видоизменять столь сложную нервную организацию, каковой мы являемся, а другие должны помогать нам в этом своими знаниями и советами. Эволюция чувств — истинно социальный феномен. Психологическая история развития чувств, какой ее представляет Горвиц (Hogwicz), могла бы стать основой политической экономии. Излагать ее следовало бы, прежде всего, убедившись, что имеется лестница чувств, на которой они располагаются в зависимости от сложности: чем больше связей они включают, тем выше их положение на ней; и самые высокие проникают в низшие, преобразуя их: радость от чувства сытости сливается с радостью от пребывания в кругу семьи или светских раутов и принимает эстетический облик. Любовь к теплу и надежному убежищу — весьма сильное чувство у первобытного человека — становится вкусом к житейскому порядку и комфорту. С этой точки зрения следовало бы рассмотреть поочередно все потребности и, главным образом, устремления².

² Ключевой термин «aspense», который используется автором и в более поздних работах, переведен на русский как «устремление» или «стремление» (последнее — дань привычному словоупотреблению в некоторых сочетаниях). Затруднение в точной передаче его на русский состоит в том, что, будучи центральным в данном тексте, он тем не менее не обладает понятийной строгостью, принимая наиболее общее значение направленного (социально преформированного) импульса, не всегда сознаваемого намерения, склонности или спонтанного психического акта. Таким образом, имея генетическое сходство с «жизненным порывом» Бергсона, «устремление» в контексте социального анализа приближается, с одной стороны, к «влечению» в классическом психоанализе Фрейда, а с другой, к «интересу» в утилитаристской теории Бентама. — *Прим. перев.*

Потребность, говорит в свойственном ему стиле Шмоллер, «это всякая необходимость усилить радость, изгнать огорчение за счет контакта с внешним миром; с известной полнотой и постоянством эта необходимость становится результатом нашей духовной и телесной жизни».

Попытка Сакса и Вагнера подразделить потребности на категории, чтобы обосновать деятельность государства и сообщества, является малоубедительной. Зачем наклеивать ярлык «коллективная потребность» на армию или железную дорогу? С научной точки зрения предпочтительнее показать, каким образом данные потребности ощущаются сначала на индивидуальном уровне, затем порождают общественное течение, и как, наконец, государственные органы берут на себя решенные проблемы. С другой стороны, попытки Бенета, Джевонса и некоторых других применить механико-математический метод измерения чувств путем подсчета максимума радости и минимума не-радости вылились, главным образом, в повторение общих мест и ценны лишь потому, что опираются на эмпирические основания. Исторический метод лучше всего подходит, чтобы изучить развитие потребностей.

Многие полагают, что потребности рождаются под влиянием внешних событий. Но более внимательное изучение истории их становления показывает, что новые потребности суть продукты внутреннего развития: интеллектуального, морального, а также эстетического. Дело в том, что внешние события, открытия и т. п. — очевидный источник человеческих потребностей — сами являются результатом психологического развития. Именно так создавался мир общепринятых представлений, в котором разворачивается современная жизнь: все сложности и тонкости видимого порядка нашего существования отвечают прежде всего рациональной потребности любой ценой сохранить достигнутый уровень жизни и по возможности повысить его. Они стали как бы «тормозным устройством», необходимым для того,

чтобы не допустить возврата к временам варварства. Так, церемониал застолья, определенная изысканность кухни тесно связаны с интенсивной и блестящей духовной жизнью. Однако история показывает также, что не всякое умножение потребностей является благом. Уже достигнутое психологическое состояние может рассматриваться как идеал, а всякое нововведение, осуществляемое пусть даже в направлении прогресса, может заслуживать жестокого подавления. Доказательством тому служат беды, которые навлекло на дикие племена преждевременное пробуждение у них потребностей цивилизованных народов. Законы против роскоши, призывы к моральному аскетизму на определенном этапе цивилизации могли обосновываться таким образом. Класс или народ, чьи потребности возрастают, сталкивается с настоящим испытанием, результаты которого проявляются иногда не сразу — может случиться так, что первые шаги увеличивают активность и силу группы, следующие же ее парализуют. В действительности, требуется крепкое «моральное здоровье», чтобы осуществить определенные шаги в направлении собственного развития.

Потребности проявляются в виде *устремлений*, то есть импульсов к одному или нескольким действиям. Точно так же, как нервная система и мозг, устремления вначале не имеют той же формы, какую они приобретают позднее. Устремления суть результат исторического становления. Смутное стремление насытиться у первобытных людей отделяет от ясных и осознанных требований гурмана огромный период развития человечества, весь его опыт. Импульс и действие разделяются, между ними оказывается целый ряд утилитарных и даже моральных представлений. «Инстинкты приобретения индейца-дикаря, крестьянина, ученого, спекулянта различаются в количественном и качественном отношении, как сексуальный инстинкт островитянина южных морей и благовоспитанной английской леди»¹.

¹ Op. cit. P. 22–26.

Предшествующая умозрительная социология пыталась свести всю социальную жизнь к единственному устремлению, своего рода дедуктивному принципу, который охватывал бы реальность — всю реальность без исключений. В этой роли поочередно выступали: аристотелевское представление о человеке как о «политическом животном», инстинкт приобретения (в теориях экономистов), стремление к браку или к преступлениям (статистический подход). Но в действительности определяющие социальную жизнь устремления многочисленны и взаимоограничивающи⁴.

Стремление к самосохранению и сексуальный инстинкт, которые в их первоначальном виде были примитивными силами, не имеющими общественного характера, ибо ассоциировались только с индивидуальным удовлетворением потребностей, получили свое дальнейшее развитие и позднее сблизились с более высокими формами социальных потребностей. Можно было бы составить богатую классификацию потребностей, дифференцируя их либо в зависимости от различия их естественных целей, либо — и это главное — в зависимости от средств их удовлетворения. Так, можно было бы объединить обман, воровство, насилие, убийства. Охота и рыболовство, уединенная жизнь пастуха, возделывание земли, сбор урожая, войны и грабежи, а позднее торговля во всем множестве ее форм должны были изменить у разных племен внешние проявления стремления к самосохранению. Впрочем, само понятие самосохранения индивида постепенно меняло свой смысл: забота человека о себе распространялась на семью, детей. Одновременно и сексуальный инстинкт, вначале сильный и эгоистический, с появлением брака в более его сложных формах, становится постепенно инстинктом социальным, даже альтруистическим, сопровождаемым идеей самопожертвования, добровольным принятием новых обязанностей⁵.

⁴ Op. cit. P. 26–27.

⁵ Op. cit. I. P. 27–28.

Существует *устремление к действию ради действия*, которое, обретая общественный характер, испытывает влияние социальной среды. Человек ощущает силу или различные силы, накопленные в его первой системе, и обретает потребность расходовать их. Изменения выражения лица, мимика, примитивный язык выражают это устремление стихийно. Но имеются и упорядоченные способы его удовлетворения, в которых проявляется уже его общественный характер. В этом случае человек испытывает радость от осознания успешности затраченных усилий, от приведения их в соответствие с целями. При этом сама цель и идея цели возникают у индивида раньше, чем он научается их формулировать. Играм, которые являются первым испытанием силы и ловкости, ребенка чаще всего учит его окружение. Точно так же и возможные виды деятельности намечаются в зависимости от потребностей и обычаев группы — таковы различные ремесла. Приятно выполнять некую работу даже независимо от ее полезности — просто потому, что при этом реализуются физические или иные силы человека, достигающего цели. Это — способ осознать себя. Но в зависимости от вида профессиональной деятельности чувство радости приобретает различные оттенки: рассуждая абстрактно, можно утверждать, что работа кузнеца и работа проповедника приносят одинаковую радость, но это две разных радости, если мы обратимся, прежде всего, к кругу сознания, в котором они реализуются. Во всяком случае, радость, доставляемая успешно выполненным действием, менее примитивна, чем просто радость от самосохранения — на фоне последней она выглядит уже роскошью⁶.

Еще менее примитивным является встречающееся уже на начальных этапах истории *стремление выделиться среди окружающих*, соперничество. Оно действительно предстает в качестве побудительного мотива и носит при этом исключительно социальный характер.

⁶ Op. cit. I. P. 28–29.

Впрочем, данное стремление является жизненно важным, ведь никто не может похвастаться, будто живет без одобрения некоторого окружения. Недавно появившееся объяснение происхождения одежды соответствует научному представлению, согласно которому одежда берет начало от украшения, а украшение, в свою очередь — от желания посредством перьев, цвета, татуировок, колец, поясов получить признание в качестве члена группы, занимающей высокое положение в обществе. Под влиянием этого стремления и в зависимости от обстоятельств люди то при помощи достижения полного соответствия своего внешнего вида и характера действий характеру действий и внешнему виду других людей пытаются заставить рассматривать себя как имеющих то же социальное положение (ведь правила светской вежливости основаны на заблуждении, будто бы люди, собравшиеся в одном салоне, равны и признают это), то принимают все усилия, чтобы не походить на других, казаться богаче или могущественнее, выглядеть существом высшей породы. В маленьких городах, где все друг друга знают и постоянно друг за другом наблюдают, требования морали гораздо строже, возможно, как раз по этой самой причине. Даже воры образуют круг, обладающий собственным кодексом чести, на основании которого одни пользуются большим уважением, чем другие, что вызывает не менее острое соперничество, чем в прочих кругах⁷.

Некоторое время весьма распространенной была догма о том, что *инстинкт приобретения*, взятый в качестве простой, одинаковой у всех силы, может считаться в социальной науке психологической данностью. Исследователи стремились исправить недостатки слишком уж упрощенного характера этой концепции, в результате чего одни (Рошер, Крис) превратили инстинкт приобретения в интерес (включая интерес к другому), источник личных радостей. Другие же (Джон Стюарт Милль),

⁷ Op. cit. I. P. 29–31.

признавая, что социальная жизнь меняется под воздействием иных свойств человеческого характера, сохранили стремление к обогащению в качестве гипотетического научного принципа. Но нужно идти еще дальше: не заботясь о дедуктивном характере науки, нужно учитывать разные устремления и, главное, различные аспекты каждого устремления и даже вводить в социальное исследование понятия, описывающие индивидуальное.

Исследования примитивных народов позволяют сделать вывод, что стремление к накоплению материальных благ, безусловно, не являлось самым древним побудительным мотивом действий. Конечно, радость, которую дикарь испытывал при виде украшений, красивого оружия вызвала у него желание сохранить их, оставить для себя. Но эти вещи были желанными ради получения удовольствия и, выражаясь экономическим языком, для непосредственного потребления. Достижение удовольствия оказывается главным, получение же самого предмета — второстепенным. Гораздо чаще, чем стремление к приобретению, в человеке берет верх удовольствие от траты — обратная сторона инстинкта приобретения, — а также лень, препятствующая достижению поставленных целей. Когда имеется все необходимое, нет желания приобретать что-то сверх того. И если уж люди работают, то в силу привычки или по необходимости; женщины, рабы, старики также работают — из сочувствия или страха. Интерес к труду проявляется прежде всего и главным образом в желании иметь лучшую и большую долю пищи и питья, более красивые украшения, почетное место на празднествах. Изменения здесь происходят позднее, когда увеличивается количество жен, рабов, скота, а особенно, когда устанавливается контакт с более развитыми цивилизациями. На протяжении нескольких столетий после знакомства германцев с южно-европейской культурой их поэзия пополнялась сокровищами «Нибелунгов». И только в этот период одновременно появляется поня-

ние богатства и четко осознаваемое стремление к его достижению. Народы и племена, у которых инстинкт приобретения не стал школой труда, постепенно исчезали.

Этот инстинкт, в современной его форме, не удается с легкостью заключить в некое типичное понятие. У представителей различных профессий и социальных классов, у отдельных личностей инстинкт приобретения проявляется в самых разнообразных устремлениях. У офицеров, священников, государственных служащих он менее развит (хотя следует признать наличие множества случаев обратного свойства). Ремесленники, мало-земельные крестьяне приобретают этот инстинкт медленно: простым труженикам, представителям низших классов он присущ в слабой форме, на что есть свои причины. Данные замечания не являются действительной классификацией, так как даже в границах одного класса, в зависимости от вторичных групп, уровня образования и (конечно, лишь отчасти) моментов органического и генетического характера, один и тот же инстинкт меняет свой оттенок. Говоря языком сторонника ассоциативной психологии, он может быть связан с сильными позывами чувственности или с любовью к семье, но также с честолюбием, расточительностью, жадностью, энергией, ленью или хитростью. Экономисты редко предпринимали попытки изучить психологию капиталиста, хотя между бессовестным ростовщиком и серьезным предпринимателем, всячески избегающим незаконной прибыли, можно насчитать бесконечное количество промежуточных типов.

Несомненно, понятие инстинкта приобретения является сложным, чем объясняются сомнения в правильности моральных оценок, когда речь заходит о стремлении к обогащению. Безусловно, неправы социалисты, однозначно его осуждающие. Да, история дала нам примеры того, как у некоторых народов, например, у мадегасов, на основе стремления к накоплению развилась не бурная экономическая деятельность, а жадность.

Но у многих наций, стоящих на более высокой ступени промышленного развития, мы встречаем примеры высоких моральных качеств и коммерческой чести. Следует сожалеть о победе тех, кто руководствуется одним лишь этим инстинктом, однако, возможно, они лучше служат общим интересам, нежели предприниматели, обладающие возвышенной душой, но лишённые ловкости и опыта.

Можно ли считать, что отношения человеческой природы с экономикой исчерпываются только потребностями в самосохранении, действии, признании, приобретении? У цивилизованных народов имеется настоящее *стремление трудиться*, которое нельзя смешивать со склонностью к действию ради действия; оно одновременно относится к области эстетики и морали. К эстетике — поскольку всякий труд есть ритм (*Arbeit und Rhythmus*), организация деятельности согласно определённому закону, и сама эта организация становится потребностью, особенно в условиях разделения труда. Но это стремление относится также и к области морали, ибо труд подразумевает усилия и принуждение. В данном аспекте он представляет собой объект устремления, так как лучше всего организует тренированные части тела, укрепляет их, придает им одновременно большую независимость и возбудимость. Трудящийся человек (особенно если он из трудовой семьи) более ловок, быстр, решителен. Труд обогащает: каждый вид механического труда включает элементы духовности, а любой духовный труд имеет механическую сторону. Если понимать труд лишь по аналогии с перемещением рычагов или движением зубчатых колес в станке, то при этом стремление к духовному обогащению игнорируется, а ведь именно оно является, по мнению Шмоллера, экономической добродетелью, более предпочтительной, чем инстинкт приобретения.

Нельзя упрекать Шмоллера в том, что в историко-психологическом анализе социальных чувств он временами забывал о политической экономии. Вряд ли воз-

можно опровергнуть ту мысль, что богатство является неодоушевленной вещью, которая, в некотором смысле, несет в себе абстрактные законы своего развития. Погрузив социальную экономику в социологию и историю, Шмоллер высвечивает многообразие устремлений, определяющих наши экономические поступки, подчеркивающих их сложность, а зачастую и их индивидуальность.

Отметим, что не следует обманываться насчет истинных постулатов абстрактной политической экономии из-за простоты ее построения. Из этих постулатов вовсе не следует, что всякий агент производства или потребления руководствуется лишь одним-единственным мотивом, к примеру, поисками личной выгоды. Они не опровергают того, что индивидуальный характер и условия среды иногда противостоят действию данного мотива: есть люди жадные, а есть расточительные. Но эти принципы подразумевают, что, хотя индивидуальная психология и должна упоминать о названных случаях и исследовать их, сама природа социальной науки располагает к тому, чтобы не принимать их во внимание: общество включает огромное, теоретически неограниченное число индивидов; и каждый частный случай представляет собой очень малое отклонение, более того, бесконечно малое. Чем больше рассматриваемое количество индивидов, тем более эти индивидуальные различия компенсируют друг друга, и в целом закон, согласно которому поиск выгоды является преобладающим мотивом, остается справедливым (подобным образом, при вычислении дифференциалов можно пренебречь ничтожно малыми значениями, и на результат это не повлияет). А это значит, что мы опираемся на два одинаково неясных положения. Прежде всего, что личная выгода — это модель, выступающая для большинства людей основой. Но что означает для них поиск выгоды? Если это действие под влиянием индивидуального позыва, исключительно ради нужных предметов, то указанное выше предположение является неточным:

оно не учитывает важность влияния общества, привычек, правов, установившихся правил. С другой стороны, если мы ищем более тонкое решение и проводим мысль о том, что поиск выгоды происходит под влиянием общественных обстоятельств, что он приспосабливается к общественным правилам и привычкам, то в данном случае мы бессознательно придаем большое значение влиянию поступков, совершаемых вне озабоченности личным интересом. Ведь речь идет о тех поступках, которыми подражают и к которым более всего применимо обозначение социальных правил. Допустим, однако, что поиск выгоды при любом определении является доминирующим мотивом. Следует ли из этого, что в данном случае можно беспрепятственно применять закон больших чисел?

Говорят, что индивидуальные различия в массе своей взаимно компенсируются, однако это лишь абстрактная формула. Масса в экономике разлагается прежде всего на группы, каждую из которых подлежит исследовать. Группы различаются по численности: существуют капиталисты и рабочие, но существуют и различные категории капиталистов. Когда целый ряд экономических явлений объясняется действиями небольшой группы промышленников, объединенных в тресты или картели хозяев рынка, к индивидуальным различиям в данной группе закон больших чисел не может быть применен. С другой стороны, если экономическое явление объясняется действиями значительной социальной группы (например, забастовками в тяжелой промышленности, спросом на товары первой необходимости, государственным займом), то все различия не являются равнозначными и им всем нельзя приклеивать ярлык «индивидуальный». Индивидуальные различия существуют, но они объясняются характером, последовательностью. Существуют и социальные различия, и они не сводят друг друга на нет. Впрочем, даже если бы это и было так, экономист все равно должен был их выявить: средняя цена продовольственных изделий в стране за такой-то пери-

од почти ничего нам не говорит, поэтому желательно знать цены в различных фазах этого периода, в различных частях страны (месяц за месяцем в каждой области). Все эти отдельные данные не будут совпадать со средними, так как различные социальные силы в разное время воздействовали на разные группы индивидов. И под влиянием этих сил в сознании людей мотивы образовали совсем иную иерархию — они-то и являются действительно предметом научного исследования. Социальная наука должна исходить из следующего принципа: общество строится из элементарных групп, а не из индивидов: именно группы следует брать за точку отсчета, и если можно иногда абстрагироваться от собственно индивидуальных мотивов (что в ряде случаев представляется сомнительным), то с точки зрения любой методики не учитывать конкретные устремления групп невозможно.

Итак, дело не только в том, что стремлению к обогащению, погоням выгоды отводится решающая роль. Представления экономистов, придерживающихся классического направления, кажутся нам уязвимыми главным образом потому, что эти исследователи не рассматривали *социальные* влияния и чувства, которые ограничивают индивидуальные устремления. Когда Шмоллер опровергает их концепции, он делает это с нескольких позиций. Индивидам, по определению преследующим только личную выгоду, он, как историк, противопоставляет индивидов реальных, во всем разнообразии их устремлений. Однако здесь речь идет все же об *индивидах*, об *индивидуальной деятельности*, и в этом его позиция уязвима.

Не случайно историки и все те, кто применяет исторический метод для разработки социальных проблем, делают акцент на преемственности развития, влиянии прошлого на настоящее. Историк занимается, главным образом, индивидами, через которых передаются традиции и привычки. Но в некоторых общественных науках, в частности, в науке экономической существует и должна быть совершенно иная точка зрения. Безусловно,

имеется техническая преемственность между орудиями труда времен каменного века и современными станками; справедливо и то, что усовершенствованный кредитный механизм предполагает простое денежное обращение, подобно тому как абстрактное подразумевает конкретное. Также справедливо, что более сложные средства получения удовольствия не вытесняют прежние, как верно и то, что посредством передачи собственности в форме наследования и приданого классы стремятся к своему воспроизводству.

Тем не менее экономическая жизнь, как нам видится, отличается значительной автономией одновременно по отношению к другим общественным сферам и к своему собственному прошлому в силу того, что в ней принимают деятельное участие огромные массы людей, а также благодаря скорости протекающих в ней изменений. Вот почему именно в этой области резкие, радикальные сдвиги наиболее возможны, и они легче воспринимаются; экономические институты в большей степени, нежели какие-либо другие, несут на себе печать своего времени. Если бы экономическая жизнь могла носить организованный характер и если бы экономическое развитие находилось во власти одних только индивидов, то весьма вероятно, что они стремились бы замедлить его ритм. Однако, напротив, именно экономическая жизнь вынуждает людей резко менять свои представления и образ действий; и она может это осуществлять только посредством групп, поддерживающих это развитие, благодаря влиянию группы на своих членов, то есть принимая форму *социальной жизни* и *социальной эволюции*. Поэтому было бы грубой ошибкой пытаться объяснить совокупность экономических фактов с позиций «индивидов», даже если допустить, что индивиды эти очень умыны, и предположить, что они очень быстро начинают подражать друг другу. В экономической науке следует различать деятельность индивидуального и социального характера: их природа различна так же, как и законы, которым они подчиняются.

В эконопической психологии мы особенно рискуем неправильно использовать факты из-за недостаточно отчетливого различения состояний индивидуального сознания и состояний сознания коллективного. Нам кажется, что анализ Шмоллера часто грешит подобным смещением. Когда речь идет об индивидуальном сознании, вполне естественно объяснять имеющуюся форму чувства его развитием со дня появления на свет, а также сравнивать это развитие с обогащением, поскольку чаще всего чувство изменялось под влиянием все возрастающего количества воспоминаний: формы идентификации и преемственности, свойственные индивидуальному сознанию, до определенной степени оправдывают подобные построения. Но нельзя аналогичным образом объяснять имеющуюся форму социального чувства, поскольку мы не знаем, является ли общественное сознание идентичным самому себе и непрерывным, или же оно развивается. Но более всего неверно интерпретировать социальное чувство как преобразование, проявление, расширение чувства, которое вначале было индивидуальным, поскольку невозможно доказать, что общественное сознание и его производные являются суммой и результатом развития индивидуальных сознаний и их производных. Например, Шмоллер видит в любви к семье более развитую, усложненную форму инстинкта самосохранения и сексуального инстинкта одновременно. Что касается инстинкта самосохранения, то, несомненно, было бы произвольной гипотезой утверждать, что он изначален, а любовь к семье — его производная, ведь можно предположить, что вначале индивид осознает себя прежде всего как член группы: он не представляет себе жизни вне этой группы, следовательно, семейные чувства являются первичными, а индивидуальное чувство самосохранения производно от них. В «Самоубийстве» Э. Дюркгейм установил, помимо прочих закономерностей, что «число самоубийств меняется в обратной зависимости от степени интеграции семейной общности». То есть все происходит так, как если бы

индивидуальное чувство самосохранения усиливалось и в определенных случаях словно бы поддерживалось семейными узами. На самом же деле между этими двумя чувствами отсутствует причинная связь, потому что и их объекты, и сфера их проявления различны во всех отношениях. Что касается сексуального инстинкта, безусловно, нужно быть крайним детерминистом, чтобы видеть в нем причину или даже одну из причин семейного чувства в том виде, в каком оно существует у современных цивилизованных народов.

Кроме того, в желании выделиться среди окружающих Шмоллер видит один из самых важных социальных мотивов экономической деятельности. Здесь нужно внести ясность. Там, где речь идет о стремлении единичного индивида выделиться, при желании можно искать связь между примитивными и развитыми формами этого чувства, — но тогда мы не выйдем за рамки индивидуальной психологии. В самом деле, неважно, что данное чувство стало более разумным под влиянием жизни в группе, что оно регулируется объектами уважения или восхищения группы, и что эти объекты с каждым днем становятся все более упорядоченными (поглаух) — до тех пор, пока оно побуждает *самого* индивида выделяться среди других, мы не можем утверждать, что сущность этого чувства изменилась и что причину его следует искать не в природе индивида, а где-то еще. Но имеется еще и социальное соперничество, желание выделиться, которое относится к группе в целом. А это уже иной феномен, отличающийся от предыдущего по своей *природе* и, кстати, часто вступающий в противоречие с первым. В качестве одного из оснований в пользу разделения данных явлений отметим следующее: обычно желание выделиться для индивида самодостаточно, оно представляет собой самоцель. Тогда как для группы желание выделиться, соревнование, соперничество по отношению к другим группам — чаще всего лишь средство: все делается ради того, чтобы все члены группы проявляли максимальную активность, так как целью является дее-

способность группы. Таким же образом можно было бы показать, что общими для стремления индивида к приобретению для себя и стремления индивида (как члена группы) к приобретению для группы, для желания действовать в целях нервной разрядки и осуществления полезной деятельности в группе являются только названия, и что, например, склонность к труду, развившаяся у рабочего за несколько поколений (если предположить, что это так), не является сама по себе социальным чувством.

По сути, Шмоллер не различает социальные и индивидуальные настроения. Обманчивое с виду выражение «круг сознания» следует понимать как консенсус индивидов, индивидуальных разумов (создаваемый, конечно, через подражание), а не как некую новую *природу*. Таким образом, историческое объяснение сводится в какой-то мере к объяснению через *средние величины*: поскольку бесконечное количество индивидуальных действий и влияний имеет предел, выбирают наиболее распространенные для каждого периода и присваивают им название социальных. С другой стороны, их смену объясняют эволюцией настроений, что избавляет от необходимости более точного исследования: ведь подобно тому как в индивидуальной психологии можно лучше всего выявить причинную связь между двумя состояниями, испытав их поочередно, точно так же считается, что и последовательность социальных чувств можно лучше понять, мысленно представив их одно за другим. Или же, подобно тому как в индивидуальной психологии объясняют возникновение некоторых состояний, проявлений воли, воспоминаний и т. д. их целенаправленностью, социальные психологи полагают, что можно объяснить последовательный ряд чувств, переведя его в разряд целей действия. Нельзя сказать, что Шмоллер сумел избежать этих двух методологических ошибок, свойственных всем концепциям, в которых не делается различия между социальным и индивидуальным.

Замечания к социологической постановке проблемы классов (1905)*

Одной из наиболее интересных особенностей работ немецких экономистов в последние годы является то внимание, которое они уделяют научной постановке проблемы классов. Что такое социальный класс? По каким критериям различать классы в столь обширной социальной группе, как нация? Какая реальность стоит за этим несколько расплывчатым понятием? По этим вопросам Шмоллер, Бюхер и Зомбарт занимают разные позиции¹, и их критический разбор будет полезен, главным образом, прояснением того, что понимается под экономической социологией.

Даже самой постановкой данных проблем вышеупомянутые экономисты не всегда могут нас удовлетворить. Они, безусловно, знают и дают нам понять, что объектом исследования является в данном случае *коллективное представление*. Шмоллер даже называет его не ина-

* Опубликовано в: *Revue de métaphysique et de morale*. Paris.

¹ *Schmoller*. Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre. Op. cit.; *Bücher*. Die Entstehung der Volkswirtschaft. 1893; *Sombart*. Der moderne Kapitalismus. 1902.

че как «круг сознания». Это заставляет нас различать три аспекта проблемы: 1) Каково *содержание* коллективного представления, какие элементы оно объединяет, как последние организованы? 2) В силу каких обстоятельств коллективное представление обладает большей или меньшей *интенсивностью*, каковы законы ее изменения? 3) Что является его *внешним объектом*, как объяснить реальность, развитие и устойчивость коллективного представления?

Первый аспект является сугубо психологическим. Бюхер привычно стремится выделить для научного анализа отдельные последовательности [элементов], что приводит его к попытке исследования в двух направлениях: к вопросу о том, каким образом некоторые формы производства, сближая работников, помогают им все более осознавать себя в качестве социальной группы (2-й аспект); к выявлению того, каким образом неравное распределение богатства оказывается причиной существования социальных классов (3-й аспект). Эта постановка, конечно, недостаточно полна, к тому же Бюхер недооценивает психологическую сторону вопроса, а если и рассматривает ее, то не отделяет от проблемы генезиса классов.

Шмоллер и Зомбарт озабочены больше проблемами синтеза, чем выявлением различий: в их теориях история и психология переплетаются (у Шмоллера — с рассуждениями биологического характера, а у Зомбарта — диалектического). Вышеупомянутые точки зрения в них не разделены.

К тому же именно исторический, то есть третий из выявленных нами аспектов, более всего привлекал их внимание, и вполне естественно, что во всех, даже противоположных мнениях, была доля истины. На существование класса в его современной форме оказывает влияние не только профессия, как утверждает Шмоллер, или богатство, как считает Бюхер, но также и экономическая функция (в том смысле, в каком ее понимает Зомбарт), а кроме того раса, воспитание, грубая сила.

И уже в силу этого класс не может быть предметом только социологического исследования. Не социологу надлежит выяснять, передаются ли по наследству телесные отметины (*stigmata*) от различных видов труда или способности к некоторым специальностям — это биологические проблемы. Эти вопросы стоило бы уточнить и историку. Вместе с тем образ такого постоянного изменения человеческих тел мог бы стать неотъемлемой частью классового сознания, и именно этот образ как психологическое явление, а не как материальную реальность было бы полезно изучить социологам — при этом, сознательно отказавшись от тех методов, которые используются в биологии. Действуя иначе, мы рискуем либо утверждать о состоянии общественного сознания, которое не существует, либо упустить из виду то, которое существует в действительности. Ведь ничто не доказывает, что наследственный характер способностей или отклонений (если таковой им присущ) будет отражаться в общественном сознании, ибо и общественное, и индивидуальное сознание часто отклоняется от того, что распространено и привычно.

Тем более не существует доказательств тому, что при отсутствии передачи по наследству этих качеств общественное сознание на основании неверно интерпретируемых признаков не создаст такого представления, поскольку в общественном сознании всегда наличествуют иллюзии. Легко заметить, что в массе случаев в одно и то же время и относительно одного и того же устройства реальности существует разница (во всяком случае, независимость) между научным знанием и коллективными представлениями. В вопросе о наследственности для социолога небольшое значение имеет то, что происходит в действительности и что знают об этом другие ученые. Его интересует лишь то, в какой мере и в какой форме наследственные факторы являются объектами социального представления. Зомбарт приводит весьма спорные аргументы, когда относит выделяемые экономической диалектикой категории к общественному со-

знанию. Отцами этого заблуждения являются Маркс и марксисты гегельянского толка. Впрочем, они не считали, что между общественным сознанием и реальной эволюцией сразу же устанавливается соответствие — оно лишь должно установиться, и экономические противоречия впоследствии должны перейти в социальное противостояние.

Что касается Зомбарта, то иногда кажется, что он совершает обратный ход. По его мнению, экономические агенты (в средние века — ремесленники, в современную эпоху — капиталисты) имеют четкое и осознанное представление о своей экономической функции, и именно это осознание позволяет им существовать как классу. Зомбарту не хватает психологичности, хотя он и выводит на первый план доминирующие мотивы человека. Лишь очень малое число экономических агентов способно отвлеченно и диалектически осознавать события и дела, в которых они принимают участие. Та или иная группа людей получает представление об экономической ситуации своей эпохи по конкретным частным образам, преимущественно смутным и непроясненным. Безусловно, историк социальной экономики, особенно если он читал Гегеля, лучше проникнет в природу этих фактов, возможно, воспроизведет их реальную последовательность. Для социолога же важны не основополагающие и действительные отношения, а состояние общественного сознания.

В экономическую ситуацию эпохи уже «вписан» закон ее будущего изменения, предопределено, хотя бы частично, направление, в котором будет разворачиваться последовательность фактов. Общественному сознанию тоже свойственны спонтанность и устремления, но другого рода: содержание этого сознания не совпадает с современной [ему] экономической реальностью, а его направление не соответствует реальному ходу эволюции. Помимо непрозрачности экономических фактов имеет место также влияние прошлого на настоящее общественного сознания, и это влияние мешает парал-

лельно воспроизвести в сознании ход истории: люди данной эпохи не могут избавиться от навязчивых старых представлений об экономических явлениях (*choses*); актуальные же экономические формы, напротив, не зависят от старых, исчезнувших форм. Конечно, реальность заботится о том, чтобы вызвать в общественном сознании адекватные представления, которые от него ускользают. Но представления движутся своим чередом, и элементы, которые они черпают из реальности, должны вписываться в законы общественного сознания, чтобы занять в нем место. Поэтому искать объяснение изменений общественного сознания следует не в экономической истории, а в нем самом. По крайней мере, социология может извлечь пользу из сведений по экономической истории лишь после того, как определит, хотя бы в общих чертах, в какой мере общественное сознание может испытывать ее влияние.

Каким образом в сознании конкретного общества — в данном случае нашего — представлены классы? Следует подчеркнуть, что рассматриваемая здесь проблема (первый аспект вопроса о классах) относится к социальной психологии. Разделять на классы — значит распределять по группам на основании некоего сходства. Но если черты сходства различны по своему типу, какие из различий выходят на первый план? Нельзя образовывать классы на основании внешних сходств, например, биологических качеств (последственно закрепленных или не закрепленных) — такая классификация будет походить скорее на химическую. Если представления о классах и включают в себя подобные элементы, они не имеют первостепенного значения и в любом случае не могут служить достаточным основанием для установления классовых различий.

Безусловно, более научным представляется подход, разделяющий людей на классы в зависимости от экономических организаций, которые они образуют. Подобная классификация напоминает естественноисториче-

скую, но подобные социальные образования сами по себе встречаются редко. Класс же является объектом социального представления, не говоря уже о том, что он имеет неорганический характер. В основе современных представлений о классах лежат факты более общего характера, к которым Бюхер относит богатство: людей подразделяют на группы по их «денежной мощи». Данную классификацию можно было бы назвать «физико-математической». Но и этим проблема полностью не решается. Трудность заключается в том, что богатство (если учитывать количество денег, которыми располагают в данный момент или которые гарантированно поступят в ближайшем будущем) — это абстрактная категория, тогда как понятие классов в сознании людей — нечто конкретное и живое, во всяком случае очень «человеческое» и не сводится лишь к рядам цифр. Данная ситуация напоминает нам физику, которая изучает материальные тела, исходя из однородных, количественно измеренных элементов: электромагнитного поля Фарадея, вихревых потоков Томсона или атомов древних греков. Но невозможно подобным образом воссоздать характерную прерывистость, с какой *объекты* схватываются сознанием. Взяв за основу простые элементы, мы никогда не найдем основания, по которому их можно было бы сгруппировать тем или иным образом или разбить все множество элементов на разделы именно так, а не иначе. Конечно, имеющееся в нашем распоряжении богатство или соответствующий капитал в виде регулярно выплачивающихся сумм, благодаря однородности его элементов, можно измерить и поделить на сопоставимые доли, но само по себе богатство не содержит принципа такого разделения, нет и единицы, которую можно было бы взять за основу измерения. Где на шкале богатства можно провести деления, соответствующие различиям между классами, каким образом общественное сознание проводит эти деления? Основание деления на классы можно найти где угодно, только не в богатстве.

Можно предположить, что существует не одно, а несколько оснований для всех групп ряда (от верхней до нижней), определяющих, какие накопления объединяются при формировании того или иного класса: для низших групп учитывается, главным образом, оплачиваемый труд, а для высших — расходы. Это имеет психологическую причину. Человеческая мысль пугается в подкреплении понятий ясными, легко воспринимаемыми основаниями: даже не исследуя вопроса о том, является ли труд, как утверждают, товаром, имеющим фиксированную цену на рынке, можно установить между трудом и зарплатой столь тесные связь и соответствие, что для каждого периода времени один окажется самым отчетливым знаком другого. В высших классах, напротив, соотношение между трудом и вознаграждением гораздо более гибкое, не говоря уже о том, что количество затраченного труда одновременно является и менее заметным, и более трудно определяемым; расходы же, напротив (по крайней мере, как мы увидим, частично), выявить легче, и в то же время в общественном сознании они имеют достаточно четкое значение в связи с богатством, которое они предполагают. Это не значит, что расходы рабочего и деловая активность богача не учитываются, но они отходят на второй план, и здесь, как это часто случается в психологии, стабильное вытесняет нестабильное.

Каким же образом, с этой точки зрения, общественное сознание разделяет на классы наемных работников? В своем недавнем исследовании лондонского рабочего класса Бут² предлагает следующую классификацию (или, возможно, лишь уточняет рамки общественного мышления):

- А. Самый низший класс. Лица со случайными заработками, бездельники и полукриминальные элементы.
- Б. Непостоянные заработки. Очень бедные.
- В. Нерегулярные заработки.

² Booth C. Life and Labour of the People in London. London, 1902–1903.

Г. Заработки маленькие, но регулярные.

Последние (В и Г) составляют класс бедных.

Д. Зарплата скромная, но постоянная. Выше черты бедности.

Е. Высокая зарплата.

Автор данной классификации, который вел наблюдения прежде всего в Ист-Энде (White Chapel, Shoreditch, Bethnal Green, Mile End Old Town, St. George in the East, Stepney, Hackney, Poplar), пришел к следующим заключениям: класс А наиболее трудно определить в социальном плане — он находится почти за рамками общества. Семейная жизнь здесь мало развита, из 11000 всего 3000 посылают детей учиться. Класс Б, который, кстати, в немалой степени растворяется в классе А, включает тех, кто работает не более трех дней в неделю (уличные торговцы, докеры, некоторые ремесленники и т. п.). Принадлежащие к нему люди отнюдь не остаются его членами с рождения до самой смерти. Он представляет собой скорее «отстойник» для тех, кто по разным причинам (умственным, моральным, физическим) не может выполнять более привлекательную работу; их идеал — работать и развлекаться, когда им того захочется. Это бедный праздный класс. Рабочие из класса В не имеют постоянной работы, но не по своей воле. Они — жертва соперничества, спадов торговли (число *wharf and warehousehands*³ зависит от лондонского рынка). Когда эти люди много работают, то и тратят много. Данный класс мог бы стать наилучшим объектом для систематической благотворительности. Обычно входящие в него люди мало думают о будущем и неэкономны. Класс Г состоит из тех, кто круглый год получает заработную плату не выше 21 шиллинга в неделю; от них не требуется большой ловкости и ума (докеры, ломовые извозчики, грузчики и т. д.). В целом они ведут правильный и размеренный образ жизни, хорошо воспитывают своих детей. Класс Д, серьезно превосходящий по численности

³ Портовых и складских грузчиков (англ.). — Прим. перев.

класс Г, объединяет тех, кто получает от 22 до 30 шиллингов в неделю. Среди его представителей мало действительно бедных людей. Этот класс, по всеобщему признанию, является почвой для всевозможных форм объединения и сотрудничества. Конечно, отнесение всех этих людей к одному классу носит достаточно абстрактно: между ними есть большие различия в характере, интересах, образе жизни. Большая часть класса Е — мастера, старшие работники (*foremen, responsible workers*), ремесленники. Мастера — это как бы офицеры промышленной армии: они ведают хозяйственными делами, но не имеют ни инициативы, ни доли от прибыли. Они сильно отличаются от рабочих и ремесленников того же класса тем, что смотрят на все глазами своих хозяев.

Можно также добавить следующее: члены класса Б страдают от контраста своего прошлого с настоящим, бедность для них — постоянный источник огорчений, тогда как нищета для членов класса А — явление хроническое, они с ней смирились. Членов класса В, не имеющих постоянной работы, не заботящихся о завтрашнем дне, судят наиболее строго и, быть может, обращаются с ними хуже всего. Класс Г — спокойный и посредственный: его не волнуют ни его собственный опыт лучшей жизни в прошлом, ни то, чего от него ожидают, ни недостижимые идеалы. Классу Д более всего осложняют жизнь слишком высокие притязания: именно в нем мы, главным образом, находим ростки социализма и революции. Люди класса Е осторожны и молчаливы: они делают сбережения, их положение прочно, их дети поднимаются в средние классы.

Это описание, конечно, не является окончательным. Но и в таком виде оно представляет интерес в том отношении, что уровень зарплаты (более высокий и более низкий), длительность и непрерывность труда остаются для определения класса вполне объективными критериями. Вместе с тем очевидно, что указанные различия не носят абстрактного характера: максимальные и ми-

нимальные пределы зарплаты или рабочего времени служат также для выделения совокупности семейных привычек, профессиональных, интеллектуальных или моральных способностей, а также вкусов и устремлений. Более того, учитывая, что между крайней бедностью последнего класса и относительным благополучием мастеров возможно существование нескольких сходных «уровней жизни», зафиксированных для группы в целом, можно сказать, что отправной точкой различий, основанных на зарплате и учете рабочего времени, в общественном сознании и оказываются эти «уровни жизни». В любом случае, количественные различия остаются последним основанием для разделения на указанные группы, поскольку принадлежащие к ним люди не могли бы существовать без работы определенной длительности, зарплаты определенного уровня — именно на них направлена наша *рефлексия*. Но когда речь идет о классе, мы в первую очередь *воспринимаем* качества входящих в него людей, их манеру жить — то есть, в итоге, все то, что делает их более или менее полезными и ценными для общества.

Наибольшую трудность для всей социальной психологии представляет объяснение того, как, по каким собственно социальным законам формируются, образуя *прерывистый* ряд, сложные комплексы представлений (о более или менее высокой и более или менее регулярной зарплате, о конкретных жизненных привычках). До тех пор пока эта проблема не поднята, можно сомневаться даже в том, что мы покинули область рассуждений, безусловно близких к социологии, но в основе своей еще принадлежащих психологии, причем психологии индивидуальной. Правда, они позволяют нам понять, что именно соединение точно определенного количественного элемента с более расплывчатым качественным основанием и сообщает представлению о классах особый характер, достаточно зыбкий первоначально, но столь жесткий и категоричный по зрелому размышлению.

Другие классы (средние и высшие), основой которых является разница в уровне состоятельности, *непосредственно* различаются в общественном сознании в зависимости от значимости и, главное, от характера их расходов. Для рабочих или ремесленников иерархия устанавливается в основном с учетом длительности или интенсивности их труда; здесь же будет иметь место прямо противоположное: люди зажиточные и богатые, занимающие более высокую в сравнении с остальными ступень, будут образовывать определенную иерархию по отношению друг к другу в зависимости от того, как мало времени они отводят работе, сколько часов они не делают ничего полезного⁴. Раньше, когда состояния были не столь велики, признаком богатства считались главным образом сила и здоровье — как следствие хорошего питания и удобного жилища. Уже тогда существовал инстинкт соперничества, в почете были украшения, независимо от их эстетической ценности; особое внимание уделялось числу рабов, цене имеющихся вещей, без учета их полезности — что объясняет происхождение наших обычаев. Сегодня же при отнесении людей к тому или иному классу принимают в расчет не столько общественно полезные и неявиные расходы, сколько открытые неутилитарные траты. Среди них на первый план выходят расходы, совершаемые время от времени не с целью получения выгоды, но ради одной лишь демонстрации своего богатства. С этой точки зрения, огромную важность имеют светские собрания, увеселительные поездки — они становятся настоящими обязанностями. Поскольку лишь малая часть нашей жизни протекает «на людях», престижно открыто показать, как много времени тратится на личные нужды. Потому так велика цена абсолютной корректности, изысканности в одежде и внешности, потому столь большое значение придается вежливости, хорошим манерам, которые приобре-

⁴ В этой связи см. очень показательную работу Веблена «Теория праздного класса» (Veblen. T. The Theory of the Leisure Class. New York, 1899).

таются только при обилии досуга, в ходе беззаботной жизни. Ценится также высокий уровень культуры и образования, особенно если они не имеют практической направленности, не приносят выгоды.

Рафинированная форма досуга — праздность, которая богатому человеку доступна в какой-то мере и благодаря «передаче полномочий» своей жене или слугам. Наличие работы у жены несовместимо с репутацией богатого мужа. Чтобы показать со всей очевидностью, что жена не работает, добиваются того, что она оказывается к этому неспособна. Японцы деформируют ступни своих женщин, европейцы долгое время старались воплотить [в женщине] идеал хрупкости, деликатности, парочитой болезненной слабости. Мы сталкиваемся с парадоксом: чтобы жена ничего не делала, муж работает очень много, а демонстрируя ее праздность, он показывает, что и сам является богатым бездельником. То же и со слугами: раньше богатство воплощалось в образе негрятянского царька, жирного и ленивого. Нынешний богатч обильно прикармливает как можно больше бездельников-лакеев: они лениятся за него.

Расточительность и бессмысленность расходов проявляются и в подборе одежды, которую носят представители богатых классов. Она обычно непрактична и уродлива, но именно в этом и состоит ее предназначение. Шляпы-цилиндры, высокие каблуки у женщин, корсеты — все это стесняет движение, обрекает на безделье. Не оттого ли так часто меняется мода, что наше эстетическое чувство постоянно шокируют новшества в одежде, которые ценятся прежде всего из-за их дороговизны? Просторнейшие квартиры, в которых жилые помещения занимают лишь незначительную часть; бесполезная, но дорогая мебель и домашняя утварь; огромные парки, используемые не под пастбища; экзотические лошади и собаки, которых искусственно деформируют до тех пор, пока они не станут непригодными для каких-либо практических целей, — все это также является проявлением потребности выставлять богатство напоказ.

Но если эта потребность существует, то только потому, что в социальном отношении людей действительно оценивают по их видимым расходам. Создается впечатление, что бесполезные расходы олицетворяют уже совершенные полезные траты, а они, в свою очередь, определенную денежную мощь: *nota notae est nota rei ipsius*⁵.

Мы понимаем теперь, каким образом устанавливаются схожие, но разделенные реальным пространством типы жизни, и как совокупность незначительно различающихся состояний группируется вокруг каждого из этих типов. Для внешнего наблюдателя и окружающих эти типы характеризуются, главным образом, размером некоторых заметных расходов: на одежду и интерьер, квартиру или дом, на более или менее многочисленных слуг. В той мере, в какой эти предметы содержат элементы роскоши, то есть в зависимости от их бесполезности, их владельцев ставят на более высокую ступень социальной иерархии.

Теперь представим себе два типа жизни, *A* и *B*, занимающие соседние ступеньки, а также ряд состояний *жс, з, и, к, л, м*. Допустим, *жс* позволяет производить траты, соответствующие группе *A* (где ради роскошного нет необходимости отказываться от полезного), и такое же соотношение между *B* и *м*. Что касается *жс* и *м*, естественно, что в глазах общественного мнения их владельцы остаются в рамках своего класса, так как чтобы выйти из него (чтобы, например, обладатель состояния *м* дошел до типа жизни уровня *A*), ему нужно принести слишком большую жертву с точки зрения *полезности*. Но владельцы промежуточных состояний оказываются между двух устремлений: жаждой *полезного*, которая обеспечивает здоровье и спокойную жизнь, и жаждой *роскоши*, которая возвышает в социальном плане в глазах других. И если демаркационная линия вдруг разде-

⁵ Знак знака есть знак самой вещи (лат.). — Прим. перев.

ляет и/к, то это значит, что владелец состояния и способен отказаться от полезных приобретений, что позволяет ему приобретать предметы роскоши, как и в классе А, тогда как владелец состояния к не способен на это и должен оставаться в классе Б. Это же рассуждение справедливо для иных случаев, если линия проходит между з и и, либо к и л. Другими словами, деление на классы, которое общественное мышление определяет по уровню состоятельности, не является случайным — оно есть результат действия противоречивых устремлений и отражает последствия их конфликта. Здесь также приходится прибегать к психологическому объяснению.

Определить средние и высшие классы, или по крайней мере каждый из них, можно следующим образом: *это совокупность людей, которым состояние позволяет производить определенные расходы на предметы роскоши вне зависимости от того, отказываются они от некоторых полезных расходов или нет*. Таковы классы в представлении общественного сознания. Для него сохраняет справедливость английская пословица: «*A cheap coat makes a cheap man*»⁶. Она верна, по крайней мере, на первый взгляд и с практической точки зрения.

Теорию Бюхера об имущественном положении как основе классового деления следовало бы, таким образом, дополнить психологическими исследованиями, дабы она соответствовала представлению о классах, каким оно оказывается в сознании общества. В работе Шмоллера, конечно, затрагиваются чувства и потребности, а также большое место отводится стремлению выделиться среди себе подобных. И у Зомбарта в главах, посвященных капиталистическому городу, обнаруживаются элементы такого объяснения, когда он рассматривает изменение потребностей, вызванное новым укладом. Но, как нам представляется, немецкие экономисты в этом вопросе не встали еще вполне осознанно на социологическую точку зрения.

⁶ Пальто дешевое — человек дешевый (англ.). — Прим. перев.

В заключение обратимся ко второму из заданных ранее вопросов: «Чем обусловлена бóльшая или меньшая интенсивность представлений о классах в той или иной группе и согласно каким законам эта интенсивность изменяется?» Немецкие экономисты не занимались данным вопросом вплотную, но именно этот из трех относится исключительно к социологии.

Чтобы понять это, сперва следует (поскольку чисто исторический характер первого вопроса был вполне выявлен) более точно показать, чем второй вопрос отличается от третьего. Чтобы ответить на третий, на вопрос о содержании понятия класса, мы принимаем главным образом психологическую методику и, в некотором смысле, имеем на это полное право. Речь идет здесь, конечно, о коллективном представлении, а психология позволяет охватить только индивидуальные состояния. В социологии же нет более прочно утвердившегося тезиса, чем следующий: «Состояния коллективного сознания по сути своей отличаются от состояний сознания индивидуального; это представления другого рода»⁷. Однако прежде чем начать исследование природы и источников коллективных представлений, следует четко определить, где и в какой видимой форме эти представления существуют. Это необходимо, поскольку рано или поздно нам пришлось бы сконцентрировать внимание на таких непсихологических реальностях, как политическая, юридическая, экономическая организация, которые порождают коллективные представления и в которых последние находят свое выражение. В данном случае для выявления соответствия между этими реальностями и состоянием коллективного сознания следует иметь хотя бы самые общие представления об этом состоянии.

Первоначальное (и весьма несовершенное) представление будет состоять в том, что именно в индивидуальных сознаниях, включая и наше собственное, мы можем

⁷ Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 14 (*Durkheim E. Les règles de la méthode sociologique. Paris: Alcan, 1901 (2 éd.). Préface P. XVI.*)

обнаружить его элементы. В этом смысле для постановки проблемы, относящейся к социальной психологии, необходимы предварительные исследования психологии индивидуальной. Однако это отнюдь не подразумевает того, что результаты последних хотя бы отчасти войдут в собственно социологическое объяснение. Подобно этому, ученый должен исходить из эмпирических условий, отметить место, масштабы, форму изучаемого объекта, то есть уточнить и прояснить распространенное представление о нем, прежде чем изучать его с научной точки зрения. В любом случае исследования, касающиеся способа, каким индивид создает коллективное представление, интересуют психологию больше, чем любую другую науку.

Затрагивая же проблему изменений в интенсивности коллективного представления, мы начинаем заниматься его реальным функционированием, формой его существования — и здесь любое обращение к индивидуальной психологии было бы неуместным и опасным. Но в начале исследования мы еще не знаем, какой путь избрать. Можно, например, оценивать интенсивность индивидуального состояния путем интроспекции, но ведь коллективное представление порождается вовсе не индивидуальным сознанием и не сосредоточено в нем, следовательно, его изменения через индивидуальное сознание наблюдать нельзя. Конечно, каждое из индивидуальных сознаний содержит в себе частицу коллективных представлений, а сближение этих сознаний в конце концов создает условия для возникновения коллективного сознания, но содержание индивидуального сознания не является ни частью коллективного представления, ни самим коллективным представлением в целом. Можно ли получить (на что часто надеется психолог, углубляясь в изучение индивидуального сознания) картину коллективного представления, суммируя формы, которые оно принимает в индивидуальных сознаниях? Этот вопрос лишен смысла, так как невозможно изолировать сознания индивидов иначе, чем через абстраги-

рование: изолировать их по-настоящему значило бы лишить их всякого представления о группе, к которой они принадлежат, то есть стереть сами индивидуальные формы. Соотношение этих форм с коллективным представлением или, точнее, особая связь, объединяющая их в данном представлении, несомненно, является главной в социальном факте. Но никакое индивидуальное сознание не может напрямую достичь коллективного представления, значит, здесь следует использовать непсихологические методы.

Мы уже говорили о социальной организации как объективном образовании, в котором раскрывается существование коллективного сознания. Цеховые объединения в средние века, английские тред-юнионы вполне соответствуют определенным классам, тем не менее в самих классах эти формы появились достаточно поздно, да и не все классы организованы. Притом очевидно, что организация группы указывает на более тесную связь между всеми ее частями, возникающую вследствие более сильно выраженного коллективного сознания. Таким образом, организацию можно рассматривать как признак и результат интенсивного социального представления.

Когда появились эти организации? Когда классовое представление становится интенсивным? Можно предположить, что это происходит, когда члены одного класса благодаря своему образу жизни и финансовым возможностям чувствуют себя максимально отдаленными от других людей, когда разрыв между классами наиболее велик. В обоих приведенных примерах этого нет. Средневековые ремесленники придали своим ремеслам корпоративную форму, лишь когда они почувствовали угрозу конкуренции со стороны многочисленных поденщиков и пришлых работников, то есть когда между ними и сельскими жителями появился новый класс, члены которого близки к ним, почти им равны. Квалифицированные рабочие образуют свои профессиональные союзы, тред-юнионы, лишь когда их специальные навыки

и высокая зарплата позволяют им на равных взаимодействовать со своими работодателями. Эти два случая совершенно различны, как и обе формы организации: в первом высший класс борется с низшим, во втором — наоборот; но в обоих случаях факт появления организации соответствует незначительным различиям между классами. Для того чтобы высший класс создал организацию против низшего, он должен почувствовать необходимость этого, а чтобы низший класс создал организацию против высшего, он должен иметь на это силы. Итак, понятно, что класс, ощутивший угрозу или решимость, осознает пользу объединения усилий и определения сферы своих прав, — но хотелось бы знать, что в таком случае означает увеличивающаяся интенсивность классового представления. На первый план коллективного сознания в этот момент выступает не представление об ослаблении различий между данным классом и другими, но, скорее, представление о связях между его членами и особенно об общности интересов и общей цели. Это представление, очень ясное, соответствует связям, созданным самими людьми в отношении друг друга, — члены одного класса обретают в нем лишь то, что вложили сами. Можно задуматься над вопросом: не обедняется ли коллективное представление, становясь более четким и систематизированным и лишаясь при этом значительной доли своего конкретного содержания?

Значительное расхождение между двумя классами если и лишает пользы существование внутриклассовой организации, безусловно, запечатлевает в чувстве различия положений все богатство и оригинальность этого различия. В этом отношении самым типичным примером может служить рабство. Следует различать домашних рабов, которые жили в семье в качестве ее членов, (чья зависимость достаточно близка к низкому положению женщины, подчиненному положению детей), и рабов, занятых на плантациях и шахтах (с ними обращались более жестоко). Мы будем рассматривать лишь послед-

них, поскольку только у них развивается действительно общественное сознание. Чем образовано это классовое представление? Экономические отношения отходят на второй план, так как раб, по крайней мере теоретически, не продает свой труд и свою рабочую силу на основании свободного соглашения: юридически он является собственностью хозяина, и тот имеет на него все права. Хозяин может решать, что ему выгоднее: «израсходовать» группу рабов за четырнадцать лет при усиленной нагрузке или за семь лет при сверхнагрузках. То, что должно представлять наиболее очевидным для группы — ее низкое социальное положение, которое либо передается по наследству от предков-рабов, либо является следствием порабощения народа нынешними хозяевами. Это значит, что данное представление часто смешивается с представлением о неравенстве рас и всегда с ним сближается. В противоположность экономическому, такое неравенство отличается тем, что является одновременно очень стабильным и более труднообъяснимым. Из-за этого оно приобретает ряд особенностей: устойчивое различие условий порождает разнообразные привычки или типы поведения, которые со временем закрепляются; незнание же причин приводит к тому, что низшее или высшее социальное положение группы приобретает видимость естественного различия. Классовое представление в такой группе приобретает свою полноту потому, что основывается на верованиях и обычаях, а не на абстрактных, рациональных связях.

Слово «интенсивность» по отношению к классовому представлению допускает разночтение, поскольку интенсивность можно понимать как силу ощущения различий между классами и как наивысшую степень ясности органического сознания каждого из них. Несомненно, следует глубже рассмотреть это расхождение в рамках классового сознания. Его можно было бы интерпретировать как свойственную социальному представлению тенденцию по мере рационального прояснения терять то, что делает его социальным фактом, рас-

творяться в индивидуальных представлениях. В результате коллективные связи, в которые включен индивид, кажутся ему вполне понятными; он полагает, что лишь по его воле те сохраняют свою форму. Какие же новые, не замеченные индивидуальной психологией данные могла бы открыть нам здесь социальная психология? Отвечая на этот вопрос, не следует игнорировать тот факт, что организация не подменяет собою класс, что ее члены не вполне волены объединяться или не объединяться и что объектом объединения является совокупность уже существующих экономических связей. Более того, вышеперечисленные компоненты чувства межклассового разрыва присутствуют также в этом случае, хотя и в ослабленной форме. Конечно, вследствие многочисленных и быстрых изменений благосостояния устойчивость классов ослабевает, однако она достаточно велика, чтобы чаще всего удерживать индивида в том классе, в котором он родился, чтобы вживить в него привычки и способ видения его класса. Несомненно также и то, что причины классовых различий изучены достаточно хорошо, однако накопленное богатство остается силой, происхождение которой в целом остается загадкой; слово «состояние»^{*} сохраняет двусмысленность, а его обладатели предстают в каком-то смысле избранными. С другой стороны, даже когда индивид хорошо знает правила того или иного объединения, последнее носит по отношению к нему внешний характер и часто предъявляет требования, источник которых находится не в его индивидуальной воле. Это значит, что человек всегда признает внешний по отношению к себе характер общественного сознания, чей способ существования для него покрыт мраком.

Итак, в двух указанных аспектах классовое сознание является истинно социальным фактом и выражается для членов данного класса в целом ряде принудитель-

^{*} По-французски «la fortune» означает одновременно «состояние, богатство» и «успех, везение». — *Прим. перев.*

ных мер. Но в тех случаях, когда классы не имеют организации, а расхождение между ними значительно, принуждение исходит не от данной группы, а от соседних: высшей или низшей. Когда большого расхождения между классами нет, но класс имеет свою организацию, принуждение возникает в рамках самой группы: самоорганизуясь, класс все более навязывает свою волю своим членам. Отсюда мы видим, что термин «интенсивность» в обоих случаях сохраняет свое социальное значение: это всегда интенсивность представления о принуждении, существующем в двух видах, — а потому классовое сознание может называться интенсивным в двух различных смыслах.

Таким образом, классовые представления наряду с другими: экономическими, религиозными, семейными или юридическими — заслуживают изучения в их разнообразии, и это — непосредственная задача социолога. Однако прежде чем формулировать законы подобного разнообразия, социологии следовало бы воссоздать эволюцию классовых представлений в определенных странах и в определенные периоды, основываясь, главным образом, на ее объективных последствиях, а также на данных, которыми мы пока еще не располагаем. Настоящим исследованием мы желали только внести лепту в более ясное определение социологической точки зрения на этот предмет.

Материя и общество (1920)*

Говоря о социальном мире, не следует забывать, что любая группа людей находится в контакте с материальной природой, что она занимает в пространстве определенное положение, обладает собственным объемом и формой и что, образовавшаяся объединившимися и сближившимися людьми, она остается под властью некоторых органических потребностей. На подходе к крупному городу, возле боев и кладбищ, у стен мы обнаруживаем склады и доки, забитые материалами и продуктами, стройки, мастерские, заводы, вагоны на вокзалах, грузовые суда на каналах. Легко можно представить, что вся эта материя, преобразованная промышленной деятельностью, является неотъемлемой частью субстанции группы, наряду с руками, ногами, телами тех, кто создал эти механизмы и обеспечивает их работу.

Однако если социальные факты суть *sui generis*, если их нельзя редуцировать к явлениям иного порядка, значит, они не зависят от последних. Все отношения, со-

* Опубликовано в: *Revue philosophique*. № 45. Paris.

ставляющие жизнь общества, включают в себя элементы, имеющие единую природу, — все они имеют коллективный характер. Поэтому социальные факты представляют замкнутой системой. Физические, органические факты, психические состояния, непосредственно связанные с изменениями организма и относящиеся к индивидуальной психологии, доступа к этой системе не имеют. Нужно внести ясность в вопрос о соприкосновении, или связи, между обществом и материей. Материальное относится к уровню механических фактов потому и не может непосредственно войти в групповое сознание. Также когда мы говорим, что общество способно помещать какую-то часть себя (в качестве своей эманации) в материю изделия или станка, это является всего лишь метафорой. Коллективное сознание вообще не может выйти за рамки самого себя или открыться для чего-либо, что не есть оно само.

Тем не менее справедливо, что люди оказывают воздействие на материю, или, точнее, что между человеческими организмами и неорганическими вещами имеет место целый ряд действий и реакций, в результате которых людям удается получать выгоду от свойств материи, а общество постепенно приспосабливается к природе. Как это становится возможным? Отдельные сознания не смешиваются с вещами, но они способны их представлять. Другими словами, для людей природа сводится к последовательности ощущений или образов, и люди могут воздействовать на нее лишь в той мере, в какой этот порядок представлений приобретает все большее место в их сознании. Но — и это самый важный вопрос, который следует выяснить, — ощущения, воспроизводящие в нас материю, сами обусловлены деятельностью наших органов чувств и нервной системы, следовательно, они не входят в категорию состояний коллективного сознания: это индивидуальные ментальные состояния. Так, человек немедленно представляет себе что-либо и может соответствующим образом реа-

гировать не потому, что он — член общества, а потому, что он сохраняет жизнеспособность и органическое сознание, которые отделены от жизни и сознания общества. Даже тот факт, что коллективное мышление не игнорирует природу, представляется малозначительным: мы увидим, какое место в нем занимают, в частности, научные концепции материи. Понятно также — и это случается чаще всего, — что на наши ощущения влияют мысли, которыми мы обязаны другим. И наоборот, почти все термины языка выражают какой-то в большей или меньшей степени стертый материальный образ. И тем не менее между представлениями о вещах или физических действиях, с одной стороны, и о людях или человеческой деятельности, с другой, имеется различие, касающееся не только их природы, но и социальной оценки: речь идет о противопоставлении чести и цены. Как же может быть иначе, если для воздействия на материю сознание должно встать с ней лицом к лицу и отделить себя от жизни группы? Ведь в той мере, в какой человек контактирует с вещами, он должен забывать о себе подобных.

Коль скоро это так, можно ожидать, что в современных обществах, где целый класс людей получает все более узкую специализацию в выполнении промышленных задач, возникает глубокий разрыв между его представителями и прочими членами общества. Как нам видится, факты подтверждают это заключение¹, и основываясь на нем, мы можем дать еще одно определение рабочего класса: «совокупность людей, которые для выполнения своей работы должны обращаться к материи и покидать общество». Чтобы устранить некоторые неясности и предупредить возможные возражения, будет полезно несколько дальше продвинуться в нашем анализе.

¹ La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines// Collection des Travaux de l'Année sociologique. Paris: Alcan, 1913.

В сознании, где главенствуют ощущения, соответствующие фактам неорганической природы, место, оставшееся для идей, соответствующих людям, сокращается, тем более что оба эти вида мышления не переплетаются, не подпитывают друг друга, не поддерживаются в движении взаимодействием. Действительно, можно видеть, что у лиц, занятых ручным трудом, порядок потребностей, их относительная интенсивность не похожи на те, что наблюдаются в других классах (при условии баланса доходов и расходов), а те, что можно назвать коллективными потребностями, у этой категории развиты наименее всего.

По правде говоря, аналогичное замедление и частичный паралич коллективных отношений наблюдаются и у людей, которые ничего общего не имеют с рабочими. Например, это члены общества, которые вследствие какого-то несчастного случая, разорения, болезни, траура, возможно, старости и т. д. вынуждены отдалиться от светской жизни, отказаться от многих занятий и развлечений, связывавших с людьми их круга. А вот группа военнопленных, которые внезапно оказались отрезанными от семейной и профессиональной среды, окружения друзей, своей национальной группы. Вот жители маленького городка, чья бедная событиями жизнь имеет странно замедленный темп в сравнении с оживлением и повышенной активностью крупных городов. Во всех этих случаях по разным причинам можно выявить значительное сужение той части индивидуальных сознаний, которая освещается и согревается теплом других. Однако общество не смешивает и не ставит на один уровень указанные группы и группы рабочих. Почему? Не доказывает ли это, что первые недостаточно определены в силу незначительного участия в социальной жизни?

Проанализируем ситуации, когда социальная связь действительно временно прерывается или же на неограниченный период ослабевает. При этом мы не будем

рассматривать индивидуальные случаи, которые, по определению, не могут обосновывать социального различия. Когда некоторые покидают свет, удаляются от мира, как в некоторых религиозных сообществах, они покидают одно общество, создавая другое, более ограниченное: они жертвуют частью своих связей с людьми ради увеличения и укрепления тех связей, которые соединяют их с малым числом себе подобных. Естественно, что имеются отличия между основателями и членами этих объединений, которым недостаточно большого общества и которые, в какой-то мере, выходят за его рамки, и теми, кто остается в этих рамках.

В античные времена военнопленные становились рабами, поскольку разрыв этих людей с племенем, городом и, в более широком смысле, обществом, к которому они до сих пор принадлежали, считался окончательным. Они покидали пределы одновременно своего класса и своей нации. Но в отношении современных войн ситуация изменилась. Нация, ведущая военные действия, удерживает в плену оказавшихся в ее власти членов группы противника с тем, чтобы парализовать или же ослабить функцию, которую те выполняли. Эти люди отнюдь не теряют свои прежние социальные качества, а случается, еще лучше осознают их, поскольку именно они оказываются явной причиной навязываемых им ненормальных условий жизни. Чаще всего в лагерях или тюрьмах, где их содержат, они даже воссоздают изначальное общество, сохраняющее основные черты нации, от которой они оторваны. Они не похожи на античных изгнанников, которые не могли претендовать ни на гражданство, ни на законы. Если они исключены из общества врагов, то лишь потому, что остаются неотъемлемой частью другого общества. Поэтому с ними обращаются со смесью уважения и строгости, *tanquam hostes et hospites*².

² Как с гостем и неприятелем (лат.). — Прим. перев.

Что касается принадлежащих к рабочему классу жителей маленьких городов, то они занимают промежуточное положение между крестьянами, к которым остаются очень близки, и теми представителями общества, которые живут в крупных городских агломерациях, не занимаясь ручным трудом. Различие здесь состоит скорее в качестве или форме, а не в степени. Конечно, маленькие городки иногда попадают в орбиту крупных городов, принимают их за образец и стараются им подражать. Но если им это удастся, то лишь отчасти, поскольку их удерживает и как бы тянет назад сила сельских и провинциальных традиций: они сопротивляются современным тенденциям во имя старых принципов. Но это лишь частный случай противоположности между двумя типами жизни — крестьянским и городским: они в равной степени социальны. Вот почему маленькие города находятся в состоянии неустойчивого равновесия. Часто достаточно экономических изменений, которые, впрочем, соответствует общему направлению эволюции, чтобы они утратили свои деревенские корни и оказались вовлеченными в широкий поток в полном смысле городской жизни. Итак, во всех случаях, когда некоторые люди и даже целые группы остаются вне или на грани общества, происходит это оттого, что они становятся частью других обществ. Сей факт объясняется чувством отчуждения, антагонизма или несовместимости, которые сталкивают противоположные коллективные устремления.

Для рабочих ситуация не может быть аналогичной. Ощущая себя изолированными, исключенными, припущенными, они иногда довольно ясно сознают себя солидарными, чтобы в качестве класса противостоять остальной части общества. Поэтому причиной их изолированности нельзя считать классовое чувство. С другой стороны, невозможно было бы объяснить также тот факт, что общество закрыто для стольких людей, если они имели бы навык, достаточный, чтобы войти в него, и были бы способны увеличивать число и интенсивность

связей, объединяющих его членов. Отсюда следует, что они не имеют ни такого навыка, ни такой способности. К тому же достаточно внимательно изучить природу их деятельности и склонности, которые та вписывает в их физическую организацию, чтобы увидеть причину их отстояния друг от друга и их изолированности от других людей на достаточно длительный период, — что все больше уменьшает их возможный вклад в силы слияния и сближения.

Представление о конкретных материальных свойствах и объектах поглощает внимание рабочего, занятого ручным трудом. Конечно, всякий человек получает ощущения от неорганической природы, но обычно они не изолируются в сознании, а входят в качестве составных частей в ряд мыслей, связывающих его с обществом. Созерцание природы пробуждает в нас эмоции, навевает образы, объединяется с размышлениями, которые поступают к нам от групп, обладающих общими с нами мыслями и чувствами. Будем ли мы рассматривать материальные предметы с точки зрения ученого, художника или с точки зрения нашей выгоды, они станут для нас знаками, символами или средствами. Вследствие того, что воспроизводящие их образы включаются в единство состояний нашего сознания, мы рассматриваем их скорее не самих по себе и не в связи с их объектами, но как центры многочисленных отношений между сознаниями или между различными частями нашего сознания. Напротив, для тех, кто работает с материей, образы вещей соединяются друг с другом и тем самым отделяются от остального сознания, так что образуют замкнутые системы, куда входят лишь представления о воздействии материи на нас и представления о нашем воздействии на материю. Что, кроме зрительных ассоциаций либо осязательных и мускульных ощущений, ассоциаций между ними и вновь возникающими ощущениями (осязательными или зрительными), можно найти в разуме рабочего, который грузит песок в тележки, бьет киркой по пласту угля, пропускает че-

рез станок железные прутья или следит за ткацким станком? Разве не верно, что внимание, которое естественным образом сопровождает протекание данного ряда ощущений, не находит в них опоры, отправляясь от которой могла бы зародиться последовательность мыслей и образов, имеющих иное направление и связанных с оставшейся частью сознательной жизни? Следует добавить также, что данная физическая деятельность не только создает такого рода разделение в сознании между той его частью, что повернута к человеческим реалиям, и той, в которой развиваются представления о вещах и органах, связанных с ними, но также, что, располагая вообще к трате органических сил, она вызывает, обостряет телесные ощущения любого рода, усиливает чувствительность к сугубо физическим потребностям и, в свою очередь, отделяет их от системы устремлений, закладываемых в нас социальной жизнью. Итак, нам представляется, что вследствие непрерывного или часто возобновляющегося контакта — всегда в той же последовательности — с некоторыми аспектами материи часть нашего ментального организма оказывается всецело вне течения, соединяющего одно сознание с другим, и индивид представляется тогда самому себе существом изолированным, ущербным, участвующим в дроблении и разрыве связей в неодушевленном мире.

Возможно, кому-то, кто, проходя по заводу или стройке, открывает для себя, как много всего искусственного и технического имеется в современной промышленности, это описание покажется слишком схематичным. Разве сложные станки, каждый из которых воплощает значительные усилия по расчетам и сборке, разве сырье, которое никогда не бывает действительно в полном смысле «сырым», поскольку обрабатывается предварительно, чтобы его удобнее было использовать, разве распределение задач между специализированными бригадами — разве все они не несут на себе отпечатка в высшей степени согласованной деятельности? Разве рабочие всюду, куда обращается их взгляд, не видят,

словно в отражении множества зеркал, увеличенный до бесконечности образ общества? И разве работа не представляется каждому из них точкой слияния направляемых разумом усилий, которые видятся им и становятся для них точкой опоры? Когда рабочему нужно взяться за ручку, поднять рычаг, повернуть рукоятку, закрутить гайку, разве он не признает этот жест знаком скрытой коллективности, указывающим ему должный способ действия и предупреждающим, что за ним наблюдают, его направляют, то есть что коллективность всегда присутствует? Разве не обнаруживаем мы некоторой двусмысленности в определении занятого ручным трудом рабочего как человека, обращенного к материи? Ведь материя в производстве всегда не та, что в природе, ведь в станке материальный элемент почти исчезает, во всяком случае отходит на задний план, тогда как внимание работающего переносится на его форму и роль, то есть на порядок и организацию производства.

Так, завод отнюдь не является в обществе неким пустым пространством, где безжизненная природа показывает свою оборотную сторону. Всем своим содержанием он представляет один из наиболее законченных продуктов совместной деятельности людей, где искусство и наука человека находят самое полное свое выражение. Завод — это гиперсоциальная среда, и если рабочий перестает здесь быть самим собой и перестает рассматривать себя как личность, то не для того, чтобы срастись с вещами. Это происходит потому, что общество получает от него, через подобную организацию [труда], такое количество и качество действия, в котором он покидает границы своей индивидуальности и в рамках группы с сильным эмоциональным настроением достигает такой степени возбуждения, на какую он не считал себя способным. Деятельность рабочего отнюдь не бесчеловечна — она, скорее, сверхчеловечна: сознание рабочего разворачивается, вместо того чтобы сжиматься, и утрачивает индивидуальные границы лишь с тем, чтобы расшириться и углубиться в сознании коллективном.

Вполне очевидно, что организация труда на заводе, которая стремится заменить относительно спонтанную деятельность ремесленника механизмами настолько, насколько она подчиняется не менее жесткой, чем законы природы, технической необходимости, является искусственным образованием, соответствующим правилам интеллектуальной и коллективной логики. Разделение труда, к примеру, есть осознанное творение человеческой воли, и ничто в физическом мире не походит на него и не может его объяснить. Организация производства сообразно устойчивым и единообразным правилам привносит в неупорядоченность и разнообразие природных фактов последовательность хорошо упорядоченных и точно повторяющихся явлений, в которых мускульная сила людей и физические мощности объединяются ради достижения детально разработанных целей. Труд и его результаты, взятые в единстве, выходят здесь на первый план. Но ни само дело, ни его результат не относятся к природе — в лице общества они, скорее, противодействуют ей. Исследование коллективных устремлений свидетельствуют об этом в большей степени, чем физическая или биологическая наука. Если бы у рабочего было достаточно времени, свободы ума и культуры, чтобы рассмотреть данные представления с этой точки зрения, можно было бы действительно увидеть, что его сознание отражает скорее организующую социальную деятельность, чем слепые и разрозненные силы.

Все происходит так, как если бы общество навязывало свою форму материи, предоставленной природой. Прогресс в технике как раз и состоит в сокращении прямого контакта между нею и человеком: по мере развития промышленности станки заменяют и экономят ручной труд; физическому сопротивлению сырой материи, подлежащей обработке, противопоставляют иные формы сопротивления, также физические, внедрение которых требует от человека только сокращения расходов мускульной силы. Таким образом, социальная органи-

зация все больше поглощает материю, так что теперь, когда производство дает обществу готовый продукт или обработанное сырье, общество находит в материи лишь то, что оно в нее вложило, обнаруживая в ней самое себя. Общество не находит в ней *почти ничего*, что не несло бы его отпечатка.

И, однако, это «почти ничего», этот остаток, то есть свойства материи, последнее ее сопротивление, которое как таковое неподвластно станкам и организующему интеллекту, к которому нужно прикладывать *индивидуальную* мускульную силу или физическую ловкость, еще достаточно важно, чтобы понимать рабочих, рабочую силу, людей, занятых ручным трудом. Когда говорят, что рабочие обращены к материи, речь идет только об этом. И можно утверждать, что в этом «остатке» они не находят ничего, что напоминало бы им об обществе.

В прядильном цехе вытягивание нитей производится автоматически: каретки перемещаются и возвращаются на свое место, и рабочий не должен, как в старых хлопкопрядильных станках, возвращать их на прежнее место; более того, искусный механизм делает так, что при обрыве нити станки останавливаются. Однако оборванные нити не соединяются сами. Человеку удалось победить незаметность нитей, из-за которой их было трудно увидеть, но не их непрочность и материальную косность. В котельной механик присутствует на протяжении всего производственного процесса. Требуется, чтобы сила, произведенная сгоранием угля, трансформировалась при нагреве котла в давление пара, пар действовал на клапаны, а те — на вал, чтобы работали механизмы и т. д. Здесь человеку делать нечего: между работой станка и его работой нет никакого сходства, никакого подобия, напротив, есть очень существенный контраст. Поскольку станок работает лишь если материя, из которой он создан, не сопротивляется его ходу, механик начинает действовать только тогда, когда материя сопротивляется: когда уголь горит слишком сильно или недостаточно сильно, когда металлические детали изнашиваются,

а некоторые соединения нагреваются или ломаются. Каким же образом в этих условиях внимание рабочего может быть направлено на то, что не является или уже не является областью его компетенции? Прядильщик, которому поручено следить за все большим числом станков, занимается лишь теми нитями, которые не натянуты, а не механизмом, который приводит в движение или останавливает каретки; внимание механика сосредоточено главным образом не на механической работе, которую совершает станок; он меньше интересуется нормальным функционированием последнего, чем его недостатками, и он имеет лишь смутное представление о работе людей, которых станок заменяет, а также о разнообразной и сложной жизни фабрики в целом, на которой тот — всего лишь одна из деталей.

Резюмируем сказанное. Из того, что некоторые люди вынуждены постоянно обращаться к материи, вовсе не следует, что между их сознаниями и физическими объектами каким-то непонятным образом установился настолько тесный контакт, что их психические склонности проникают в свойства вещей и наполняются ими. На самом деле в сознании людей происходит разделение между двумя видами образов или мышлений: к первому принадлежат образы, одинаковые для всех людей, — благодаря им мы поддерживаем связь с себе подобными; другие же возникают из тесной связи людей с вещами и физического воздействия людей на вещи. Последние образуют систему, не связанную с остальной психической жизнью.

Результаты развития современной промышленности и применяемые в производстве технологии, ситуации, в которых оказываются непосредственные производители, постепенно подвергались анализу как в отношении сырой материи, так и в отношении индивидуальной природы человека. Это сделало возможным и даже усилило описанное воздействие неорганического мира на некоторые сознания. Развитие промышленности все более выделяло и тем самым изолировало сопротивле-

ние материи, воздействие на которую механической организации протекало лишь путем противопоставления ей физической силы человека. Точно так же в человеке были выделены и изолированы соответствующие органические способности. Но поскольку эти свойства материи, как и виды деятельности человека, представляли в отчужденной (*abstraite*) форме, они все более отделялись от тех единств, в естественной зависимости от которых находились. Представления как о материи, так и о деятельности отныне уже не способны были вызывать в мышлении конкретные единства, с которыми те были связаны: природу, со всеми ее живописными видами, и сознание, со всем, чем оно обязано социальной жизни. Они свелись к ощущениям, механически собранным в последовательности, замкнутым на самих себе.

Стремление все далее разлагать физическую деятельность рабочего на элементы недавно привело некоторых инженеров и промышленников к внедрению на заводах новых методов — так называемой стандартизации. С одной стороны, было замечено, что большое число рабочих не умеет работать экономично и что возможно существенно увеличить производительность, если точно отрегулировать скорость и соразмеренность их действий, темп движений, число, место и длительность перерывов, остановок, кратковременных передышек. В результате, после действительно экспериментальных исследований, сравнений рабочих с разными возможностями и точного расчета средних значений, хронометристы, чьей задачей было направлять рабочего (не учить его профессии, а говорить ему, когда он должен ускорить темп, замедлить, остановиться), избавились от всего произвольного и неопределенного в ручном труде. То есть труд промышленных рабочих, уже достаточно механизированный, был вновь подвергнут разложению: у них отняли и так уже стесненную строгими рамками и установленными функциями долю инициативы и выбора, которая еще оставалась. В то же время исчезло все, что оставалось от неравномерного и оригинального

темпа, от разнообразия и спонтанности человеческой деятельности. Доходя до самых глубин материи, искали закон воздействия на нее. Поскольку оказалось невозможным полностью изменить работника, превратить его в станок, механизировав не только его элементарные действия, но и сам координирующий принцип, источник воздействия был помещен вне сознания и воли рабочего и превращен во внешнюю систему регуляции, которая приводится в действие специальным агентом, игнорирующим личные предпочтения (положительные и отрицательные) каждого работника и знающим лишь об устойчивых и средних характеристиках их физической природы.

С другой стороны, система Тейлора является следующим шагом в отборе и специализации способностей рабочего. Направляемый и хронометрируемый труд предполагает отказ рабочих от своих привычек и предпочтений, то есть в большинстве случаев тяжелое усилие, которое наталкивается на различные препятствия, обусловленные их индивидуальной природой. Однако в каждой бригаде обнаруживается небольшое число рабочих, которым такой труд намного менее тягостен и которые чаще всего могли бы служить образцом и объектом наблюдения в условиях, когда просчитана и отрегулирована длительность и другие количественные аспекты труда: не задумываясь, такие рабочие осуществляют экономно и регуляцию, повышающие производительность труда. Для каждого вида операций люди, принадлежащие к этому типу или приближающиеся к нему, лучше всего будут соответствовать правилам «научной организации», от них можно довольно скоро добиться «наиболее быстрого выполнения работы, которая лучше всего подходит им в соответствии с их природными способностями»¹.

Требуемые качества, которыми наделены отдельные рабочие каждой категории, естественно, меняются в зависимости от вида труда. Что бы ни приходилось де-

¹ *Taylor F. W. Principes d'organisation scientifique des usines. Paris, 1912.*

лать: работать лопатой, класть кирпичи, выполнять более сложные действия, например, производить детали механизмов — важнее всего отыскать в совокупности индивидуальных организмов те, в которые легче всего можно вмонтировать специфические механизмы, подходящие для каждой из этих частных операций. В целом существует два способа их выполнения. Один предполагает, прежде всего, гибкость, изобретательность, известную ловкость в подражании тем, кто трудится рядом, наиболее рациональное использование того несовершенного инструмента, каким предстает любой организм по отношению к любому виду труда. Можно было бы назвать его методом индивидуальной адаптации, который при этом так же, а может быть, и более всего социален, ибо предполагает тренированность и социальную адаптацию: здесь индивиды входят в заранее установленные рамки, построенные без учета их природных способностей, и должны восполнять недостаток таковых большей интенсивностью усилий. Предполагается также, что они имеют такую специализацию лишь в силу внешних причин. Совсем иной случай, когда рабочие в той или иной мере находят себя в выполняемом ими труде. От них не требуется ни ума, ни способности рассуждать о своей работе и средствах ее выполнения: «Идеальный человек для загрузки литейных форм, — говорит Тейлор, — должен обладать тяжелым и тупым умом; поэтому он абсолютно неспособен постигнуть науку своего ремесла». Главное достоинство тех, кто проверяет шарикоподшипники в велосипедах, — это «слабое личное уравнение», то есть посредственные умственные способности. Если их разбивают на бригады, то делают это лишь по причине технической необходимости.

Тейлор часто подчеркивает негативные последствия, какие может иметь сближение рабочих, когда они трудятся бок о бок: все коллективные интересы, даже относящиеся к труду, оформляются именно в эти моменты. Они отвлекают внимание рабочего от индивидуального усилия, тогда как важно объединить в изолиро-

важный механический ряд в сознании рабочего все ощущения, которые соответствуют существу его работы, равно как и выполняемых им элементарных операций. В процессе же коллективной деятельности в эту связную систему проникают представления иного порядка — будь то человеческого или механического, — состоящие в определенной связи с другими механизмами, другими физическими способностями, другими аспектами материальной деятельности, то есть представления бесполезные и вредные. Подобно тому как ради преодоления сопротивления материи ее разлагали, чтобы лучше ее понять, следует точно так же разлагать и физические силы людей, чтобы применять ко всякому сопротивлению силу, наиболее ему соответствующую. Это второй способ [поддерживать] разделение труда, и он необходим не в меньшей степени, чем первый. Поскольку не все качества физической силы в равной степени выражены у множества произвольно объединенных людей, каждое из этих качеств лучше всего выделять не коллективно, а индивидуально, в форме усилия, изолированно прилагаемого агентом к объекту. Тейлор настолько озабочен индивидуализацией труда, что хотел бы, чтобы дневная задача каждому рабочему давалась индивидуально, а не по бригадам; поэтому он борется против сотрудничества [рабочих] и участия в прибылях. Ничто лучше не показывает, за какой чертой исчезает социальный характер и самого рабочего, и его труда по мере того как все, что в них есть специфического, подвергается все более глубокому анализу и изоляции.

После краткого рассмотрения основных положений системы Тейлора становится понятно, почему выносимые ей оценки до такой степени не совпадают. Те, кто обращает внимание, главным образом, на уменьшение инициативы и свободы, которыми рабочий обладал до сих пор, видят в ней новую фазу эволюции: эпоху, когда ремесленника, искусного рабочего прежних времен заменяют имеющие узкую специализацию заводской рабочий и чернорабочий, которые, хоть и в разной мере, —

винтики одной машины, поскольку оба заняты выполнением узкой задачи. Когда Маркс говорил, что работодатель, купивший за определенную цену рабочую силу трудящегося, умудряется получить количество труда, стоящее дороже, он не предвидел, что само понятие количества труда окажется столь растяжимым и что при равном усилии благодаря более разумной организации труда на заводе работодатель мог бы, по мнению Тейлора, получить результат в среднем в два раза больший, чем до сих пор. Но цена этому — то, что оставалось в труде рабочего от свободной и социальной деятельности.

Поскольку рабочий, погруженный в выполнение своей задачи, не контактировал ни с чем, что напоминало бы ему о людях, он, по крайней мере, занимался тяжелым трудом совместно с другими и, независимо от принуждения, которое могли оказывать на него функционирование станков и надзор мастера, частично регулировал свое усилие в соответствии с требованиями этих других, переживая свое единство с ними в смутном чувстве цеховой или ремесленной солидарности. Даже если в процессе работы его мышление было связано лишь с вещами, когда он получал указания, оно обращалось на человека, который, ставя перед ним задачу, не фиксировал всех способов ее выполнения, то есть обращался с ним как со свободным агентом, согласно установленным обществом условиям.

Напротив, при описанном нами сугубо научном подходе между мастером и рабочим возникает фигура надзирателя, агента совершенно иного рода. Это в некотором смысле мастер детализации, который не ставит задачу, а диктует последовательность шагов, его голос, как рычаг на станок, действует на рабочего, которого он рассматривает только под углом зрения выполняемой тем механической деятельности. Управляющие становятся столь же далекими для рабочего, как офицер в казарме для простого солдата: рабочий получает приказы лишь от хронометриста, являющегося почти

таким же исполнителем. Так рабочий теряет последнюю связь с организацией управления заводом. В то же время, поскольку перед ним стоит индивидуальная задача, его стараются изолировать от товарищей по цеху, стремятся создать вокруг него все больший вакуум в том уголке завода, где дышали и так уже разреженным воздухом социальности, он не видит более в других рабочих ничего, кроме таких же, как он, инструментов, и не чувствует более устлавливающихся между ним и ими в процессе труда каких-либо отношений солидарности. Результатом системы Тейлора можно было бы считать более полную «десоциализацию» заводского рабочего, по крайней мере, пока он занят выполнением своей задачи.

Однако система Тейлора, не ухудшая и не принижая далее положения рабочего, сделала его способным производить без увеличения количества и качества усилий именно то, на что тот был более всего способен; не обезличивая его, она позволила ему развивать свои способности и выделяться на общем фоне; дав ему специализацию в соответствии с его естественными качествами, она выделяла и использовала их наиболее полно. Действительно, обществу не безразлично, что производительность рабочего удваивается. А если общество признает, что этот результат получен скорее от перераспределения задач, которые соответствуют естественным способностям работников, то оно будет придавать им значение, считать их более важными, чем возможность легко заменить одного производителя многими другими. Часто отмечали, что главной причиной снижения ценности труда рабочего является то, что в производство можно войти с минимальной технической подготовкой. Больше не готовят учеников, становится все меньше многопрофильных рабочих, знатоков своего дела. Промышленность, какой она предстает сегодня, действительно часто требует от рабочих лишь утомительных и длительных действий, не предполагающих редких природных способностей или сколько-нибудь хорошего образования. Поэтому к большинству рабо-

чих относятся как к деталям или инструментам, взаимозаменяемым в рамках одного вида производства и оцениваемым не столько по индивидуальным качествам, сколько по их соответствию среднему типу.

Чаще всего руководство предприятий предпочитает получить от максимального числа рабочих среднюю производительность, чем очень высокую производительность — от малого числа рабочих. Рабочие хорошо это понимают, и этим объясняется тот факт, что вместо того, чтобы желать дифференциации положений в соответствии с реальной профессиональной ценностью каждого, они принимают идею уравнительной заработной платы, единого уровня жизни для всех членов класса. Если бы вместо того, чтобы стереть различия, промышленники старались их подчеркнуть, у рабочего было бы чувство, что он на своем месте и без него нелегко обойтись. В то же время, вследствие того, что его деятельность соответствовала бы его естественным склонностям, он не воспринимал бы более ручной труд как жертву и тяжкую обязанность. Следуя в этом направлении, он приблизился бы к независимому ремесленнику старых времен: последний составлял с клиентами из города, квартала или же соседних деревень как бы маленькое сообщество, в котором пользовался уважением. Заводской работник, изолированный и принадлежащий к очень узкой категории, не был бы простой незначительной единицей для своего хозяина, промышленников или мастеров: его уважали бы за редкие умения, относились бы к нему как к рабочей индивидуальности. Ведь ремесленник любил свою работу, поскольку долго ей обучался, он проявил себя хорошим рабочим, и его дело носило отпечаток индивидуальности. Точно так же и современный рабочий будет интересоваться своей работой, если сможет проявить свою силу, ловкость, умение и превосходство над другими в определенной отрасли.

Тейлор ожидает, что рабочий класс расслоится, что в нем появится элита, которую составят вовсе не те, кто занят на сложных или тяжелых работах, а те, кто

пройдет жесткий отбор на соответствие их полезных физических качеств промышленному труду и окажется на том месте, где отдача от их труда будет максимальной. От промышленников, от их организационных способностей будет зависеть расширение этой элиты и в то же время увеличение разрыва (в зарплате, роли, уважении, а вследствие этого, в социальном положении) между элитой и массой рабочих, чей труд не будет подобным образом «стандартизован».

Эти предположения основаны на, в целом, достаточно точной критике современной организации промышленности. Работодатели не предпринимают усилий, необходимых для получения наибольшей выгоды от труда и способностей рабочего. Убедившись, что зарплата не понизится, работники в массе своей также стараются уменьшить усилия, поскольку слишком немногие из них интересуются своим трудом и обладают достаточным профессиональным самолюбием, чтобы приблизиться к типу хорошего рабочего. Возможно, что в связи с применением новой системы за счет более строгого, лучше осознаваемого отбора рабочей силы одновременно с увеличением производительности все большее число промышленных рабочих дифференцируется и получит специализацию в выполнении тех задач, к которым они лучше всего подготовлены по своим природным данным. Возможно даже, что значительная часть современного рабочего класса поднимется таким образом до более высокого уровня, будет получать большую зарплату, располагать большим досугом.

Но из этого не следует с необходимостью, что предположенное нами определение рабочего потеряет очертания и что рабочий класс перестанет быть единым, солидарным объединением. Новая по виду концепция функции и положения исполнителей в промышленности, сформулированная Тейлором, интересует нас именно с этой точки зрения. Как нам представляется, невысокое положение рабочего в обществе связано не с тем, что он тратит свою физическую силу на производство

вещей, а с тем, что затраты эти неэкономичны, поскольку либо рабочий, либо бригада, в которую он входит, находится не на своем месте. При условии же его изоляции, предоставления ему работы в соответствии с его способностями есть возможность изменить его до такой степени, что он станет сознательно сотрудничать с инженерами и начальством, будет более тесно связан с ними, чем со своими недовольными товарищами. Но не изменится ли природа его деятельности настолько, что общество в целом более не сможет и не будет ощущать необходимости поддерживать четкую демаркационную линию между рабочими (вне зависимости от их квалификации и производительности) и другими членами общества?

Промышленные рабочие на самом деле испытывают два типа принуждения, очень сильно различающиеся по виду и значимости в общественном сознании. С одной стороны, многие из них вынуждены заниматься ремеслом, проявлять себя в технической деятельности, к которой они не чувствуют никакой особой предрасположенности. Некоторые из тех, кто мог бы выполнять квалифицированную работу, вынуждены оставаться или становиться чернорабочими, а кто-то, кто предпочел бы работу, требующую физической нагрузки, должен выполнять сидячую работу, и наоборот. Помимо этих серьезных различий есть много других нюансов, ощущаемых рабочими. Чаще всего они не имеют выбора и должны подчиняться обстоятельствам или воле, которые не учитывают их индивидуальных особенностей. Но не одним рабочим свойственно испытывать разочарование от того, что все так плохо складывается. Подобные настроения, более или менее сильно выраженные, обнаруживаются во всех классах.

С другой стороны, труд рабочего на длительный период времени помещает человека в состояние изоляции, запрещает ему действия и поступки, которые связали бы его с другими людьми: труд искусственным путем отделяет его от ему подобных. Таким образом, все

рабочие в силу своего положения испытывают и принуждение иного рода: будучи членами общества, они оказываются периодически от него отрезанными в течение по крайней мере половины дня (имеется в виду часть суток, когда человек не спит) — и это принуждение затрагивает только их. Если за счет научной организации производства возможно, давая большему числу рабочих задания, которым они наилучшим образом соответствуют, ослабить для них принуждение первого рода, то сделать то же в отношении второго невозможно. Какими бы они ни были работниками — хорошими или плохими, с душой относящимися к делу или нет, независимо от того, нравится ли им их профессия — все они тем не менее находятся в едином для рабочих положении: все тот же длительный контакт с материей, все тот же временной разрыв всякой связи с обществом. И иногда даже кажется, что в некотором отношении контакт этот грозит стать более тесным, а разрыв — более полным в системе Тейлора, чем в какой-либо иной.

Следует остерегаться довольно часто происходящего смешения понятий. Тем, кто, описывая труд в промышленности, подчеркивает его тяжесть, вызванную необходимостью во время работы постоянно фиксировать внимание на станках и материальных объектах, отворачиваться от человеческого общества, обычно отвергают то, что многие рабочие испытывают достаточный интерес: к своей работе, к используемым инструментам, к преодолеваемым трудностям, к самой материи, с которой они работают, к ее свойствам и формам, к различным стадиям промышленных операций и, кроме того, к физическим качествам (силе, ловкости, выносливости, остроте восприятия, которые от них требуются), — чтобы привыкнуть ко всем этим элементам и переживать, если в силу каких-нибудь причин они вынуждены от таковых отказаться. Образ домашних печей, как постангический мираж, стоит перед глазами оказавшегося без работы рабочего-металлурга. Обработчик кожи и шкур с удовольствием вдыхает запах

дубильных растворов. И часто случается, что рабочие-механики или даже камешники либо землекопы во вне-рабочее время подолгу разговаривают о станках, которые им доводилось собирать, о стройках, где довелось работать, или о проложенных туннелях, возведенных мостах и т. п.

Отбросим даже случаи, когда они упоминают таким образом целое, частью которого была их работа, внешние детали промышленной организации, в которую они некоторое время были включены, и все те замечания, которые имеют под собой общее или любопытство, или любознательность специалиста, простирающиеся за границы их узкой задачи. И все же остается тот факт, что нередко рабочий со всей страстью отдается своему делу, каким бы узким, механическим и грубым оно ни было, работает с удовольствием, с полной самоотдачей; дело иногда целиком захватывает его даже в дни и часы отдыха, становится предметом его разговоров с окружающими и как бы самой субстанцией его социальной жизни. Это неоспоримо. Но это доказывает лишь то, что среди рабочих есть такие, кто действительно находится на своем месте и занимается делом, к которому имеет призвание. Освобождение от принуждения первого вида может быть достаточно сильным источником внутреннего удовлетворения, чтобы рабочие были менее чувствительны к своему низкому социальному положению. Точно так же адвокат или врач, совершивший ошибку при выборе ремесла, может полностью утешиться и не переживать из-за этой ошибки, если для него более важна сама возможность практиковать любую либеральную профессию. Следует даже признать, что уважение общества по отношению к хорошему рабочему может временно стереть и как бы затмить недостаточное уважение по отношению к профессии рабочего в целом. Но это неважно. Часы, проведенные на работе, оказывают на рабочего по выходе с завода в основном негативное влияние: усталость и недостаток способностей к общению вынуждают его удовлетвориться физи-

ческими удовольствиями, опустошают и делают мало-подвижным его сознание. Однако возможно и позитивное воздействие: представления о профессиональных делах продолжают занимать рабочего, питают его интеллектуальную жизнь (впрочем, весьма одностороннюю). Но в обоих случаях его мышление не перестает двигаться по замкнутому кругу: оно ориентировано на ось неживой материи, но не общества.

Нам следует подчеркнуть точное содержание идей, рожденных профессией, в какой-то мере скроенных по ней, по ее мерке, — идей, которые могут на мгновение или же надолго занять мышление рабочего. Мы должны также показать, что невозможно, анализируя либо комбинируя их, преобразовать их так, чтобы они соотносились с рядом чисто социальных представлений. Мы не будем более придерживаться узкой формулы тейлоризма. Рассмотрим всех рабочих, которые по какой-либо причине интересуются своей профессией, думают о ней и часто о ней говорят. Мы могли бы применить к ним название «хороший рабочий». Для опровержения или подтверждения нашего определения рабочего мы должны обращаться именно к ним — ведь они представляют эту функцию в чистом виде. Если неверно, что у рабочего имеется как бы центробежная сила, отделяющая его от общества, если ему присущи даже противоположно направленные силы, приближающие его к обществу и выступающие источником социальной жизни внутри самого рабочего класса, следует прежде всего рассмотреть именно их. Действительно, было бы слишком просто постулировать обстоятельства жизни рабочего, которые не являются для него существенными. Речь идет, к примеру, о том, что многих рабочих легко отвлечь от выполнения их задачи, что они используют всякую возможность пообщаться со своими товарищами, обмениваться с ними несколькими фразами, не относящимися к профессиональным делам, или о той особой близости отношений, которая зарождается между ними, о солидарности, возникающей оттого, что они каждый день

встречаются в одном месте, вместе приходят на завод и уходят с него. С другой стороны, если их объединяют интересы, если дебаты о продолжительности работы и зарплате оказываются в их группах поводом к весьма интенсивным коллективным чувствам, не следует думать, будто исчезает различие между их положением наемного труженика и их положением рабочего. Здесь мы попадаем в совершенно иную область представлений, которые также обнаруживаются в очень сходных формах в других классах, что объясняет, например, как люди, не занимающиеся ручным трудом, могут примыкать для защиты своих экономических требований к организациям рабочего класса — и из этого отнюдь не следует, что они становятся его частью. Итак, отбросим все то, что занимает, быть может, в умах многих рабочих больше места, нежели представления, характерные для их профессии. Мы обратимся к последним, а также к тем из рабочих, которые полностью поглощены таковыми, и зададимся вопросом: имеют ли эти представления какое-либо социальное содержание и способствуют ли они процессу вхождения рабочего в общество?

В некоторых случаях рабочий воображает потребности, которым отвечает изготавливаемый им предмет, и его мысль переносится на совокупность коллективных представлений групп потребителей. Точно так же тот, кто покупает изготовленный предмет или использует его, имеет расплывчатое представление о количестве вложенного в него труда. Некоторые экономисты даже определяли стоимость через количество рабочего времени, но они заблуждались: понятие стоимости является значительно более сложным. В действительности люди, не являющиеся рабочими, думают почти исключительно о полезности (понимаемой в очень широком смысле, куда входят многие социальные свойства) приобретаемых вещей, тогда как рабочий помнит о времени и усилиях, которые он затратил. Если бы он обеспокоился желаниями и вкусами своих клиентов, он открыл бы для себя лишь незначительную часть всей совокуп-

ности социальных потребностей; и у него не было бы никакого основания, чтобы перейти от этой незначительной части к чему-то большему — этой дорогой нельзя взойти от ремесла к обществу.

До сих пор мы рассматривали рабочего как члена человеческой общности, вынужденного обращаться к материи. Нам казалось, что природный механизм завладевает рабочим, подчиняет своим законам часть его организма. Но в действительности его деятельность сохраняет органический характер как в принципе, так и в деталях. И если навыки рабочего со стороны напоминают движения машин, то лишь потому, что он использует уже имеющиеся устремления, которые, может быть, есть не что иное, как инстинктивные силы. Точно так же можно было бы утверждать, что материальная природа воздействует на организм как стимулятор и что, соприкасаясь с ним, тот развивает способности, имеющиеся у него в зачаточном состоянии. Чем более сложные, новые, труднодостижимые и постижимые свои линии являет человеку материальная природа, тем более человеческая природа должна расширяться в указанном ей направлении. Но, расширяясь, она не теряет своего человеческого характера. В противном случае, если бы человек испытывал только воздействие природы, он мог бы выучиться любой профессии. И мы бы так не удивлялись, встречая порой рабочего, который заменяет хватку инструментов, отсутствие станков какой-то особой интуицией, сообразуясь с которой, слесарь по очень смутным признакам догадывается о форме ключа, а рабочий-металлург, ошупав прокат с помощью длинных щипцов и взглянув на его цвет, определяет степень ковкости. Безусловно, рабочие, как и все люди в целом, в этом плане неравны.

Но ничто не мешает нам признать: зародыш этих способностей есть у каждого человека, являясь одним из элементов человеческой природы. Так, поскольку редко все способности встречаются у кого-то в полном объеме, при специализации и объединении в группы по специ-

альностям каждая профессиональная категория составляет словно бы совершенно отдельный орган в человеческом обществе. Предположим, рабочие осознают то, что являются посетителями одной из функций своего вида, развитой у них в большей степени, и они встречают другие органы общества, точно так же дифференцированные и редкие. Нельзя ли тогда сказать, что их коллективное представление об обществе в целом и о его связях с их группой происходит из рефлексии о профессии? Со своей стороны, общество не имеет явных причин не признавать частью своей природы функцию, которая ему полезна и которая выражает один из его аспектов. Если в основе каждого вида деятельности рабочего, таким образом, лежит инстинкт или совокупность инстинктивных устремлений, не обретет ли вновь рабочий свое место среди человечества?

Действительно, социологи полагали, что низкое положение некоторых профессий, в частности, связанных с ручным трудом, обусловлено не столько природой профессии, сколько низким уровнем тех, кто эту профессию представляет. Выражение «нет бессмысленных профессий, есть бестолковые люди» можно было бы переформулировать так: «Есть плохие профессии, потому что есть плохие рабочие». Неблагоприятное суждение о ручном труде на сегодня закрепилось, поскольку считалось, что он наиболее легок, не требует высокого качества исполнения. А условия оплаты и жизни регулировались с учетом того, что подходило рабочим низших категорий. С того момента, когда будет признано, что в ручном труде, как и в других его видах, нужно производить отбор, каждая способность будет применяться там, где требуется. К чему сохранять тогда старую иерархию, в которой рабочие профессии занимают более низкое положение? Все ремесла и профессии равны, если люди, ими занимающиеся, развивают активность и ловкость, которые соответствуют этим профессиям в природе человека. Хорошие рабочие чувствуют это, когда описывают свою профессию, объясняют,

какие качества для нее требуются, тем, кто не имеет к ней отношения. Они отнюдь не становятся ниже, напротив, кажется, что они растут в глазах окружающих и в собственных, они защищают достоинство своей отрасли, когда говорят о своих трудностях. Им удастся найти отклик у многих, и любой человек проявит горячий интерес к ручному труду, если тот требует большой силы, выносливости, восприимчивости органов чувств, ловкости, изобретательности и чувства меры. А как же иначе, если в узком кругу тех, кто им не занимается, культивируются, тем не менее, те же инстинктивные силы — в играх и спорте? А порою некоторые, даже без крайней необходимости, не задумываясь, надевают спецовку и работают руками — как это делают инженеры или художники.

Из приведенного анализа следует уяснить, что нужно различать лежащие в основе промышленных профессий способности и сами профессии. Присущие человеку способности ценятся обществом, но относится ли это также и к профессии? Мы так не думаем. Любая деятельность приобретает ценность в глазах живущих соображая людей лишь в той мере, в какой она непосредственно привносит в их жизнь элементы новых отношений. Они ценят физические или умственные качества только тогда, когда те улучшают социальные способности их обладателей. Например, физическая сила, ловкость, мужество на войне или на охоте обеспечивают их обладателям особый престиж или, во всяком случае, большое уважение. Но эти качества не привлекают внимания, проявляясь в цехе, и никакого вознаграждения не получают. Какими бы редкими и замечательными ни казались природные или приобретенные способности ремесленника компетентным людям, если только они сразу не замечают социального применения этим способностям, последние тотчас теряют в их глазах свою ценность. Это так естественно, что сами рабочие этому не удивляются. Хотя общество по праву считает всю

человеческую природу своим достоянием, на самом деле оно не обращает внимания на ту ее часть, которая тесно связана с действиями и ощущениями индивида, но не является объектом коллективных представлений или оценок. Поэтому рабочим очень трудно абстрактно представить свои специфические способности, мысленно отделив их от условий их использования. Материальная природа и ее сопротивление не являются просто стимулом к пробуждению и заострению той или иной способности к действию. Однажды возникнув, эта способность не развивается сама по себе — она быстро вписывается в профессиональные рамки. Поэтому альпинисту, у которого не кружится голова, аплодируют, им восхищаются, но едва ли удивляются, увидев рабочего, кроющего крышу, который также не испытывает головокружения.

В то же время, вызывая из неисследованных глубин человеческой души дремлющие скрытые инстинкты, силы, обогащающие человеческую природу, профессия их сковывает, в какой-то степени заражает механизмом, и иногда пугает опытный взгляд, чтобы разглядеть за внешним сходством движений и поведения природные качества, отличающие искусного рабочего от рабочего, заучившего определенные навыки и не имеющего спонтанности истинного мастера. Конечно, такие качества или, по крайней мере, некоторые их компоненты развиваются иногда под влиянием общества, но таковыми они являются по своему существу, и общество может лишь воспользоваться ими и наложить на них свой отпечаток. Физические способности членов общества действительно являются объектом социальной оценки, только когда группа признает, что, при условии обретения ими определенной формы, они увеличивают объем и интенсивность ее жизни. Но как раз тогда они ничем не должны походить на деятельность рабочего. Когда ученики или молодые рабочие в выходной день играют в футбол в пригороде Лондона, в их движениях и пове-

дении чувствуется влияние профессии: движения в игре в какой-то степени обретают форму их движений в цехе. Но если в профессиональной деятельности воздействие на объект или материю является целью, а качества и способности выступают лишь средствами, в играх и упражнениях развитие тела и физических способностей является целью, а материальное действие рассматривается в качестве возможности и средства достижения этой цели. Так, при более разумном отборе можно постепенно проводить специальную подготовку рабочих для выполнения ими задач, которые подчеркивали бы их природный дар. Но поскольку это не может быть главной целью производства (для которого главное — давать продукцию при помощи определенных инструментов), то рабочий, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств — даже когда он на своем месте — должен приспособливаться к своей задаче, поскольку ее нельзя точно подогнать к его склонностям и натуре. Справедливо и то, что в обществе возможности и способности людей не всегда могут проявиться и что упражнения, игры и спорт, где используются лишь некоторые способности, в определенном смысле кроют на свой лад ткань нашего физического и ментального существа. Но это действие исходит от общества: деформация или трансформация наших устремлений является как бы знаком, гарантирующим их легитимность. Даже если рабочий по мере вступления в более тесный контакт с материей реагирует на нее более обширной и глубоко расположенной частью своей человеческой природы, своего «человеческого», то как только эта реакция принимает профессиональную форму, она изолируется от социальных устремлений и действий.

Под другим углом зрения труд рабочего являет нам новый ряд идей и рассуждений, навеянных профессией, которая представляется ориентированной на потребности общества. Рабочий не просто противопоставляет свои силы вещам. Прежде всего, ему помогают инструменты и станки, с другой стороны, он опирается на

совокупность технических представлений (notions)⁴. Мы видели, что весь этот аппарат функционирует ради упрощения прямого воздействия на материю, придания ему большей эффективности, в чем, собственно, и состоит труд рабочего. Рабочий, конечно, может не интересоваться всем тем, что не представляет пользы для выполнения им его задачи. Но часто его рефлексия направлена на технику отрасли, в которой он работает. И если ему приходилось заниматься многими видами работ, если он сменил несколько заводов, где практикуют старые методы или были введены какие-то усовершенствованные, если он обладает к тому же некоторыми научными познаниями и не лишен ума — во всех этих случаях он может возвыситься до концепций, приближающихся к тем, с которыми работает инженер или даже ученый.

Когда рабочий говорит о технике своей профессии, он способен видеть больше, чем только работу бригады, частью которой он является. Если сравнить в этом смысле рабочего современного завода и средневекового ремесленника, выявляется следующее. В то время, когда техника была мало развита, доля ручного труда в производстве оставалась значительной, инструменты и способы производства менялись в зависимости от профессии, а производство было основано, главным образом, на обычаях и традициях. Каждая корпорация работала под покровительством определенного святого, и хотя все часовни относились к одной церкви, каждая освещалась своими витражами и свечами, имела культ и эмблемы,

⁴ Используемый здесь термин «*poïon*» означает и «понятие», и «представление». Выше он уже употреблялся (наряду с «*représentation*») и, в соответствии с контекстом, был переведен вторым словом: речь шла об обыденных, коллективных, групповых представлениях. Здесь он фигурирует в контексте, для которого более привычным вхождением является «понятие», ниже речь пойдет также о научном знании. Это общее означающее для двух традиционно разделяемых значений следует иметь в виду при чтении настоящего текста: для автора научное понятие является одним из видов представления, и в обоих случаях речь идет о различающихся по форме, но единых по природе фактах коллективного сознания. — *Прим. перев.*

совершенно не похожие на другие. Сегодня же одни силы — пар и электричество — приводят иногда в действие станки в самых различных отраслях промышленности. Везде применяют одни и те же приемы, несколько измененные, но не настолько, чтобы нельзя было узнать совпадение в главном. Даже если станки различные, опытный рабочий найдет между ними немало аналогий: они основаны на одном и том же принципе, построены на соединениях одного типа. С другой стороны, если старые способы производства чаще всего не менялись в течение долгого времени, современная промышленность есть непрерывный прогресс, и многие рабочие быстро понимают, что он состоит в повсеместном внедрении расчетов и что всякое практическое упрощение основано на теоретическом усложнении, то есть на решении новых научных задач. Тем самым перед мышлением рабочего открывается один из путей, ведущих в самое сердце общества. Почему бы ему не следовать по этому пути?

Здесь речь идет только о той науке, которая ищет законы неорганической природы, о науке, на которой до сих пор зиждется развитие промышленности. Неоспорим тот факт, что ученые и инженеры принадлежат к рабочему классу и что понимаемая таким образом наука исключается из круга социальной деятельности. Мы не заблуждались, рассматривая станки и организацию промышленности как непосредственное творение общества. Как, впрочем, различать здесь теорию и практику? В одном смысле, вся наука практична, поскольку математику можно рассматривать как обширный резервуар, в котором содержатся все возможные правила и формулы: чтобы идти навстречу фактам, их достаточно комбинировать. А в свою очередь, любое практическое применение интересует ученого, поскольку оно — опыт, всегда выявляющий новое. Между техническими рассуждениями рабочего и размышлениями ученого существует преемственность, не так ли? Разве не исключается в том и в другом случае всякая мысль о нематери-

альной деятельности, о соотношении между неизмеряемыми силами или величинами? Где же тогда пролегает граница между эмпирическими знаниями и наукой?

Но коль скоро это так, противопоставление, существующее между порядками материальных данных и социальных отношений, не является абсолютным. Во всяком случае оно содержит обширные исключения, иначе было бы непонятно, как оно могло играть первостепенную роль, которую мы ему приписали. Действительно, отчего бы обществу вести себя иначе по отношению к тем, кто работает над познанием материи, чем по отношению к тем, кто ее перерабатывает? Заметим, что отношение к ученому во многих смыслах действительно напоминает таковое к рабочему. Конечно, наука пользуется знаками, которые представляют идеи или операции и которые вбирают в себя результат всего труда за время существования человечества. Но весь этот интеллектуальный аппарат в науке играет ту же роль, что и станки в промышленности, а роль ученого — не просто их созерцать и понимать, но искать способ их применения к новым аспектам материи. Иными словами, система научных понятий не растет сама по себе, за счет автоматической дедукции и своего рода спонтанной генерации: собственно, дело ученого, как и инженера — одновременно самое трудное и мучительное, — обращать свое внимание на факты и элементы реальности, которые ему являются в сыром виде, когда они еще не переведены в формулы; к этим фактам мышление еще должно обратиться, на них оно должно остановиться, пока не найдет подход, чтобы их вычислить и усвоить.

В такие моменты ученый обращен к материи точно так же, как и рабочий, занятый ручным трудом. Более того, чтобы представить себе неорганические вещи и их законы, мышление принуждено идентифицировать себя с ними. Проницательная психология полагает, что она выявила условие, которое неизбежно встает перед математиком, мыслящим символами, и перед физиком, проводящим наблюдения или опыт. Математическое понятие

сообщает сознанию, в котором развивается, свою однородность и дискретность. Внешне математик поднимается до мира идей и духовных концептов. В действительности же, рассуждая о фигурах и числах, он обращается к наиболее застывшим, максимально удаленным от жизни, самым абстрактным, наименее человеческим из материальных вещей. Поэтому можно было сказать, что на всех ступенях научной работы ученый движется в направлении, противоположном тому, в каком людей несет жизненный поток (поскольку жизнь человека обретает всю свою сущность в отношениях с другими, поскольку осознать себя — значит посмотретья в себя, в свое другое «я», ибо нет существенной разницы между представлением о том, чем было «я», и предположением о том, что есть другие), то есть в направлении, противоположном ходу социальной жизни.

Однако между научной деятельностью и даже деятельностью инженера, с одной стороны, и трудом рабочего, с другой, общество устанавливает границы. Вероятно, оно неточно представляет себе функцию человека науки. Но прежде, чем признавать, что оно совершает столь серьезную ошибку — с такой безоглядностью, в течение долгого времени и повсеместно, — следует рассмотреть, как общество понимает науку. Известно, что всякое явное коллективное заблуждение такого рода содержит долю истины и что общество не может бесконечно долго пребывать в иллюзии, поскольку объективные противодействия указали бы ему на его заблуждения — оно не может жить, основываясь исключительно на фикциях. Впрочем, совершенно очевидны опасности, которые угрожали бы обществу, если бы оно поощряло чуждые ему виды деятельности, которые хотя и увеличили бы его влияние на материальные вещи, но постепенно поглотили бы его лучшие элементы, уменьшили бы его жизнеспособность. Действительно, ученых очень часто преследовали. Но даже тогда их не смешивали с рабочими или членами низших классов. К ним относились скорее как к еретикам, которые обращали про-

тив общества способности и авторитет, которые могли бы приписать ему пользу.

Ученый, замкнувшийся в абстрактном созерцании фактов, обязан прилагать усилие, чтобы на некоторое время отвергнуть все идеи, гипотезы, ранее выработанные научные понятия, которые рассеивают его внимание. Рабочему гораздо легче ограничивать свое внимание словно бы естественно, теми свойствами вещей, которые подвергаются воздействию его руки или станка. Напротив, ему надо бороться и поуждать себя, дабы подняться от фактов до интеллектуальных концепций, которые в научной форме выражают природу и законы. Оказывается, что в силу этих различий отношение ученого и рабочего к фактам имеет лишь внешнее сходство. Разум ученого особым образом выходит за рамки предметов, на которые он направлен, и переходит на порядок идей, которые не являются простым воспроизведением конкретных вещей, но выражают одновременно все, что человеческая общность может узнать об их отношениях между собой и о свойствах их элементов. Если бы работник был способен уяснить и связать воедино свои интуиции и наблюдения в отношении станков, используемых в промышленности сил, сырья и его переработки, то в таблице или системе, которые он составил бы на основании полученных данных, он нашел бы лишь то, что сам туда привнес — свой индивидуальный опыт. Когда Лейбниц говорит, что ремесленник способен в некоторых случаях обрести теорию своего искусства, под теорией он понимает систематизацию правил и практических приемов, позволяющую понять их соединение в единичном случае и для конкретного применения, но не науку (то есть совокупность понятий, одновременно очень богатых и очень общих) — творение, которое долго совершенствовались ученые всех времен, в котором на соответствующее место помещен не только весь прошлый опыт и рефлексия, но также поставленные и еще не решенные проблемы и даже память о старых ошибках и отвергнутых интерпретациях.

Нужно не дать ввести себя в заблуждение простоте, в какой-то мере прозрачности наиболее важных научных понятий, в которых можно увидеть обесцвеченный отпечаток индивидуального опыта и представить себе, что их просто «извлекли» из материи. Как вне абстрактной формулировки закона, так и в ее рамках следует одновременно обратиться к другим положениям, которые находят в ней точку опоры и с которыми она соединяется — и не только к опыту индивидов, которые их формируют, но и к тому социальному основанию, вокруг которого эти положения группируются, а также ко всем предыдущим верованиям, которые они перекрывают. Вся совокупность этих положений — сознательно или нет — размещается в мышлении ученого. Он прекрасно осознает, что плодотворность научного закона исходит из коллективной дисциплины, налагаемой этим законом на всех работников науки, и одновременно из сосредоточения в нем всего опыта и всех попыток объяснения общества, действенных еще и сегодня, — как в человеке, с которым его сравнивал Паскаль.

Здесь мы получили представление о деятельности ученого в том, что касается только инертной материи. В отличие от ученых, философы полагают, что можно познать материю лишь при условии отождествления себя с ней в сознании и передачи последнему ее устойчивости, неподвижности и в какой-то мере протяженности. По их мнению, для обретения ясности недостаточно, чтобы представления о материальных свойствах лишь сменялись в разуме. Образ, как он воспринимается единичным сознанием, должен быть заменен понятием, каким оно может быть представлено в совокупности сознаний. Суть этого преобразования не в том, что исчезают некоторые части образа, которые можно было бы назвать индивидуальными, то есть связи этого образа с обстоятельствами, в которых данный индивид ведет наблюдение (данные обстоятельства зависят вовсе не от внешней природы, но от психологического состояния наблюдателя, от того, что в его памяти сохраняются

воспоминания, мысли и т. д.), — так, обедненный образ утратил бы всякую связь с мышлением и более не мог бы ничего дать никакому сознанию. Напротив, следует сделать эту психологическую рамку более жесткой, расширить и сделать ее более удобной для использования. Однако же непонятно, как этого достичь, если придерживаться индивидуального опыта. На самом деле, надо, чтобы была задана если не сама эта рамка, то, по крайней мере, элементы, из которых ее можно создать. Иными словами, разум ученого должен обращаться к материи, лишь имея на вооружении эти элементы. Но откуда ему их взять, как не из коллективного мышления?

Во все времена люди были связаны с материей, и представления о ней они получили достаточно рано. Многие факты позволяют сделать вывод о том, что далеко не сразу стали четко различать природу человеческую и материальную, что, если можно так выразиться, рамка занимала тогда гораздо большее место, нежели сама картина, или же что последняя сильно изменилась под воздействием первой, заимствовав ее цвет и облик. Если современная наука и не похожа на пропитанные религией и метафизикой концепции того времени, нельзя забывать, что она произошла от них, и что хотя ее основополагающие представления изменились, она по-прежнему стоит перед необходимостью коллективного понимания и применения. Философ, который сравнивал науку с «огромным глазом, связанным с гигантскими руками», скорее должен был бы сказать так: «бесчисленные глаза в сочетании с огромным количеством рук, при этом также связанных между собой». Разница значительная, поскольку первый образ — более ограниченного масштаба — подходит скорее рабочему, по крайней мере, в том смысле, что хорошо описывает его изолированность, и тот факт, что его ощущения и действия образуют как бы замкнутый круг.

Мы видим, насколько расширяется сегодня угол зрения: каждый глаз наблюдает не только за тем, что может помочь или повредить индивиду, — согласуясь

с другими, он узнает уже виденное ими из того, что способно принести пользу или вред не только каждому члену группы, но и самой коллективной жизни и развитию. Мы замечаем, как своеобразно расширяется область «полезности», охватывающая не только физические потребности индивида, но и все, что может удовлетворять коллективные потребности любого рода, — формально из нее не исключается ничто из того, что существует или может существовать. Так же взгляд на смысл и содержание науки о неживой природе был бы крайне упрощенным, если бы мы сводили науку к переводу в абстрактные формулы восприятий материальной природы, полученных сознанием большого числа промышленных рабочих, то есть к теоретическому выражению практики — как если бы надзор за разработкой теории поручили группе специалистов, которые, обратившись к материи для выявления отдельных ее аспектов, использовали идеи из общего фонда коллективных представлений.

Так, даже если рабочий будет интересоваться технической стороной своей профессии, ему будет закрыт доступ к науке из-за изначального недостатка культуры. Отдельные изобретения, некоторые практические усовершенствования, порожденные инициативой и изобретательностью одного из них, могут оказаться случайностью, то есть сочетанием исключительного дара внимания и расчета у человека из низшего класса. Но, как правило, если рабочий иногда хочет расширить свой горизонт, приобщиться к исследованиям организации его отрасли промышленности, он хорошо чувствует, что предварительным условием научного образования должен быть временный отказ от профессии, от завода. Он также прекрасно понимает, что предметы, с которыми имеет дело, станки, за работой которых он следит, силы, действие которых он регулирует, ставят задачи для его разума, но узость его собственного горизонта мешает ему проникнуть в природу этих вещей, оставляя слишком много пробелов в его эмпирических знаниях; он чувству-

ет, что его представления являются усеченными и неполными и что он почти ничего не может из них извлечь. Он похож на студента, который мог бы оказаться в лаборатории и работать под руководством ученого, но не понимал бы при этом смысла собственных действий. Ему не суждено узнать целое, частью которого выступает его узкоспециализированная и однообразная работа. Впрочем, заявление о промышленной организации научной работы представляется нам противоречивым, поскольку опыт плодотворен лишь при условии, что на него постоянно проецируется весь свет науки, и проводить его может только ученый, а не тот, кого можно было бы назвать чернорабочим от науки. Точно так же и рабочий работал бы плохо, если бы был слишком любопытным и если бы его теоретические замыслы мешали бы его движениям, расстраивая рефлексы или хорошо отрегулированные механизмы, внося в автоматизм его действий принцип сомнения и неуверенности.

Подводя итог, признаем, что человеческие общества препоручают функцию овладения материей и переработки ее в своих целях определенной совокупности своих членов, которые для выполнения поставленной перед ними задачи вынуждены оставаться в контакте с вещами, замыкаться в них и отдаляться от остальной человеческой общности. Нам могут возразить, что такое определение исполнителей в промышленности неприменимо ко всей совокупности рабочих. Да, оно справедливо для какой-то их части, для тех, кому дают какое-то задание, не учитывая их природные склонности, — и таких в наше время еще много. Но можно представить и другое состояние промышленности, при котором рабочие — даже те из них, кто выполняет работы, внешне не кажущиеся специализированными, — получали бы специализацию в зависимости от своих способностей, чтобы при тех же затраченных усилиях они достигали бы максимума производительности и чтобы работники, находящиеся на своем месте, сразу бы выделялись среди всех прочих. Именно они, кого мы называем хо-

рошими рабочими, способны проявлять интерес к своей профессии, либо в форме внимания к личным и человеческим качествам, выявляемым данной профессией, либо в форме рефлексии о технике, фактах, материальных свойствах вещей, которая возвышает их до научного уровня осмысления и понимания. Казалось бы, именно в тех случаях, когда функция рабочего предстает в некотором роде чистой и когда рабочий наиболее тесно связан со своей профессией, он мог бы быть — с точки зрения этих двух обстоятельств — ориентирован на общество, из которого мы его как будто исключили.

На это возражение мы отвечаем, что из нашего определения рабочего класса ни в коей мере не следует, что все рабочие в равной степени должны воспринимать работу в промышленности как тяжелую обязанность. При лучшем отборе, когда физические операции отвечают их возможностям, некоторые рабочие могли бы найти в своем труде источник индивидуального удовлетворения, причем достаточно сильный, чтобы менее глубоко переживать свое низкое социальное положение. Но само положение от этого не изменилось бы, и удовлетворение такого рода отнюдь не привело бы к возобновлению каких-либо контактов с обществом, так как хорошие рабочие от него так же отрезаны, как и прочие. Можно было бы предположить, что борьба против материн выступила бы на первый план в заботах общества, что оно уважало бы, главным образом, человеческие возможности, которые позволяют одерживать в ней победу. Но группы, где сохраняется такой порядок ценностей, принадлежат к примитивным, малодифференцированным типам. В наших же обществах способности имеют ценность в силу того, что они усиливают связи, объединяющие членов коллектива, и позволяют им таким образом приумножить точки соприкосновения между ними и другими людьми. Как таковые, качества рабочего увеличивают власть человека над материей, но, будучи развиты в этом направлении, в иных отношениях они остаются бесполезными.

Тем не менее иногда можно обнаружить в них скрытую силу человеческой природы, инстинкт, который обязан своим рождением только материи. Но для того, чтобы качества рабочего могли хоть в какой-то мере превратиться в социально полезные, их следовало бы избавить от своего рода оболочки, каковой является профессия, или найти в ряду видов социальной деятельности (в узком смысле) формы, напоминающие те, что они получили в промышленности. Так, в начале средних веков в благородный класс воинов интенсивно рекрутировали простолюдинов⁴, поскольку такие качества, как сила, выносливость, мужество сходным образом проявлялись в сходных действиях как в низших слоях феодальной иерархии, так и в самых высших. Функция воина, с небольшой разницей, предполагала физические склонности примерно того же рода, что находили свое применение впе «профессии войны» наряду с относительно несложными социальными качествами. В наших обществах дифференциация между этими двумя видами труда — ручного и неручного — зашла чересчур далеко и имеет слишком давнее происхождение, чтобы можно было заменить без полного переобучения простую механическую силовую работу рабочего на комбинаторную силовую инженера. Точно так же и между эмпирическими знаниями и рассуждениями о профессии, до которых может подняться рабочий, и теоретической и практической деятельностью человека науки нет общей меры или различия только в степени, как нет и преемственности.

Конечно же, человеческий разум не породил науку сразу же в организованном виде; вероятно, вначале она была обусловлена практическими потребностями людей и их первыми усилиями по овладению материей и ее преобразованию. Импульс, переданный таким образом разуму, исходил от вещей: по мере того как люди сталкивались с сопротивлением различных аспектов мате-

⁴ Esmein. Histoire du droit français. 10 éd. P. 222–223.

риальной природы, последняя периодически взывала к нашим интеллектуальным возможностям, пробудив и сориентировав их. История науки знает немало примеров открытий, вызванных к жизни действиями подобного рода, инициативой или удачной мыслью некоторых ремесленников. Не вступая в контакт с материальной природой, наука не могла бы продвигаться вперед. Но научная деятельность, которая расширяет горизонт ученого до границ коллективного опыта, побуждает его постоянно переходить от одного опыта к другому, от одной точки зрения к другой, стала все более отличаться от деятельности рабочего, которая концентрирует и приковывает внимание индивидуального работника к четко очерченной последовательности материальных фактов, выделенных среди множества прочих во имя предпочтений и практических навыков людей. В отличие от целой системы станков и всей промышленной организации, которая так же коллективна, как наука, труд рабочего остается индивидуальным в последовательности, которая образована изначальными свойствами материи, а также действиями и усилиями труженика. Пределов [этой последовательности] не покидает никакой элемент, в отличие от того, что происходит со всяким научным понятием. Иными словами, как бы прилежно ни занимался рабочий своей профессиональной деятельностью, он не найдет в ней ни одной грани, которая отразила бы социальную деятельность, то есть ту, в которой общество узнает себя.

*Характеристики средних классов (1939)**

При изучении политических организаций, в особенности парламентского режима, предполагающего наличие нескольких партий, иногда задаются вопросом, какого количества партий достаточно для его нормального функционирования. Чаще всего сходятся на том, что необходимы, как минимум, две партии: правительственная и оппозиционная. Подобный вопрос встает, и когда речь идет о классовом режиме. Сколько классов должно быть в нем?

Этот вопрос возникает, когда мы приступаем к изучению средних классов. В наших обществах существуют четко определенные группы, которым не отказано называться классами: буржуазия, рабочий класс, дворянство. Под названием же «средние классы» (кстати, употребляемом то в единственном, то во множественном числе) понимается довольно разнородная масса, включающая в себя множество элементов. Здесь и встает вопрос: а представляют ли они собой группу, заслу-

* Опубликовано в: Inventaires III. Les classes moyennes. Paris: Alean.

живающую названия класса? Самое главное: нужен ли такой промежуточный класс? Почему бы не быть всего двум классам: классу богатых и классу бедных, классу высшему и классу низшему — тем, которые мы постоянно встречаем в разные эпохи под разными названиями?

Когда мы рассматриваем историю классов, нас поражает то, что во все времена, при всех состояниях цивилизации существовали не только высший и низший классы, но также один или несколько промежуточных. В античной Греции, как мы знаем, был высший класс евпатридов, евгениев — класс людей высокого происхождения; у римлян были патриции, представляющие наиболее древние семейства. В нижней части социальной лестницы обеих цивилизаций был низший класс — рабы. Но мы также констатируем, что между этими двумя располагались и другие классы. Достаточно рассмотреть различные учреждения Греции, чтобы увидеть, что либо на основании богатства, либо должностей во все времена выделялись различные социальные позиции (gangs). В римском обществе наблюдалась та же картина, и число классов даже увеличивалось по мере продвижения вверх по лестнице: на вершине были собственно патриции, внизу рабы, а между ними промежуточные классы — всадники, плебеи, освобожденные рабы и ряд других.

К началу истории современных европейских народов, при феодальном режиме, выделились два четко определенных класса: дворяне и крепостные, но были также и простолюдины, или свободные крестьяне (вилланы). Конечно, между крепостными и простолюдинами различие было не очень четким. Эсмен в его «Элементарном курсе истории французского права» пишет, что простолюдины не имели права на привилегии дворян, а во многих отношениях с ними обращались как с крепостными; так что слово «виллан» в текстах XIII века относилось как к сельским простолюдинам, так и к крепостным. «Во всяком случае, — добавляет он, — оброк

и барщина были столь же обязательными для простолюдинов, как и для крепостных». Однако юридически на них не распространялись ограничения, касающиеся крепостных: *формарьяж* (*formariage*) и право «мертвой руки». Первое происходит от *foris maritagium* — запрет для крепостных сочетаться браком со свободными или принадлежащими другому сеньору без особого на то разрешения. Право «мертвой руки» означает, что крепостной не имел права передачи своего имущества: он мог завещать его богоугодным заведениям, но не передать по наследству (поскольку иногда он мог обладать небольшим земельным владением). Эти два ограничения не распространялись на простолюдинов. К тому же они могли, в отличие от крепостных, свободно выбирать место жительства. Этого достаточно, чтобы утверждать, что класс простолюдинов и «вилланов» в городах и в сельской местности (еще не существовало различия между деревней и городом) представлял собой действительно промежуточный класс.

Если мы двинемся дальше по ходу истории, приблизившись к нашему времени, то увидим, что для периода средневековья характерно различие города и сельской местности. Возьмем, к примеру, городское общество как больших, так и малых городов. Временно забудем о дворянстве. Не будем думать ни о крепостных, ни о крестьянах, чье положение остается подобным крепостной зависимости. Итак, перед нами городское общество, в котором, на первый взгляд, образуется хорошо очерченное социальное единство. Хотя среди жителей различают две категории: богатые торговцы и ремесленники, которые выполняют более значительные функции в сравнении с другими, а также ремесленники рангом пониже. В городском законодательстве Флоренции различали *artes majores* и *artes minores*.

Все ли этим ограничивалось? Нет. Обратимся к тексту английского историка Эшли. «К середине XIV века появился рабочий класс, если это слово понимать в том

смысле, которого оно не имело раньше. Теперь стало возможным найти определенное количество рабочих, которые не были ни учениками, имеющими договоренность с хозяином на период обучения, ни хозяевами-ремесленниками; то были люди, которые, побыв в ученичестве, поступали на службу к ремесленнику, но никогда не становились хозяевами. Вскоре обнаруживаются признаки роста этого класса: даже у обычного поденщика появляется возможность обзавестись своим хозяйством после нескольких лет работы. Поэтому можно говорить, что в некоторых отраслях промышленности с конца XIV века, а для большинства на полвека (или более) позже, появился рабочий класс — в том смысле, который мы придаем этому понятию в наше время»¹.

Если внизу иерархической лестницы имелся класс людей, работающих без надежды когда-либо стать хозяевами, а сверху — городских патрициев, который объединял в своих рядах самых богатых ремесленников и торговцев, получается, что оставался и промежуточный класс, не сводимый к двум указанным. Следует добавить, что к этим элементам промышленной и коммерческой групп прилегал весь низший персонал королевской феодальной, а также провинциальной и муниципальной администрации: писцы, судебные секретари — те, кто повсеместно отвечал за меры по исполнению решений; они возвышались над массой крестьян и рабочих культурой, оплатой, но занимали явно низшее положение в сравнении с собственно администрацией: судьями, прокурорами, начальниками администрации. Данная группа во все времена имела значительное влияние. Именно ее представители появляются во время Парижской коммуны в комитетах, формируемых на всей территории; это они будут формировать общественное мнение, так как могут читать газеты; они будут обеспе-

¹ Ashley. Histoire et doctrines économiques du Moyen Age (traduction française). T. II. P. 127.

чивать выполнение предписываемых новым режимом мер, позволивших заменить режим старый. Добавим, что именно в кругах этих маленьких людей, составляющих тем не менее благодаря своему числу и роли значительную часть общества, от старого режима к новому перейдет дух и множество традиций, позволивших обеспечить преемственность: дух судов, канцелярий, контор. Мы вновь встречаем их в современных обществах под именем мелких чиновников. Это значительное социальное образование. Оно будет все расти — и тому есть причины, — поскольку такой персонал необходим для функционирования коммерции, промышленности и администрации, для выполнения принятых решений. По мере роста органов коммерции, промышленности, администрации этот средний и промежуточный класс должен увеличиваться численно, а также по силе воздействия.

Теперь попробуем дать ему определение. Здесь мы оказываемся в некотором затруднении, поскольку он представляет собой группу, границы которой не вполне ясны, группу, состоящую из столь различных элементов, что между ними не сразу можно обнаружить общее. Возьмем определение, данное Франсуа Симиапом: «Под средним классом следует понимать устойчивую категорию людей, взятых вместе с семьей, имеющих доходы, а часто и земельное владение среднего уровня, группу, занимающую промежуточное положение между высшим социальным классом и классом рабочих и служащих. Эта категория скорее относится к населению городов, в особенности малых. Данная группа включает высшие слои ремесленников, малых и средних коммерсантов и промышленников, часть представителей либеральных профессий и средних чиновников»².

Заметим, что в этом тексте речь вообще не идет о крестьянах. Напротив, Карл Маркс в «Коммунистическом манифесте» включает в средний класс мелких про-

² *Simiand F. Cours d'économie politique. 1928–29. P. 170.*

мышленников, мелких коммерсантов, крестьян (правда, в других произведениях, например, в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» он разделяет крестьян и мелкую буржуазию, как если бы они являли собой независимые социальные категории). В самом деле, есть важное отличие между взятыми в совокупности сельскими и городскими группами, которые противостоят по стилю жизни как две различные цивилизации. Можно было бы изучать сельскую цивилизацию саму по себе и выявлять, какие классовые различия имеются в ней сегодня. Такая задача была бы существенно более трудной, чем в отношении городской среды, поскольку для крестьянского сознания скорее характерно самоощущение крестьянина (по отношению к городским жителям), чем ощущение своего более высокого или низкого социального положения. Это представляется достаточной причиной для рассмотрения среднего класса лишь в рамках городской цивилизации. После того как мы это установили, можно сказать, что данное Симнаном определение классов является точным, но носит скорее описательный характер. Симнан определяет классы через противопоставление, утверждая, что средний класс отличается от высшего и от промышленных рабочих: он определяет их через перечисление, разворачивая перед нами характеристики некоторых групп. Но эти группы очень различны, и непонятно, каким образом они оказываются объединенными в рамках одного и того же класса.

Можно ли сказать, что эта разнородная масса обнаруживает общее сознание? Если мы возьмем большие категории, между которыми распределяется вся эта совокупность, мы заметим, что между ними существует, быть может, даже больше отличий, чем между ними и высшим либо низшим классом.

Возьмем для начала *ремесленников*, высших, средних и мелких коммерсантов. Они, безусловно, относятся к среднему классу. Что их характеризует? В противо-

положность служащим и чиновникам, они являются самостоятельно работающими людьми, то есть по отношению к другим они — независимые экономические агенты. Впрочем, есть крупный фрагмент деятельности ремесленника, который часто сближает его с рабочим классом, поскольку многие ремесленники занимаются ручным трудом. То есть ремесленники не слишком сильно отличаются от тех, кого они понимают, — в некоторых отношениях они приближаются к рабочим. Но с другой стороны, следует учитывать, что эти ремесленники и мелкие коммерсанты должны не только совершать работу исполнителей, но также осуществлять руководство и контроль на предприятии, то есть функции, которые на крупных предприятиях выполняет особый и специализированный персонал — предприниматели. Коммерсантам и ремесленникам приходится заниматься также торговыми функциями: нужно покупать сырье, находить рынки сбыта для своего товара. Им приходится управлять небольшим капиталом, а также заниматься финансовой стороной деятельности предприятия. Эти функции присущи как большим, так и малым предприятиям (впрочем, трудно провести границу между малыми и, в полном смысле, большими предприятиями). Тем самым ремесленники, мелкие коммерсанты, которые составляют единую группу, по ряду характеристик приближаются к рабочим, по ряду других — к буржуа, и, может быть, их труднее отличить от тех и других, чем от служащих и чиновников.

Перейдем теперь к обширной и сложной категории *служащих*. Десяток лет назад в Германии проводились исследования по среднему классу, который во многих странах, в частности, там, значительно вырос, но в связи с экономическими трудностями оказался под угрозой. Социологи сочли необходимым провести точные исследования этих групп, и полученные данные относительно разнообразия занятий в названной группе оказались весьма любопытными. Статистические данные были

представлены в виде диаграммы, на которой численно большую категорию людей изображал очень высокий человек, а маленькую — очень низкий. Мы видим на ней служащего, рассыльного, инженера, продавца, бухгалтера, секретаря, переписчика, машинистку и прочие категории — то есть множество различных профессий. Однако с общеэкономической точки зрения можно сказать, что, в сравнении с ремесленниками, они выказывают немалое внешнее сходство и образуют своего рода единство, поскольку не обладают экономической независимостью и являются подчиненными по отношению либо к своим хозяевам, либо к организациям и тем самым приближаются к рабочим.

К тому же есть категории служащих (в частности, в магазинах продовольственных и непродовольственных товаров), которые вынуждены совершать определенное число операций с материей. Имеется ли выраженная разница между помощником мясника и рабочим? Помощник мясника — наполовину рабочий, так как он должен трудиться вручную для обработки материи, которая является если и не вообще неживой, то во всяком случае лишеной жизни. С другой стороны, служащие в магазинах, которые вынуждены с утра до вечера класть что-то в пакеты, конечно, являются служащими, но в то же время почти рабочими. Так же обстоит дело и с рассыльным, который доставляет товар: он вынужден перемещаться, работать мышцами ног, носить пакеты клиентам. Кассиры пропускают через свои руки много денег, считают их, складывают, вынимают золотые монеты и раскладывают в различные ячейки — ведь все это материальные функции.

Теперь давайте поднимемся на верхнюю ступеньку лестницы. Здесь не только инженеры, но и заместители директоров, старшие служащие, наделенные определенными полномочиями, но и торговые директора, старшие продавцы в магазинах, торговые агенты, а также высший персонал банков. У них довольно широкая тех-

иническая компетентность, и они могли бы легко заменить руководителей предприятия. И действительно, во многих делах они их замещают, осуществляя руководство и технический контроль.

Служащих нижней части лестницы характеризует отсутствие инициативы, ответственности — тем самым они отличаются от ремесленников, которые отвечают за свое дело. Но это несправедливо в отношении служащих более высоких категорий, которые иногда обладают большой инициативой в тех пределах, которые предоставляет руководитель. То есть по роду своей деятельности, по требуемым от них качествам, а также по уровню доходов (которые во многих случаях высоки), можно сказать, что эта часть группы служащих очень близко подходит к буржуазии. Здесь нам также проще противопоставить их ремесленникам (хотя они вместе с ними входят в средний класс), чем отличить их от рабочих или буржуазии.

Чиновники: в этой категории выделяются высшие, средние и мелкие. Средние и мелкие чиновники относятся к среднему классу. В целом, это крупная социальная категория, которая значительно выросла с тех пор, как приумножились функции государства, как были созданы многочисленные и развитые службы, отвечающие ранее не существовавшим коллективным потребностям. Кого мы обнаруживаем в категории чиновников (в широком смысле), кроме персонала судов, палаточной администрации? Это почтовые и таможенные служащие, персонал, который отвечает за фиксацию, расчет и сбор прямых налогов с каждого налогоплательщика, железнодорожные служащие, которые настолько тесно связаны с государством, что их сообщество имеет вид и структуру государственной организации, наконец, учителя.

Итак, существуют многочисленные группы. Они отличаются от ремесленников по тем же параметрам, что и служащие. Чиновники лишены инициативы и свобо-

ды. В гораздо большей степени, нежели служащие в торговле и промышленности, чиновники вынуждены подчиняться достаточно жесткому регламенту. Итак, незначительной долей инициативы, малой свободой многие категории чиновников в определенной мере походят на те группы рабочих, которым на заводах приходится подчиняться строгой дисциплине. В некоторых случаях такие категории мелких чиновников можно рассматривать как приближающихся к рабочему классу — по роду занятий и по малым доходам. Но есть и чиновники более высокого уровня. Хотя они и могут подчиняться частным лицам, в конечном счете они служат обществу и государству.

Отсюда следует, возможно, их очень высокое мнение о своих функциях. Действительно, ведь здесь речь идет не о частных интересах, но об интересе всеобщем. У них есть престиж, высокое достоинство, которое они должны сохранять; все они рассматривают себя как представителей государства. В зависимости от представления о государстве в разных странах существует значительная разница и в отношении этой группы служащих. В Германии государство ценится очень высоко, и все, кто так или иначе связан с государством, могут рассматривать себя как обладателей частицы его мощи, черпая отсюда удовлетворенность собой, сознание собственного достоинства. Короче говоря, они ощущают свою принадлежность к высшей категории.

В исследованиях, проведенных в Германии, можно констатировать явное и распространяющееся абсолютно на всех различие, касающееся расходов, — что очень четко характеризует чиновников в сравнении со служащими. Расходы на одежду были действительно выше у всех мелких чиновников, чем у служащих с тем же уровнем доходов. Сознывая, что они представляют в глазах общественности, они должны учитывать это в поведении, одежде, а также в речи. Таким образом, можно сказать, что германские чиновники в гораздо большей сте-

пени, чем остальные служащие, приближаются к классу буржуазии, который также имеет ярко выраженное чувство собственного достоинства. Чиновники в Германии не обладают свободой буржуазии, но сознание значимости выполняемых ими функций придает им значительный престиж.

К трем выделенным в средних классах категориям можно было бы добавить категории менее важные, поскольку в свободных профессиях нижней части лестницы обнаруживаются элементы, позволяющие также отнести их к среднему классу. Можно сказать, что к среднему классу относятся и врачи, имеющие небольшую практику, работники здравоохранения, «офицеры здоровья», как их называли раньше; в юридическом или финансовом мире это мелкие предприниматели, которых на бирже называют «мелкие сошки». В литературной среде также можно встретить множество людей, которые (из-за умеренного характера своей деятельности, из-за того, что ограничиваются распространением идей, моделей и произведений мэтров в массах) занимают низшее положение, но не являются рабочими, а принадлежат к среднему классу.

Как можно определить теперь все эти группы, чтобы усмотреть в них некое единство? Заметим, что все названные категории, относимые к одной группе под рубрикой «средний класс», какими бы они ни были, характеризуются тем, что их деятельность — прежде всего *техническая*, предполагающая практическое знание некоторого числа правил, точное, верное их исполнение, но не более того.

Техника — это ряд предписаний и правил, созданных для того, чтобы их можно было применять единообразно и ко всем случаям. Какую бы категорию из выделенных нами в средний класс мы ни рассматривали, по виду деятельности все они хорошо соответствуют этому определению. Технику не следует путать с тем, что мы называем функцией в широком смысле этого термин-

на. Техника — это второстепенный аспект функции. Однако техника необходима. Ее можно определить от противного: это совокупность действий, в случае невыполнения которых функция не достигает своей цели. Если преподаватель не выполняет программу, судья не соблюдает предписаний кодекса и судебную процедуру, банкир дает займы или учитывает вексель, не опираясь на законные процентные ставки, их действия не имеют смысла либо приводят к плачевным результатам. Следовательно, всегда есть совокупность предписаний, которые необходимо учитывать. Но это, повторим, объяснение от противного.

Если мы попытаемся глубже проникнуть в значение техники, то увидим, что она подразумевает условия, без которых социальная жизнь была бы невозможной. Действительно, всякое правило должно обладать определенным авторитетом: его будут уважать и оно принесет ожидаемую пользу лишь при условии, что его будут в равной степени соблюдать во всех случаях. Хотя социальная жизнь непрерывно меняется, социальные среды не однородны и весьма разнообразны, поэтому появляется соблазн сделать правила более гибкими, смягчить их, изменить применительно к конкретным случаям и даже обходиться вовсе без оных. Но в результате не было бы никакой координации, никакого упорядоченного функционирования, никакого порядка в социальном теле — было бы невозможно добиться повиновения правилам и законам. Нужно, чтобы правила были единообразны или их не должно быть вовсе. Это — необходимое условие.

Следует предполагать, что хотя общество меняется, правила неизменны и, несмотря на то, что охватывают самые разнообразные стороны, их форма едина. Иными словами, правило, как инструмент, применяется по отношению к реальности, которая полагается одновременно неподвижной и единообразной. Иногда говорят, что нет правил, чтобы судить о характерах, чув-

ствах, вкусах столь различных и изменчивых. Но там, где оно применимо, оно лишилось бы всякого авторитета, если предположить, что его следует непрерывно менять, приспосабливать к瞬息即逝ным обстоятельствам и чрезвычайно отличающимся объектам. Конечно, эти правила: административные, юридические, педагогические — навязываются индивиду извне и представляются ему творением общества. Это не физические законы, хотя своей жесткостью и всеобщностью они повторяют законы и силы природы. Стоящая за ними социальная воля неподвижна и упрощена. Она отказалась приспосабливаться ко всем изменениям, которые могут произойти во времени и пространстве внутри группы, из которой она исходит. Из всех социальных действий лучше всего повторяют механику [мира] несоциальных вещей те, что принимают форму техники.

Разумеется, подобные технические процедуры возможны лишь в том случае, если в природе социальных групп действительно есть совокупность характеристик, благодаря которым они могут представлять устойчивыми и единообразными, и мы можем показать, что такие характеристики существуют в действительности.

С определенной точки зрения, людей и группы можно легко представить в качестве совокупности идентичных единиц, сходные части которых обладают свойством, каким обладают материальные и инертные вещи: их можно пересчитать, произвести перепись, измерить, разделить. В основе деятельности служащих, чиновников мы обнаружим ту идею, что группы и люди именно таковы, что по некоторым качествам они сводятся к постоянно механизма, к инертности или материальности инертных вещей, иными словами, идея, что человечество материализовано.

В конторах есть окошки, и посетители механически распределяются по определенным категориям. Для человека, который принимает вас за окошком, ваша лич-

ность, происхождение, социальное положение не имеют значения: вы являетесь единицей в совокупности операций, вы — покупатель или посетитель, требующий выполнения определенной операции. Для чиновника вы — всего лишь вещь.

Итак, существует целый ряд видов деятельности — очень важных, поскольку они воспроизводятся во множестве областей социальной жизни и часто повторяются в течение всего дня, — которые основаны на том, что социальные группы, с которыми они имеют дело, представляют собой не совокупности людей, каждый из которых интересен сам по себе, но единицы некой категории, с которыми можно обращаться как с материальными вещами. Это и есть техническая точка зрения.

Те, кому приходится — как служащим и мелким чиновникам — заниматься техническими операциями подобного рода, и даже служащие рангом пониже, ограничиваются их исполнением без особых размышлений и без реальной инициативы, отличаясь от рабочих, которые своей техникой воздействуют лишь на неподвижную материю, а не на материализованную человеческую. Отсюда следует, что в обществе, которое заинтересовано прежде всего в социальных и человеческих отношениях, служащие занимают более высокое социальное положение, чем рабочие.

Другими словами, эта материя, или материализованное человечество — объект деятельности чиновников и служащих, которым в виде материи представляются все люди. Тем не менее эта материя является человеческой. Она отличается от материи материальной, если только можно воспользоваться этим плеоназмом, в том смысле, что служащие или чиновники, в отличие от рабочих, не имеют дела с неподвижной материей. Речь идет о людях и группах, которые имеют материальные черты, отдельные качества, над которыми можно производить операции, напоминающие те, что производятся над материей. Но все же есть и различия.

Служащий сам замечает: то, с чем он работает, — это все же не совсем вещи, а люди. Он может быть вежливым или невежливым, он может стараться угодить клиентам, оказать им некоторые услуги, дать им какие-то советы, не выходящие за рамки его узкой компетенции, может помочь им выиграть время. Однако основное в их деятельности — это отношение к людям как к вещам. Вот почему это категория более высокого уровня, чем рабочие, но более низкого, чем буржуазия. Отчего? Оттого, что техника отличается от функции, рассмотренной в ее полном объеме.

Представим себе, что воля, выступающая основой социальной жизни, согласилась на это единообразие именно для того, чтобы открыть дорогу движению (*le jeu*) социальной жизни. Ей бы пришлось подчиниться этим правилам, пришлось бы пойти на уступку. Однако она остается чрезвычайно разнообразной и переменчивой, и если бы мы пожелали придерживаться лишь технической точки зрения, если бы технику предоставили самой себе, она не смогла бы привести со временем к желаемым результатам, интересы общества не соблюдались бы, а его цели не были бы достигнуты. Поэтому важно, чтобы эта работа по адаптации [общих правил], в которой справедливо отказали служащим и мелким чиновникам из-за отсутствия у них необходимых качеств, передавалась бы другим людям, способным с ней справиться, если таковых удалось бы найти и обучить.

Что касается последних, в приписываемой им роли в значительной степени есть элемент фикции. Многие являются буржуа или выполняют их функции, но при более внимательном рассмотрении можно увидеть, что они не обладают в достаточной мере качествами, необходимыми для выполнения этой функции. Я рассматриваю здесь идеал, от которого должно отталкиваться, так как в массе буржуазного персонала существуют элементы, обладающие необходимыми качествами, которых нет у чиновников (о ком было сказано выше), и можно

сказать, что они отличаются от служащих тем, что у последних эти качества являются не данными от природы, но приобретенными в той среде, в которой им довелось жить.

Речь идет о директорах, администраторах, высших чиновниках, которые отличаются от техников тем, что имеют своей целью и задачей действовать так, чтобы адаптировать правила, общие законы, процедуры, технические методы к возникающим частным и особым условиям, а в некоторых случаях даже призваны преобразовать эти правила и методы и внедрить иные, лучше соответствующие актуальным условиям социальной жизни. Рассмотрим, к примеру, суд и судью. В суде есть некоторое количество достаточно простых дел. Это решения, которые нужно вынести по поводу некоторых действий, если таковые не являются спорными и входят в категорию, предусмотренную законом. Они принимаются без колебаний. При этом закон формален, он записан в кодексе, он абсолютно ясен, и применение его порой состоит в простом зачитании соответствующих мест кодекса. Без сомнения, в подобных случаях судью может заменить писарь. Но время от времени возникают обстоятельства, когда такая юридическая техника недостаточна, когда надо рассмотреть психологические, моральные склонности подсудимых, иногда приходится учитывать общественное мнение, его изменения, приходится думать, к какому классу принадлежит обвиняемый, каковы его социальное положение, семья, происхождение, мотивы. А для этого необходимо определенное знание жизни (в особенности, знание света и людей), которое может развиться лишь в буржуазной среде.

То же самое касается и торговли. Ясно, что в торговом доме товары распределяются по определенным категориям: вид товара, общая цена, цена за определенное количество и т. д.; клиенты также единообразны в том смысле, что продавец с ними не знаком, либо он

знаком со всеми примерно одинаково. Здесь нет никаких особенностей, операция проста, и торговец может заменить посыльный или служащий. Но иногда — и даже достаточно часто — случается (по крайней мере, в некоторых отраслях торговли, когда речь идет о некоторых товарах, об определенных клиентах), что торговцу приходится вступать с клиентом не только в чисто деловые, но и личные отношения. Хорошо, когда продавец в силу того, что он принадлежит к категории торговцев, известных своей честностью, приверженностью определенным традициям и правилам, может убедить клиента в добротности предлагаемого товара. Однако может случиться, что клиент желает видеть рядом с собой коммерсанта, мыслящего современно, открыто, связанного с кругами, в которых следят за модой; он может попросить коммерсанта указать ему образ действий, раскрыть некоторые новые направления социальной жизни. Во всех этих случаях отношения между продавцом и покупателем должны быть отношениями личного, социального типа, как если бы эти два человека принадлежали к одной группе, как если бы они были знакомы безотносительно вопросов торговли, то есть как если бы оба забыли или делали вид, что забыли, что один из них покупатель, а другой — продавец. И здесь торговец не сможет заменить служащий, чей горизонт более ограничен. Служащий обладает технической компетентностью, но у него нет социального знания вкусов, стилей поведения людей из разных слоев света, общества. Вот почему так важно различать техническую и функциональную стороны, и почему люди, ответственные за техническую сторону подобных операций, хотя и занимают более высокое положение в сравнении с рабочим классом, в сравнении с буржуазией остаются в более низком положении.

Это явственно видно на примере служащих и мелких чиновников. Какими бы ни были различия между ними, и те и другие, вне зависимости от того, состоят ли

они на службе у частных лиц или у государства, имеют целью только обеспечение технических условий успешного выполнения функций. Поэтому когда речь идет о более тонких операциях, требующих наличия более редких качеств, на сцену всегда выступает высший персонал.

Вероятно, это менее очевидно применительно к высококвалифицированным ремесленникам, мелким и средним торговцам, поскольку ремесленник отвечает за свое предприятие и руководит им. Он осуществляет функции исполнения, но на него также возложен контроль (вся торгово-финансовая часть), который обычно является прерогативой предпринимателей и не сводится к простой технике. Было замечено, что одной из причин, по которым число ремесленников не уменьшается в сравнении с предшествующими периодами, а в некоторые из них даже имеет тенденцию к росту, является то, что ремесленник более тесно контактирует с клиентом: ремесленничество сохраняется главным образом в тех профессиях, где нужно работать на заказ, либо там, где требуется особая ловкость, специфические рабочие способности. Казалось бы, это тот случай, когда устанавливаются личные отношения между людьми. Но это не совсем так.

Как мы видели, во всей деятельности ремесленника изначально имеется доля материальных операций, выполнение которых приближает ремесленников к рабочим. Но даже если мы рассматриваем высшую сторону деятельности ремесленника, речь ведь идет о малых и средних предприятиях, а они безотчетно и неосознанно подчиняются установкам, которые происходят не от них самих. Ремесленники гораздо менее независимы, их инициатива намного менее реальна, чем это кажется на первый взгляд. Они вынуждены подчиняться правилам и решениям, принятым на крупных предприятиях, по вопросам цен, условий организации продажи, торговли, закупок и всей финансовой стороны предприя-

тия. В действительности их задача состоит в том, чтобы переводить на более низкий экономический уровень правила и законы, принятые выше. По сути, нет большой разницы между деятельностью такого рода и технической деятельностью.

Во главу их отношений с клиентами ставится желание последних: именно от них, а не от ремесленника исходит инициатива. Если рассмотреть условия, в которых работает ремесленник, можно заметить, что инициатива, которой он так дорожит, является чисто внешней. Становится понятно, что он вне класса буржуазии, поскольку его деятельность носит прежде всего технический характер и не предполагает наличия качеств, необходимых для выполнения функций буржуазии.

Вот каково общее определение средних классов. Имеются особые причины существования среднего класса, так как помимо чистой инертной материи и людей, наделенных личностными и человеческими качествами, существует промежуточная зона или область, в которой люди, а еще более группы, предстают отчасти в механической и материальной форме. Поскольку существуют виды деятельности, приложимые к этому материальному аспекту человечества, они естественным образом занимают промежуточное положение между классами буржуазии и рабочих. Этим же объясняется то обстоятельство, что этот класс порой склонен полагать, будто его социальная ситуация сближает его с группой рабочих, а порой, наоборот, делает усилие, чтобы отличаться от нее, укрепить связи, соединяющие его с буржуазией.

Так объясняется то, что средние классы не обладают инициативной ролью в эволюции, хотя проявляют замечательную способность к сопротивлению и выживанию во время и впоследствии многих кризисов и экономических преобразований, которые являются для них тяжелым испытанием. Эти классы не доминирующие,

но доминируемые, направляемые значительными экономическими изменениями. Согласно замечанию Токвиля, дух среднего класса «в соединении с духом народа или аристократии [теперь мы говорим “буржуазии”]³ может творить чудеса, но сам по себе он никогда не даст ничего, кроме правления [или цивилизации] без доблести и размаха».

³ Текст из цитат, заключенный в квадратные скобки, принадлежит Хальбваксу. — *Прим. перев.*

Глава 2

Коллективная психология

*Коллективная психология
по Шарлю Блонделю
(1929)**

Никто не готовился к написанию своего труда более основательно, чем Блондель к своему «Введению в коллективную психологию»¹. В диссертации «Патологическое сознание», представляющей собой результат многолетних исследований и клинических наблюдений, он показал, в какой степени социальная среда обуславливает функционирование ментальных способностей. Он объяснял бредовые интерпретации больных и их поведение нарушением контакта между индивидом и группой. Теория коллективных представлений в том виде, в каком она сформулирована в работах Левин-Брюля, по его мнению, проливает свет на самые сложные проблемы психопатологии. Не будет преувеличением сказать, что подобный подход открывает изучению языка, чувственности и рассудка совершенно новый путь. Позднее, в двух главах, написанных для «Учебника психологии» Жана и Дюма, он без колебаний применил

* Опубликовано в: *Revue critique*. № 107. Paris.

¹ *Blondel Ch.* Introduction à la psychologie collective. Vol. 1. Paris: Armand Colin.

те же методы к изучению вопросов, которые, как кажется, более всех прочих относятся к индивидуальной психологии. Парадоксальным выглядит объяснение воли и личности — наиболее глубоких свойств индивида — через общество. Но, возможно, это плодотворный парадокс. Тот факт, что столь проникательный психолог устранил давно возведенный и традиционно поддерживаемый барьер между дисциплинами (на первый взгляд, довольно далекими друг от друга), кажется нам достаточно примечательным. Очертив эту часть метода в своей книге, он пытается уточнить его значение.

План работы прозрачен. Первая часть посвящена анализу психологических доктрин. Блондель рассматривает представления о психологии трех авторов: Копта, Дюркгейма и Тарда, — которые более отчетливо, чем остальные, поставили вопрос о ее связях с социологией. Во второй части, под названием «О значении коллективных факторов в ментальной жизни», обращаясь непосредственно к фактам, он последовательно описывает восприятие, память, аффективную жизнь с целью показать, в какой степени учет социальных влияний позволяет получить представление о ней. Мы не будем излагать здесь содержание работы. Эта книга, как легко можно заметить, ценна благодаря деталям не менее, чем замыслу в целом. Психологические замечания, которыми она насыщена, вызывают в памяти высказывание Паскаля о том, что авторов, рассказывающих нам новое о нас самих, будут читать всегда. Блонделя-моралиста (в том смысле, в котором это слово применяется к авторам XVII века) иногда подменяет Блондель-юморист, но первый никогда не исчезает полностью. Однако не будем вдаваться в эти подробности. Мы лишь представим здесь размышления в связи с некоторыми наиболее существенными вопросами и положениями его учения.

Жорж Дюма выразил однажды удивление относительно того обстоятельства, что современная психология развивалась в тех двух направлениях, которые три

четверти века назад четко выделил Огюст Конт. С одной стороны, экспериментальная психология и патопсихология изучают ментальные функции в их связи с мозгом и нервной системой — это психофизиология. С другой стороны, уже теперь существует коллективная психология, которая объясняет человеческий разум и его функционирование через то влияние, которое группы оказывают на своих членов — это психосоциология. Между этими двумя психологиями нет места для третьей — если, конечно, науку о человеческом разуме не путать с метафизикой.

Как известно, Конт первоначально видел в психологии просто раздел биологии — как таковая, вся она сводилась к церебральной психологии. Но затем он признал, что для определения, классификации и иерархизации ментальных способностей биологии недостаточно. Конечно, биологическое выступает условием социального. Но именно социология, историческое развитие (и только оно) показывает нам, что человек способен был осуществить биологически. Блондель говорит: «По Конту, строение церебральных органов символизирует иерархию и распределение способностей в том виде, в каком они являются результатом истории». Итак, существует целый раздел психологии, который является неотъемлемой частью социологии и должен был бы сформироваться прежде всего. Физиологическое же исследование ментальных функций следовало бы за ним. Физиология следует прежде социологии. Но чтобы завершить биологию, создать церебральную физиологию, следует отталкиваться от человеческого сообщества и вновь обращаться к жизни. Блондель показал, что по этому вопросу Тард и Дюркгейм имеют, по сути, единую точку зрения, которая совпадает и с точкой зрения Конта. Человек двойствен. Он — животное: его ментальная жизнь отражает физиологическую. Он духовен: его ментальная жизнь отражает общество и цивилизацию. Поэтому имеются две и только две психологии.

Можно сказать, что Блондель в целом признает это различие. От первой до последней строчки своей книги он настаивает на том, что психосоциология, или коллективная психология, должна опережать психофизиологию. Но на этом он не останавливается. По его мнению, эти дисциплины не исчерпывают содержания науки о ментальных фактах². Существует и другая — собственно индивидуальная — психология, которая зависит от названных, но идет дальше их. Она остается в рамках науки. И это не интроспективная психология. Притом лишь она одна должна дать полное и абсолютно исчерпывающее объяснение ментальных фактов. Этот существенный пункт следует подчеркнуть, так как если бы индивидуальная психология была действительно отдельной наукой, как по предмету, так и по методу, психофизиологию и коллективную психологию следовало бы, возможно, рассматривать как дисциплины, безусловно, важные, но второстепенные, которые не постигают специфики ментальной жизни.

Блондель сначала напоминает, что сам Огюст Конт в «Системе позитивной философии» считал необходимым дополнить свою классификацию наук и к шести фундаментальным добавить седьмую — антропологию, или мораль, которая предполагалась как наука об индивидуальных ментальных фактах. Церебральная физиология с помощью социологии дает нам возможность познать человеческое в человеке, подобно тому как зоология изучает признаки семейства кошачьих в кошке. Но остаются индивиды как таковые. Материальные, биологические, социальные условия показывают, чем отличаются друг от друга группы (расы, пол, народы, профессии), но не индивиды. Мораль призвана систематизировать специальные знания о нашей индивидуаль-

² В оригинале : «faits mentaux», где «fait» можно перевести и более привычным «явление». Однако, учитывая выделение Хальбваксом, вслед за Дюркгеймом, социальных, психических, физических фактов в относительно независимые порядки, мы оставляем для «fait» более рельефное и теоретически четкое «факт». — *Прим. перс.*

ной природе. В определенном смысле, она должна действовать методом дедукции, опираясь на данные биологии и социологии. Но, с другой стороны, она, как и всякая наука, требует, чтобы и у нее были собственные индуктивные выводы.

Объектом индивидуальной психологии является, главным образом, аффективность. По мнению Конта, аффективная жизнь, на которую, конечно, воздействует практическая и разумная деятельность, претерпевает, главным образом, воздействия внутренних сил — воздействия весьма специфические и нерегулярные, меняющиеся от индивида к индивиду. Эти воздействия взаимно уничтожаются и не оказывают никакого значительного влияния на развитие человечества. Следовательно, их нельзя изучать социологически. Это то, что в нас имеется истинно индивидуального. И выявить это можно лишь наблюдением за индивидом как таковым.

Чтобы объяснить конкретные особенности индивидуальной ментальности, ни психология, ни психосоциология, взятые порознь, по мнению Конта, недостаточны. «Чтобы быть в состоянии получить такое объяснение, необходимо систематически перекраивать их данные, для чего и та и другая недостаточно компетентны».

Блондель не вполне разделяет точку зрения Огюста Конта. В последней главе своей книги, посвященной аффективной жизни, он показал, что не только выражение эмоций, но также их взаимосвязь и их природа соответствуют коллективным представлениям и требованиям. Знать, что при таких-то обстоятельствах мы должны выражать такое-то чувство, «пользоваться выражением, в котором это чувство заключено, — значит впустить его в наше сознание, ввести его туда извне» (р. 161). «Коллективные предрассудки дают нам ключ к нашим эмоциям... Никогда у человека, живущего в обществе — единственного человека, доступного нашему познанию, — аффективная жизнь не может быть лишена условности и приобрести вновь ту естественность, неотъемлемой частью которой эта условность вряд ли

является... Чтобы получить знание о таких состояниях, бесполезно было бы прощупывать индивидуальные сознания до обращения к среде, которая единственная позволяет им развиваться» (р. 168). Таким образом, в отличие от Конта, Блондель не противопоставляет аффективность разуму и воле как индивидуальное — коллективному. Дело в том, что Конт действительно слишком сужал сферу социологии, когда отводил ей в качестве объекта коллективную эволюцию человечества, а в действительности — основные законы и наиболее общие направления этой эволюции. Конечно, эмоции, испытываемые индивидами, не изменили движения человечества в целом. Но внутри более ограниченных групп, охватывающих родителей, друзей, соседей, людей одного класса, одной профессии, и с еще большим основанием внутри и словно на поверхности эфемерных групп, образующихся по случаю поездки или развлечений, постоянно зарождаются и развиваются коллективные по форме эмоции и чувства. Они питают жизнь группы и предстают как бы частью ее существа. Как социология могла бы оставить это без внимания? Поскольку Блондель рассматривал группы детально и глубоко, он должен был выделить формы и социальное содержание аффективной жизни. Хотя в этом от теории Конта он оставляет лишь относящееся к индивидуальной психологии, при определении объекта он совсем не так далек от точки зрения Конта, как казалось первоначально.

«Внутри одной и той же социальной группы, — говорит Блондель, — существуют индивидуальные различия. Они зарождаются из сочетаний или взаимных влияний физиологических особенностей и особенностей социальной жизни члена данной группы» (р. 187). Используя близкие термины, Конт писал о «тесной связи между телесным существованием и церебральной (или ментальной) экономией», которая «приобретает существенное значение при исчерпывающем изучении порядка на индивидуальном уровне». Блондель же, в поддержку своего положения о том, что существует индивиду-

альная психология, или третья ветвь психологии, отличная от церебральной физиологии и от социологии, также цитирует следующий отрывок из Тарда: «Человек образован элементарной физиологической индивидуальностью, целиком органической и досоциальной, и высшей индивидуальностью, целиком ментальной и постсоциальной. Наше “я” всплывает в точке встречи жизненного и социального потоков: первого — гипопсихического, второго — гиперпсихического. Человек — это социальное существо, привитое на существе природном». Ни психология, ни социология не способны объяснить самую индивидуальность, коль скоро она является результатом пересечения рядов физиологических и социальных фактов. «Однако ясно, что психология сможет считать свою цель достигнутой лишь тогда — если такой день когда-нибудь настанет, — когда она сможет объяснить нам не только функционирование разума в целом, но и устройство единичных явлений, возникающих в индивидуальных сознаниях». Вот почему, о чем бы ни шла речь (о восприятии, памяти или аффективной жизни), Блондель приходит к общему выводу: «Психология восприятия должна распределяться между тремя дисциплинами: коллективной психологией, специальной психологией (или физиологической психологией, изучающей общие для всего человеческого рода ментальные свойства) и индивидуальной психологией... Надо распределить исследование памяти между коллективной психологией, психологией физиологической и дифференциальной». Наконец, исследование эмоций и чувств открывает нам то «очевидное» положение, что «коллективная психология всегда должна идти впереди не только дифференциальной, но и специальной психологии». Итак, какой бы стороной ни поворачивалась к нам психология, она всегда удерживается на трех опорах.

Как мы отмечали, индивидуальная психология в понимании Блонделя не смешивается с интроспективной психологией. Он упоминает об очень любопытной

статье Дюркгейма, опубликованной в 1898 году под заголовком «Индивидуальные и коллективные представления», в которой тот рассматривает психологию как самостоятельную науку, отличающуюся от физиологии. Дюркгейм полагал, что память есть сугубо психологическая способность, в том смысле, что ушедшие в прошлое представления сохраняют психическую реальность, становясь бессознательным. Он видел в воспоминаниях «реалии, которые, сохраняя со своим [органическим] субстратом тесные связи, в определенной мере все же независимы от него», подобно тому как коллективные представления независимы по отношению к индивидуальным. Возможно, в своей основе это лишь рассуждение по аналогии, которое сохранило бы свою ценность, если бы Дюркгейм ограничился предположением, что если психологические состояния и существуют в клетках мозга, то они все же предполагают особый образ существования и тех клеток, которые с ними связаны. Не считает ли Блондель, что между органической памятью и памятью коллективной нужно выделять третью, собственно психологическую память? В главе, посвященной памяти, он возвращается к этой мысли и развивает ее, хотя несколько притеняя, как нам кажется, ее значение: он допускает существование некоторого количества спонтанных воспоминаний, которые отнюдь не объясняются социальным влиянием и которые восходят при этом к очень давнему прошлому. «Если подобные воспоминания существуют, значит, надо оставить место для памяти, которая была бы воспроизведением прошлого... Памяти не было бы, если бы некий отблеск сугубо личных начальных интуиций восприятия не нашел бы способа проникнуть в сознание». Отложим подробное рассмотрение данного критического замечания. Уясним себе лишь то, что Блондель не говорит, будто бы физиологические условия не объясняют эти спонтанные воспоминания. Он не говорит, что воспоминания являются бессознательными психическими состояниями, которые существуют в нас независимо от церебральных факто-

ров. Индивидуальная психология должна применяться не к изучению подобных воспоминаний (к тому же весьма редких, говорит Блондель, если таковые вообще существуют). Она должна только объяснять, почему, под воздействием каких социальных или физиологических влияний воспоминания сохраняются и вновь появляются согласно определенному порядку, связанные определенным образом у того или иного индивида. Однако эта проблема не исчезла бы и даже не могла бы быть рассмотрена в других терминах, если существовали бы только органические и социальные воспоминания. Индивидуальная психология изучает не новые элементы, но способ объединения элементов, уже выделенных специальной психологией или физиологической и коллективной психологией.

Попытаемся взглянуть на дело с этой точки зрения. Блондель, для обозначения выделяемого им третьего ряда психологических исследований, использует два неэквивалентных выражения: индивидуальная психология и дифференциальная психология. Смысл первого несколько неясен. Идет ли речь об объяснении поступков и поведения любого индивида в любом месте, в любой момент времени и даже — о поведении одного либо нескольких индивидов? Но когда речь идет не более и не менее как о человеческом разуме, не в меньшей степени, чем когда речь идет об органических существах либо материальных объектах, нельзя научно объяснить индивидуальное. Пожар, лавина, рост растения, смерть животного — события уникальные не каждое само по себе, но тем, чем каждое из них отличается от всех прочих явлений того же рода, подобно сложным состояниям индивидуального сознания или действиям, посредством которых человек выражает свою личность. Это старая дискуссия, и возобновлять ее бесполезно. Но, может быть, история — если понимать ее как описание фактов и индивидуальных сущностей, неповторяющихся событий — начинается как раз там, где заканчивается наука о социальных фактах? Правда, Блондель уточняет

свою мысль, перечисляя ряд областей исследования, которые уже сейчас представляют дифференциальную психологию, как он ее понимает: педагогика, профессиональная подготовка (*orientation*), этология, ментальная патология. Но в отношении всех этих исследований весьма очевидно, что индивидуальные случаи часто выступают на передний план. Итак, когда дело касается индивида, речь идет о том, чтобы определить его умственные или профессиональные способности, его моральные наклонности или его ментальное состояние. Но это также и практические задачи, которые предполагают предварительные разграничения или классификации. Иными словами, индивидуальный случай возникает лишь в момент его рассмотрения, и ни одна из этих дисциплин не была бы похожа на науку, если бы она ограничивалась накоплением индивидуальных наблюдений. Можно пойти даже дальше и задаться вопросом, действительно ли они — научные дисциплины, коль скоро они ограничиваются сопоставлением разнородных данных, заимствованных из разных наук. В действительности нам едва ли известны научные законы, которые не связывали бы однородные элементы, и, полагая, подобные исследования не преодолевают стадии описания. В остальном Блондель очень убедительно показал, что усилия ученого должны концентрироваться прежде всего на коллективной психологии и на психофизиологии. Но, возможно, обе эти науки еще слишком мало развиты для того, чтобы мы могли уже сейчас ставить проблемы более сложные и, может быть, неразрешимые.

Хорошо ли мы знаем, где пролегает граница, разделяющая предметные области этих двух психологий: специальной, или органической, и коллективной? Блондель, который столь много места отводит социологической точке зрения, постоянно проявляет некоторое беспокойство, когда какая-либо из дисциплин вторгается в чуждую ей область исследования. Мы видели, что он щедро отдает для социологических исследований це-

лую область общей психологии, всю аффективную жизнь — от чего воздерживался Огюст Конт. Зато он не признает права на исследование Дюркгеймом и его учениками высших интеллектуальных функций.

Поспешим заметить: дело не в том, что дюркгеймовское объяснение разума вызывает у него протест. Напротив. Он с большим остроумием набросал забавные портреты Тарда и Дюркгейма. Стоит процитировать его слова о первом и, особенно, о втором: «Почти религиозная тяжеловесность его ума во всем сохраняет некую безжалостность. В том, что он пишет, видны проявления воодушевления, гнева, резкости; не помню, чтобы мне встречалась улыбка» — не сложно догадаться, что фигура Тарда привлекала его больше. Но достоверно известно, что теория понятий и категорий, разработанная Дюркгеймом, произвела на него сильное впечатление, а более всего его воображение поразило то, что «с тех пор, как люди начали размышлять, проблема [категорий разума] знала только два решения — Дюркгейм же открыл третье», которое не более парадоксально, чем остальные. Сам принцип этого решения представляется Блонделю «в настоящее время почти постигнутым» (р. 61). С другой стороны, касаясь работ Тарда, Блондель явно хотел показать, что автор «Законов подражания» (которого обычно противопоставляют Дюркгейму), при всей своей оригинальности тем не менее нередко рассуждал в стиле Дюркгейма. Блондель удивляется имеющемуся убеждению, «будто бы только силами психологии, не обращаясь к социологическим явлениям», возможно объяснить образование общих идей. «Он призывает нас признать, что категории, порожденные языком, социальны так же, как и сам язык». Он даже «был готов утверждать, будто бы общие категории и наука пришли к нам через религию». Блондель вовсе не хочет сыграть дурную шутку с Тардом после его смерти, выявляя то, что можно было бы назвать его противоречиями. Напротив, он отдает ему должное за то, что

тот не «закрывает глаза на факты и реальность даже тогда, когда они расходятся с его доктриной». Тем не менее его свидетельство — аргумент в пользу объяснения в духе Дюркгейма.

Вместе с тем Дюркгейм, по мнению Блонделя, сильно заблуждался, поскольку претендовал на «социализацию всего разума». В частности, наука, по Дюркгейму, вышла из религии, а религию породило общество; следовательно, наука является нам в виде плода, выросшего на социальном древе. Дюркгейм добавляет: если наша логика и наука смогли отделиться от общества, то только потому, что общество принадлежит природе, социальное царство есть природное царство, а природа одна и та же в обоих случаях. Извините, — возражает Блондель, — если общество и принадлежит природе, вся природа не исчерпывается обществом. Общества — не замкнутые микроскопии. Более того, первобытные общества не создают о себе объективного и верного представления. Они не осознают себя вполне и, как утверждают, познают мир, лишь мысля его подобным себе. «Каким же образом неточное представление об обществе, объективно иллюзорное содержание, спроецированное на всю вселенную, могло дать нам о мире точные знания, способные эффективно направлять наши действия и реально влиять на вещи?» Если в человеческом разуме не произошли бы принципиальные революционные изменения, невозможно было бы понять, как перешли от дилижансов к железной дороге, от тотемической религии к физике Эйнштейна.

По мнению Блонделя, эта революция начинается в тот момент, когда появляются различные виды техники. Вот главный упрек, который он адресует Дюркгейму, чтобы доказать, что наука целиком вышла из религии: «Дюркгейм специально, сознательно оставил без внимания целую область ментальной деятельности первобытных людей; а эта область, бесспорно, очень важна, поскольку для них она жизненно необходима».

К примеру, известно, что австралийские общества периодически проходят через две различные фазы: население то рассредоточивается — каждая семья живет сама по себе, занимается охотой, рыбной ловлей и т. д., то концентрируется, уплотняется — именно тогда совершаются основные религиозные обряды. Согласно Дюркгейму, именно во второй фазе духовная деятельность племени или клана достигает своей наивысшей ступени. Должно быть, в такой период в недрах группы зародились первые понятия человека о природе и о самом себе — в этих понятиях в зародыше находится наука. «Тем не менее, — говорит Блондель, — практический, экономический период австралийской жизни существует наравне с периодом культовым. Как же можно полностью приписывать честь развития человеческого разума одним факторам, не задумываясь о том, что и другие факторы могли также сыграть в нем свою роль? Ведь, в конце концов, возделывание земли, охота, рыболовство суть действия, которые позволяют контактировать с реальностью и, пробуждая любопытство, делают возможным ее познание».

Я полагаю, Блондель здесь слишком упрощает и мысль Дюркгейма, и сами факты. Так, он допускает, что две фазы, через которые проходят австралийские общества, соответствуют двум четко дифференцированным видам деятельности: религиозной и практической, или экономической. Но подобное хорошо знакомое нам разделение не применимо к этим обществам. В период концентрации, во время подготовки к религиозным обрядам клан расходует огромное количество ручного труда: надо изготовить предметы культа, маски, символические изображения тотема. Туземцы уделяют этому много времени и усилий. Более того, обряды, цель которых — обеспечить воспроизводство тотемического животного или растения, в глазах туземцев являются такими же экономическими, каким для нас является удобрение почвы. С другой стороны, рассредоточение

населения вовсе не означает, что члены различных семей внезапно превращаются в чистых техников и что, идя на рыбалку или охоту, они берут с собой сети и луки и при этом оставляют где-то свое магическое или религиозное воображение. Совсем наоборот. Мы знаем, что туземец воздержится от охоты или рыбалки, если видел определенный сон, из-за религиозных чувств он не станет преследовать некоторых животных, а если он принесет домой много дичи или рыбы, то будет думать, что достиг этого не только благодаря своей ловкости, хорошему оружию или орудиям лова, но еще и тщательно соблюдая некоторые правила и традиционные запреты, которые в наших глазах никакой ценности не имеют. Таким образом, две области: техника и религия — не разделены.

Существует религиозная и магическая техника, которая, по всей вероятности, дает человеку возможность соприкасаться с гораздо более многочисленными и разнообразными аспектами и свойствами природы, чем это возможно при монотонных и однообразных операциях, за счет которых он обеспечивает свое материальное существование. Но, с другой стороны, в период рассредоточения племени туземец, внешне предоставленный самому себе, вовсе не одинок и находится в контакте только с физической природой. Другими словами, туземец никогда реально не выходит за пределы своей группы. Никогда его разум не перестает черпать из источников коллективного мышления, поскольку он всегда сохраняет те же верования и духовные устремления, которые получил, когда племя было в сборе. «Жизнь австралийских обществ проходит в чередовании двух различных фаз». Да. Но она никогда не перестает быть социальной жизнью.

К тому же не очевидно, что даже вне этих первобытных обществ, в которых для личной инициативы так мало места, основные научные открытия были сделаны техниками. Как говорит Блондель, возделывание зем-

ли, охота, рыбная ловля представляют собой действия, дающие контакт с реальностью. Но какими собственно научными открытиями мы обязаны крестьянам, рыбакам и охотникам? Конечно, их [могло быть] немало. Ведь если бы натуралист охотился или ловил рыбу, если бы химик или физик что-то выращивал, вероятно, их наблюдения и опыт обогатили бы наше знание о природе. Но не потому ли, что они в действительности не являются чистыми техниками, а вышли как научные исследователи из недр общества?

Уже Огюст Конт говорил, что теология, создав класс жрецов, сделала возможной науку и в какой-то мере заложила ее основы. И действительно, с этого момента группа людей, оказывая сильнейшее влияние на все общество, старалась воплотить в ряде представлений, передаваемых из поколения в поколение, лучшую людскими суммами знаний о природе и о себе. Подобное предприятие не подвластно силам отдельного индивида. Огюст Конт добавлял, что теология на самых ранних этапах дала, к своей чести, полную интерпретацию природы в форме фетиша. Конечно, это ошибочная интерпретация, но ведь самое важное — начало, не так ли? Между этой и Дюркгеймовой точками зрения имеется, как я полагаю, принципиальное сходство. Не флорентийские торговцы с помощью сосудов для хранения воды, но Паскаль открыл, что воздух имеет вес. И даже не каретник, а вновь Паскаль изобрел ручную тележку. Нужно ли этому удивляться? Блондель говорит: «Есть форма разума, техническая и производственная (*fabricante*), которая полностью реализуется в отношении материи и по самой своей природе избегает вмешательства социальной среды». Он добавляет, что эта форма — главная, поскольку «объективное и научное знание, по всей видимости, обязано ей своим происхождением, во всяком случае, хотя бы отчасти». Но существует также целая категория людей, которая, обращаясь к материи во время своей работы, выпадает из-под

духовного влияния социальной среды. Это рабочие. Однако физика и химия образовались без них, вне их группы, и если не считать нескольких исключительных случаев, они совсем не способствовали прогрессу самой техники.

Это не значит, что из последнего критического рассуждения и, в частности, из замечаний о происхождении науки нельзя ничего вывести. Напротив. Можно признать, что, как говорит Блондель, науки — не только экспериментальные, но все науки в целом — могли развиваться только благодаря особой церебральной организации ученых, чья особым образом предрасположенная сенсорно-двигательная система сделала их способными фиксировать внимание на том или ином, еще не известном или плохо изученном аспекте материальной природы (р. 102). Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что подобная органическая предрасположенность сама по себе недостаточна, чтобы породить какую-либо новую научную истину. В течение многих веков и даже тысячелетий в великих цивилизациях типа китайской, в недрах населения относительно высокой плотности, безусловно, встречались отдельные люди, которые, благодаря структуре своего мозга и сенсорной организации, примерно воспроизводили тип кого-то из наших ученых. Также нет никаких оснований полагать, что в течение первых четырнадцати или пятнадцати веков христианской эры над человеческой расой довлела некая физиологическая фатальность, препятствовавшая появлению на свет людей, предрасположенных по своей органической конституции к совершенно крупным открытиям в области физической или химической науки. Но здесь организм играет роль инструмента, и весьма возможно, что сам человек, который случайно обладает таким инструментом, так же, как и члены его группы, не замечает его пользы и не способен его оценить. Наряду с органическими предрасположенностями у ученого следует выделять собственно менталь-

ный аппарат, который позволяет ему этими предрасположенностями распоряжаться, — а он полностью смонтирован обществом.

Маугли, «маленький человечек», которого придумал Киплинг, безусловно, могучий человек. Поэтому он пользуется особым уважением у животных в джунглях. Но если наследственность не вложила в него ни одно из достижений общества, от которого он оторван, и если ему не уготовано судьбой вернуться к людям, все его могущество никогда не перейдет в действие. Вряд ли есть ученый, который, прежде чем открыть что-либо значительное, не усвоил бы большей части уже имеющихся в данной области научных знаний. Именно общество — в силу новых контактов, которые устанавливаются между его членами и природой, — приобретает, ограничивает, исправляет и изменяет свои представления. В этом смысле можно было бы уточнить мысль Дюркгейма: неудивительно, что созданные обществом представления подготавливают почву для науки о природных явлениях, ибо общество не только часть природы — посредством людей, которые являются его членами, оно устанавливает контакт с другой частью природы, которая с ним не совпадает. Блондель правильно рассуждал, когда утверждал, что из суждения: «общество принадлежит природе» — можно вынести только следующее: «общество является лишь частью природы»; и нельзя исключить другого: «часть природы (которую, главным образом, изучает наука) находится вне общества». Скажем даже: «Никакой контакт индивида (отрезанного от общества) с природой не приносит нам научного знания». Итак, «вне общества невозможно никакое научное познание».

В заключительной части книги Блондель замечает, что коллективная психология вступает в столь тесный контакт с социологией, что для многих исследователей она почти смешивается с последней (р. 198). Естественно, однако, что в свете поставленных задач и избран-

ных методов, в зависимости от того, на что автор ориентируется в большей степени — на социологию или на индивидуальную психологию, — сформулированные вопросы обсуждаются по-разному, и факты каждый раз рассматриваются под разным углом зрения. Блондель, будучи психологом и занимаясь, к примеру, восприятием, опирается на данные психопатологии. Для него это позитивный материал. Что касается коллективных представлений и устремлений, Блондель выявляет их, главным образом, в свидетельствах, которые может дать индивид, кстати, воспринимающий, анализирующий и выражающий их через рамки социального мышления и языка. Дело в том, что он стремится, главным образом, выявить их действие в каждом индивидуальном сознании и, описав его, устранить [из объяснения]. Блондель хочет выделить четкое место для психофизиологии, которая, конечно же, изучает виды, но виды органических индивидов. Для социолога же позитивным материалом является группа, рассматриваемая как вещь чувственного восприятия, которую можно потрогать, ощутить, описать и измерить. Естественно, за самими вещами социолог пытается постичь коллективные устремления и содержание мышления, разделяемое всеми членами общества. Но чтобы понять эти коллективные состояния, он обращается не к индивидам. Он улавливает их вне индивидуального сознания, в форме и устройстве институтов, обычаев, в объективных закономерностях, открытых ему статистикой.

Итак, существуют два метода постижения одной реальности, но эти два метода смыкаются друг с другом. Блондель, применяя, главным образом, первый метод, не преминул дополнить и подкрепить психологическое наблюдение социологическим описанием: например, обращаясь к аффективной жизни, он изучает виды похоронных обычаев у народов Дальнего Востока и в наших обществах. Но он никогда не дает нам забыть о том, что он психолог. И нам не следует об этом сожалеть. Ему не нужны очки социолога, чтобы разгля-

деть коллективные представления и узнать, какое место они занимают в нашей ментальной жизни. Но ему совсем не чужды наши специфические вопросы, и социолог только выиграет, если будет следовать за ним, как за проводником, до того перевала, где смыкаются два массива: социология и психология. Блондель одним из первых рискнул проникнуть туда и раскрыл нам эти перспективы. Что касается «простых читателей», они с особым интересом воспримут эту талантливую книгу, богатую по содержанию и действительно оригинальную.

Коллективная психология рассудочной деятельности (1938)*

Деятельность рассудка, или умозаключение¹, которое разлагается на множество суждений, внутри нас одновременно воспроизводит в схематичном виде настоящий спор, который возможен (и о котором у нас есть представление) лишь потому, что мы уже спорили и дискутировали с другими людьми. Робинзон Крузо рассказывает, что как только он прибыл на остров, он обсудил сам с собой способ добраться до остатков корабля: «Тогда я созвал совет — я имею в виду, мысленно, — чтобы узнать, как мне пригнать назад плот». Различные мнения и точки зрения лишь по видимости заключены в нашем разуме. Можно сказать — и это

* Опубликовано в: *Zeitschrift für Sozialforschung*. № 7. Paris.

¹ В настоящем тексте «le raisonnement» переводится несколькими вариантами, которые происходят из общей основы «рассудок»: «рассуждение», «рассудочность», «деятельность рассудка». Несколько вариантов перевода потребовалось для адекватной передачи термина, который, в зависимости от контекста, означает логично построенную речь, рациональную способность, мыслительный процесс. Также для перевода «le raisonnement» в значении «строгое рассуждение» используется более привычное «умозаключение». — *Прим. перев.*

не будет метафорой, — что наше мышление часто походит на зал совещаний, где встречаются и сталкиваются аргументы, идеи или абстракции, которыми мы в большой степени обязаны другим. Можно утверждать, что именно они внутри нас ведут споры, отстаивают тезисы, формулируют суждения, которые в нашем разуме оказываются лишь эхом происходящего извне его.

Но даже если мы и заимствуем у других материю своих мыслей, разве не мы сами связываем таковые в цепочки? Не правда ли, рассуждающий человек, в частности, человек, владеющий системой [мысли], производит на нас впечатление островка логики, о который бьются течения противоположных, часто противоречивых мнений?

Действительно, на первый взгляд, рассудочная деятельность, умозаключение, в отличие от мнения, имеет точку опоры в индивиду или вещах, но не в обществе.

Рассуждают, чтобы обосновать свою точку зрения в той мере, в какой она выражает наши чувства и привычки нашего разума, независимо от ее происхождения, чтобы защитить ее как таковую — защитить от всех и даже от нас самих (ибо и мы сами часто противоречим себе). В силу того, что мы испытываем влияния себе подобных, и в силу того, что эти влияния различны, в нашем разуме могут оставаться зародыши мыслей, не связанных между собой — тогда нам нужно любой ценой привести их в соответствие друг другу или пожертвовать теми из них, которые не могут сочетаться с наиболее для нас важными. Мысли чаще всего основываются на чувстве, где действует аффективная логика. Эта логика действует во многих случаях и заслуживает такого названия, хотя речь идет не столько о чувствах, сколько о верованиях, которые не являются также знанием в собственном смысле этого слова.

Но мы рассуждаем и для того, чтобы за многочисленными формами незнания, заблуждений, верований, а также сквозь них увидеть не систему нашего мышления, но систему вещей. Второй полюс рассудочной деятельности — объективность, тогда как первый —

субъективность. Можно представить, как между двумя этими формами рассудочности, словно между ногами колосса Родосского, скрытый их тенью, течет поток общих мнений, который один только и несет на себе печать социальности. В конце концов, социальное мышление представляет собой, вероятно, лишь необходимое смешение двух логик — аффективной и объективной. И именно поэтому оно во многом нелогично. Как показал в своей последней книге Леви-Брюль², мистический и позитивный опыт у первобытных людей сосуществуют: они проникают друг в друга, не смешиваясь. Шлюпку на воду не спускают без весел, но и сеть забрасывают только с соблюдением соответствующих ритуалов. Неверно думать об их обществах как о примитивных.

«Объективная рассудочная деятельность»: это выражение не вызовет удивления, если вспомнить о философах XVII века, для которых рассудок (*raison*) заключен в нашем теле или в нашей душе лишь потому, что находится в основании вещей или в самих вещах. Если реальность рациональна сама по себе — по своей природе и в том, как она реализуется, — научиться постигать ее рассудком можно, только стараясь войти с ней в контакт, при этом предварительно утратив контакт с другими, чьи предпонятия встают, как изолирующая среда, между нами и вещами (или, в ином ракурсе, между нами и умопостигаемой истиной). Франсуа Симиан, в противовес сторонникам экономических доктрин, названных им спекулятивными, объявил себя позитивным рационалистом. Он попытался обнаружить умопостигаемые связи между факторами, условиями, результатами не в построении, созданном при помощи разума, но в реальном мире, строящемся в соответствии с логикой, которую мы не смогли бы изобрести. На первый взгляд, экспериментатор весьма далек от общества: он не видит того, что видят другие, он погружен в то, что нахо-

² Lévy-Bruhl L. L'expérience mystique et les symboles chez les primitifs. Paris: Alcan, 1938.

дится вне их поля зрения. Общество имеет естественную склонность относиться к нему с недоверием, так как не в нем ищет он точку опоры. Или, скорее, поскольку общество рассматривает все не иначе как под социальным углом зрения, оно подозревает, что экспериментатор связан с какой-то масонской сектой или тайным братством, от которых можно ждать любых действий и козней³. Но всякий человек, даже не являющийся ученым и не практикующий собственно научной рассудочной деятельности, но считающий, что существует истина и что она не сводится к истине мнения, что она находится вне социального мышления, должен стремиться к ее достижению через метод рассуждения, который ничем не обязан обществу.

Это показывает, что рассудочную деятельность можно представить как такую, при помощи которой мы избегаем коллективного влияния либо ради утверждения себя в глазах окружающих (аффективная логика), либо ради подчинения (вместе с другими) законам вещей (объективная логика). Это происходит не без усилия, направленного против природы, против нашей природы как социальных существ, подчиняющихся силам мнения. Не иллюзия ли это?

Раз существует логика чувства и верования, то между нашим разумом и чувственностью нет по-настоящему непреодолимого барьера. Правда, чувство иногда противопоставляется рассудочной деятельности, и трудно рассуждать вместе с человеком страстным или верующим. Однако страсть и вера рассуждают, развиваются, укрепляются за счет тех же аргументов, которые они порождают или на которых они, по их собственному убеждению, основываются.

³ Вспомним о том, как Руссо, придумавшего устройство для наблюдения звездного неба, вечером в деревне застали крестьяне, угрожали ему — они думали, что это колдовство. А когда Эйнштейн был вынужден покинуть Германию, в Венеции, в одной крупной газете напечатали: «Пусть он убирается! Пусть убирается! Пусть возвращается к своей тарабарщине и колдовству!»

Откуда же они берут эти аргументы? Не из себя самих, не из своей субстанции, так как сами по себе вера, чувственность и страсть иррациональны. Но вообразим в самом обществе различные области или круги, между которыми существует множество связей, поскольку большое число индивидов постоянно перемещается и переходит из одной в другую. Тогда будет понятно, что у некоторых из этих индивидов все формы логического и нелогического мышления, коренящиеся в позитивном рассудке или в чувствах, могут приходить в столкновение, противостояние, противоречие друг с другом, но могут также и объединяться, самоорганизовываться, и что, в частности, можно придать чувствам и верованиям весь потенциал диалектики, предоставляемый нам различными группами, с которыми мы оказываемся связанными.

Исходя из этой почти нестремимой путаницы логического и нелогического типов мышления у людей, живущих в обществе. Парето составил таблицу, которую здесь стоит воспроизвести, хотя его классификация может показаться достаточно произвольной. Заслуга Парето состоит в том, что он очень обстоятельно исследовал обширное поле ложных и правдоподобных рассуждений, предрассудков, суеверий, теорий, аргументов, полемических приемов, какие он только мог найти повсюду — от сочинений отцов Церкви до современных многотиражных газет⁴.

Прежде всего Парето разделяет человеческие поступки на логичные и нелогичные (последнее, как мы вскоре увидим, не означает алогичные).

Он задается вопросом, существует ли объективно логическая цель у нелогичных поступков — поскольку

⁴ *Pareto V. Traité de sociologie générale. (édition française). 1917–1919. Vol. 2.* Мы говорим о нем в двух статьях, опубликованных в: *Revue d'économie politique. Septembre-décembre 1918; juillet-août 1920.* Арон проанализировал социологию Парето в очень впечатлительной статье в: *Zeitschrift für Sozialforschung. Jahrgang VI (1937). P. 489 sq.*

те, кто их совершает, даже не подозревают о ее существовании либо предлагают цель, которая для них выглядит логической, но на самом деле таковой не является, то есть это субъективно логичная цель. Другими словами, бывают случаи, когда наши действия логичны в том смысле, что они соответствуют истинной, объективной, не зависящей от индивидов или даже от групп логике. В иных случаях это не так. Таким образом, мы вынуждены ввести некоторые различения в категорию нелогичных поступков, которая в действительности наиболее обширна, так как мы редко действуем по чисто объективным причинам.

Есть действия нелогичные не только сами по себе, но являющиеся таковыми и для тех, кто их выполняет. В массе своей они не играют существенной роли, так как «люди имеют ярко выраженную склонность придавать своим действиям глянец логичности». Иными словами, редки случаи, когда мы реализуем свои фантазии или действуем наугад, не стараясь создать хотя бы иллюзию того, что наш поступок мог бы быть одобрен или принят группой или частью группы. Действия следующей категории, сами по себе нелогичные, совершаются ввиду воображаемой цели, но воображаемой для группы в целом. Таковы, например, магические действия. И еще одна, последняя категория: множество нелогичных поступков, то есть поступков, не соответствующих в мышлении действующих лиц неизвестной им объективной логике, которые при этом представляются им логически обоснованными и часто достигают объективной цели, хотя и не направлены на нее. Так, в эти рамки укладывается «большая часть политических действий, вытекающих из традиции так называемой миссии народа или человека». Таково же и большинство экономических действий. Кстати, среди них можно выделить две разновидности: в одних субъект мог бы принять объективную цель, если бы она была ему известна, в других он не принял бы ее.

Правда, указанное различие приобретает смысл лишь в случае признания множественности логик, которые, по крайней мере, формально, распространяются на все более многочисленные группы. Можно ли сказать, что полностью логичное действие — это действие, соответствующее рассудку и только ему? Но какой рассудок имеется в виду, то есть рассудок какой группы? Главное, что мы всегда стараемся обосновать наше действие по отношению к какой бы то ни было группе в форме рассуждения, посылки для которого мы иногда заимствуем в той же самой группе, иногда в двух разных, но так, что одна из них включает в себя другую и является по отношению к ней доминирующей. Например, суждение Стюарта Милля «герцог Веллингтонский — мужчина» заимствуется у ограниченной во времени и пространстве группы знавших вышеупомянутого герцога лично или по чужому свидетельству и представляет собой меньшую посылку. Большая же посылка «каждый человек смертен» относится к гораздо более широкой группе — к тем, кто просто мог наблюдать за человеком и его органическим развитием. Утверждение о том, что действие имеет не объективную, а субъективную логику, означает, что оно соответствует логике ограниченного общества, а не логике более широкой группы, формально включающей в себя логику субъективную, — широкой группы, которая пока еще не существует, но которая будет создана. Практики магии алогичны по отношению к науке завтрашнего дня, но логичны по отношению к сегодняшним верованиям племени.

А это значит, что логика есть даже в тех действиях, которые кажутся нам чуждыми или противоречащими рассудку. Парето признает это. Изучая историю политических и социальных учений, он констатирует, что авторы, имплицитно признавая нелогичные действия, открыто восхваляют действия логичные. Большинство из них считает, что только последние задействованы в социальных явлениях. Но сам Парето различает в действиях, которые он именует логичными, два элемента.

С одной стороны, *остаточные элементы* (*résidus*), то есть то, что обнаруживается, когда отброшены все обоснования и доводы рассудка: например, комбинаторный инстинкт, свойственный некоторым индивидам, из-за которого они склонны придумывать и воображать что-то просто так, для себя, для удовольствия; живучесть традиций, которые не соответствуют более современным верованиям и образу действий; потребность проявлять чувства (личные) через обращенные вовне действия; смутная потребность в общении (*de sociabilité*), которая не вполне удовлетворяется посредством современных форм и обычаев; инстинктивный эгоизм. Действительно, все, что сопротивляется рациональному воздействию общества, можно назвать остатком (*résidu*): «простые аппетиты, вкусы и весьма важный класс социальных фактов, который называется интересами». Конечно, здесь мы будем понимать интересы в наиболее личном и антисоциальном смысле. В остальном мы не покидаем области мышления, так как, согласно Парето, остатки — это принципы, соответствующие определенным чувствам и инстинктам, которые их выражают, но которые не смешиваются с ними.

От этих остатков мы отделим *деривации* (*dérivations*), то есть аргументы чаще всего дедуктивного характера, цель которых — объяснить, обосновать, доказать мысли на основе инстинктов. Парето разделил эти деривации на четыре класса: 1 — Простые и чистые утверждения, которые могут опираться как на факты, чаще всего воображаемые, так и на чувства, или на смесь тех и других. Если эти утверждения отличаются от самих остатков, то потому, что они представлены в общей форме и уподобляются рациональным суждениям. 2 — Рассуждения со ссылками на авторитет одного или нескольких людей (значимых для какой-либо группы, будь то святой Августина или Рузвельт), авторитет традиции и обычаев, авторитет божественного существа или некоей идеи, например, идеи прогресса. Все это относится к области коллективных представлений. 3 — Рассужде-

ния, которые соответствуют чувствам или принципам, индивидуальным или социальным интересам, юридическим, метафизическим и сверхъестественным понятиям. Здесь рассматривается совокупность учений и верований, например, мораль Бентама, вера в колдунов (которой объясняются процессы против животных), идеи Руссо, Канта и Огюста Канта, а также других членов и представителей групп философов. 4 — Устные доказательства: использование неопределенных, сомнительных, двусмысленных слов. Это касается случаев, «когда словесный характер деривации четко выделен и преобладает над всем остальным», в противном случае к последнему классу пришлось бы отнести язык в целом. Речь идет об *idolae linguae*, как сказал бы Бэкон: ведь каждое слово в языке богато социальными значениями, часто весьма различающимися.

Из этих размышлений Парето мы можем вывести следующие два момента.

В первую очередь, логика рассудочной деятельности должна пониматься как полностью относительная, прежде всего, потому что логичное для одной группы не является таковым для другой, а кроме того, потому что за внешней логикой, которая представляется нам алогичной, иногда имеется объективная скрытая логика, своего рода рациональный инстинкт. Когда мы ее раскрываем, она работает на нас, хотя мы и руководствуемся иными правилами и критериями. Например, для греческих моряков жертвоприношения Посейдону и гребля были одинаково логичными средствами, необходимыми для мореплавания. Первое является примером религиозной логики, поскольку практика жертвоприношения согласовывалась с существовавшей в греческом обществе верой в богов и в их могущество. Во втором воплощена техническая, или техницистская, логика, так как практика гребли соответствует принципам и опыту группы моряков. Нам возразят, что логично только то действие, которое соответствует преследуемой цели, то есть полезное действие. Но полез-

ность имеет много степеней, существует множество способов постижения интереса, поэтому нет действия, которое не могло бы быть полезным — то есть, с какой-либо точки зрения, логичным. Если жертвоприношения Посейдону не имеют объективной пользы (поскольку мы знаем, что они не могут способствовать мореплаванию), они по крайней мере способствуют поддержанию религиозной веры и определенного устройства общества и институтов. И в этом смысле неправильно называть дологической рассудочность первобытных народов только потому, что она не соответствует нашей собственной логике.

Мы обвиняем в нелогичности дикаря, которого, несмотря на имеющийся амулет, на охоте или рыбалке постигла неудача, и он объясняет свой неуспех взглядом колдуна. Но ведь точно так же, как он соотносится с универсальным для него принципом (что амулеты имеют власть надо всем), мы руководствуемся принципом причинно-следственной зависимости, когда отказываемся признать сверхъестественное событие, имевшее свидетелей, — мы попросту заявляем, что те плохо смотрели.

С другой стороны — и это второй вопрос, — сколь абсурдными ни казались бы наши вкусы, инстинкты и предпочтения, мы всегда стремимся найти — и часто находим — доводы (*raisons*), чтобы их обосновать. При этом все аргументы являются в действительности «производными» («*dérivés*») от какого-либо потока социального мышления. На первый взгляд, мы озабочены тем, чтобы получить одобрение своим действиям и даже сделать так, чтобы другие взяли на себя ответственность за них; мы стремимся переложить эту ответственность на коллективный рассудок, то есть на рациональное мышление, присущее какой-то группе. Но подобные групповые мышления, сильно отличающиеся друг от друга и даже иногда противоречащие одно другому, встречаются в большом количестве, так как общество распадается на много второстепенных групп и подгрупп, членами которых мы являемся или можем являться

одновременно. Поэтому-то, независимо от положения на социальной, интеллектуальной или моральной лестнице, каждый считает себя правым: ребенок — по отношению к взрослому, слуга — к хозяину, невежда — к ученому, распутник — к праведнику. И каждый находит для защиты своих утверждений, ошибок или пороков расудочные доводы, которые в некоторых кругах признаются справедливыми.

*Deus tradidit mundum disputationi*⁵. Каждый человек хочет убедить себя в том, что он прав, и для этого ему нужно, как говорил Кант, связать «максиму своего действия», которая часто основана на органических тенденциях, с универсальным суждением — *de jure* абсолютно универсальным, но *de facto* универсальным в рамках определенной группы. Возможно, именно таким образом приверженность к аскетическим практикам связана с нервным расстройством, с органической неуравновешенностью. И хотя по своей природе аскетизм неформален, он начинает казаться рациональным, как только получает обоснование в форме аскетического учения, которое малое сообщество принимает как истину, хотя и признаваемую только им одним, но в его глазах представляющую справедливой в отношении всего мира.

Точно так же жалость, прощение обид в римском мире могли казаться постыдной слабостью, пока они не были провозглашены верованием, общим для группы — для всех христиан.

Оттого не стоит удивляться, что приемы, используемые чувственной логикой и верой, отличаются от тех, которые применяет чисто интеллектуальная логика. Рибо показал, что первая действует чаще всего через аккумуляцию или медленное возрастание, то есть через эффект массы или постепенное вовлечение, — тогда как интеллектуальная логика красноречием пренебрегает. Выразим это различие на языке социологии. Можно сказать, что интеллектуальное рассуждение должно точ-

⁵ Бог расположил мир к спорам (лат.). — Прим. перев.

но соответствовать правилам определенной группы: логиков, математиков и т. д. (к этому мы еще вернемся далее). Когда речь идет о чувстве или о страсти, мы не останавливаемся лишь на одной ограниченной части сообщества. Мы ищем аргументы (то есть поддержку, сторонников) повсюду, так как мы хотим удовлетворить или развить наше желание, а для этого нужно, чтобы оно представлялось соответствующим устремлениям большинства группы или наиболее обширных групп.

Вот почему мы используем прием аккумуляции. «Шарлатан, разглагольствующий перед посетителями ярмарки, возбуждает поочередно любопытство, жажду обладания, страх, веселье. Он призывает, соблазняет и через этот внешний беспорядок логично преследует одну цель: сбыть свой товар. Сваха, которая перевозит жениха или невесту, перечисляет их физические, моральные, интеллектуальные достоинства, социальное положение, приданое, тщательно избегая упоминания об отрицательных качествах. При страстной дискуссии пользуются любыми аргументами наугад, лишь бы оглушить противника».

«Прием постепенного вовлечения требует большего искусства и располагается ближе к осмысленной логике. Искусность в рациональной логике состоит в непогрешимой строгости рассуждения. В аффективной логике используется искусство иного рода. Предполагается, что слушатель способен только (или главным образом) на эмоции: его надо убедить, покорить, втянуть. С данной целью лучше всего раскачивать его по-немногу, как дерево, которое хотят срубить и которое в конечном итоге упадет под ударами». А для этого непрерывно обращаются ко все усиливающимся чувствам или эмоциональным мотивам, которые должны оказывать все большее действие на публику, поскольку являются общими для все более обширных групп, с которыми те, с кем ведется разговор, сливаются все более и более тесно — происходит ли при этом перенос с одной локальной группы на все человечество или в обратном направлении.

Но самое главное состоит здесь в том, что данные приемы используются и в случае, когда хотят укрепить в нас желание или страсть, обосновав их в наших глазах, равно как и когда мы стараемся, чтобы наши чувства разделили другие. О чем бы ни шла речь: о тщеславии, влюбленности, зависти, ненависти, политической или религиозной страсти, — ситуация остается неизменной. Мы пользуемся теми же приемами ораторского искусства, как и тогда, когда пытаемся развить наше чувство, подкрепить его рассудком, то есть обеспечить ему место, на которое оно имеет право не только внутри нас, но и в обществе. Чувство в данном случае изменяет свой облик, вовлекается в поток мнения и морали, по крайней мере, определенного мнения и определенной морали. Оно, безусловно, в основе своей остается индивидуальным, но наполняется социальными элементами. Как в наших глазах, так и в глазах других людей, оно частично теряет свою оригинальность и исключительность.

Но чувство принимает коллективную форму не только благодаря приемам, которые оно использует, чтобы защитить, обосновать, утвердить себя и добиться признания. Это происходит также и через аргументы, к которым оно прибегает, и через представления, к которым оно призывает и которые должны сочетаться с концепциями, присущими более или менее широким слоям, а также эпохе в целом.

Вернемся теперь в область науки и беспристрастных исследований и обратимся сначала к форме строгих рассуждений, то есть умозаключений. Умозаключение всегда состоит в том, что специальное или частное суждение соотносится с одним (или несколькими) суждениями более общего характера; факт, взятый в определенных условиях пространства и времени, соотносится с теорией или законом, и мы достаточно ясно видим, что операция подобного рода носит синтетический характер: синтез деятельности разума или группы разумов и более широкого правила, принятого в обществе, которому они принадлежат, — синтез части и целого.

В этом смысле имеется глубокое различие между умозаключением и суждением. Всякое суждение (даже то, которое называется синтетическим) есть анализ. Возьмем, к примеру, фактическое суждение «эта стена белая». Я выбираю среди всех элементов моего восприятия два: стена и белизна — и утверждаю, что между ними существует связь. Но не я создаю эту связь, она дана в самом восприятии. Перейдем теперь к суждениям, основанным на идее типа «справедливость есть добродетель». Это соотношение просто выделяется мною из множества прочих, для которых справедливость полагается существующей и которые в какой-то степени ограничивают это понятие. Например, суждения «справедливость одна для всех», «справедливость не имеет срока давности», «справедливость есть благо», «в некотором смысле, справедливость относительна» и т. д. Мне не надо связывать субъект и предикат данного суждения, в какой-то мере в моем мышлении они уже подразумевают друг друга. Если общество вмешивается в суждение, то это происходит посредством вопросов, которые оно ставит перед нами, посредством того, что оно вынуждает нас рассматривать тот или иной предмет или мысль исключительно под данным углом зрения, заставляя забыть или временно отказаться при этом от других точек зрения. Оно помогает нам упорядочить наши мысли и восприятия и подготовить таким образом почву для сближения между столь различными отношениями, иными словами, подготовить почву для умозаключений. Всякое умозаключение действительно включает в себя различные суждения, соответствующие частным (или общим) утверждениям, и старается увязать их друг с другом, составить своего рода единство.

Но если суждение должно служить почвой для умозаключения, в каком смысле мы можем говорить, что само суждение является частным или общим? Оно всегда в какой-то мере общее, поскольку в результате производимого им анализа оно предстает не сложным индивидуальным состоянием, но ответом на вопрос, задан-

ный группой, то есть утверждением, одновременно понятным и значимым для этой группы. При этом сама группа может быть весьма ограниченной (определяемой местной принадлежностью или как-то иначе небольшой частью сообщества, которое включает в себя множество других, ей подобных). Суждение в этом случае называется частным, поскольку понятно и значимо оно только для части сообщества.

Рассмотрим теперь дедуктивное умозаключение в его чистой форме — силлогизм. Долгое время велись споры по поводу его значения, и утверждалось, что оно не дает нам ничего такого, чего бы мы уже не знали. Но все зависит от того, что понимать под знанием. Два суждения могут сосуществовать в обществе, но приниматься в различных его кругах, не будучи соотносительными в течение долгого времени. Например, в кругу моралистов признают, что «всякое лицо, ответственное за свои поступки, может и должно быть наказано в случае нарушения им законов» и что «всякое лицо, которое не может нести ответственности за свои поступки, не подлежит наказанию», в медицинских кругах признается, что «всякое лицо, страдающее слабоумием или мозговыми нарушениями, не несет ответственности за свои поступки». Но может пройти достаточно много времени, прежде чем придут к заключению: «лица, страдающие слабоумием и т. п., не должны подвергаться наказанию или судебному преследованию в какой-либо форме». Требуется время, чтобы два суждения сблизились, а двум социальным кругам пришлось бы их сопоставить. Итак, заключение сделает либо общество в целом, либо те, кто считает себя одновременно членами двух социальных кругов. Впрочем, можно сказать, что заключение содержалось уже в исходных посылах, так как каждая из них, хотя и была сформулирована сначала в одном социальном кругу, была бы все же принята всеми, если такой вопрос был бы поставлен, то есть если бы этот вопрос был имплицитно принят обществом в целом. Но для его эксплицитного признания нужно было, чтобы оба суждения и оба социальных круга сблизились.

Что касается индуктивного умозаключения, здесь дело обстоит иначе, и синтез происходит в других условиях. Мы исходим из нескольких частных суждений, каждое из которых значимо для отдельной группы и только для нее, поскольку соответствует опыту и условиям, в которых данная группа находится и которые отличаются от таковых для прочих групп. Кроме того, нельзя утверждать *a priori*, что условия времени и места не влияют на наблюдаемый факт. Теперь представим, что все эти частные группы включены в более широкое общество. Члены такого общества, которые входят во все группы, сопоставят эти частные суждения и констатируют, что все они выражают одни и те же факты, чья реальность оказывается независимой от условий времени и места. Однако это не будет, как сказал бы Аристотель, *полным перечислением*. Сколь бы разнообразными и многочисленными ни были бы эти группы, они не исчерпывают всех возможностей, их опыт не включает в себя всех условий, в которых может предстать данный факт. Однако же, если мы пойдем еще дальше и придадим нашему суждению совершенно общую и универсальную форму, мы вынуждены будем выйти за рамки актуального общества и иметь в виду общество более широкое, включающее также и другие группы — все возможные группы и все возможные условия. Итак, именно тот факт, что частные свойства оказываются общими для определенной группы, позволяет осуществить и обосновать переход к предельному случаю. Это было бы невозможно, если бы мы исходили из индивидуальных суждений, поскольку из индивидуальных случаев, даже весьма многочисленных, никогда не вывести чего-то общего.

Иными словами, различие между двумя формами умозаключения состоит в следующем. Дедукция основана на авторитете всего общества, которое вводит посылки, то есть общие суждения, действительные для всех групп, на каковые оно распадается или может распасться. В индукции же, напротив, истинность вывода

вытекает из частных суждений, каждое из которых, однако, имеет форму общего, поскольку они являются коллективными и соответствуют опыту групп: умозаключение здесь вместо того, чтобы спускаться сверху вниз, поднимается снизу вверх. И даже после синтеза такие суждения не эквивалентны суждениям, имеющим совершенно общую форму, поскольку общество, образуемое отдельными группами, неполно. В данном случае истинное синтетическое суждение (которое могло бы, будучи снятым (*en soi ou par soi*) в умозаключении, служить основой для дедукции) справедливо лишь для гипотетического общества, то есть является действительным лишь *de jure*.

Впрочем, индукция в этой форме возможна, и все частные суждения оказываются сопоставимы только потому, что во всех группах уже есть представление об обязательном существовании общего суждения. Или, пойдем дальше, частные истины групп предстают частными аспектами или элементами единой истины, именно потому что мы существуем в мире, образуемом группами, а реальность каждой группы возможна только через ее отношение к более широкому обществу. Все происходит так, как если бы частные суждения являлись лишь фрагментами более общего суждения, каковое выражает общество (и группы в его составе являются лишь его частями). Таким образом, авторитет, каковой имеют частные суждения и каковой впоследствии перейдет к общему заключению, они заимствуют из общества, которое их обосновывает (так, например, у Канта умозаключение о причине вытекает из той идеи, что причинность является необходимым *априорным* условием всякого опыта). В индуктивном умозаключении, в самом его основании, имеется доля дедуктивности и *априорности*. Это доказывает, что никакое умозаключение не гарантировано чем-то иным, помимо самого общества, и невозможно вне рамки — пускай очень широкой и трудноразличимой, — которая первоначально им предостав-

лепа. Данную мысль можно также выразить, сказав, что никакое, даже эмпирическое, заключение не истинно, если оно не соответствует логике умозаключения.

В действительности, эта логика может пониматься в нескольких смыслах. Как известно, существует формальная логика, охватывающая наиболее общие законы умозаключения и формы вывода, вне зависимости от их конкретного содержания. Но для того, чтобы их выделить и сформулировать, недостаточно усилия индивидуального мышления. Последнее могло бы делать весьма произвольные умозаключения, если бы не сталкивалось с оппонирующим ему мышлением. К чему задумываться о правилах умозаключения и устанавливать самому себе предписания? На самом деле, формальная логика могла зародиться и совершенствоваться лишь в обществе философов и логиков.

Мы иногда приписываем Сократу заслугу создания основ действительно рациональной логики, открытия ценности определения и власти диалектики. Но если мы [мысленно] поместим Сократа в его историческую среду, то увидим, что метод его сформировался в контактах с софистами, о которых мы что-то знаем лишь от самого Сократа или Платона, но которые, похоже, далеко продвинули искусство ведения дискуссии. Сама диалектика создавалась в очень открытом и подвижном обществе, где сталкивались не только индивиды, но школы, где противоборствовали попытки и способы доказательств, разработанные в совершенно разных регионах: в Греции, Азии, Италии. Именно в результате их противостояния, выявления присущих им внутренних противоречий сформировалась высшая логика, которая была своего рода судом с собственным кодексом, законами, процедурой, в которой запечатлелась единая общность (ensemble) логиков, коллективное создание, оказавшее столь сильное влияние на умы.

Позднее, в средние века, в рамках средневековых университетов подобную эволюцию являет нам схоластика. Это спор, диспут протекающий не в глубине души

каждого индивида, но на публичных собраниях, где роли распределены между докторами или магистрами, где через тезисы и антитезисы перед группой логиков выставляются и противопоставляются мнения различных школ. Этой группе умозаключение должно казаться справедливым и должно быть признано таковым — неважно, на что оно при этом опирается: на опыт или на личную убежденность. Логики обращаются чаще к традиции или к предметам всеобщего согласия, что, в конце концов, есть не что иное, как различные применения во времени и пространстве единого принципа, который вызывает рассудку, носителем или хранителем которого являются группы. Прежде всего нужно, чтобы аргументам была придана логическая форма. Таково правило, которому должны подчиняться все, кто вступает в спор. То есть аргументы должны быть представлены в логической рамке и последовательности, коллективными по своей сути. Такая манера понимания и использования умозаключения шагнет далеко за пределы средневековья — мы обнаружим его у метафизиков XVII века.

В этом отношении нет ничего более поучительного, чем полемика между Арио и Лейбницем по вопросу о свободе. Арио не может понять своего собеседника до тех пор, пока тот не решает представить свою теорию в схоластической форме: уникальное понятие индивида содержит в себе все атрибуты последнего, в частности, его свободу совершать то или иное действие. Сила подобного заключения сегодня ускользает от нас, живущих в совсем иной среде, но она отчетливо видна старому логіку, который лишь с ее помощью воспринимает тезис всерьез. Итак, справедливо, что рассуждает не индивид, но эпоха и общество.

В математическом умозаключении мы выходим за рамки формальной логики, чтобы войти в иную область. Можно предположить, что здесь разум, предоставленный только своим силам, способен воссоздать всю математику, всю геометрию. На самом же деле он

не продвинулся бы так далеко, если бы не был частью сообщества математиков. Это сообщество действительно существует, оно имеет свои принципы, правила, свои условности, формулы, знаки, свой язык — все это постепенно, с течением времени оно выработало благодаря коллективным усилиям. Математическое доказательство является анализом лишь по виду и задним числом. На самом деле оно предполагает синтез, то есть сопоставление различных суждений, которые были сформулированы отдельными группами исследователей. Любая новая проблема является к тому же вопросом, который всем математикам задают все остальные. Наконец, имеется специфическая логика, которая накладывается на всю эту область — и только на нее — и которая является как бы законодательством, чье действие распространяется в пределах данной страны. За ее границами оно теряет силу. Геометрический разум должен в таком случае уступить место другому разуму: действительная причина в том, что от одной группы перешли к другой, где не признаются те же самые законы.

Несколько позже сформировалось сообщество физиков, логика которого также была специфической — логика и умозаключение экспериментального типа — с трудом пробивавшая себе место в интеллектуальных кругах, где господствовали математики. В течение долгого времени она не могла получить признание иначе как ссылаясь на математическую логику. Еще Лейбниц считал, что должен математически доказывать принцип сохранения живой силы, и заявлял, что именно это доказательство имеет в его глазах наибольшую ценность.

Мы говорили, что объективное умозаключение на основе позитивных данных часто представляли как операцию разума, посредством которой тот мог бы войти в непосредственный контакт с вещами, как отпечаток последовательностей и связей, какими они даны в реальности, до того, как между индивидуальным мышлением и объектами разместятся какие-либо сложившиеся ранее мнения или коллективные представления.

Но при этом обычно забывают, что для принятия подобного отношения к вещам требуется значительное усилие, на которое сам по себе индивид не способен.

Нам кажется, чтобы придерживаться фактов и опытных данных, вполне достаточно занимать пассивную позицию, отказываясь от любой интерпретации, не основанной на фактах как таковых. Однако, как показал Леви-Брюль, для дикаря (и для многих цивилизованных людей) «мистический» опыт в том виде, в каком он сформирован традицией и верованиями нашей группы, так же естествен, столь же сильно влияет на него, как и тот, который мы называем чувственным, физическим и объективным опытом. До того, как чувственный опыт смог выделиться из мистического, приобрести достаточную плотность и связность, чтобы предстать в качестве независимого целого, и даже в качестве самой реальности в целом, было недостаточно отдельных наблюдений и последующих размышлений отдельных индивидов. Для становления физического опыта и его выхода на первый план требовалось длительное существование группы людей, не имеющих иной цели, кроме открытия сущностных черт и законов физической природы. Эта группа людей обладала собственными определениями, уже древними к тому времени традициями и собственным методом. Даже сегодня, чтобы стать физиком, нужно войти в подобную группу, стать частицей ее тела и проникнуться ее разумом.

Эти группы имеют свою историю, которую описать довольно трудно, так как группы проявляются, становятся видимы лишь тогда, когда они уже завоевали право на существование. Новый способ умозаключения, каковым предстает экспериментальное умозаключение, не мог так просто привиться на еще живом древе старой диалектики, в тени которого в то время пребывало все общество (все социальное мышление во всех его формах). Противоречие между двумя способами мышления было слишком заметным. Физики мало-помалу завоевали себе место благодаря тому, что о них в какой-то

мере забыли, ибо объект, над которым они работали, казался слишком специфическим, не имеющим связи с привычными объектами всеобщего мышления. Сходным образом прорастали все науки и новые идеи: сначала они вырабатывались в маленьких сообществах, без сколь-либо отчетливых притязаний, за рамками официальных дисциплин, которые убили бы их в зародыше, если бы могли заподозрить, что для них эти идеи и науки были опасны. Но официальные дисциплины не могли этого заподозрить как раз потому, что существовал личностный барьер между теми, кто ими занимался, и остальными. Отсюда — то, что Огюст Конт называл Декартовым компромиссом: мир материальных вещей в рамках физики, духовный мир (а также мир живого) в рамках старой диалектики. По сути, это было соглашение относительно пограничной линии, разделяющей две группы. Впрочем, в XVII веке случалось и так, что эта граница пролегла в пределах индивидуального мышления: индивид мог входить в сообщество физиков и в религиозное общество. Но никогда он не являлся частью обоих одновременно и пользовался каждым из видов умозаключения только в той группе, которая практиковала только его.

Итак, мы видим появление в обществе ученых делений, соответствующих новой форме знания, обновлению рациональной или рассудочной деятельности, зародившемуся и проявившему себя в недрах ограниченной части сообщества. Рассудочная деятельность идет в новом направлении, одновременно в научной корпорации выделяется новое образование, ощутившее способность создать общество автономного разума, источник особенного общественного авторитета, на который опираются различные его члены. Таковы были физики перед лицом геометрического разума. Но экспериментальный разум и сам скоро придет к разнообразию, несмотря на склонность групп к исключительно посторонним, возможно, в силу действия самого закона исключения. Именно потому, что научная группа полагает, будто компетен-

ция ее простирается *de jure* на всю целокупность вещей, она не может противостоять появлению новых научных образований. Чтобы бороться с ними, пришлось бы перейти на их территорию, заимствовать их логическое оружие и рациональный инструментарий. Но тогда она бы перестала быть самой собой.

Однако существуют и другие логики, имеющие также коллективный характер, сформировавшиеся и развившиеся раньше, чем те, что мы уже рассмотрели. Они всегда сосуществуют с последними и всегда совместно с ними владеют умами объединенных [в общество] людей. К их числу относятся, в первую очередь, логика священнослужителей, религиозных групп, которую определило, углубило и кодифицировало сообщество теологов; такова и логика судов, судей, адвокатов, законопиков, действующая во все времена, во всех развитых странах в рамках того, что можно назвать сообществом юристов. Современные ученые недооценивают и ту и другую логики, так как обе они имеют нормативный характер и предписывают прежде всего то, что должно быть. Но всякая логика в целом нормативна, поскольку состоит из предписаний, которые мышление группы навязывает самой себе и ее членам: рассуждение математика или физика должно «соответствовать законам и подчиняться правилам», а если «совершены ошибки и нарушение то или иное предписание», это заслуживает упрека.

Уточним, что все перечисленные — логики социальных ценностей, в отличие от логики чувства, которая основывается (хотя лишь отчасти) на индивидуальном оценочном суждении⁶. Они, безусловно, используют

⁶ «Разум, — говорил Эйслер, — не создает ценностей, он лишь признает уже существующие, которые в основе своей являются биологическими». Рибо провозглашал: «Ценность вещей — в их способности вызывать желание; она пропорциональна силе желания» (из «*Logique des sentiments*»). Из этого он делает вывод, что ценности полностью субъективны, то есть индивидуальны. Тем не менее даже в плане ощущений существуют и проявляются коллективные предпочтения, одоб-

некоторые реальные факты: психологические и моральные, равно как и физические — но в отличие от объективных логик подчиняют их коллективным предпочтениям и исходят в этом из принципа конечной цели.

К тому же вполне понятно, как объяснить происхождение религиозной или юридической (политической) рассудочности, как ясно то, почему она должна была возникнуть прежде [научной]. Когда различные социальные круги объединялись в общество или когда до сих пор разделенные группы растворялись в более широком образовании, надо было учитывать и синтезировать разнообразные или противоположные верования, присущие этим кругам и группам. Утверждения, сформулированные в ограниченных сообществах, сохранялись в той мере, в какой они могли сочетаться друг с другом и, в особенности, приспосабливаться к принципам более широкого общества, в которое эти ограниченные сообщества были включены. Возможно, именно в религии и юриспруденции, то есть в религиозном и политическом сообществах, такие проблемы возникли ранее, чем где-то еще. Но постепенно такое же положение сложилось и в других областях: философской, научной, практической — и в соответствующих им сообществах.

Итак, первоначально, как и в определенные периоды исторического развития, эти различные общества, вероятно, стремились в своей рассудочной деятельности опираться на единую логику. В средние века это была диалектика, как в теологии и политике, так и в науке с философией. Тем не менее постепенно сформировались различные области и соответствующие им группы. Философия отделилась от теологии, наука — от философии, экспериментальная наука — от математики, и в то же время выделились различные национальные, политические, экономические организации. Сформировались

рения или осуждения группы. И общество может развивать и создавать в нас все виды желаний и страстей. Мы их находим сформулированными и принятыми коллективно, в определенных кругах, и можем даже искать кого-го, кто разделяет их с нами.

отдельные логики, и каждая из них принимается только той группой, которая ею руководствуется и которая ее установила.

Случается так, что принадлежащие к разным сообществам люди встречаются, противопоставляют свои методы умозаключения, применяют различные, развившиеся и созревшие вдали друг от друга методы к одному и тому же вопросу. Многие индивиды входят одновременно в несколько групп каждый, так что в их разуме сталкиваются несколько логик. Логик, действительно, имеется столько, сколько различных сообществ. Однако не следует думать, будто индивидуальное мышление — это своего рода Вавилонская башня или Бедлам. Все частичные логики на самом деле имеют единый источник. Они дифференцировались внутри более широкой логики, которая выражается в языке (грамматика, синтаксис), в практической жизни, в общей жизни, подобно тому как разнообразные группы входят в состав общества в целом. Этого достаточно, чтобы при всем разнообразии эти логики могли сосуществовать бок о бок — при условии, конечно, что каждая из них не будет систематически и слишком надолго вторгаться в области, которые ей не подчинены.

Имеется столько же различных логик, сколько определенных или доступных определению аспектов вещей, которые могут стать центром внимания какого-либо сообщества. Каждая из этих логик должна работать строго по принципу исключения, но при этом быть также и в меру толерантной, поскольку все логики развивают какой-то атрибут рода в целом и признают это как в отношении самих себя, так и в отношении других.

*Индивидуальное сознание и коллективный разум (1939)**

Одним из самых серьезных недостатков классической психологии — будь то психология физиологическая или ассоциативная — является тот факт, что, ограничиваясь изучением отдельного человека, она не может учесть многочисленные факторы, влияющие на индивида извне, как, например, общественные институты, обычаи, обмен мнениями и более всего язык, который с детства и в течение всей жизни обуславливает понимание, чувства, поведение и отношения человека — что в отношении изолированного индивида предстает непостижимым. Однако, даже если классическая психология недостаточно внимания уделяла этим воздействиям и рассматривала индивидуальное сознание только в его собственных границах, она не могла не отметить влияния на него всех этих факторов.

Даже если индивид искусственно отделен от общества и рассматривается вне связей, существующих между ним и группой, он тем не менее хранит на себе отпечаток общества. Интеллектуальные процессы, в частно-

* Приведен французский вариант текста из: *American Journal of Sociology*. № 44. P. 812–822.

сти, те из них, которые можно объяснить только воздействием общества на индивида, исследовались многими психологами. Можно было бы даже сказать, что они — излюбленный объект наблюдений и анализа, по крайней мере, со стороны представителей классической психологии. Иногда психологам даже удавалось правильно описать эти ментальные процессы и провести глубокий анализ их протекания, но предложенные ими объяснения сталкивались с непреодолимыми трудностями. Это справедливо для приверженцев как эмпирического, так и интроспекционистского направления. Ведь если придерживаться гипотезы об изолированном существовании разума, как можно объяснить идеи, принципы, мышление, суждение, которые имеются у нас только потому, что они есть у других? Более того, значительная часть психологов, в частности, сторонников метафизики, защищавших теорию врожденных идей, полагала, что «низшие ментальные функции»: память, воображение, восприятие, а также аффективные состояния и побуждения — находятся в тесной зависимости от «вышей» интеллектуальной жизни.

Они обратили внимание на то, что воля связана с разумом и рассудком. Однако, поместив разум в границы нашего внутреннего мира, или, точнее, стремясь найти его источник в основаниях, внешних по отношению к окружающей нас среде, им не удавалось понять его природу и выделить характерные черты. Им, в частности, не удалось понять того, что разум — полностью относительный фактор, поскольку он связан с социальной средой, которая изменяется и преобразуется в разных местах и в различные периоды. Они, конечно, приблизились к верному решению задачи, но не решили ее окончательно. Их исследование неизбежно страдало от статичного и замкнутого понимания разума, поскольку они не принимали во внимание социальную среду.

Другие психологи — не только метафизики, но также сторонники ассоциативного, физиологического и интроспекционистского направлений, — пытавшиеся

объяснить ментальные функции и разум, интересовались прежде всего тем, в чем они видели самые простые, непосредственно воспринимаемые и наблюдаемые элементы психической деятельности: ощущением, воображением и органическими устремлениями. По этой причине так называемые «высшие» процессы и ментальные состояния казались им только расширением, комбинацией сенсорных состояний и действий, структурой и возникшим на ее основе порядком (*superstructure*) — одновременно сложными и искусственными. В исследовании ментальных процессов нет никаких оснований помещать эти явления вне индивидуального разума, поскольку, как они полагали, ментальные состояния имеют своим источником именно индивидуальный разум и черпают из него свое существование, а низшие формы сознательной жизни, которые обусловлены нашим организмом, будучи связанными с ним, должны иметь приблизительно те же границы.

Однако когда психологи стали более строго и основательно изучать психологические факты, они должны были признать очевидность связи между организмом, мозгом и нервной системой различных людей — связи, которую в каждом случае нельзя было объяснить, рассматривая отдельный организм. Примерами такой связи можно назвать язык и выражение эмоций. По правде говоря, когда ментальные состояния выражаются посредством состояний телесных, когда душа и тело сплетаются в своих реакциях и движениях, они раскрывают психические характеристики, общие для человека и животных. Когда же ограничиваются прямо противоположным: изучением элементарных форм сознательной жизни — уже невозможно объяснить, как человек сумел подняться от довольно примитивного уровня до нынешних высших форм ментальной жизни. Именно потому, что психологи этой школы изучали функционирование нашего разума на этом почти органическом уровне, они должны были признать, что значительная часть нашей ментальной жизни не относится к индивидуальной

психологии, поскольку невозможно объяснить интеллектуальную деятельность в такой перспективе, и, следовательно, ментальная жизнь должна являться объектом другой научной дисциплины, изучающей групповые явления.

Не удивительно поэтому, что Блондель, будучи сам психофизиологом, подчеркивает в одной статье, что психопатология может учиться у социологии. Цитируя Дюркгейма, он говорил: «Не индивид изобретает свою религию, мораль, право, эстетику, науку, язык, манеру поведения в повседневной жизни. С равными, с теми, кто выше или ниже его, с сильными и со слабыми, со стариками, женщинами или с детьми разделяет каждый человек свою манеру принимать пищу и вести себя за столом, неисчислимые особенности своего мышления и поведения, наконец. Все это он получает в готовом виде благодаря воспитанию, образованию и языку, благодаря обществу, частью которого он является. Это действительно ментальные состояния, но они таковы, что их сущностные черты делают их противоположными индивидуальным состояниям как таковым. Если они одинаковы для всех, то они не только не принадлежат никакому конкретному человеку, но и не реализуются полностью ни в одном из своих индивидуальных воплощений. Идеи моралиста не есть мораль, идеи ученого — не наука, наши вкусы — не эстетика, слова, которыми мы обмениваемся, — не язык. Ментальная реальность, которая выходит за рамки индивидуальных сознаний, при этом способствуя их формированию, — такова глубинная природа коллективных представлений»¹.

Было бы неплохо, определив таким образом объект коллективной психологии, отделить его от всего того, что к ней не относится, и от того, что по-прежнему принадлежит к области индивидуальной психологии. По мнению Блонделя, психология должна прочно опи-

¹ Journal de psychologie. XXII. Avril 1925. P. 333.

раться на данные психофизиологии и психопатологии. Что касается коллективных представлений и устремлений, прежде всего следует определить их воздействие на разум каждого индивида, описать этот процесс, выявить его причины и элиминировать его, то есть оставить ясно очерченное место для физиологической психологии. Поскольку таковая стремится постичь в состояниях сознания то, что может объясняться через организм, в особенности, организм в связи с его общей природой, эта психология, в действительности, занимается человеческим родом и должна называться «специальной», или сравнительной психологией. По сути, то, что лежит в основе изучения ею индивидуального организма, — это род.

Основополагающая для коллективной психологии реальность — это группа и устремления, представления, общие для различных социальных кругов. Но она не обращается к индивидам, чтобы понять эти коллективные психические состояния. Сначала она обнаруживает их вне индивидуального разума — в формах и структурах общественных институтов и обычаев, в верованиях и в таких продуктах деятельности группы, как искусство, наука, язык и техника. Она лучше улавливает их социальную природу, которая заключена в каждом из них и которую легче постигать извне, поскольку все, что та порождает, обнаруживает себя в формах языка и общего мышления и производно не от индивидуальной интроспекции, но от разума в его коллективной форме.

Итак, существуют две области, дополняющие друг друга, но четко разделенные или, по крайней мере, могущие быть разделенными как форма и содержание. В этой связи можно напомнить о кантовском различении (в «Трансцендентальной эстетике») между *формами* восприятия, пространства, времени, которые даны *a priori*, и чувственным (*matériel*) *содержанием*, которое становится знанием лишь после упорядочения этими формами. Точно так же наше сознание содержит, с одной

стороны, социальные формы или модели, а с другой, — воображаемые или воспринимаемые вещи, фрагменты мыслей и знаний, сравнимые с восприятиями и образами животных, отличающиеся лишь большей сложностью организма и нервной системы человека. Эти ментальные явления, изначально смутные, сравнимые с неясным мышлением спящего человека, отчетливо являются сознанию, лишь войдя в референтную рамку социального мышления. Но в то же время их природа изменяется: они превращаются в коллективные состояния, сохраняющие лишь обрывки органического сознания, которое в неопределенности животной жизни гаснет. В той мере, в какой эти явления дают исходный материал для сознания и ментальной жизни рода, они должны изучаться исключительно извне, но всегда в соотношении с их органическими проявлениями у индивида.

Таким образом, психология будет либо коллективной, либо индивидуальной, и все, что относится к разуму, будет объясняться с точки зрения группы или рода. Противопоставляя эти две дисциплины и освещая одну через другую, можно было бы до некоторой степени объяснить ментальную жизнь в целом. Ведь разум обязан всем своим содержанием либо организму, либо социальной группе. Как только уплачены эти долги, можно сказать, что разум никому ничего не должен.

Однако Блондель утверждал, что помимо этих двух психологических дисциплин существует и третья, которая, впрочем, по его мнению, достойна называться индивидуальной психологией по следующей причине. Считается, что, как говорил Тард, человек — социальное существо, привитое на существе биологическом. Но психолог или социолог не может сам полностью исследовать индивида, получившегося от этого пересечения, или контакта, между рядами физиологических и социальных элементов. При этом хорошо известно, что существуют индивидуальные различия внутри социальных групп. Они порождены сочетанием и взаимным влиянием органических условий и социальных обстоя-

тельств, которые не одинаковы для различных индивидов. Значит, когда-то психологии придется принять во внимание не только функционирование разума в целом, но также отличительные черты явлений, наложивших отпечаток на индивидуальное сознание.

Таким образом, мы приходим к необходимости разделить изучение памяти, восприятия, эмоций и чувств между тремя психологическими дисциплинами: одна из них коллективная, другая физиологическая, или специальная, а третья дифференциальная. Последнюю Кант решил включить в свою систему позитивной философии в качестве седьмой науки, добавив ее к тем, которые уже имелись в его классификации. Она должна была называться «антропологией», или «моральной философией», будучи задуманной как наука об индивидуальных ментальных явлениях.

Итак, обратимся к этой точке зрения. Каким был бы собственный объект индивидуальной или дифференциальной психологии, определяемой таким образом? Стремится ли она объяснить поведение каждого индивида в любых обстоятельствах либо изучает поведение только отдельных индивидов? Но когда речь идет о человеческом разуме, равно как и об органических существах или материальных событиях, научно объяснить индивидуальный случай нельзя. Пожар, лавина, рост растения, смерть животного — события уникальные не в качестве самостоятельных типов, но в том, что выделяет каждое из них среди всех иных, относящихся к тому же типу. В равной мере сказанное относится к сложным состояниям индивидуального сознания и к действиям, посредством которых человеческое существо выражает собственную личность. Это аспект истории или сама история, если понимать ее как описание уникальных существ и фактов, — она начинается там, где кончается наука о фактах социальных.

Блондель еще более полно раскрывает свою концепцию, перечисляя исследования, которые производны от дифференциальной психологии, как он себе ее пред-

ставляет: педагогика, профессиональная подготовка, «этнология»² и ментальная патология. Очевидно, что в каждом из этих исследований на первый план выступают индивидуальные обстоятельства. При изучении индивидуальных случаев необходимо определить интеллектуальные и профессиональные способности, моральные склонности, ментальное состояние. Имеется также множество проблем методического характера, которые требуют предварительного проведения классификации и разграничений. Мы имеем дело с индивидуальными случаями лишь в момент применения к ним научных методов, и ни одна из названных дисциплин не должна рассматриваться как чистая наука, если она ограничивается накоплением индивидуальных наблюдений.

Можно пойти еще дальше и задать вопрос: являются ли вообще эти дисциплины науками, если они ограничиваются сбором разнородных данных, заимствованных из других наук? По правде говоря, нам едва ли известны научные законы, которые не связывали бы друг с другом факты одного рода, поэтому трудно поверить, будто указанные исследования выходят за рамки простого описания.

Итак, существуют психологии коллективная и социальная. Но, возможно, эти две науки еще слишком мало развиты, чтобы позволить нам сформулировать проблемы, которые требуют их участия — поскольку сами проблемы очень сложны и, возможно, даже неразрешимы.

Теперь следует задаться вопросом о месте коллективной психологии в области, закрепленной за социологией. Может показаться, что, изучая коллективную психологию теми же средствами, что и классическую психологию индивида, социологи ограничиваются по-

² В помещенной выше работе «Коллективная психология по Шарлю Блоиделю», в близком по содержанию пассаже автор также воспроизводит перечень областей исследования, заимствованный у Блоиделя. Однако на месте фигурирующей здесь «этнологии» («ethnologie»), в кавычках, там значится «этология» (ethologie), без кавычек. — *Прим. перев.*

следней, исследуя все то, что индивид черпает из социальной жизни, но при этом не подвергая исследованию социальный разум как таковой. Однако это не совсем справедливо. Коллективное мышление не есть метафизическое единство, которое должно отыскивать в обобщенном, таком же метафизическом мире. Коллективный разум существует и реализуется лишь в индивидуальных сознаниях. Кратко говоря, это не более чем определенным образом организованные отношения между индивидуальными разумами; это состояние сознания более или менее значительного числа индивидов, составляющих группу. По этой же причине коллективный разум нельзя исследовать, ограничиваясь только разумом индивидуальным. Чтобы его изучить и постичь, нужно искать его в проявлениях всей группы, взятой как целое. Иными словами, ментальные функции всегда следует рассматривать в том воплощении, какое они получают в конкретном индивиде — как фрагменты функции, общей для всех членов группы. Можно сказать, что индивиды думают, чувствуют, действуют совместно, усваивая ментальные склонности, которые принадлежат группе.

Таким образом, мы приходим к различению двух частей коллективной психологии. Первая, общая, занимается исследованием характеристик и способов функционирования коллективного мышления, каковые обнаруживаются во всех обществах, где эти формы коллективного сознания появляются и где развиваются представления и устремления, отличающиеся по содержанию в каждой группе, а следовательно, именно группе присущие. Частные коллективные психологии (например, психология религиозной группы, семьи, нации, социального класса, экономических группировок и т. д.), исследующие специфическую природу и особое содержание традиций, а также воспоминаний, понятийного мышления, чувств и восприятий, которые характеризуют отдельные группы, следуют за этим общим изучением.

Но не вторгается ли подобный анализ в область групповой психологии? Обнаруживается ли что-то иное в существовании групп и в их социальной деятельности, кроме сочетания устремлений и представлений? И не придется ли нам в конце концов отделить социологию как таковую от коллективной психологии?

Поскольку общество представляет собой совокупность человеческих существ, которые думают, действуют, чувствуют совместно, социология в первую очередь изучает идеи, верования, чувства и устремления, то есть психологические факты. Но, возможно, общество как таковое являет собой нечто большее. Во-первых, чтобы социальная солидарность воплотилась в гармонии мышления, чувств и действий, она должна принимать некоторые условия, которые проявляются в форме механизмов, называемых «техниками», и которые особенно отчетливо явлены в экономической жизни: техники производства, механизации, торговли, денежного обращения. Но существуют также и религиозные, юридические, научные, художественные и другие техники. В частности, есть общая техника языка. Без сомнения, эти техники подразумевают память, рассудочную деятельность и понятия, общие для групп, которые их используют. Их нужно было разработать, и они должны были сохраняться, возобновляться и развиваться. При этом, будучи однажды введены в действие, они работают почти автоматически. Организм и материал превращаются в единое целое: манипуляции и движения первого становятся — в применении техники — скорее физическими, чем осознанными. Они оказываются лишь применением природных законов, которые не являются законами социальной жизни, но воздействуют на общество извне.

В этой связи можно спросить, представляют ли техники существенную часть жизни социальной группы или они всегда выступают в ней чужеродным элементом? Ранее утверждали, что всякое развитие — будь оно социальным, экономическим, юридическим или религиоз-

ным — объясняется развитием промышленной технологии. Для коллективной психологии же важно, что речь идет не столько об инструментах, материалах, станках и операциях, сколько об идеях, точнее, о коллективных представлениях, объектом которых те являются. Исследование научной технологии находится за границами коллективной психологии, социологии или даже экономической социологии.

Мы не хотели бы утверждать, что наука не является продуктом коллективного мышления, тем не менее следует различать науку и ее содержание, или ее материальные приложения. Техники могут быть объектом социальной рефлексии, поскольку разработка техники — такой, как наука и ее приложения — является результатом коллективного мышления. Наука как таковая, наука в ее материальном содержании не является частью общества.

Помимо этого можно выделить два аспекта во всех общественных институтах, коллективных действиях и коллективных представлениях. Такой институт, как монархия, основан прежде всего на подчинении королю, на признании его власти и престижа, на чувствах привязанности и почтения. Это психологические элементы. Кроме того, есть корона, скипетр, королевский дворец, одежда, форма как знак отличия сапожников и королевских офицеров по рангу. Есть письменные документы, узаконивающие власть короля, старинные грамоты, хартии, эдикты, церемонии, парламентские сессии, придворные зрелища, где каждая деталь строго регламентирована в согласии с этикетом и традициями. Короче говоря, есть внешняя форма института, состоящая из материальных элементов, которые можно назвать морфологическими.

Должны ли мы сделать вывод, что социологическое исследование институтов выходит за рамки коллективной психологии, поскольку направлено на характеристики и формы законов, обычаев, виды правления и социальные организации, которые вовсе не входят в психо-

логический порядок и воспроизводятся не как состояния сознания, но существуют — видимые и осязаемые — в пространстве? Именно на эти аспекты социальной реальности ссылался Дюркгейм, когда рекомендовал понимать социальные факты как вещи. Действительно, именно так формы существования обществ занимают место в массе материальных объектов, которым они, как кажется, отчасти уподобляются.

Допустим, что общественные институты — прежде всего формы постоянных, устоявшихся образов жизни. Однако, если вернуться к истокам этих структур, мы обнаружим ментальные состояния, представления, идеи и устремления, которые, устоявшись, в каком-то смысле кристаллизуются. Конечно, с этой точки зрения, между институтами новообразовавшимися и старыми, непоколебимыми и словно застывшими существует множество градаций и различий. Старый общественный институт утрачивает часть своего ментального содержания. Как бы то ни было, нельзя понять его состояние и характер, не воскресив и не осмыслив [форму] коллективного мышления, которая его породила и которая оказывается ныне уменьшившейся, сжавшейся, почти исчезнувшей. Но она способна вновь ожить, если благодаря стечению обстоятельств институт возродится, обретая новую форму. И здесь главным фактором снова выступает идея, которую образует общество относительно данного института, его внешних признаков, а также жестов и реакций, которые тот может вызвать к жизни.

Наконец, есть морфология населения, которая, на первый взгляд, не принадлежит к области ведения коллективной психологии, но тем не менее является частью социологии. Физическое распределение состава группы, число жителей города, их концентрация, их миграционные движения, влияние рождаемости и смертности — все это физические, а не органические факты. Не следует ли нам рассматривать группы и человеческие единства исключительно в их материальном аспекте, когда касаемся их отношения к земле, географиче-

ского распределения, привычек, подчиненных законам смертности и рождаемости? Нет, нам следует понять, что это лишь поверхностный взгляд на вещи. Население — не инертная масса, подчиняющаяся физическим законам столь же пассивно, как песчинки или стада животных. Все эти явления предстают такими, как если бы они были уже осознанными распределением, массой и формой, движением, ростом и убылью. Это скорее состояния коллективного сознания, морфологические или демографические, которые социологи пытаются воссоздать на основании численных данных.

Итак, ни техники, ни морфологические факты, касающиеся населения, не могут быть изучены и объяснены без поиска — в самих фактах и за их пределами — фактов психологических, каковые относятся к коллективной психологии. Эти последние, следовательно, захватывают всю область социологии.

В заключение, следует иметь в виду, что характерными чертами коллективных представлений и устремлений является выражение и воплощение ими себя в материальных формах, часто имеющих символическую или эмблематическую природу. Все происходит так, как если бы мышление группы не могло зародиться, выжить, осознать себя, не опираясь на некоторые пространственно воспринимаемые (*visibles*) формы. Поэтому необходимо изучать материальное воплощение и выражение представлений, анализировать их во всех подробностях, связывать их друг с другом и уделять внимание их сочетаниям. Такая необходимость, возложенная на социологию, могла бы сравниться с той, которая вынуждает физиологическую психологию изучать двигательные реакции и функционирование нервной системы и мозга. Она привлекает ее внимание к индивидуальному организму. Что касается социологии, она распространяет свой интерес на наблюдение физических характеристик групп в целом.

Вот в чем проявляется различие между индивидуальной психологией и социологией. Вот где чувствуется возможность и необходимость объединить их и скло-

нить к сотрудничеству. Ведь сознательная жизнь подразумевает два типа условий: она связана с организмом, но она также находится в связи с социальной средой, ее институтами, ее техниками, ее населением. Можно было бы сказать, что у нее две стороны, полностью дополняющие одна другую: одна из них обращена к органическим условиям, другая — к социальным. Сторона, отражающая органическую жизнь, зависит от психологии индивида, поскольку это основная характеристика организма существ, изолированных и отделенных друг от друга: они предстают в качестве индивидов. Что касается другой стороны ментальной жизни, которая зависит от общества, его институтов и обычаев, то она может быть только коллективной, ибо связана с наполняющей ее коллективной реальностью, проекции которой запечатлеваются в ее собственной природе.

В конечном счете, то, что мы хотели описать и что должно быть ясно понято, — это способ, каким коллективный разум, — охватывая объединения людей, группы и сложные организации таковых, — дает человеческому сознанию доступ ко всему, в чем этот разум воплощается: к мыслям, чувствам, поведению, ментальным предпочтениям и наклонностям различных социальных групп.

*Выражение эмоций и общество (1947)**

Как нам кажется, изучение форм, которые можно было бы назвать высшими формами чувственности, чувств и страстей, требует более глубокой и длительной проработки, чем изучение эмоций, или элементарных удовольствий и страданий. Несомненно, имеется почти бессознательная логика чувств, которая, как говорил Стендаль относительно чувства любви, заставляет все наши размышления и все наше воображение в некотором смысле кристаллизироваться вокруг представления о любимом или ненавидимом человеке, о том предмете, которого мы боимся или желаем. Но вся эта ментальная работа невыполнима, если к нашим эмоциям не примешивается множество мыслей, суждений, умозаключений. Следовательно, аффективные состояния вовлекаются в потоки мышления, которые впадают в наш разум извне и которые существуют в нас лишь постольку, поскольку они существуют в других. Испытываем

* Посмертная публикация в: *Echanges sociologiques*. Paris: Centre de documentation universitaire. Текст любезно предоставила мадам Хальб-вакс, секретарь Центра социологических исследований.

их, конечно, мы сами. Но они возникают и развиваются в мире, где мы находимся в постоянном контакте с другими, и лишь при условии, что предстают они в формах, которые позволяют им быть понятыми — если не одобренными и подкрепленными — в тех кругах, к которым мы принадлежим. Из этого следует, что их интенсивность, их природа и направленность оказываются в большей или меньшей степени подвержены изменениям.

Итак, общество оказывает косвенное воздействие на чувства и страсти. Это происходит потому, что социальный человек, который есть в каждом из нас, следит за человеком чувствующим, и хотя, конечно, первый иногда подчиняется второму и, в каком-то смысле, начинает служить тому, чтобы аргументировать свою страсть, даже тогда человек не перестает быть социальным существом — он рассуждает, он думает. Но все это в целом может происходить в глубине души, вдали от глаз (если не помимо скрытого влияния) общества.

Иначе обстоит дело с эмоциями, а также с тем порядком чувств и страстей, который с ними тесно связан, поскольку они одновременно являются его причиной и следствием. Благодаря своим внешним проявлениям, по крайней мере, видимым и осязаемым способам выражения, эмоции попадают в поле зрения окружающих нас людей, групп, с которыми мы связаны. Когда эмоция выражена, ее выражение оказывается материальным, и группа непосредственно влияет на него¹.

Возможно, эмоциональное выражение отнюдь не является естественным, врожденным либо наследственным, связанным полностью с органическим строением

¹ Чтобы установить возможность социальной регуляции эмоций, надо, с одной стороны, подчеркнуть важность того, что может подлежать социальному контролю: «материальное выражение эмоций» (составной элемент самой эмоции и даже основной ее элемент, по мнению сторонников физиологической теории) — с другой стороны, надо показать, что эмоциональное выражение не является врожденным, то есть предопределенным природой.

рода. Конечно, ребенок рыдает, плачет, машет руками и кричит, хотя никто его этому не учил. Но от движений и спонтанных сокращений, присущих совсем маленьким детям, очень далеко до наблюдаемых в более позднем возрасте выражений и навыков, которые полны оттенков и имеют четко определенные значения. Все происходит так, как если бы дети научились этому, глядя на других и контактируя с ними. Но тогда и пышешние взрослые должны были получить это от своих родителей, а те — от своих, и так вплоть до самых отдаленных предков. Эмоциональное выражение передавалось бы, как язык; и в конце концов оно походит на него, поскольку тоже использует все разнообразие мимики, представляющей словно бы языком жестов и характерных движений. Оно отвечает той же потребности сообщать друг о своих переживаниях.

Само социальное целое (*collectivité*) подсказало или выбрало среди всех спонтанных выражений, появлявшихся по прихоти отдельных индивидов, какую-то экспрессивную мимику, которая, вероятно, казалась ему наилучшим средством сформировать у всех членов группы, свидетелей происходящего, общность чувства или эмоции, подобно тому как язык был выработан обществом для обеспечения общности мышлений. Нет никакой необходимости допускать, что эти жесты и выражения являются как бы остатками (*résidu*) жестов, имевших практическую пользу, или что они были изобретены группой и внедрены ею в утилитарное мышление. Достаточно того, чтобы они отвечали развившейся вследствие коллективного существования потребности людей сочувствовать друг другу в радости и страдании, в восхищении, воодушевлении, возмущении и ненависти.

Когда есть возможность тайно понаблюдать за человеком, который не знает, что на него направлен взгляд, или ему это безразлично, и который под властью эмоций воздевает руки к небу, рвет на себе волосы, издает невнятные звуки или выкрики, не удивительно ли, что вся эта жестикуляция вовсе лишена смысла

и оснований у отдельно взятого индивида и что взволнованный человек ведет себя так, как если бы другие были готовы ответить на его движения и крики?

Блондель говорил: «Сильные аффективные состояния достаточно редки у отдельных индивидов. Одиночество обычно обедняет не только внешнее выражение наших эмоций: плач, смех, крик и всю нашу мимику, — но также и саму игру представлений и чувств, которая за ним стоит. Если тем не менее наши эмоции развиваются вне присутствия других, то потому, что мы беспрестанно пребываем в столь естественном для нас мире совместной жизни, что наше воображение населено гипотетическими зрителями и слушателями, перед которыми раскрываются наши эмоции, а также потому, что из-за некоего раздвоения, к которому нас приучила игра рефлексирующего сознания, становясь союзниками и врагами самим себе, мы выступаем против своего рода внутреннего противника, предоставляем самим себе патетическое видение собственного плача и душераздирающее звучание собственных криков».

Итак, наши аффективные состояния естественным образом стремятся развернуться в социальной среде, которая для них питательна. «Наш гнев питается либо яростью или безразличием наших противников, либо участием наших друзей; он затихает в отсутствии сопротивления или помощи. Наши страхи растворяются и смягчаются, если наше окружение не разделяет их; напротив, они усиливаются до паники, если их разделяют». Моральное одиночество нас ужасает. Правда, говорят, что истинные страдания молчаливы и что все мы в большей или меньшей степени стыдимся своих эмоций. Дело в том, что когда другие не разделяют наш эмоциональный настрой, когда между нами и другими не может быть аффективной общности, мы замыкаемся в себе и сосредоточиваемся на своих переживаниях. Иногда же, особенно когда речь идет о высших моральных, социальных, эстетических и религиозных чувствах, «мы укрываемся в некой идеальной группе, где между

членами царит необходимое согласие, в котором реальность нам отказывает... Но еще чаще наши предпочтения и порывы изнашивает слишком долго накладываемое на них вето».

Наши эмоции подчинены настоящей социальной дисциплине, поскольку ввиду определенного рода событий, в часто встречающихся обстоятельствах именно общество указывает нам, как мы должны реагировать. Вернее, речь идет не столько о манере выражать наши чувства (к чему мы вернемся позже), сколько о самом чувстве или эмоции: общество ожидает, что мы будем их испытывать, оно само приказывает нам пережить их.

«На определенной ступени социальной лестницы, — говорит Блондель, — мы начинаем понимать, какими должны быть наши чувства при рассказе о подвиге или о преступлении, перед произведением Тициана или Родена, при прослушивании симфонии Бетховена или посещении Собора Парижской Богоматери, при вести о победе или поражении наших войск». У нас могут быть свои особые основания грустить в обществе людей, по той или иной причине радующихся. Но мы себя сдерживаем, принуждаем себя участвовать во всеобщем веселье, ясно чувствуя, что иначе мы сорвали бы праздник. Если мы будем смеяться и шутить, когда все обеспокоены, грустны, подавлены, то прослышим горе-шутниками или же людьми бессердечными.

Случается, что вне обстоятельств, в которых наши чувства должны соответствовать общим, мы попадаем в ситуацию, касающуюся только нас. Тогда мы представляем чувство, которое должны испытывать, поскольку всякое иное в подобных обстоятельствах было бы притворством. Кто-то сделал нам добро, и мы должны не только проявлять в отношении этого человека благодарность, но и испытывать ее. Коль скоро нам пришлось стать жертвой несправедливости или оскорбления, даже если в сердце нет ненависти или злости, оказывается, достаточно восстановить мысленно обстоятельства, в которых нам пришлось страдать по чьей-то

вине, и посредством внушения дух мести пробуждается в нас. Внушение всегда приходит извне. Общество говорит с Нероном языком Нарцисса. Правда, Нерон мог бы сопротивляться, склоняясь к доброте или снисходительности, но тогда он прислушивался бы к другой части общества. Прощение оскорблений в римском обществе могло стать возможным только в рамках христианской общины. Вернее, мы имеем здесь дело с двумя различными аффективными реакциями, которые противостоят друг другу как два императива двух различных обществ. «Очень трудно провести грань между тем, что мы переживаем непосредственно, и тем, что мы испытываем в силу долга, а порой и по принуждению».

Теперь обратимся к эмоциональному выражению как таковому: к жестам, мимике, слезам, всем двигательным и артикуляционным реакциям, о которых мы говорили. Различные факты и, в частности, опыты Павлова с условными рефлексам, доказывают, что все эти проявления не полностью спонтанны, что их можно вызывать извне, искусственно и таким образом подчинить влиянию внешней воли. Мыши были приучены слышать звон колокольчика перед получением пищи. С тех пор звон колокольчика, даже тогда, когда еду им не показывали, вызывает у них обильное слюноотделение. «Если мы не можем вызвать слюноотделение одним только нашим желанием, — говорит Блондель, — то, как мы все знаем, достаточно подумать о любимом блюде, и рот наполняется слюной. Мы всегда можем думать о том, чего нам хочется, и таким образом вызывать слюноотделение по нашему желанию». И если у животных эти механизмы формируются через последовательность действий, регулируемых внешней волей, человек сам способен вызвать их у себя — достаточно вызывать в воображении те или иные представления и образы. Так же объясняется способность общества формировать у своих членов некоторые экспрессивные реакции: достаточно показать им предметы, лица, жесты, чей образ в какой-то мере дает сигнал к движениям и двигательным реакциям.

Отсюда большое количество эмоциональных техник, обязанных своим существованием социальной выучке (dressage). Лучше всего наблюдать их в так называемых первобытных обществах, во время церемоний и праздников, когда члены клана или племени, объединившись, проводят свои религиозные ритуалы, символически воспроизводя героические действия и легендарную жизнь своих предков. В этих церемониях — которые продолжаются дни и недели — все направлено на то, чтобы оказывать непрерывное и мощное воздействие на воображение. Демонстрируются священные предметы, повсюду рисунки, символически воспроизводящие тотем, песни и танцы повторяют и разыгрывают мифы и легенды племени. Все эти жесты и заученные формы выражают и одновременно поддерживают аффективные состояния, общие для всех членов группы.

Экспрессивным элементам — и только им — тщательно сгруппированным и последовательно распределенным, удастся пробудить глубокое убеждение, целостную иллюзию, которой сопутствуют чувства и которая, в какой-то мере, создает эти чувства по кусочкам такими, какими сообщество или группа их испытывает и пытается навязать своим членам. Например, обряд посвящения встречается почти в неизменном виде у разных нецивилизованных народов, значительно отличающихся друг от друга: у австралийцев, краснокожих, туземцев Новой Гвинеи. В возрасте половой зрелости молодые люди притворяются мертвыми, а затем, после различных сложных ритуалов, оживают, и им передаются традиции племени — смерть и воскрешение символические, но переживаются как реальные.

У более развитых народов мы встречаем похожие ритуалы и те же самые обряды. Так, в греческих элевсинских мистериях неопиты должны были пройти через смертные муки, через ужасающие сцены Аида, чтобы вступить в сияющий свет, в котором пребывала богиня. Так учили смерти, ведущей в другую жизнь. У посвящаемого вызвали ряд душевных состояний, которые при-

водили к новой вере, вероятно, вере в бессмертие. Совершенные им символические действия, увиденные им сцены — вот средства, которые в нем и во всех, кто также подвергся этим испытаниям, вызывали последовательность эмоций, ради которых делалась эта постановка.

Но коллективные формы эмоция приобретает, главным образом, в связи со смертью, когда родителям и друзьям усопшего предписывается целый ритуал жестов и причитаний. Как только среди дикарей Австралии один из соплеменников испускает последний вздох, среди живых происходит настоящий взрыв отчаяния, который тем не менее проявляется в тщательно регламентированных движениях и действиях. Внешне кажется, что они вне себя: беспорядочные жесты и конвульсии, стайка людей суется возле покойного... Но каждый, в зависимости от степени родства, играет определенную роль: либо расцарапывает себе лицо и тело, либо, скрючившись, катается по земле, либо только испускает вопли и причитания.

Лодс сообщает нам, — говорит Блондель, — что в древние времена у евреев «траур включал в себя два шумных проявления... погребальный плач... и *трени* (стихотворение, напеваемое плакальщицей, часто в сопровождении флейты или систры²). Конечно, ни то, ни другое не было спонтанным, неосознанным взрывом страдания среди живых. Ведь у евреев, как и у множества нецивилизованных народов, погребальные причитания были четко регламентированы обычаем. Их произносили определенные люди, разделенные по полу и клану, в течение фиксированного количества дней и, вероятно, в согласии с предписаниями традиции, в определенные часы читались определенные слова, как у современных сирийцев».

Гране показал, что в Китае язык страдания по-прежнему образует «тщательно упорядоченную символику».

² Ритуальная погремушка древнеегипетского происхождения. — *Прим. перев.*

Необходимость траура для родственников покойного объясняется как своего рода карантин. «Изолированные в отдельных хижинах вокруг дома покойного, они не общаются между собой и никого не принимают. Они безмолвны, неподвижны, не выполняют общественных функций, им запрещена музыка, они подчинены целой системе ограничений в питании, избавлены от всякой заботы о чистоте и живут в состоянии отупения, из которого общество разрешает им выходить постепенно, в несколько этапов, также регламентированных: они поочередно должны надевать пять категорий траурных одежд — такие же внешние знаки» (Блондель).

Вот отрывок из книги голландского автора де Грота «Религиозная система Китая», где описывается в деталях погребальный процесс у древних китайцев. Все происходит после того, как гроб установили на верхних ступенях дома в маленькой хижине, окруженной жертвенными предметами: «Когда все поставлено на место, слуги уходят через заднюю дверь и останавливаются в западной от двери стороне, тот, кто выше рангом, — ближе к западу, чем низший. Плакальщик выходит из комнаты последним. Закрыв дверь, он становится во главе слуг, и все проходят на запад от столбов, спускаясь по западным ступеням. В этот момент женщины ударяют погой. А когда мужчины проходят друг за другом по двое с южной стороны, направляясь к востоку, мужчины-плакальщики ударяют погой. Главный плакальщик выводит их из аллеи с поклонами, возвращается, присоединяется к своим братьям, чтобы вместе с ними плакать возле того места, где стоит гроб; их лица обращены к северу. После этого братья покидают аллею, их также выводит наружу главный плакальщик, приветствующий их поклонами. В финале главные плакальщики уходят с улицы, и стоны прекращаются. Все останавливаются с восточной стороны, повернув лица к западу. Тогда аллея закрывается, а главный плакальщик, поклонившись, сложив обе руки, уходит в свое траурное убежище».

Перед присутствующими родственники выражают свое страдание прикосновениями, ударами в грудь, причитаниями: точно предусмотрены детали, тип, число, а также время и место, где их надлежит исполнять. Заметим, что речь идет о ритуальных жестах, то есть о жестах, которые имеют смысл и считаются имеющими магическое или религиозное воздействие. Де Гроот говорит: «Пока готовят гроб, плакальщики воздерживаются от стонов, так как эти проявления горя могут привести к тому, что настоящее горе будет заперто в гробу, а покойному и его потомкам это нанесет вред». И еще: «Когда на гроб опускают крышку, все, кроме близких родственников, отходят, чтобы их тень не оказалась запертой. Все женщины семьи поднимаются на скамью или стул, чтобы не было выкидыша: дело в том, что земная часть души покойного возвращается в землю, откуда она вышла, и может оттуда легко пройти в их тело, разрушить слабые зерна жизни, которые поместил туда противоположный принцип». Ритуальный жест или движение и эмоциональное выражение тесно связаны, потому-то действия людей, играющих роль выразителей чувств, напоминают религиозные жесты. Поскольку коллективная эмоция связана с этими движениями и позами, кажется, что от них эмоция и зависит, что их достаточно для ее поддержания и устранения всего того, что ею не является. Кажется, что в самой эмоции, разделенной и приумноженной таким образом, есть действительность и власть, которую ни в коем случае нельзя потерять и которую надо направить как к молитве, воззваниям, мольбе, почитанию и благодарности, так и к проклятию. Так, в начале «Царя Эдипа» хор, возносящий жалобы, в то же время славит жертвы, чтобы избежать чумы и призвать на помощь богов.

Теперь перечитаем сцену из «Коломбы» Мериме, где молодая корсиканская девушка поет *баллату* у изголовья покойного: «Покойный лежал на столе в самой большой комнате дома, с непокрытым лицом. Двери и окна были раскрыты, а вокруг стола горело много свечей.

В головах покойного стояла его вдова, а за ней множество женщин, заполнивших одну сторону комнаты. С другой стороны выстроились мужчины, они стояли в глубоком молчании, с непокрытыми головами, их взгляды были прикованы к покойнику. Всякий вновь пришедший подходил к столу, целовал покойного, кивал его вдове, сыну, а затем молча становился в круг. При этом время от времени один из присутствующих нарушал торжественное молчание, обращая к усопшему несколько слов: «Почему ты покинул свою добрую жену? — говорила кумушка. — Разве она в тебе не нуждалась? Чего тебе не хватало? Почему ты не подождал еще месяц? У твоей невестки был бы сын»... Затем плакальщица берет вдову за руки, несколько минут, опустив глаза, собирается с мыслями и импровизирует, обращаясь то к усопшему, то к его семье, иногда, как это нередко бывает в *балладах*, обращаясь от лица самого покойника, чтобы утешить его друзей и дать им совет». Молчание толпы прерывается лишь несколькими вздохами и сдвоенными рыданиями.

Наконец, можно было бы, как это сделал Блондель, показать на многочисленных примерах, в какой степени даже в нашем обществе — не только в деревне, но и в городе — на похоронах, свадьбах проявления скорби или радости регламентируются своеобразным принудительным кодексом, который навязывает поведению внешнее единообразное. Так чувства срастаются с их проявлениями. «Было бы очень трудно для мимики, частично регламентированной социальным целым, порождать, сопровождать или передавать эмоцию, которая не могла бы частично выражаться во внешних проявлениях».

В заключение отметим наиболее поразительный факт (его мы и попытались обосновать): не только выражение эмоций, но, посредством него, и сами эмоции подчиняются обычаям и традициям и руководствуются конформизмом, одновременно внутренним и внешним. Любовь, ненависть, радость, страдание, страх, гнев

сперва испытывались и проявлялись совместно, в форме коллективных реакций. В тех группах, к которым мы принадлежим, мы научились выражать их, но также и испытывать. Даже в изоляции, предоставленные самим себе, наедине с собой мы ведем себя так, как если бы другие наблюдали, следили бы за нами. Тем самым можно сказать, что каждое общество, нация, эпоха также накладывает свой отпечаток на чувственность своих членов. Конечно, в этой области присутствует значительная доля личной спонтанности. Но она проявляется и выражается лишь в общих для всех членов группы формах, которые преобразуют, обрабатывают ментальную природу людей так же глубоко, как рамки языка и коллективного мышления.

Глава 3

социальная морфология

*Земельная политика муниципалитетов (1908)**

Пятьдесят лет назад в таком большом городе, как Париж, несмотря на узость и кривизну улочек старого центра, воздух, зелень, свободные пространства распределялись более равномерно, чем сейчас. Территория была гораздо меньше, и можно было быстро добраться до деревенских окраин и в свободные пригороды. Но и внутри города было достаточно деревьев: всюду были особнячки типа загородных, память о которых сохранилась только в названиях некоторых улиц, огороженные участки, парки и сады, примыкающие к старым монастырям, широкие рвы, через которые чистый воздух доходил до центра Парижа. Все крупные города сами регулировали свое расположение и создавали определенный порядок. Несмотря на различия экономического характера, здоровье, деревья и сельские развлечения оставались общим достоянием.

* Брошюра книжного издательства Социалистической партии:
Les cahiers du socialiste. № 3. Paris.

Что такое городская земельная рента?

Мы не будем делать акцент на том, что мощное развитие капитализма сделало со всем этим. Отметим только, что по мере расширения строительства каждый остающийся участок земли приобретал все большую ценность. Пространства, на которых вырастали дома, из года в год становились все дороже. Владельцы старых домов в более или менее близких к центру кварталах без хлопот и вложений каждый год увеличивали свое состояние благодаря одному только росту города и увеличению числа жителей. В крупных городах всех стран наблюдались аналогичные явления. В Берлине на Хаусфогтайплатц, в деловом квартале, стоимость квадратного метра площади, которая в 1865 году была 115 марок, в 1880 достигла 344, а в 1895 — 990 марок; в рабочих кварталах более поздней застройки квадратный метр в 1880 году стоил 56 марок, а в 1895 — 102 марки. В Лондоне стоимость жилья с 1871 года по 1891 год выросла с 24 до 40 миллионов фунтов стерлингов: из этих 16 миллионов увеличения квартирной платы 7,5 миллионов относились только к земле, то есть за 20 лет стоимость земли в денежном выражении выросла по крайней мере на 150 миллионов фунтов стерлингов. В центре Парижа квадратный метр площади стоил в 1860–1862 гг. от 450 до 500 франков, а в 1900 году уже 900–1200 франков; в XVI квартале — в 1860–1862 гг. стоимость квадратного метра 50–60 франков, а в 1898–1900 гг. — от 130 до 140 франков.

Это непрерывное увеличение стоимости земли в городах называется *городской земельной рентой*. Конечно же, некоторые кварталы получали при этом выгоды больше, чем другие, и буржуазные экономисты смогли обнаружить некоторые земельные участки, стоимость которых не изменилась или даже снизилась в силу случайных причин. Но это — исключения. Всюду, где увеличилось население и размеры городов, земля дала рен-

ту. И то, что этой рентой воспользовались ловкие владельцы, а население в целом только пострадало, — это замечательный пример незаконной наживы.

Право муниципалитетов

Права Города на эти богатства, произведенные им самим и его развитием, а также возросшее значение регулирования транспортных путей и санитарного состояния в таких агломерациях представлялись достаточными причинами для того, чтобы соответственно расширить полномочия муниципалитетов. Почти нигде эти полномочия не принимались в расчет, и только с недавнего времени в Англии, Германии и Бельгии (но не во Франции) муниципалитеты получили возможность планировать и осуществлять земельную политику. Впрочем, если бы они и могли, то, наверное, не побеспокоились бы об этом. Следует указать на их ошибки, промахи, неверные ориентации, однако даже в рамках современных законов социалистические муниципалитеты — независимо от того, воздерживаются ли они или идут до конца в своих правах, — не являются абсолютно беспомощными. Нужно отметить, главным образом, какие новые полномочия социалистическое законодательство должно было предоставить муниципалитетам во Франции с тем, чтобы они с пользой участвовали в общем революционном деле.

Есть ли смысл в том, чтобы муниципалитеты требовали себе долю богатства, появляющегося за счет застроенных и незастроенных участков в их границах? Владельцев зданий или участков можно сравнить с обычными промышленниками и коммерсантами. Чтобы лишить их прибыли или ограничить ее, нужно общее законодательство, которое национализировало бы всю совокупность хозяйств. Что касается муниципалитетов, то им больше не пришлось бы вмешиваться, кроме тех случаев, когда дело касается театров или универмагов.

Но этот тезис, который заинтересованные лица охотно поддерживали бы, сталкивается с двумя фактами. Прежде всего эксплуатация зданий и спекуляция земельными участками — это не обычные предприятия, поскольку они составляют монополии, относящиеся к области государственного интереса и предметов первой необходимости. Как в случае с изменением цен на хлеб — муниципалитеты не могут оставаться безучастными, также они не могут оставить на произвол частных лиц и игру спекуляции, заботу об установлении размера квартплаты и о жилищных условиях. Так, если в общем размере квартирной платы от 28 до 30 процентов приходится на выплату процентных ставок только за земельный участок, на котором построен дом, муниципалитетам надлежит помешать тому, чтобы земля дорожала слишком сильно или слишком быстро, или чтобы это повышение распространилось повсюду. Однако, даже если при капиталистическом строе подорожание неизбежно, муниципалитеты, по крайней мере, могут воспользоваться им в силу следующего факта. Существует естественное стремление владельцев рассматривать себя как отдельно взятых индивидов, чьи интересы, поступки, собственность не имеют никакой связи с коллективными. Но нет ничего более неправильного. Между ними, их состоянием и условиями развития города имеется глубокая взаимосвязь. Владельцы, живущие на одной улице, в одном квартале, могут не признавать друг друга, но все равно они вместе выгадывают от того, что улица становится более многолюдной, а квартал заселяется более богатыми людьми. Всем владельцам Парижа были выгодны постройка вокзалов, прокладка новых дорог, работы по благоустройству и украшению города. Однако все это — дело муниципалитета или результат совместной деятельности всех жителей: это богатство создавали они, им и принадлежит право потребовать его.

Но в какой форме и в каких случаях?

Экспроприация в общественных интересах и право собственности

Теперь мы должны с удвоенным вниманием рассмотреть институцию, называемую экспроприацией в общественных интересах. До сих пор деятельность муниципальных властей в области фондов сводилась главным образом к ней; будь она понятой верно, то могла бы стать — в силу установленных принципов и результатов — великолепным орудием революции; однако она, особенно во Франции, помимо скандальных прибылей и больше, чем все теории, стала фактором усиления мистического и неопределенного характера собственности. Это, безусловно, связано с тем, что муниципальные советы, являясь выражением общества, пропитанного капиталистическим духом, обращались для проведения крупных дорожных работ к деловым людям и подчинялись их методам, принимали их принципы, беспокоились о предоставлении им полной свободы и уважении их инициатив. С тех пор крупные изменения в городах вместо того, чтобы проводиться с мыслями о всеобщей выгоде, с заботой о будущем, не отказываясь от гарантированной выгоды, откладывая на потом слишком дорогостоящие операции, широко распределяя крупные выгодные заказы, — все это стало широкомасштабными «делами», руководство которыми и прибыль доставались строителям и финансистам.

Практическая деятельность парижского муниципалитета времен Второй империи дает повод для весьма актуальных размышлений: то, что он сделал, в более или менее явном виде собираются возобновить сегодня; в других крупных городах Франции поступают примерно так же. Город поручал частным лицам те или иные операции; предприниматели экспроприировали, выплачивали компенсации, оплачивали работы. В ответ Город сначала отчуждал в их пользу земельные участки вдоль новых дорог, которые приходилось экспропри-

ировать, а потом еще и голосовал за субвенции им. Тем самым сама экспроприация становилась в корне порочной. Члены жюри, устанавливающие размер компенсационных выплат, — собственники и крупные коммерсанты, для которых уважение к собственности было, безусловно, религией, — должны были делать выбор не между владельцем экспропрированного дома и Городом, а между владельцем дома и предпринимателем, стремящимся получить выгоду. Это яркий случай превращения операции, служащей общим интересам, в частное предприятие.

В 1880 году Берриер ходатайствует за депутата г-на Дидье, владельца экспропрированного дома на углу улицы Мира и бульвара Капуцинов, напротив Оперы. «Экспроприация, — говорит он, — не есть ни продажа, ни контракт. Это не цена, которую нужно заплатить, это компенсация всего ущерба и будущих потерь. Тут нет никакой общественной полезности. Я вижу лишь спекулянтов, которые хотят в ущерб владельцам получить огромные прибыли». Г-н Дидье заявляет: «Они лишают меня моих надежд, изгоняют с моей собственностью и отнимают достояние моих предков». «Фирма Пети и Берлье, — добавляет Берриер, — занялась подобным делом не без собственной выгоды. Я знаю, что в операции на улице Рен экспроприирующая фирма получила 12 миллионов франков». О чем думали члены жюри, когда наблюдали за появлением эфемерных фирм-экспроприаторов, основанных банками или простыми авантюристами с единственной целью поживиться на операции? Им казалось абсолютно честным то, что владельцы получают свою долю прибыли от этой сделки.

Однако, если бы они заметили, что деньги в конечном итоге уходят из казны Города, аргументы экспропрированных поколебали бы их уверенность. Тем без труда удавалось смешивать две совершенно разные реалии. С одной стороны, они настаивали на значимости преимуществ, которых они лишались: здание в городе

может из года в год очень сильно расти в цене; если, к примеру, новая дорога по соседству увеличивает приток населения или поблизости открывается новый крупный магазин, то стоимость здания быстро возрастает. Конечно, эти перспективы очень неясные, но ничто не указывает на то, что они не осуществляются, — здание или участок здесь как лотерейный билет — каждый может заявлять, что он выиграет. А если им возражают, что такая игра аморальна и такие прибыли, вычтенные из общего богатства, незаконны, владелец экспроприруемого имущества хватается за другую идею. Этот дом, — говорит он, — достояние моих предков. С тех пор как я им владею, я привык к нему. Мне нравится этот квартал. Мне все здесь знакомо. На этот раз затрагивается сентиментальная струна. Члены жюри не думают о том, что дом, к которому кто-то столь привязан, отличается от того, который сдают взаем, что в этом случае не приходится сожалеть по поводу того, что владелец получит меньше. Собственность священна.

На деле же закон об экспроприации 1841 года, по замыслу его авторов, видимо, относился к совершенно иным случаям, нежели городская экспроприация. Не следует забывать, что он разрабатывался в момент, когда начинали строить железные дороги. Казалось удобным применить его без изменений к экспроприации в крупных городах. Но нельзя утверждать, что, будь он задуман для таких целей, в нем не были бы установлены соответствующие различия.

В самом деле, нельзя путать дороги, прокладываемые в богатых или развивающихся кварталах, имевшие часто целью украшение центрального района и привлечение туда большего числа прохожих, и те, что прокладывались в бедных кварталах, где споспешивали хижинны: их цель, главным образом — оздоровить и очистить. Было бы справедливо, соответствовало бы всеобщим интересам установить свои правила для каждого из этих случаев.

Экспроприация в богатых кварталах

Решили, например, продлить бульвар Осман. Операция стоит многих миллионов, поскольку нужно снести здания плотной застройки, высокие, приносящие большой доход в квартале Опера. Применима ли здесь та же классическая игра? В вышеназванном случае экспроприатор предлагал за дом реальную цену и умеренную компенсацию, то есть всего 1 740 000 франков, а владелец экспроприруемого запросил 3 931 950 франков (чтобы не сказать 4 миллиона); комиссия присудила ему 2 300 000 франков. Очевидно, разница между спросом и предложением есть не что иное, как неограниченные аппетиты владельца. Ясно видно также, что комиссия, хоть и признавала явное завышение, оказалась под впечатлением величины запрашиваемой суммы. В этих условиях полюбовные соглашения, которые должны бы быть правилом, быстро стали исключением. Но неужели действительно весь Город должен брать на себя расходы, от которых получит выгоду только ограниченное число владельцев и коммерсантов?

Чтобы исправить подобные злоупотребления, даже нет необходимости придумывать новые меры. Закон 1865 года о профсоюзных ассоциациях, измененный в 1888 году, гласит, что владельцы, в тех районах, где необходимо проведение срочных или представляющих общественный интерес работ, могут образовывать профсоюзы. Для работ по благоустройству в больших и малых городах, при прокладывании, расширении, продлении общественных дорог достаточно, чтобы три четверти заинтересованных лиц, представляющих более двух третей площади и уплачивающих две трети земельного налога, решили образовать такой профсоюз, чтобы другим пришлось вступить в него и оплачивать свою долю расходов. Конечно, этот закон трудноприменим: с одной стороны, решение большинства заинтересованных лиц должно быть достаточным; но с другой — муниципалитет был бы обязан заранее вызывать владельцев, объяснять им полезность предприятия, обещать им суб-

венции. Хорошо было бы заранее потребовать от владельцев уплаты членских взносов для покрытия части расходов. Гораздо сложнее требовать от них постфактум часть полученной прибыли от их участков и домов. Впрочем, не будь они уверены в том, что Город оплатит все расходы, им бы пришлось заранее оценить величину своего вклада.

Экспроприация в рабочих кварталах

Роль муниципалитетов становится главной, если работы действительно отвечают всеобщим интересам. К примеру, когда принимается решение о сносе целого ряда домов с антисанитарными условиями проживания, о сносе старого и нездорового квартала. В Германии, в частности, в Гамбурге после эпидемии холеры в 1892 году, потом, главным образом, в Англии действия муниципалитетов проводились именно в таком направлении. Во Франции, как тогда, так и теперь, это соображение остается второстепенным. Конечно же, на деле много новых дорог было проложено через старые кварталы, и при этом исчезла масса хижин. Но даже и в этом случае напрямую не заботились об улучшении жилищных условий: сырые и ветхие бараки, которые не попали непосредственно под прокладываемую дорогу, а находились поблизости, остаются тому свидетелями. Старались, главным образом, сократить затраты на операцию и приукрасить некоторые районы: но за монументальными и новыми фасадами часто ничего не менялось. Этим объясняется то, что с владельцами экспроприруемых развалин обращались как с обычными владельцами, выплатили им относительно большие компенсации, и вместе с тем это совершенно иной случай.

В Англии на это обратили внимание и действовали совершенно по-другому: были заложены некоторые элементарные принципы справедливости, и неоправданные аргументы владельцев не учитывались.

Лондонский *Совет графства* по закону имел право сносить здания в целых зонах, где «дома построены так плохо, что их нельзя отремонтировать, и так плохо расположены по отношению друг к другу, что для приведения их в нормальное состояние их следует разрушить и выстроить заново». С этой целью был разработан «план, где обозначалась нужная зона, которая при необходимости могла включать соседние участки, с тем чтобы привести план в соответствие санитарным нормам». Экспроприация проходила следующим образом: если между владельцем и Советом не было согласия, *государственный секретарь назначал арбитра*; последний, после изучения вопроса, определял размер компенсации, опираясь непосредственно и исключительно на точную стоимость, «честную рыночную цену» участков на данный момент, а также на природу и условия собственности, возможный срок эксплуатации зданий. *Никакая дополнительная компенсация по причине вынужденной продажи или экспроприации не выплачивалась*. Более того, компенсация владельцам домов в плохом состоянии не была равна той, которую они получили бы, будь их дом в хорошем состоянии: она *уменьшалась на величину расходов, которые были бы необходимы для ремонта или перестройки жилья*. Если же здание не поддавалось реконструкции, то компенсация включала только стоимость участка и материалов. Это совершенно замечательное законодательство: оно не признает ни на мгновение, что владелец является у себя хозяином. Ведь последний не имеет никакого юридического права ни сдавать внаем комнаты, несоответствующие санитарным нормам, ни ремонтировать или перестраивать дом, если он расположен неудобно. Когда владелец не хочет или не может подчиняться данным предписаниям, Город изымает участок, оплачивая только произведенные затраты. Когда думаешь о бесчисленном количестве хибар, владельцы которых в Париже получили компенсацию по очень высокой шкале, видишь, как много Город

мог бы сэкономить, не нарушая никаких предписаний закона, а главное, не искажая коренным образом общее суждение в отношении прав собственности.

*Присвоение прибавочной стоимости земли
спекулянтами*

Выплаты, рассчитываемые с целью компенсации не только действительно понесенного ущерба, но и упущенной прибыли в будущем, — истинный подарок: по отношению к некоторым владельцам Город еще более щедр. Тем не приходится даже подписывать бумаги, перемещать деньги: пальцем не пошевелив, они получают проложенные рядом с ними дороги; они ждут только подъема цен. Их прибыли значительны: некоторые приведенные выше цифры уже дали определенное представление — а вот другие, касающиеся только Франции. В отчетах за 1862 год знаменитой компании по недвижимости, которая при империи имела прибыль от всех важных операций по прокладыванию путей, мы читаем следующее: «Наша фирма с начальным капиталом в 24 миллиона за семь лет распределила дивидендов на общую сумму 49,4% от этого капитала. Стоимость наших участков и построек достигла 120 миллионов, а полученная прибыль, законность которой не оспаривается, составляет более 20 миллионов. Дивиденды, полученные в 1860 году, составили 10%. Мы расширили дело через кредитные операции. <...> Мы берем займы под 3,25%, 4,5% и 5,25%, а размещаем средства под 6,7% и даже 8%, это постоянные процентные ставки наших операций в течение 9 лет... Доходы от строительства в новых кварталах Марселя дадут еще более высокий процент прибыли». Мы не заставляли их говорить этого. А вот еще более свежие данные. В отчете марсельской фирмы по недвижимости за 1907 год говорится: «Фирма реализовала земельные участки на сумму 112 011 франков:

это сокращает начальную стоимость наших участков на 56 388 франков; разница за некоторыми вычетами, или 55 122 франков, составляет полученную прибыль. При капитале 48 658 100 франков, чистый доход в 1906–1907 годах составил 23 843 500 франков, то есть 49%». В Перпиньяне фирма, занимающаяся фортификациями, снесла их и приобрела участки: они (152,443 квадратных метра) обошлись ей по 16 франков за квадратный метр, те, что уже были проданы, стоили по 67 франков за квадратный метр; в целом фирма считает, что средняя стоимость одного квадратного метра участка равна 30 франкам, но надеется на их увеличение в цене.

Во всех этих случаях увеличение стоимости участков непосредственно связано с работами по благоустройству в городе.

Встречается, хотя и редко, что спекулянты искусственно вздувают цены на землю: действительно, надо приобрести соседний участок, устранить конкурентов, а это стоит дорого. К тому же велик риск: надо быть уверенным в том, что земельный участок удастся вовремя продать. Но чаще всего ограничиваются тем, что ждут роста цен. Существует несколько способов увеличения прибыли: если имеется обширный участок в абсолютно новом и незастроенном квартале, сначала продают его самые лучшие части, а когда они застраиваются и стоимость оставшихся повышается, то продают их в свою очередь. Либо еще способ: распределяют как можно больше своих участков во всех районах, где вероятно повышение цен, и поскольку понижение встречается редко, то в целом всегда выигрывают. Наконец, поскольку повышение происходит не сразу и участок в новом квартале, уже поднявшийся в цене, может таить неожиданности, то лучше всего, — как говорят некоторые спекулянты, — приобретать в старых кварталах обширные участки, застроенные старыми, плохими зданиями; они обычно продаются по цене незастроенных участков, остается только выжидать: сдавая жилье за небольшие деньги, можно всегда нарастить процент

на капитал, а прибыль, даже небольшая, но с обширного пространства, в итоге становится значительной.

*Социалистические муниципалитеты
не будут уничтожать прибавочную стоимость,
но востребуют ее*

Все спекулянты пользуются общим феноменом — прибавочной стоимостью земли. Это явление естественное: оно всего лишь выражает разницу между стоимостью различных участков земли. Безусловно, когда высокая цена земли вызывает чрезмерное увеличение квартплаты для рабочих, это явление имеет плохие последствия, и социалистические муниципалитеты должны вмешиваться. Но жильцы — жильцам рознь. Городу ни к чему защищать богатых квартиросъемщиков от требований владельцев. Естественно и справедливо, что зажиточные буржуа платят дорого, и все дороже и дороже, за преимущество жить в элегантных и богатых районах, особенно в тех кварталах, которые дают им положение.

Важно знать, что такая повышенная цена за некоторые кварталы, некоторые положения — это неоспоримое богатство, что социализм не станет уничтожать ни одного из этих богатств. Противники лицемерно приписывают социализму варварское намерение инвентаризации снизу всех ценностей и уничтожения некоторых благ с тем, чтобы ими не могли пользоваться одни лишь привилегированные лица. Напротив, никакая другая доктрина не свидетельствует о более глубоком уважении ко всем завоеваниям культуры, прогресса, богатств, берущих начало в более насыщенной социальной жизни. Но естественным образом и в соответствии с духом нашей партии городские власти должны требовать владения подобными ценностями для всех и беспокоиться о социализации такого «средства производства», как и всех прочих.

Налог отбирает прибавочную стоимость

Можно ли считать наилучшим средством достижения этой цели регулярную конфискацию части прибавочной стоимости? По правде говоря, это единственное средство, на котором можно остановиться при нынешнем режиме.

Во Франции до 1900 года за земельный участок, подлежащий застройке, платили налог, равный тому, которым облагались самые лучшие плодородные земли, то есть незначительный. Начиная с этой даты, он устанавливался в размере 0,5% — это еще крайне малая цифра. Была возможность воспользоваться тем, что городские власти могут вести свой кадастр с достаточной точностью, чтобы периодически очень строго определять стоимость фондов и зданий, а также следить, чтобы владельцы участков не перекладывали налог на податливых жильцов. Немцы это поняли, во всяком случае, в своей колонии Хяо-Чеу. Там взимается 2% с каждой продажи фондов и более 33,5% с увеличения цены между продажами. С тех фондов, которые остаются в течение 25 лет в одних руках, платятся те же 33,5%.

Кроме того, правительство имеет преимущественное право при каждом отчуждении и поднимает налог на 0,6% от оценочной стоимости каждого фонда. Для применения подобных мер во Франции достаточно было бы в точности исполнять закон от 17 сентября 1807 года. Наполеон свободно обращался с прибавочной стоимостью. Статья тридцатая данного закона гласит: «Когда при прокладке новых улиц, образовании новых площадей, строительстве набережных или всех других видах общественных работ, заказанных правительством либо одобренных им — на общегосударственном уровне, либо на уровне департамента или коммуны, — частные владельцы получают значительное увеличение стоимости, их можно обязать выплатить компенсацию в размере до половины полученной итоговой прибыли».

Этот закон отнюдь не мифический, он действовал в Париже во времена Реставрации, а время от времени владельцу экспроприруемого имущества отказывали в выплате компенсации под тем предлогом, что оставшаяся часть его собственности получает прибавочную стоимость. Следовало бы, кстати, сделать так, чтобы иначе и быть не могло. Все это хорошо показывает, что нехватка ощущается не столько в законах, сколько в правительстве, которое бы их применяло.

***Смена владельцев зданий и долгосрочная
(эмфитевзическая) аренда в богатых кварталах***

Однако такого рода сбор, как всякий постоянно и явно ощущаемый налог, раздражал бы владельцев; они стали бы кричать о том, что их ограбили, они использовали бы тот факт, что стоимость фондов значительно выше стоимости земли, что прибавочная стоимость земли не проявляется сразу же, они бы восстали против законов об изъятии. Социализм должен изымать богатство в тот момент, когда оно формируется, а не после; так может проявляться верховенство его решений. Нельзя допустить, чтобы места, призванные пользоваться наибольшей благосклонностью масс вследствие роста города, земельные участки, чья стоимость увеличивается в результате деятельности всех граждан, передавались бы в постоянное пользование их актуальным владельцам. По отношению к группе собственности (которая дает постоянную и чрезмерно высокую прибавочную стоимость) Город оказывается точно в таком же положении, как Революция и Республика по отношению к имуществу, на которое распространяется «право мертвой руки»: Город имеет право ссылаться на общественные интересы. Действовать он будет не насильственно. Социализм не станет уважать все приобретенные права, но будет учитывать современные убеждения

и верования и, постепенно ограничив частные права, постарается объяснить обладателям их шаткость и необоснованность.

Итак, каждый раз, когда Город будет продавать земельный участок, он более не будет полностью отказываться от владения им. Он будет уступать его в эмфитевзическую аренду. Этот вид долгосрочной аренды давно практикуется в Англии. Некоторые крупные владельцы, которые делят между собой землю в Лондоне, сдают землю тем, кто хочет построить на ней дом, на условиях ежегодной выплаты на срок 99 лет, а по истечении этого срока возвращают себе право на участок и на постройки. Этому примеру последовали во Франции, в частности, в Лионе: хосписы этого города владели обширными участками в том месте, где сейчас располагается квартал Бротто; они продали малую их часть, а все остальное сдали в эмфитевзическую аренду с тем, чтобы не отказываться от верного прироста их стоимости. В момент возобновления аренды учитывается получение прибавочной стоимости при расчете ежегодных выплат. Для Города это средство медленного увеличения своих ресурсов.

Что касается давно проданных зданий, всех этих доходных домов, расположенных вдоль самых красивых дорог, которые являются частью состояний богатых буржуа, то Город должен постепенно забирать их в свое владение, руководствуясь теми же принципами. Нужно, чтобы социалистическое законодательство дало бы ему преимущественное право при покупке таких зданий. Кроме того, когда владелец здания умирает, Город должен получать право откупить его, полностью компенсировав наследникам его стоимость. Так, постепенно владелец дома будет ассимилироваться с владельцем ренты, которую государство может конвертировать, или же с акционером железнодорожной компании, которую государство выкупает и возмещает акционеру денежную стоимость его акций. При этом достаточно, не выдвигая новых правовых принципов, применить к новым

видам процедуры, без проблем применяемые в других местах: поскольку случаи очень похожи, то такой перенос абсолютно законен.

Придется идти еще дальше. Следует предвидеть, что Город не сможет всегда использовать свои привилегии и, кстати, что продаж будет меньше. Тогда Город сможет установить срок, скажем, пятьдесят лет, по истечении которого он сможет использовать право выкупа фондов или зданий; впрочем, он может, не дожидаясь конца срока, начать выплачивать владельцу стоимость здания через ежегодные выплаты; эта ежегодная выплата будет представлять, скажем, одну пятидесятую от последней продажной или от зарегистрированной в кадастре цены; по мере получения владельцем ежегодных выплат он должен будет вносить арендную плату за ту часть здания, владельцем которой он более не является, но имеет в своем распоряжении. Подобный метод будет давать по крайней мере два преимущества: Город сможет разбить выплаты на больший срок, с другой стороны — экспроприация будет проводиться постепенно.

Что касается сумм, необходимых для этой цели, то Город получит их за счет займов под залог самих этих зданий, так он выплатит процентные ставки и покроет амортизацию за счет новых доходов, поступивших от этих зданий. Кстати, Городу может быть выгодно в процессе выкупа оставлять фонды в эмфитевзическую аренду вместо того, чтобы самому управлять ими.

Ограничение квартирной платы в рабочих кварталах

До сих пор мы говорили о богатых кварталах, о зданиях, которые получают наибольшую прибавочную стоимость. Что касается других домов, в особенности тех, где живут рабочие, ремесленники, мелкие служащие, Городу, по крайней мере пока, нужно не выкупать их,

по устанавливать надзор и тщательно регламентировать их эксплуатацию. Оставим сейчас в стороне все, что касается расположения этих домов и их гигиены, не будем также рассматривать Город в качестве строителя рабочих домов. Но прибавочная стоимость, хотя и менее выраженная здесь, остается все же эффективной и высокой; квартплата для рабочих чересчур высока и все время растет. Прибавочная стоимость здесь может быть получена за счет установления верхней границы квартирной платы по каждому району или типу жилья.

Лондонский Совет графства столкнулся с решением подобного рода проблем. С 1875 года закон, по которому муниципалитеты могли разрушать целые зоны, занимаемые домами, где не соблюдаются санитарные нормы, заставлял их обеспечивать приличным жильем по крайней мере столько рабочих, сколько их выезжало вследствие сноса домов, и по возможности в том же самом микрорайоне или по соседству. До Совета графства этими вопросами занималась *Metropolitan board of works*, она продавала под эти нужды свободный участок с обязательством для владельца построить на нем дома для рабочих. Но поскольку эти дома должны были представлять, соответственно, менее одной пятой стоимости проекта, а участки располагались практически в центре, например, в Вестминстере, то этот пункт отпугивал покупателей. Совет графства, который в 1888 году снова стал этим заниматься, решил в некоторых случаях сам строить дома. Но, главное, он получил право перепродавать по коммерческой цене дорогостоящие участки под снесенными домами и покупать для застройки менее дорогую землю либо в других районах Лондона, либо даже — согласно акту 1900 года — за границами графства, чтобы строить там самому или поручить кому-то строительство домов для рабочих¹. Никаких огра-

¹ Участок, покупаемый в Лондоне, таким образом, обходился в одну шестую или десятую цены прежнего земельного участка, на котором первоначально предполагалась застройка.

ничений на такого рода покупки не накладывалось, по крайней мере, если соблюдались предписания и цели, определяемые законом. Обязательства перепродажи отсутствовали, если только не появлялась необходимость в этой земле для предустановленных целей: но даже тогда Местное земельное управление (*Local Government Board*) могло освободить от такого обязательства. Эта земля могла по-прежнему быть экспроприрована с оплатой реальной стоимости плюс 10% компенсации за отказ от владения.

В 1907 году Совет графства потратил на оздоровление районов, застроенных жильем, не соответствующим гигиеническим нормам, 1 068 451 фунт стерлингов, или более 25 миллионов франков, а на покупку земельных участков и строительство домов для рабочих — 3 235 608 фунтов стерлингов, или более 80 миллионов франков.

Этот опыт действительно очень показательный. После действий паугад, частичных неудач, которыми воспользовались экономисты, чтобы поднять шум и осудить его деятельность (как если бы весь вопрос был только в деньгах), Совет графства, кажется, нашел правильный путь. Социалистический муниципалитет не должен возводить дома для рабочих на слишком дорогой земле: он слишком много теряет и не может эффективно использовать имеющееся богатство. Даже нет необходимости сразу же строить такие дома в тех кварталах, где земля дешевле. Муниципалитет может и должен пытаться это делать по мере возможности. Но в любом случае он должен требовать от владельцев в рабочих кварталах, чтобы они согласовывали свои планы с муниципалитетом и назначали такую квартплату, чтобы она только покрывала расходы.

Ограничение квартплаты является, по правде говоря, одной из первоочередных мер, которые социализму придется принять: она будет иметь очень большую революционную силу. В феврале 1871 года правительство Коммуны издало декрет, по которому жители освобож-

дались на несколько месяцев от платы за квартиру в связи с осадным положением: это явилось одним из мотивов неукротимой ненависти к нему со стороны версальцев, но также и внезапной устойчивой популярности в рядах парижского рабочего класса. Общее снижение квартплаты было бы одной из реформ, справедливый и благотворный характер которых привязал бы к Революции весь народ узами глубокой солидарности.

Уже давно ищут практические пути достижения этой цели. В Париже отмена налога на движимое имущество для тех, у кого квартплата ниже 500 франков, вероятно, является шагом в этом направлении, но бремя расходов падает только на Город. В Австрии предложили применять по отношению к владельцам домов закон, по которому устанавливается уровень процентных ставок по займам и наказывается ростовщичество: сходство, конечно, несколько натянутое, к тому же появляются проблемы с расчетами, хотя они встали бы в любом случае. Следует ссылаться на более точный и более явный принцип, необходимо не допускать спекуляции главными интересами рабочих, как и их болезнями и производственными травмами. Парижский муниципальный совет руководствовался таким принципом, когда, подражая английским муниципалитетам, в 1905 году выносил решение о том, что и часть участков, принадлежащих Городу, будет продаваться по льготным ценам при условии, что треть совокупной поверхности первого и последующих этажей будет предназначена для дешевого жилья и что квартплата здесь будет не более 400 франков и не будет повышаться в течение 25 лет. Но, помимо того, что подобная мера имеет массу ограничений как во времени, так и в пространстве, все расходы здесь пали бы на Город. А ему не удалось бы избежать насмешек деловых кругов и бурных протестов владельцев, с которыми он вступил бы в конкуренцию. Современное французское законодательство не позволяет заходить так далеко.

Что произошло бы в тот день, когда закон разрешил бы муниципалитетам устанавливать для каждого квартала ограничения по квартплате? Допустим, что он даже позволял бы владельцам в этих условиях отказаться от эксплуатации своих домов и потребовать их стоимость. Можно утверждать, что лишь очень немногие воспользовались бы этим правилом: когда сдача жилья дает какую-то прибыль — дома являются надежным вложением, по меньшей мере, не меньше, чем другие способы капиталовложения при равной выгоде. Но, с другой стороны, может, в таких условиях откажутся от строительства? Совсем наоборот. Обычно строительству в некоторых районах мешает то, что спекуляция переносится в другие места и стоимость земли остается высокой. Произойдет то же, что происходит в промышленности: когда изделие приносит меньше прибыли поштучно, стремятся по возможности сделать производство массовым. Это можно будет сделать. Ограничения размера квартплаты в рабочих кварталах вызовут снижение стоимости участков. С другой стороны, станет невыгодно ограничивать количество домов. Можно ожидать, что такие меры вызовут большое расширение строительства.

Городские планы: зарубежный опыт

Тогда перед социалистическими муниципалитетами встанет в полном объеме проблема городского планирования. Более не следует доверяться случайности, ожидать от частных лиц прогрессивных инициатив и необходимых улучшений. Буржуазные экономисты оказываются романтически настроенными по такому поводу: протестуют против монотонности улиц, которые пересекаются под прямым углом, против эстетики американских городов. Но вот впечатляющие цифры: в Англии за последние десятилетия муниципалитеты в целом потратили 18 миллионов фунтов (или 450 миллионов франков) на расширение улиц, снос домов, не соответ-

ствующим санитарным нормам, создание свободных пространств. Считают, что четверть этой суммы была потрачена из-за их плохого состояния, причины которого возникли 30 лет назад. Поэтому три четверти этих расходов (или 340 миллионов) налогоплательщикам можно было бы сохранить, если бы муниципалитеты имели больше власти и проявили больше предусмотрительности за последние тридцать лет. Это дорогая цена за свободу строительства.

Права, которыми в настоящее время обладают муниципалитеты, весьма ограничены в этом плане. Почти повсюду они могут определять, как выравнивать улицу, какую ширину она может иметь, но этого мало. В Англии хотели бы, чтобы владелец, намеревающийся строить, указывал на плане проектируемое расположение всех зданий, которые он собирается возводить, а если он прокладывает улицу, то должен указать ее расположение по отношению к другим улицам, проектируемым на его участке или по соседству: такого обязательства нет, оно существует не больше чем право Города изменять направление или положение улиц, таким образом проектируемых. Тем более никакой муниципалитет не имеет право устанавливать максимум домов, которые разрешено строить на одном акре. В Германии пошли немного дальше. В 1900 году из ста городов с населением более 30 000 жителей пятьдесят заявили о том, что имеют «план города», который распространяется на весь пригород или же на его самую большую часть. Правда, этот план, как правило, ограничивался предписаниями по поводу ширины улиц. Но часто он предполагал более или менее полное разделение участков групповой застройки, а также определял предназначение этих строений — жилые или торговые, большие или маленькие дома, отдельные здания или непрерывная застройка. В двадцать одном городе план основывался прежде всего на различении улиц со сквозным движением (они более широкие) и жилых (менее широкие). В тридцати пяти городах свободные пространства, принадлежащие

городу, не должны отводиться под здания общественного назначения (церкви, музеи, театры, рынки). В сорока семи план города предусматривал, помимо посадки деревьев на улицах и площадях, парковые парки и сады. В Мюнхене под них должно было отводиться 5 процентов от общей площади. На севере от Берлина муниципалитет недавно приобрел значительные участки для размещения там парка. Очевидно, что потребность в воздухе, свете, пространстве в настоящее время ощущается все настоятельнее, и немецкие муниципалитеты стараются ее удовлетворить.

Во Франции, в частности, в Париже, этот вопрос стоит на повестке дня. Не только потому, что Город решил приобрести у Государства земельный участок, освободившийся от фортификационных сооружений, и что появилась возможность окружить Париж поясом деревьев и садов, но и потому, что несколько лет назад, благодаря развитию транспортных средств, городская эволюция вступила в новую решающую фазу. Последняя треть XIX века и первые годы XX-го оказались свидетелями роста концентрации рабочего населения в кварталах, где нет ни красоты, ни воздуха, где до самого горизонта каменные фасады или длинные, жаркие и тесные пути — настоящая геенна, где утрачено даже воспоминание о природе и инстинкт свободы. Наиболее крупные реформаторы городов в этот период заботились прежде всего о центральных районах и богатых кварталах, на которые было потрачено много миллионов. Можно было бы и тогда, и теперь без чрезмерных затрат произвести те же работы по благоустройству в других кварталах и получить такой же эффект. Для устройства парка и широких тенистых эспланад на месте старых домов и переулков, конечно же, надо покупать земельные участки. Но территории вокруг парков и скверов приносят прибавочную стоимость, и если Город ею воспользуется, это с лихвой перекроет его затраты. Следовательно, нелепо ссылаться на то, что время упущено и место занято.

Тем более муниципалитеты должны осуществлять свою деятельность в зоне расширения городов, где простираются обширные незастроенные участки. К тому же момент для этого благоприятный. После периода интенсивной концентрации города растягиваются. Жить далеко от центра становится привычным делом. Рабочий, который остается в закрытом помещении на работе дольше, чем богач, не имеет возможности, дабы записаться здоровьем, на некоторое время уехать на водные курорты, на побережье или в горы. Поэтому после окончания рабочего дня он должен у себя дома иметь здоровые условия жизни, чтобы забыть на время о работе. Это еще одна причина, по которой нужно четко разделить кварталы, где живут рабочие, от тех, где они трудятся, от деловых кварталов, и пусть, по возможности, между ними проляжет свободное пространство, где бы задерживалась заводская пыль, затихали все шумы, которыми сопровождается повседневный труд. Так различие между городом и деревней будет медленно исчезать. Жилые поселения будут рассредоточены до границ деревень, а последние, в свою очередь, оживятся за счет более отрегулированных связей с центром, привнесения мыслей и привычек городских жителей. В планах городов с учетом ландшафта и происхождения предполагаемых жителей необходимо заранее указывать род жилья, возводимого в каждой зоне, и расстояние между домами, которого следует придерживаться. Муниципалитетам нужно заниматься не только вопросами гигиены, но и внешним видом домов, они будут учитывать различия во вкусах и их разнообразие, о чем социалисту Фурье пришлось напомнить экономистам. Кварталы, возводимые по их планам, не будут походить на тюрьмы или казармы, как буржуазные постройки. Только сегодня начинают замечать, что строительство городов — целое искусство, оно сложное и пока находится в зачаточном состоянии. На смену отдельным фантазиям миллионеров, внезапно озаренных хорошей идеей (например, Carnegie Dumfer-

line Trust в Шотландии — работа по оборудованию парков и садов вокруг города), придут методичные и общие усилия по преобразованию.

Но муниципалитетам следует исходить не только из соображений эстетики или гигиены. Они не должны забывать, что способы, по которым жители одного города распределяются и группируются, очень сильно влияют на социальное самочувствие жителей. Вынужденные временно принимать стихийное деление городов на богатые и бедные кварталы и применяя в области земельной собственности различные правила для разделенных подобным образом районов, муниципалитеты поймут условность такого противопоставления. Социалисты не отрицают лицемерно существования классов, но они не хотят, чтобы те были разделены в пространстве. Безусловно, одни кварталы всегда будут удобнее других, одни дома будут лучше проветриваться, находиться ближе к центру, к паркам, самым красивым проспектам. Очевидно также и то, что именно там будут охотнее селиться богатые. Но если муниципалитеты захотят, то больше не будет компактных частей города, похожих на лагеря, отделенные от буржуазного населения, благодаря которым оно привыкает игнорировать, бояться и ненавидеть рабочий класс, собранный в других точках города, в тех кварталах или на улицах, куда никто не рискнет заходить.

Выводы

Все зло происходит оттого, что игнорируются отношения тесной солидарности, объединяющие все интересы и все районы города. Апархия, которая обычно является результатом индивидуальной собственности, здесь проявляется особенно сильно. Преобразования в городе выгодны одним владельцам, а экспроприации подвергаются другие. В богатых кварталах мало заботятся о том, что происходит в бедных.

Владельцы строящихся домов не хотят, чтобы соседние незастроенные участки повышались в цене. Владельцы с одной территории не могут договориться относительно прокладывания новых улиц, перераспределения своих участков. Буржуа не замечают того, что нищета, нехватка воздуха и пространства в бедных кварталах города порождают туберкулез, инфекционные заболевания, которые могут постигнуть и богатых. Рабочие не знают, что богатые кварталы в форме прибавочной стоимости каждый год производят ресурсы, необходимые для благоустройства бедных кварталов, и что Город оставляет их в распоряжении богатых владельцев.

В VIII квартале Парижа — самом богатом, но не самом большом — вся земля без учета построек стоит миллиард. В рабочих, но не самых бедных кварталах — в XVIII, XIX и XX кварталах вместе взятых — вся земля без построек стоит пятьсот миллионов. Капитал, помещенный в землю таким образом, дает каждый год проценты: все происходит так же, как в случае с землей различной плодородности — один участок может дать в два раза больше продукции, чем три вместе взятые. Если бы ими владел один хозяин и они управлялись бы из единого центра, разве не улучшил бы последний неблагоприятные части своего владения с помощью дополнительных вложений, полученных от более удачно расположенных участков?

Уже сейчас социалистические муниципалитеты должны готовиться к выполнению этой роли. Благодаря их усилиям будет превалировать согласованная и справедливая земельная политика.

*Планы расширения и благоустройства Парижа до XIX века (1920)**

Когда мы приступаем к изучению развития Парижа, в особенности в современную эпоху, нам часто приходится задаваться вопросом о том, отвечают ли его размеры и структура одному или различным сменявшим друг друга планам, замысел которых формировался постепенно и которые выполнялись последовательно; существуют ли директивы, которым подчинялись разработчики и само население, или же, наоборот, этот город разрастался и преобразовывался в спонтанном движении? Комиссия расширения Парижа опубликовала в 1913 году «Исторический обзор», который не только «прослеживает основные направления расширения Парижа за многие годы», а также решения, благодаря которым в течение многих веков со времени его основания изменялись границы города, перемещались пригороды, но к тому же дает нам представление о проектах и опытах королей, министров, архитекторов, советов и частных лиц, активно занимавшихся развитием города. Мы попытаемся отыскать в этой административной

* Опубликовано в: *La vie urbaine*. № 2. Paris.

публикации, в планах и документах, которые она содержит, некоторые достоверные указания, которые помогут нам понять причины трансформации Парижа¹.

Возражения Тьера, высказанные им в 1859 году против проектов Османа, его упреки за желание последнего «дать воздух в кварталы, где были огороды», поскольку «там воздух и так свободно циркулировал», а также за то, что Осман хотел «открыть доступ к кварталам, где совсем не было коммерции»², несомненно, были олицетворением духа осторожности и экономии, свойственных июльской монархии. Но Тьер мог бы также сослаться и на гораздо более древние традиции.

До XVI века суверены больше заботились о росте Парижа, чем о его ограничении. В границах времен Карла V, проходивших по правому берегу примерно от моста Сен-Пэр, через площадь Карузель, площадь Виктуар, ворота Сен-Дени и площадь Бастилии (на левом берегу сохраняются старые границы Филиппа-Августа, за ее пределы вышли только Сен-Жермен-де-Пре и нынешнее место внешнего рынка), городу было удобно и безопасно. Он мог вместить даже больше людей, чем имелось. «Когда наш славный город Париж, — читаем мы в акте Карла VI, — будет лучше населен, в нем будет больше жителей... его будут почитать больше, и почтение сие увеличит нашу славу»³. Единственной причиной, которая мешала расширить границы, было то, что на окраинах находились «огороды, необходимые для питания Парижа... Рост Парижа в некоторые стороны означал бы необходимость заменить болота на дома...»⁴

Но в середине XVI века выявляется обеспокоенность (повторяющаяся вплоть до царствования Наполеона III) тем, как бы слишком большое расширение Парижа

¹ Мы указываем направление старых границ и дорог в соотношении с нынешними, так что читатель, за исключением старых планов, может найти их на современном плане Парижа.

² Commission d'extension de Paris. Considérations techniques préliminaires. Paris, 1913. P. 32–33.

³ Aperçu historique (Commission d'extension de Paris). P. 9.

⁴ Ibid. P. 15.

не нанесло ущерба одновременно и королевству, и самому Парижу. В эдикте 1548 года Генрих II запрещает всякое новое строительство на окраинах. Мотивы, которые он приводит, любопытны своим разнообразием. Он считает, что развитие окраин происходит в ущерб «другим городам и деревням», откуда эмигрирует «огромное число людей», которые «находят на окраинах оных удобства велики для жития», приезжают они туда, чтобы воспользоваться «послаблениями для жителей окраин»⁵. Льготы существуют, в частности, в отношении профессиональной деятельности: каждый ремесленник мог открыть лавочку на окраине Парижа, не будучи обязанным следовать двойному правилу относительно обучения и контроля качества изготавливаемого товара, которые лежали в основе корпоративной организации того времени; он также мог заниматься своим делом, не подвергаясь посещениям присяжных из его корпорации. Таким образом, как только те, кто работал в Париже под руководством мастера-профессионала, «чему-то научались», они имели склонность открывать свое дело на окраинах. Потому рабочая сила в Париже становилась более редкой и дорогой. Но отмечают также, что эти окраинные дома являются «местом обитания дурных людей». Наконец, опасаются, что чересчур многочисленное население слишком много будет потреблять, и «со временем вещи столь смутные и плохо регулируемые могут привести оный город в столь великое изобилие, что вослед ему придет разрушение непоправимое». В 1554 году публикуется новое запрещение строительства. Однако в 1550 году король решает присоединить к городу окраины Сен-Жермен, «включить их в город с хорошими стенами, рвами и укреплениями»⁶. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре, как мы уже сказали, не включалось в границы города, существовавшие при Филиппе-Августе и Карле V. Однако указанное

⁵ Ibid. P. 16–17.

⁶ Op. cit. P. 17.

аббатство, хотя и располагалось вне стен, распоряжалось двумя воротами из шести в ограждении на левом берегу; к нему вели две дороги, одна «по улицам Сент-Андре дез-Ар и Бюси. Вторая — по улицам Бушри-Сен-Жермен (бульвар Сен-Жермен) и Дюфур-Сен-Жермен»⁷. Наконец, потайной ход Нель и ворота Бюси отныне оставались закрытыми. Франциск I, «видя свой народ Парижа с течением времени столь возросшим, что было очень трудно найти там дома на продажу»⁸, предписал в 1540 году вновь открыть ворота Бюси. Окраины Сен-Жермен очень быстро заселялись. «Известные персонажи»: придворные, члены парламента, Большого совета, офицеры королевской охраны, священнослужители и другие — «построили там много красивых домов». С этого времени окраина приобрела вид богатого, благородного квартала. И, несмотря на сопротивление муниципалитета, который опасался конкуренции ворот Нель с Сен-Жермен-Л'Оксеруа, «аннексия Парижем окраин левого берега (Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Мишель, Сен-Марсо и Сен-Виктор) произошла сама собой, в какой-то мере вследствие постепенного поглощения старых укреплений XIII века наступающими окраинами»⁹.

Итак, получив первый опыт, озабоченный ограничением пределов города король довольно быстро, почти сразу же вынужден был отступить под наступательным давлением слишком уплотнившегося населения. Конечно, можно сказать, что в первом случае он был обеспокоен, главным образом, удалением из Парижа ремесленников, рабочих и людей, ведущих дурной образ жизни; а во втором — уступал жалобам богатых людей из дворян или высшего класса. Но присоединение Сен-Жерменского предместья было только началом. План расширения 1553 года предусматривал включение в Париж окраин и соседних деревень, поставлен даже вопрос

⁷ Ibid. P. 5–6.

⁸ Ibid. P. 13.

⁹ Op. cit. P. 20.

о получении от них денег и выполнении обязательных работ — «барщины»¹⁰. Впрочем, мы найдем и у других суверенов если не ту же непоследовательность, то по крайней мере то же нереализованное стремление сжать город в ограждения, которые были слишком искусственными, чтобы долго сопротивляться.

В течение всего XVII и XVIII веков королевская власть старается подчинить своему контролю и узко регламентировать новое строительство. Декларации 1627 и 1633 года запрещают строительство за пределами последних домов на окраинах. В 1638 году муниципалитет докладывает, что намерения королевской власти «всегда состояли в том, чтобы город Париж и его окраины имели вполне определенное и ограниченное пространство, в котором буржуа содержаться подлежало»¹¹. Приводимые аргументы были примерно те же, что и раньше. В указе Государственного совета от 15 января 1638 года, в котором учитываются жалобы муниципалитета, выражается опасение, что окружающие города и поселения могут со временем обезлюдеть, если их жителям разрешат проживать на окраинах Парижа. Добавляют, что более не следует возводить постройки «на земле, которая за окраинами всегда служила для сельского хозяйства, сенокоса, выращивания овощей и фруктов, абсолютно необходимых для пропитания жителям сего города»¹².

Но в 1664 году суверен констатирует, что запреты 1638 года не соблюдались. В 1672 году он вновь издает указ, где устанавливает новые границы за окраинами. Всем очевидно, что происходит медленное и неотвратимое продвижение города, в особенности на запад; приходится отмечать и закреплять его, в то же время сопротивляясь этому продвижению. В 1637 году, в то самое время, когда публикуются первые запреты, к Парижу

¹⁰ Ibid. P. 19.

¹¹ Ibid. P. 22.

¹² Ibid. P. 22.

присоединяются окраины Сент-Опоре, Монмартр и Вильнев, то есть все западные окраины от Тюильри доворот Сен-Дени. Кстати, с этого момента окраина Сент-Опоре простирается до деревни Руль (современной площади Терн). Париж протягивает на запад длинные щупальца, и его нельзя заставить убрать их. Указ Государственного совета от 31 марта 1664 года касается в первую очередь строений, возведенных с нарушением запрета в западной части, на левом берегу. «Строят за границами вдоль набережной Грешувер (набережная Орсе) и улиц Бурбон (улицы Лиль), Верней и Университетской. Строительство моста Тюильри напротив улицы Бон (1632) может послужить примером такого локального прироста»¹³. Париж со всех сторон выходит из своих границ. В 1672 году отмечали 1202 дома, возведенных за пределами границ в нарушение регламента, в особенности вдоль окраины Сент-Антуан, улицы Шаронн и окраины Сен-Мартен, где было соответственно 167, 98 и 95 домов, тогда как на западных окраинах (правый берег) от Монмартра до Сены их насчитывают 150. На левом берегу почти все указанные застройки находятся в западной части.

В 1724 году королевская власть снова старается помешать расширению города. Тому приводится не менее пяти причин: рост стоимости продуктов питания и трудности в снабжении; нехватка строительных материалов; опасность для общественного порядка «из-за невозможности распределить полицию по всем частям столь обширного образования»¹⁴; увеличение расстояния, которое мешает связям между кварталами; наконец, опасение, что в то время как будут строиться новые здания за пределами города, те, что находятся внутри, придут в запустение. Указом от 18 июля 1724 года «устанавливаются внутренние границы города», а строительное движение на окраинах стараются остановить,

¹³ Op. cit. P. 25.

¹⁴ Ibid. P. 37–40.

предписывая установку померного знака на каждом из уже имеющихся там домов. Это явилось началом нумерации парижских улиц.

Но с разных сторон идут просьбы об исключениях, и их приходится удовлетворять. Например, дубильщикам кож, которые раньше жили на улице Тапри возле Гревской площади, «пришлось из соображений заботы об общественной чистоте перевести свое заведение и коммерцию на окраину Сен-Марсель, они построили на обоих берегах речки Бьевр несколько домов и дубильных мастерских», они высказывают необходимость расширения своих сооружений. С другой стороны, во время создания Елисейских полей в XVII веке жители окраины Сент-Оноре, чьи сады находились по краям, добились того, чтобы на них не распространялось запрещение на строительство. Они потребовали подтверждения своей привилегии, указывая, что в их квартале «могут проживать только те, кто своим происхождением, достоинством или должностью» напоминает о короле, и «им необходимо поэтому занимать большие дома». Поскольку дубильщикам Сен-Марселя и владельцам домов на Елисейских полях предоставляли то, что они просили, для других окраин это служило сигналом к протестам, и королевская власть склонялась к тому, чтобы их удовлетворить»¹⁵.

Возобновляется та же игра. Актом от 16 мая 1765 года королевская власть принимает решение окончательно установить будущие границы, которыми «она намерена обнести город и окраины Парижа». Но она таким образом официально узаконивает присоединение территорий, произошедшее с 1724 года до момента издания указа. Правда, после расследования, проведенного в 1766 году, она решает не только определить границы окраин, но также установить пограничные столбы «на краю соседних с Парижем деревень со стороны Парижа, от сих столбов до конечной точки парижской

¹⁵ Op. cit. P. 43.

окраины запрещается строить какие-либо здания»¹⁶. В то же время окраины правого берега делятся на две зоны, между ними ставятся столбы, и для обеих зон устанавливается максимальная высота зданий. Однако уже в 1769 году констатируют, что построено много новых домов «с нарушениями». В 1772 году Божьим дочерям разрешают открыть проход по улицам Эшикье и Отвиль на их участке, «поскольку этот квартал очень часто посещают, как из-за отеля “Меню Плезир”, так и из-за “Петит-Экюри” и многих других прилегающих отелей»¹⁷. С 1780 года растет число признаков того, что на постановления не обращают никакого внимания. Строители пользуются тем, что должностные обязанности государственных служащих и деятелей, которым выделяют соседние с Парижем участки, определены нечетко. Так, инспектора, отвечающие за охоту, приравнивают себя к казначеям, инспекторам мостов и дорог, присваивают себе право «выравнивать линию вдоль королевских дорог, улиц и путей, которые полностью содержатся за счет короля». За получением разрешения нарушить законы о границах обращаются также к управляющим и служащим королевских строителей и даже к частным судам сеньоров, чьи земли простираются за пределами Парижа¹⁸. Со всех сторон на сельскую местность наступают дома. Старые укрепления Людовика XIV начинают официально исчезать. Новое окружное кольцо, установленное по просьбе генеральных откупщиков в 1785 году, было достаточно просторным, чтобы вплоть до 1860 года удерживать в своих границах сильно возросшее население.

По правде говоря, хотя временная отмена городской взвозной пошлины, революционные праздники и спектакли, централизация власти привлекли в город большое количество новых жителей, до 1800 года Париж не задыхается в своих границах и не испытывает потребности в какой-либо мере расширять свои пределы.

¹⁶ Ibid. P. 56.

¹⁷ Ibid. P. 47.

¹⁸ Op. cit. P. 53.

Однако в первой половине XIX века парижское население удвоилось. И хотя на обширных незанятых пространствах много строили, начиная с 1826 года источники отмечают, что жилья не хватает. Бедному населению приходилось селиться за пределами города — в Гренеле, Саблонвиле, Батиньоле. Правительство не возобновляет политику прежних королей. Но если оно не пытается остановить рост Парижа, то и не делает ничего, чтобы помочь ему. Из экономии, а также, наверняка, чтобы не привлекать в Париж слишком много рабочих, Рамбуто во время всего царствования Луи-Филиппа не решается начинать крупные строительные работы.

Мы должны дойти до 1859 года, когда закон об аннексии присоединит к Парижу всю ту часть, которая находилась между старыми заграждениями и фортификационными сооружениями 1840 года, чтобы снова увидеть в официальном документе намерение ограничить развитие площади Парижа и иллюзию успешного решения проблем. Министр внутренних дел Делангль в своем докладе императору предлагает установить за фортификациями 250-метровую зону, не подлежащую частной застройке. «Хозяйственная деятельность, в силу отказа в праве предоставления земли, будет таким образом удерживаться на довольно значительном расстоянии от Парижа, и создание новых внешних окраин за счет присоединенных территорий будет затруднено»¹⁹. И снова сила экспансии Парижа вскоре перепутала все расчеты. С 1861 по 1872 год рост населения Парижа составил 9%, а в департаменте Сена (за вычетом Парижа) — 44%; а в период 1861–1881 гг. — соответственно 34% и 106%. Если мы будем рассматривать северо-западные коммуны, граничащие с Парижем, мы увидим, что Булонь в период с 1861 по 1872 год увеличивается на 36%, а в 1866–1872 гг. — на 86%; Левадуа-Перре с 1866 по 1872 год — на 22%, а с 1866 по 1886 — на 127%; население Клиши с 1861 по 1881 выросло на 39%, а Сент-Уан в 1861–1872 гг. —

¹⁹ Op. cit. P. 190.

на 146% и в 1861–1881 гг. — на 435%²⁰. В 1912 году число жителей на гектар в XVI квартале Парижа составляло 200 человек, в XIII квартале — 227, кроме того существовала коммуна Левалуа-Перре, где эти цифры были значительно выше — 288, тогда как в коммуне Клиши было всего 162 человека, а в Курбвуа, Пре Сен-Жерве, Монруж, Кремлен-Бисетр и Венсен — около 100 человек²¹. До 1860 года различие по плотности населения между внутренней частью Парижа и тем районом, который должны были вскоре к нему присоединить, было значительно меньше.

Какие выводы мы можем сделать после этого обзора фактов, неизбежно поверхностного и недостаточного (документы не дают нам возможности идти дальше)? Два замечания вынуждают нас непременно обозначить границы нашим знаниям в этом отношении. Во-первых, ничто не доказывает, что указания и запреты на строительство за определенными границами не оказали никакого воздействия. Да, строительство велось, несмотря на постановления. Но разве в отсутствие каких бы то ни было постановлений не строили бы еще больше и быстрее? Затем, в какой степени решения, направленные на приостановку роста Парижа, выражают индивидуальную волю, а в какой степени они отвечают намерениям более или менее обширных коллективов? Жалобы муниципалитета или советов, исходивших из интересов Парижа и даже Франции, и опасения, сформулированные королем или его советниками (так, например, в 1779 году сопротивляются отчуждению части Булонского леса, который должен «служить барьером в случае мятежа, подобно лесному массиву между Парижем и Версалем, препятствующему их сближению»²²), различны по своей природе. Неоспоримо только, что по раз-

²⁰ Ibid. Расчет числовых данных сделан нами по таблицам на с. 210 и 213–216.

²¹ Расчет наш по данным: Commission d'extension de Paris. Considérations techniques préliminaires. 1913. Planche annexe 2.

²² Aperçu historique. Commission d'extension de Paris. P. 54.

личным причинам: из-за предрассудков, сохранившихся с той поры, когда город ошибочно воспринимали как корпорацию ремесленников, а потому стремились одновременно сократить протяженность города и полномочия корпораций; или из-за того, что придерживались классического идеала и воспринимали город как произведение искусства, совокупность памятников, как сад, пропорции которого должны соблюдаться, а главное — по незнанию надвигающейся общей эволюции, сил экспансии, которые дремали в населении королевства, и роли, уготованной столице — сменявшие друг друга правительства много раз вполне осознанно и твердо пытались заключить Париж и его окрестности в определенные границы, но им это не удалось.

Рассмотрим теперь (в качестве доказательства от противного) положительное влияние королей, советов и правительства на формирование города в целом. Все они тщетно пытались ограничить Париж. Но ведь он строился по им же намеченным планам, согласно указанным ими направлениям!

Чтобы установить, в чем выразилось это положительное воздействие, нужно обратиться не к местным, ограниченным проектам, касающимся какого-либо квартала, отдельной его части или одной дороги: существование плана — даже немедленно исполняемого генерального плана — не доказывает, что нововведения являются результатом идей и замыслов отдельных лиц, так как план может появиться в законченной и детализированной форме лишь тогда, когда назревает необходимость фигурирующих в нем преобразований (кстати, формы их проведения роли не играют). Таким образом, план Наполеона III и Османа, за 17 лет глубоко изменивший Париж во всех его частях, не стоит рассматривать как гениальный замысел, который один только дает представление о воплощенном в нем произведении: он отвечал слишком насущным потребностям, реализации которых слишком долго ждали, а составляющие его элементы витали в воздухе слишком долго, чтобы при-

писывать весь эффект одному только плану. Мы, кстати, попытались показать, что истинной причиной прокладки новых путей в Париже во времена Второй империи были коллективные потребности, порожденные ростом и движением населения²³. Что же касается плана, то он сыграл роль инструмента, средства, его можно объяснить и, главное, понять, с какой целью он был сформирован и реализован в то, а не в иное время, только в свете общих преобразований, произошедших либо до того момента, когда он был предложен, либо после этого.

Так, целостный и долгосрочный план, предусматривающий прокладку новых улиц и дорог, мы находим в истории Парижа достаточно поздно. Первым является план 1675 года Бюлле-Блонделя (его отменили по приказу короля и благодаря заботам торговых прево и эшевен²⁴). Как утверждают, в этом плане были обозначены не только уже сделанные работы, но и те, «которые можно было бы продолжить позднее для общественного удобства и украшения города»²⁵. Таким, по крайней мере для Парижа, было начало планов по расширению и обустройству города. По правде говоря, этот план был весьма скромным, и можно было бы ожидать, что Людовик XIV заглянет несколько дальше и его взгляд будет более широкомасштабным. Основной целью этого плана было очертить границы города с помощью «новой крепостной стены, вдоль обсаженной деревьями». На правом берегу она идет «от Бастилии вдоль линии наших больших бульваров, которым этот план дает рождение». Но не надо думать, будто эти бульвары были, таким образом, заранее намечены каким-то архитектором, которого озарило вдохновение, — эта линия в основном воспроизводит ту, что была отмечена установлен-

²³ В нашей книге см.: *Les expropriations et le prix des terrains à Paris (1860–1900)*. Société Nouvelle de librairie et d'édition, chez Cornély, 1909.

²⁴ Эшевен — помощник бургомистра во Франции и Бельгии. — *Прим. перс.*

²⁵ *Aperçu historique*. Commission d'extension de Paris. P. 27 sqq.

ными в 1638 году столбами (за исключением северо-запада, где, как мы видели, Париж выходил из своих границ). В итоге эти бульвары следуют по паружной границе территории, на которую продвинулось население; и если то тут, то там они проходят по свободным пространствам, например, на севере, в окрестностях Тампля, и на западе, севернее современной площади Согласия, — то сделано это было для того, чтобы сохранить без отклонений линию многогранника, которая идет в основном вдоль массивов домов, расположенных по периферии: архитектор просто делает вставки то там, то тут. Чтобы судить о том, в какой степени ему при этом не хватает инициативы, как он сужает свой горизонт, надо представить, что со времен основания Парижа за крепостной стеной (проходившей по современному направлению улиц Шато-д'О, Петит-Экюрн, Рише, Прованс, бульвара Осман, улиц Пентьевр, Колизе, Марбеф, проспекта Альма до одноименного моста) простирался большой сточный открытый канал, «тошнотворный ручей во впадине от старого русла Сены». Однако в 1720 году, когда образуется новый квартал за пределами стены — от Гранж-Бательер до Виль-д'Эвек, — будет приказано выложить камнями и сделать своды в той части открытого стока, где он пересекал новый квартал. А в 1737 году начнутся окончательные работы с тем, чтобы забрать в трубу и в итоге полностью закрыть сточный канал. В плане 1675 года эти работы совсем не предусмотрены.

На левом берегу «крепостная стена, которую можно еще обнаружить в современном Париже, должна была идти от западной крайней точки бульвара Сен-Жермен, затем соединяться с нашим бульваром Инвалидов, а потом следовать бульварам Монпарнас и Пор-Рояль, снова подниматься вверх по прямой линии за Сент-Этьен-Дюмон и доходить с этой стороны, у начала улицы Муфтар, до ворот Сен-Марсель в крепостной стене XIII века. Начиная от этой точки до ворот Сен-Бернар, расположенных слегка восточнее моста Турнель, новая

стена соединяется со старой»²⁶. Этот проект чрезвычайно интересен во многих отношениях. В общих чертах на левом берегу «не принимается во внимание старая пограничная линия, отмеченная столбами 1638 года, поскольку к западу, от проспекта Обсерватории до Сены, территорию расширяли по отношению к этим столбам, тогда как на востоке по отношению к тем же столбам ее сужали»²⁷. Чтобы понять причины явления, которое на первый взгляд кажется произвольным, полезно сравнить план Бюлле и Блонделя 1675 года с планом Н. де Фера 1697 года, где гораздо более четко видны населенные кварталы и их границы, а также пустые пространства, имевшиеся в пределах городских границ. На западе и на юго-западе видны прежде всего два выступа, образованные кварталами, которые находятся в конце улиц Сен-Доминик и Гренель, Севр и Вожирар. Линия 1675 года соединила эти два горба и связала первый с Сеной как раз напротив крайней точки границы правобережной части, а второй — с окраиной Сен-Марсо (по концам улиц Анфер и Сен-Жак), что объясняется именно формой левобережной части Парижа того времени и элементарной необходимостью интерполяции и симметрии. Но ни один из новых путей, которые позднее будут проложены в этих кварталах, ни начало бульвара Сен-Жермен, ни даже сеть бульваров и проспектов, которые появятся в XVIII веке вокруг бульвара Инвалидов, в районе Эколь Милитер, не предусмотрены. Самое неожиданное — это внезапное укорачивание линии у входа на левом берегу. Крепостная стена в верхней части улицы Муфтар (около Сен-Медара) вдруг сворачивает к северу, с небольшими отклонениями проходит в направлении улицы Монж и соединяется со старым укреплением за Сент-Этьен-дю Мон. На плане де Фера 1697 года стена, напротив, удаляется к востоку, соблюдает границы 1638 года в направлении современных бульваров Сен-Марсель

²⁶ Op. cit. P. 29.

²⁷ Ibid. P. 31.

и Опиталь, связывая окраины Сен-Виктор с Парижем. В итоге план Бюлле и Блонделя, хотя его и считают планом расширения, прежде всего служит для украшения города. В нем не предусмотрены ни прокладка улиц и дорог внутри города (даже тех, что были запроектированы к моменту окончания строительства Лувра и Тюильри: улица с галереями на месте сегодняшней улицы Риволи), ни те будущие кварталы и дороги за пределами границ 1638 года. Но поскольку внешняя граница города рассматривалась как место для прогулок, как зеленое обрамление, за которое город выходить не будет, а на деле бульвары, выстроенные на месте крепостной стены, стали местом большого уличного движения и заселения людей, то нельзя сказать, что план Людовика XIV оказал прямое воздействие на эволюцию Парижа.

Не будем останавливаться на «плане украшения Парижа», подписанном королем 17 августа 1769 года. Этот план, конечно, затрагивал будущее, поскольку подразумевалось, что не будет предприниматься ничего ему противоречащего²⁸. Но в основном он касался «расчистки и украшения берегов реки» Сены в части, пересекающей Париж (расширение набережных, спуск домов на мостах, закладка площади перед собором Парижской Богоматери и т. д.). Теперь рассмотрим проекты революционного периода.

Когда церковные и королевские владения, а также имущество упраздненных корпораций и эмигрантов, были объявлены национальным достоянием, было замечено, что это дает уникальную возможность для украшения и благоустройства Парижа за счет прокладки дорог и устройства площадей на ставших доступными территориях. Известно, что при старом порядке земли монастырей и церковных орденов занимали в Париже на обоих берегах весьма значительное пространство. В 1793 году была назначена временная комиссия художников (то есть людей искусства, архитекторов, инжене-

²⁸ Op. cit. P. 64 и далее.

ров), которая посредством различных частичных проектов разработала целостный план; именно этот «план художников» мы сейчас хотели бы рассмотреть, главным образом, с тем, чтобы обнаружить, в какой мере он оказал влияние на более поздние преобразования²⁹.

На правом берегу сначала было запроектировано строительство широкой магистрали, которая начиналась от площади Людовика XV (Согласия) и пролегла севернее садов и дворцов Тюильри и Лувра; она должна была дойти до Сен-Жермен Л'Оксеруа (проходя по территориям монастырей Успения, капуцинов, фельяпов и землям королевских конюшен). Затем она сворачивала к югу и простиралась в направлении колоннады до площади Бастилии, проходя через то место, где находился собор Сен-Жермен Л'Оксеруа (позднее разрушенный), южнее башни Сен-Жак на север от Отель де Виль. Первая часть этой магистрали была построена согласно плану (улица Риволи), но во второй части произошли изменения: она стала продолжением сегодняшних улиц Риволи и Сент-Антуан. Итак, строительство улицы Риволи (по крайней мере ее части — от Тюильри до Лувра) было запроектировано уже при Людовике XIV. Как было показано в другой работе³⁰, строительство этой ветви восток—запад большого перекрестка Парижа (начиная от улицы Роанн) именно между 1851 и 1853 годом объясняется потребностями движения транспорта и населения, которые никак не зависели от архитектурного замысла и во времена революции еще не ощущались, их можно было удовлетворить без проектирования путей по оси колоннады. Система второстепенных путей, обозначенных в плане между бульваром Мадлен, площадью Вандом и улицей Риволи (улицы Кастильон, Мира, Мон Табор, 14 июля, Рынка Сент-Опоре, Дону, использовавшие землю монастырей капуцинов, яковинцев, женского монастыря Святого Фомы), была построе-

²⁹ *Op. cit.* P. 73 и далее.

³⁰ *Les expropriations et le prix des terrains à Paris (1860–1900)*. P. 134–137.

на большей частью (но в разное время) в соответствии с прокладкой улицы Риволли и преобразованием современного квартала Оперы.

С другой стороны, план предусматривал устройство рынка Аль в центре Парижа. Но, сколь бы значительной ни представлялась проблема снабжения во время революции, павильоны решились построить только в 1847 году. Работы, прерванные революцией 1848 года, возобновились в 1849 году и наиболее активно продвинулись в 1852 году. Мы уже показывали³¹, что чрезвычайный прирост населения Парижа можно достаточно хорошо проследить по изменениям Аль в это время. Для связи Аль с кварталом Марэ предусматривалась улица, проходившая по участкам, принадлежавшим Фий Сеп-Маглуар и Сеп-Жак де Л'Опиталь: это была улица Рамбуто, проложенная позднее, при Луи-Филиппе, префектом, который дал ей свое имя. Это была местная дорога для разгрузки, не связанная с целостной системой.

Теперь сравним, какие новые дороги появились на правом берегу (по другим проектам), а от каких отказались³². «На месте Бастилии — круглая площадь» (проект реализован при Наполеоне I в 1803 году). «Дробление участка Тампль (на месте рынка) связано с системой путей, предназначенных для сообщения между районами улиц Сен-Мартен и Сен-Дени». Бульвар Бурдон (разделение обширных участков Арсеналь и Целестен) начали создавать в 1806 году, но большую часть путей так и не проложили. «Вся восточная часть Парижа за бульварами мало изменялась в проекте художников. Однако предусматривались некоторые магистрали на землях Оспитальеров (была продолжена улица Ла Рокет и проложена часть проспекта Пармантье); Мадлен-де-Трепель и Нотр-Дам-де-Бон-Секур» (не были проложены). «На юге от окраины Сент-Антуан две пересекаю-

³¹ Les expropriations et le prix des terrains à Paris. P. 133–134.

³² Приведенные ниже отрывки взяты из: Aperçu historique. P. 77–83.

щиеся крестом улицы должны были соединить улицы Траверсьер и Рейн через владение Анфан Труве и, с другой стороны, дойти до бульвара Берси» (осуществлено не было).

«За линией больших бульваров Комиссия предложила проложить некоторое количество дорог, чтобы разгрузить тесный и нездоровый квартал Марэ. На участках Мишм улица должна вести от бульвара к улице Мишм» (осуществлено не было). «Монастырь Аве Мария должен был исчезнуть и дать место улице, расположенной параллельно улице Сеп-Поль» (не осуществлено). «Была запланирована "большая артерия", она должна была мостом связать западную оконечность острова Сеп-Луи с центром Парижа, ее предполагалось вести по продолжению улиц Орлеан и Шарло, по участкам Сеп-Жерве и Блан-Манто» (осуществлено не было). «Проектируется проложить две параллельные улицы, заканчивающиеся в направлении Тамплль через земли Фий Дье и Сеп-Мартен» (сделано). «Владения Сеп-Мартен-де-Шан и Сеп-Николя-де-Шан также предполагалось перерезать линией, перпендикулярной по отношению к первым; ее продолжением должны были служить улицы Транспонен и Бобур, ведущие к кварталу Сеп-Мери» (не реализовано).

«Севернее планировалось провести дорогу от церкви Сеп-Лоран до окраины Сеп-Дени, напротив улицы Паради» (было сделано). «Дом Сеп-Лазар предполагалось снести, а продолжение улицы Бельфон (улица Шаброль) должно было пройти по тому месту, где он находился, вплоть до окраины Сеп-Лазар» (было сделано). «Что касается обширного участка Сеп-Лазар, о егодроблении речь еще не шла» (напротив, указанный на плане путь от улицы Паради до продолжения улицы Бельфон на месте того же монастыря не был проложен).

К западу от Парижа, в деревне Шайо, Комиссия «предполагает прокладку длинного пути по дороге, по которой везли овощи; через участки Септ-Перин он должен был за Елисейскими полями продлить линию

улиц Оратуар и Валуа» (улицы Любек и Бассано, было сделано). «Большой монастырь Визитасьон, окруженный довольно большими садами, также планировалось разделить: широкая дорога должна была спускаться к Сене и пересекать ее по мосту». Этот путь и мост наметили квартал Трокадеро. Широкая эспланада по берегу Сены продолжала на плане набережную Орсе от Дома Иивалидов до Марсова поля (этот проект был также осуществлен), она показывает, что художники уже тогда понимали, какое важное значение приобретет этот квартал. Однако, если вспомнить, что продолжение набережной Орсе от Пон-Рояль до Дома Иивалидов было построено совсем недавно (а объявлено о нем в плане 1769 года), представляется довольно естественным, что при отсутствии других планов набережную решили продолжить. С другой стороны, проспект Трокадеро создали только в 1860 году, а развитие всего квартала связано с созданием в 1852 году Булонского леса, прокладыванием проспекта Леса в 1852 году и проспектов Клебер, Марсо, Иена в последующие 10 лет³³. Так что обустройство Трокадеро объясняется в основном всей совокупностью работ, которые глубоко изменили всю эту часть XVI квартала, хотя они не были основой проекта. Проект художников в этом районе стал одним из элементов гораздо более широкой системы, его корни — в другом.

Примечательно, кстати, что подобные изолированные проспекты на плане художников не связаны со сколь угодно широким общим замыслом. «В их распоряжении были обширные участки, которые представляли собой как бы плотину на пути расширения города за линией бульваров: монастыри Фий дю Кальвер. Тампль, Сен-Мартен-де-Шан, Фий Дье, Фий Сен-Тома, капуцинов, Консепсьон. Комиссия удовлетворялась тем, что разделила их, но не предусмотрела продвижения от центра Парижа к этим точкам». Поэтому за бульварами и до новой крепостной стены Генеральных откупщиков не было предусмотрено никаких новых дорог.

³³ Les expropriations et le prix terrains à Paris. P. 141.

На левом берегу, напротив, можно видеть целостные ансамбли, «где эстетическим вопросам уделялась главенствующая роль». Три памятника — Церковь Сен-Сюльпис, Обсерватория и Валь-де-Грас — стали центрами сети проектируемых улиц. Так, не просто рассчитали пространство вокруг церкви Сен-Сюльпис за счет создания обширной площади, но и поместили новую улицу «во владениях Сакреман и Шерш-Миди, в направлении портика церкви Сен-Сюльпис». Площадь должна была иметь округлую форму, а дома строиться в едином образном стиле. Строительство площади было осуществлено лишь частично, а улицы — и вовсе не состоялось. Обсерватория должна была стать «центром лучеобразно расходящихся проспектов за счет разделения обширных участков от Шартрё до Люксембурга». Перед зданием планировалась круглая площадь, куда выходили восемь симметричных улиц. Площадь не создали и построили только одну из этих улиц — проспект Обсерватории — в 1807 году; в 1798 году по бокам ее были две улицы — Восточная и Западная (их строительство предусматривалось планом художников), одна из них была продолжением улицы д'Анфер в направлении современного бульвара Сен-Мишель, а вторая стала улицей Асса. Перед аббатством Валь-де-Грас, ставшим военным госпиталем, должны были заложить круглую площадь, с «новой улицей, направленной по основной оси памятника», которая должна была дойти до проспекта Обсерватории. Этот путь (улица Валь-де-Грас) был проложен в 1798 и 1812 году. Из проекта «широкого проспекта от улицы д'Анфер к улице Муфтар, обозначенного в плане художников, через участки Шартрё, семинарии Сен-Маглуар, фельянок, урсулинок, Дам де ла Провиданс, который должен был закончиться у полукруглой площади перед Сен-Медаром», был сначала (в 1807 году) сооружен лишь небольшой отрезок — улочка Урсулинок; основная часть — улица Клода-Бернара была проложена только в 1860–70 годах (после бульвара Сен-Мишель, улицы дез Эколь, Медичи, одновременно с улицей Гей-Люссак — все эти пути художники не пред-

усматривали). Комиссия, вернувшись к предыдущему проекту, задумала «вокруг площади, где возвышается церковь Святой Женевьевы, ставшая Пантеоном, выстроить систему улиц», направленных по основным лучам купола. На востоке провели малюсенькую улицу Хлодвиг в 1807–1809 годах вместо большого проспекта, который должен был дойти до Ботанического сада; на западе — улицу Суфло в 1807 году (но только до улицы Сен-Жак: ее продолжили до Люксембургского сада, как и предусматривалось планом, только после создания бульвара Сен-Мишель); на юге — улицу Ульм в 1807 году (но вместо продолжения, в соответствии с планом, дальше улицы Валь-де-Грас до бульвара Сен-Жак, она оканчивается у улицы Клода-Бернара); а на севере — проспект, который должен был идти до окрестностей площади Мобер, не проложили вовсе³⁴.

Также предусматривалось провести улицу, которая пересекала бы аббатство Сен-Жермен-де-Пре (и снесла бы его), соединяясь с улицей Сен-Бенуа на перекрестке Бюсси: эта улица частично была проложена уже при Первой империи, но севернее аббатства (улица Аббатства). Наконец, на окраине Сен-Жермен часть улицы Бельшас, которая простирается между улицей Сен-Доминик и улицей Гренель, предусмотренная планом на земле аббатства Пантемон, была проложена в 1805 году для соединения улицы Варен с набережными³⁵. Напротив, другие пути, по проекту параллельные этой улице, один справа от нее, продолжая улицу Пуатье до улицы Севр, другой — между улицами Бельшас и Бургонь, соединявшие улицу Тренель с набережной, и третий, продлевающий улицу Бургонь до бульвара Монпарнас, — никогда не были проложены.

Хотя план художников дает тому, кто его пристально изучает, очень яркое представление о революции, нам не следует думать, что единственной целью его авторов было прокладывать дороги, проспекты, бульвары и

³⁴ *Aperçu historique. Commission d'extension de Paris*. P. 91.

³⁵ *Ibid.* P. 93.

площади на тех участках, которые стали национальным достоянием. Не следует преувеличивать влияние распределения монастырей в Париже при старом порядке на последующую структуру города³⁶. Наряду с церковными владениями, о которых мы упоминали, когда поочередно рассматривали проектируемые улицы, имеется множество других, не затронутых проектом: например, на улице Севр — больница Петит Мэзон и связанные с ней строения, аббатство Буа; или владения Реколет на улице Плапш и Якобинцев на улице Бак; на улице Вожирар возле Люксембургского сада — земли Бернардин Пресьё Сан и сразу же за бульваром Монпарнас — Дом Младенца Иисуса; возле Сеп-Сюльпис — старое владение Новообращенных иезуитов, а также Сестер Шарите, Дочерей милосердия Нотр-Дам; на улице Муфтар — Оспитальеров милосердия; на улице Сеп-Виктор — владения Фий Англез; Матюрены на улице Сеп-Жак, Корделье на улице Фоссе-мсье-ле-Пренс, августинцы — большие и малые, театеры — и все они на левом берегу. На правом берегу в обширном пространстве, окруженном стенами, от ворот Берси до ворот Шарон, никаких новых улиц не предусматривалось; однако, там есть три больших монастыря: монахини Святой Троицы, капюпицы Пикпюса и монахини Малого Пикпюса (где проходит один из эпизодов романа Виктора Гюго «Отверженные»). Напротив Сеп-Лазара оставался нетронутым монастырь Реколет, а севернее — обширные сады Монмартрского аббатства. Это лишь несколько примеров.

Почти все мероприятия, предусмотренные планом художников, отвечали потребностям улучшения циркуляции воздуха, движения, украшения. Если не все они осуществлялись, то не потому, что их сочли бесполезными, а в силу своей недостаточности. Их заменили более сложные, крупномасштабные планы, ибо к этому вынуждали проблемы движения и перемещения населения. Поэтому следует различать, с одной стороны, про-

³⁶ Les expropriations et le prix des terrains à Paris. P. 7-8; 14-16.

екты, реализация которых была намечена давно и задерживалась только (среди прочих причин) из-за препятствия со стороны церковных заведений, участков, садов, ограждений, принадлежащих монастырям, а с другой стороны — проекты, которые позднее были заменены другими, более обширными и содержательными. К первой категории можно было бы отнести (наряду с местными проектами, такими как снос Шатле, расширение набережных на острове Ситэ, расчистка кварталов Сент-Женевьев и Коллеж, увеличение Аль) крупный проект улицы Риволи. Так, кроме того, что он не совсем новый, мы отмечаем в нем две черты, отличающие его от плана, принятого и осуществленного позднее. Эта ветвь нового перекрестка (на правом берегу) была задумана отдельно, без связи со второй ветвью (современный бульвар Севастополь, который с одного конца продолжает бульвар Страсбур, с другой — Пале и Сеп-Мишель). Риволи рассматривают скорее не как транспортный путь, а как архитектурный ансамбль (поскольку на всем участке, идущем вдоль Тюильри и Лувра, она должна быть с аркадами), открывающий монументальную перспективу (для этого улицу сместили к югу, чтобы от площади Бастилии была видна колоннада Лувра). Этот проект, предусмотренный еще Людовиком XIV (он въезжал в Париж с востока, через площадь Трона и окраину Сент-Антуан, Лувр, Тюильри, Елисейские поля и Булонский лес и т. д. вплоть до Версаля), был принят и расширен Наполеоном I, но на самом деле через шестьдесят лет после революции при прокладывании дороги руководствовались вовсе не им. Первая сеть, согласно плану Османа, разгружает Тюильри, Лувр, Шатле, Аль, Отель де Виль за счет прокладывания двух больших путей — бульвара Севастополь и улицы Риволи — и связывает, таким образом, окраину Сент-Антуан, Елисейские поля и Восточный вокзал. Хотя в основном это роскошные улицы, грузовое движение там весьма значительно (а в отношении пассажирских перевозок этот путь очень похож на улицу

Монмартр³⁷). Две эти различные по своей сути трассы, идущие, по плану художников, от площади Согласия до Бастилии, слились — в основном с эстетической целью — в одну большую прямую дорогу, представлявшую собой ось большого перекрестка на правом берегу. Этот общий замысел был совершенно новым, он вобрал в себя предыдущие проекты, изменяя их содержание и смысл, и, следовательно, не может быть объяснен через них.

Намеченные в плане художников трассы на левом берегу, в отличие от предыдущих, отнюдь не вытекают из предшествующих замыслов. Возможно, из-за того, что имевшиеся в распоряжении архитекторов участки занимали большую площадь и что в некоторых районах они располагались почти друг за другом, а в тех кварталах, где до сих пор строили мало, обнаруживались вдруг свободные участки, фантазия архитекторов и проектировщиков развивалась более свободно, и они смогли возвыситься до генерального плана. Группа монастырей, расположенных на юге и юго-востоке от Люксембурга, их сады и хозяйственные постройки соприкасаются: Оратория Младенца Иисуса, аббатство Пор-Рояль, монастыри капуцинов и кармелиток, аббатство Вальде-Грас, Дам де ля Провиданс, монастыри фельянок, урсулинок, визитандинок, Сент-Марп, семинарии Сент-Маглуар, фельянов и, главное, обширное пространство Шартрё действительно представляли в то время для архитектурной мысли своего рода чистую доску и открывали широкие возможности. Там проходило очень мало общественных дорог: помимо старого римского пути, который стал улицей Сент-Жак (его дублировал, начиная с III века, параллельный путь «вна Инфериор» — таково происхождение улицы д'Анфер) и продолжал ветвь север—юг большого перекрестка Парижа по левому берегу, от улицы Нотр-Дам-де-Шан и бульвара Монпарнас (который в то время простирался от улицы

³⁷ Перепланировка Парижа в 1881–1882 годах. Картограмма. В книге *Commissions d'extension de Paris. Considérations techniques préliminaires*.

Севр до улицы д'Анфер), на плане отходят лишь удаленные друг от друга маленькие переулки. Люксембургский сад — компактный, весь окруженный домами и монастырями — и квартал Коллеж, где почти все улицы были тупиковыми (он имеет регулярное и простое сообщение только с Ситэ), образовывали своего рода барьер, за которым сохранилась обширная зона садов и монастырей.

О чем думали архитекторы, имевшие перед собой теперь обширное пространство, которое требовалось покрыть новыми трассами? Они наверняка руководствовались двумя задачами. Первая — утилитарная — заставляла их учитывать простоту сообщения между различными точками города. Но их взгляд в этом отношении, похоже, не заходил за границы левого берега. И даже в этих пределах они, конечно, не предусмотрели значительные потоки движения в этой части Парижа — с востока на запад или с севера на юг. Они не предусмотрели ничего похожего на бульвар Сен-Мишель или на бульвар Сен-Жермен — им даже не пришло в голову продлить линию бульвара Инвалидов и Монпарнаса до Сены, связав последний с бульваром Опиталь. Похоже, им не приходила мысль, что Париж в целом или даже только его правобережная или левобережная части могут однажды стать как бы организмом, имеющим особую жизнь. Они взяли за основу определенные точки, памятники или здания, казавшиеся им достойными стать местными центрами, вокруг которых могли бы располагаться жилые кварталы, где следовало предусмотреть потоки движения и объединить эти центры с помощью путей, открытых для этих потоков. Так, они совсем не подумали о продлении улицы Турнон до улицы Сены и о постройке моста, что обеспечило бы прямую связь Люксембурга с Сеной и Лувром; или о расширении улиц Арп и Сен-Жак. Но они запроектировали трассы, соединяющие Люксембург, Сен-Женевьев, Обсерваторию, Сен-Сюльпис. Позднее к некоторым из этих проектов пришлось вернуться, но их исправляли так, чтобы они сочетались с более общими

планами, имевшими целью создать в Париже для каждой части рамки общей централизованной жизни. Поэтому улицу Ульм не продлили до Валь-де-Грас, улицы Суфло и Валь-де-Грас стали притоками бульвара Сен-Мишель, а улица Асса соединяет не только Обсерваторию с Сен-Сюльпис, но также линию бульваров Монпарнас и Пор-Рояль с улицей Ренн и бульваром Сен-Жермен.

Художники заботились не только о том, чтобы облегчить сообщение за счет прокладки удобных путей, но в еще большей степени — о воплощении в этом районе некоторых идей градостроительной эстетики, что проявилось в симметричном расположении улиц, площадях округлой формы, откуда в виде лучей расходились пересекающиеся под прямым углом улицы, а также в прокладке параллельных улиц и проспектов (их регулярность иногда обескураживает). Рассмотрим Обсерваторию: архитекторы хотели воспользоваться тем, что она находилась в перспективе Люксембурга, почти точно на оси дворца, продолженной с севера на юг. Перед Обсерваторией они предусмотрели круглую площадь, центром которой должна была стать точка пересечения средней линии с перпендикуляром, а сама средняя линия должна была являться диаметром. Восемь новых улиц должны были доходить до окружности этой площади: одна — от середины Люксембургского дворца, три другие должны были проходить в направлении средней линии и перпендикуляра, четыре оставшиеся соответствовали основным точкам розы ветров³⁸. Это расположение так им понравилось, что они попытались его воспроизвести вокруг Сент-Женевьев. Правда, им пришлось учитывать целую систему уже имеющихся путей и мириться с тем, что все получалось приблизительно, так как они связывали симметричные пути с несимметричными. Однако, если бы их план был полностью осуществлен, весь этот район Парижа сильно отличался бы

³⁸ *Aperçu historique. Commission d'extension de Paris. P. 82.*

от остальной части: там сразу можно было бы обнаружить удачно воплощенное намерение и лежащие в его основе геометрические идеи.

Но после прокладки вышеуказанных улиц времен Первой империи (проспект Обсерватории, улицы Восточная, Западная и Валь-де-Грас) и после полувековой остановки строительства в этом районе в 1854 и 1857 годах рабочие мало-помалу начинают разрушать старые постройки на левом берегу: новые пути намечаются совсем не в тех местах, где план художников предусматривал просторные перекрестки. Улица Ренн строится от вокзала Монпарнас до улицы Вожирар (1854), затем до улицы Дюфур (1867) и до площади Сен-Жермен-де-Пре (1870); первый отрезок бульвара Сен-Жермен — от Эколь де Медсин до набережной Сен-Бернар — был проложен в 1857–61 гг., другая его часть — в 1867–77. Бульвар Сен-Мишель построили с 1856 по 1860 год до улицы Гей-Люссака, а в 1862 году — до проспекта Обсерватории. Все эти проспекты, задуманные одновременно, отвечают самым общим и актуальным потребностям: стремление разгрузить и открыть доступ воздуха в центральные кварталы, более тесно связать оба берега, продвинуть центр к периферии, облегчить прямое движение от одного вокзала до другого³⁹. Что же происходит на фоне всего этого с эстетическими задачами? От них не отказываются, и в целом им даже удается выйти на первый план. Но они абсолютно изменяют свой характер. План не претендует теперь на управление движением и плотностью заселения; он не абстрагируется и от существующих дорог. Напротив, он шаг за шагом следует за перемещениями населения, так, что интенсивность и направление последних в каждую эпоху отражается в размерах и количестве прокладываемых путей. И повсюду, где это возможно, используют уже проложенные дороги — их либо продлевают, либо связывают и приспособливают под новые улицы. Так, вместо того чтобы делать из Обсерватории основную точку

³⁹ Les expropriations et le terrains à Paris. P. 152–156.

притяжения, а из одноименного проспекта — основное направление развития левого берега, была проложена большая трасса, следующая от площади д'Анфер до площади Сен-Мишель. Обсерваторией больше не занимались, ее оставили в изоляции, а одноименный проспект в какой-то мере вывели из больших потоков движения посредством нового бульвара и связали с зоной влияния Люксембурга. Предусмотренный от Обсерватории до ограды Опиталь широкий прямой проспект, не сулящий явной пользы, создан не был. Но в 1868–69 годах бульвары Пор-Рояль и Сен-Марсель стали продолжением бульвара Монпарнас в направлении Бастилии, там, где отмечалось перемещение населения с левого берега и с восточной части правого берега в направлении с северо-запада на юго-восток: это как бы естественный путь между Монпарнаским и Лионским вокзалами. В то же время проспект Гоблен продолжает улицу Муфтар к югу (1868–70 гг.), а улица Монж (1867–68 гг.) соединяет эти большие новые проспекты с бульваром Сен-Жермен⁴⁰. Так, на месте бульвара Пор-Рояль план художников предусматривал прямой широкий проспект, примерно соответствующий современному бульвару Араго, однако, рассчитанный в основном на пешеходов, а не на грузовые потоки, он был не очень полезен. Вместо улицы Монж планировался путь примерно той же длины, который, отходя от перекрестка проспекта Гоблен и бульваров, был ориентирован на северо-восток, к набережной Сен-Бернар, и почти соприкасался с Ботаническим садом. Наконец, в плане художников также можно увидеть обозначенный бульвар Распай на пути, ведущем от бульвара д'Анфер до перекрестка Круа-Руж: но вряд ли он смог бы добавить значимости этому перекрестку, так что решили (как и предполагалось) провести через него бульвар Сен-Жермен. В конце концов бульвар Распай был построен после завершения бульвара Сен-Жермен в исправленном направлении, продлевая прямую линию (а не по косой, как в неосуществлен-

⁴⁰ Op. cit. P. 158–161.

ном проекте) старого бульвара д'Анфер. Кстати, не следует удивляться тому, что в плане художников мы находим трассы, весьма похожие по заложенным в них связям к реально осуществленным. Примерно так же, как в «геометрии положений», когда не учитываются расстояния, можно обнаружить в одной фигуре связи со многими другими: но расстояние и направленность результирующей здесь далеко не второстепенные элементы: достаточно допустить отклонение улицы под совсем небольшим углом, и ее общая функция в городской экономике полностью изменится⁴¹.

Мы акцентировали внимание на плане художников, так как, во-первых, в нем впервые обнаруживается намерение серьезно обновить парижскую систему путей (в этом смысле на нем лежит отпечаток революционного духа, несмотря на моменты нерешительности, понять которые мы не можем, поскольку не помним, в какой степени Франция и Париж с того времени эволюционировали), а во-вторых, к этому плану часто обращались в XIX веке. Этот опыт, как и все предшествующие, подтверждает в целом правильность нашего подхода, который опирается, главным образом, на данные о развитии Парижа, начиная с 1860 года, то есть на период, о котором у нас есть статистические данные в отношении распределения населения по городским кварталам, тогда как для предшествующих периодов не существует столь же детальных и последовательных данных. Суть нашего тезиса в том, что прокладка улиц, изменение структуры поверхности Парижа детерминированы отнюдь не совместными усилиями одного или нескольких индивидов, частными волеизъявлениями, а коллективными устремлениями или потребностями, которым подчинялись строители, архитекторы, префекты, муниципальные советы, главы государства; они четко не осознавали эти социальные силы, и им казалось иногда, что они руководствуются лишь собственными замыслами.

⁴¹ По этому вопросу см. исследование об отклонении бульвара в Малерб в нашей книге, ссылки на которую приводятся выше (р. 83–84).

Религиозная морфология (1935)*

Как указывал Мосс в своей работе «Разделение социологии»¹, морфология — это «имеющая едва ли не самое важное значение часть социологии, причем один из наиболее независимых ее разделов». Поскольку задачей морфологии является изучение «материального тела» — величины или объема, пространственной конфигурации и плотности групп, изменения их формы и перемещение в пространстве — она затрагивает аспект, присутствующий в любых обществах. Безусловно, существует социальная морфология *stricto sensu* — это исследование населения. Но приходится также рассматривать величину, конфигурацию и т. п. религиозных, политических, экономических и прочих групп. Например, построенная на статистике выборов работа Зигфрида о «Политических партиях в Западной Франции» относится к политической морфологии, а исследование форм производства и распределения продукта — к экономической.

* Опубликовано в: *Annales sociologiques*. Série E. Fascicule I. Paris.

¹ *Année Sociologique*, Nouvelle série. T. II. P. 101.

Существует также религиозная морфология. О чем бы ни шла речь: о религии, кланах, племенах, городах или народах, всякая религиозная группа имеет материальное тело, находящееся в пространстве; как всякая другая группа, она имеет очертания, границы. Можно представить на карте, как распределяются различные религиозные конфессии, сосчитать их последователей. Часто эти религиозные группы включаются в более обширное сообщество: как и ислам, христианство объединяет много разновидностей верующих. Так, хотя и существует взаимопроникновение между протестантами и католиками, равно как и между представителями различных ветвей магометанства, на самом деле можно представить географическое распространение каждой группы и подгруппы.

С другой стороны, можно рассмотреть каждую религиозную группу в отдельности. Нет религии без церкви, объединяющей всех верующих. Каждая церковь включает в себя относительно однородные подразделения, епархии, приходы, которые противопоставляются и группируются по более или менее сложному принципу. Но в каждой церкви есть также иерархия частей, как бы различных органов: приверженцы данной религии, священники, епископы, кардиналы; все они занимают определенное, особое место либо постоянно, либо только на богослужениях и культовых мероприятиях, когда объединение верующих в символической форме отражает церковный порядок. На эти деления накладываются и другие, также иерархизированные: ордена и монастыри, иерархия культовых и святых мест, центров паломничества и т. д.

Так же, как существует плотность населения, существует особого рода плотность — религиозная; она имеет много степеней в зависимости от того, сгруппированы ли верующие или рассредоточены. Причем поскольку верующие в сельской местности более многочисленны, чем в крупных городах, то очевидно, что религиозная плотность не в точности соответствует плотности де-

мографической. В этом теле отмечаются миграции верующего населения: сезонные, периодические или длительные однонаправленные перемещения. Раньше их можно было спутать с миграционными течениями в демографическом смысле. Арабское завоевание дает нам представление о миграциях, связанных с войнами и являвшихся одновременно массовыми перемещениями верующих, да и американские колонисты были также пионерами веры. Но у оседлого населения эти миграции обычно теряют свой религиозный характер, а паломничества или перемещения с целью обращения в веру представляют собой временное явление.

Во всяком случае, религиозная общность, подобно общности национальной или городской, может расти и уменьшаться. При этом возможен взаимный переход из одной религиозной группы в другую (или в группу неверующих). Во вступлении в церковь даже усматривают некое подобие рождения: вхождение в церковь через крещение или обращение в веру. Аналог смерти в церкви также можно найти — достаточно подумать о тех, кто перестает верить, посещать церковь и покидает общину.

Наконец, географическое распределение групп по конфессиям происходит в разное время по-разному: через внезапное или постепенное оттеснение, массовое обращение, своего рода подрывную деятельность (проникновение в среду неверующих или представителей других конфессий, в массы, с целью обратить в свою веру, вести пропаганду). Это может быть связано с изменением подданства или быть следствием смены веры правителя (например, до и после Реформы): *cujus regio, ejus religio*². К этому добавим, что по причинам нерелигиозного характера представители одной конфессии могут перемещаться из страны в страну или внутри большого города из одного квартала в другой. Нью-Йорк — сегодня самый крупный еврейский город в мире, а в Чикаго

² Чья земля, того и вера (лат.). — *Прим. перев.*

крупные группы населения, зарегистрированные как русские, также являются евреями. Так религиозные группы изменяют свои размеры и конфигурацию.

Однако в этой совокупности фактов можно выделить явления двух порядков.

Первые — сугубо религиозные. То, что в стране господствует какая-то вера, не обязательно вызывает демографические следствия. Обычно сама религия укрепляется, когда она распространяется или когда религиозные группы уплотняются, а также когда занимаемый ими район непрерывен, не имеет промежутков или вкрапленных других вероисповеданий. Изменение внутренней структуры церкви, переход ее частей в другой орден, установление новых связей — это признак преобразования, имеющего чисто религиозную природу. Когда всеобщая церковь средневековья распалась на национальные церкви, похоже, этот факт не имел существенных последствий в демографическом плане. С религиозной точки зрения, напротив, подобное изменение формы означает, что духовное все больше подчиняется земному и глава церкви попадает в зависимость от того государства, на чьей территории он находится: папа становится итальянским князем, а позднее в какой-то мере функционером итальянской администрации.

В подобных случаях договоренность между сторонами в конфессиональном обществе и его изменения имеют религиозные причины и влияют только на религию. Выходя из церкви или возвращаясь из паломничества, семьи и индивиды — в качестве демографических единиц — остаются такими же, как раньше, до того, как пошли церковь или отправились в паломничество. Если во время церковных церемоний они занимают определенные места в пространстве, то это затрагивает только их религиозное сознание.

Но в области социальной религиозной жизни можно также наблюдать и описывать количественные факты иного порядка, которые, в отличие от предыдущих, заслуживают название морфологических в узком смысле. Отметим лишь два из них.

С одной стороны, крупные собрания, миграции по конфессиональным мотивам, паломничества — причина объединения и концентрации в одном месте большого количества социальных единиц. Кроме верующих есть люди, которые приходят туда из любопытства, по деловым соображениям, праздные наблюдатели, солдаты на постое, торговцы культовыми принадлежностями, розничные торговцы, владельцы постоянных дворов, поставщики всевозможных видов продовольствия и услуг. Например, крестовые походы были для таких городов, как Венеция или Византия, причиной интенсивной торговли товарами и людьми. За верующими, как и за армией, следуют остальные. Эти толпы по своему объему, плотности и т. д. подчиняются воздействию многих общих причин: в них отражаются морфологические явления той же природы, что и затрагивающие население в целом. Подобное перемешивание людей, в частности, не может не оказывать влияния на «движение населения» (рождения, кончины, браки и т. д.). С другой стороны, когда религиозная группа увеличивается или уменьшается, если ее демографические характеристики отличают ее от других (браки, рождения, смерти), то ее большая или меньшая распространенность не может не вызывать прямых воздействий на население в целом и на его структуру. Философы XVIII века утверждали, что наличие в такой стране, как Франция, значительного количества священников и в особенности монахов и монахинь, принявших обет безбрачия, мешало росту населения. Но, с другой стороны, из результатов недавнего исследования многодетных семей в Бельгии следует, что такой тип семей часто встречается в среде католиков, не только чисто внешне соблюдающих обычаи, но действительно религиозных. Вот другие доказательства того, что население как таковое может измениться по величине, плотности и возрастному составу по причинам, связанным с религиозной морфологией.

Характеристики населения также могут воздействовать на форму и плотность конфессиональных групп.

Еще Мосс в своем «Докладе о сезонных изменениях у эскимосов» показал, что интенсивность религиозной жизни у этих племен различается: зимой, когда они скучены и их члены теснятся в больших общих домах, и летом, когда они рассредоточиваются. В этом отношении в наших обществах также очень явно проявляется различие между городом и деревней. В крупных городах религиозной группе труднее изолироваться от других и объединиться вокруг церкви. Увеличение количества дорог, транспортных средств действует в том же направлении. Массовое переселение из деревень в города уменьшило плотность сельских католических общин и одновременно перенесло вырванные из привычной среды элементы в сложную городскую среду, недостаточно благоприятную для конфессиональной обособленности. Безусловно, можно было бы найти подтверждение тому, что районы, где материальная структура религиозных групп не изменилась, были менее других затронуты крупными демографическими движениями, такими, как снижение уровня рождаемости, внутренняя миграция и т. д.

Конечно же, если пытаешься рассматривать религиозные группы как любые другие, то есть изучать сначала их внешние признаки, обращая внимание на их место и величину в пространстве, то наталкиваешься на обыденные представления о таких обществах. Кажется, что здесь представления и состояния сознания играют основную роль, и даже уникальную. Не все религии, как христианство, требуют полного подчинения тела душе, материального мира — духовному. Различие между телом и душой встречается не во всех религиях: в известной нам форме это разделение совсем недавнее. Скорее, следует сказать, что любой религии свойственно подменять реальный мир тем представлением, которое мы о нем получаем, и выбирать либо извлекать из материальной реальности только минимум опытных данных.

Тем не менее справедливо, что сама Церковь, религиозная администрация старается вести статистический учет своих прихожан в епархиях, приходах и что, на-

пример, на недавней выставке в Риме «Stampa Cattolica» на всех стенах вывешивались таблицы с цифрами, графиками, картограммами по каждой стране. Группа верующих имеет тело, чьи характеристики и изменения помогают понять ее жизнь, веру, учреждения, определить степень ее развития.

Поэтому неудивительно, что социальная морфология, например, исследует религиозные изменения в сельской местности во Франции на базе статистических данных: каждый социолог признает важность их введения в подобного рода исследование. Уже были сделаны попытки при помощи цифр осмыслить то, что можно назвать течениями религиозной веры и определить их интенсивность в разные эпохи. В любопытной книге Роберта С. Линда и Хелен Меррел Линд, озаглавленной «Middletown» (вышедшей в Нью-Йорке в 1929 г.), можно найти результаты такого исследования относительно частоты посещения религиозных служб в Соединенных Штатах двадцать пять лет назад и сейчас. Правда, исследование проводилось только в нескольких средних городах — простое зондирование почвы. Чтобы получить цифры за прежние годы, им пришлось полагаться на смутные воспоминания пожилых пасторов.

Ле Бра провел более обширное и глубокое исследование (на ограниченном им самим объекте). Оно основывается на целой серии документов, представляющих чрезвычайный интерес, на сохранившихся деталях свидетельств, которые имелись в архивах епархий и приходов. Он дополнил их собственным опытом жизни в различных кругах французской провинции. Эта историческая, но в то же время социологическая работа является пионерской в своей области; автор хорошо информирован, имеет широкие взгляды.

*Браки во Франции
во время и после войны
(1935)**

Кетле некогда заметил, что «браки, которые заключаются чаще всего при обстоятельствах, выглядящих необычайно капризными и случайными, происходят столь регулярно, что ежегодное их число воспроизводится с большим постоянством, чем природные явления, где наш произвольный выбор ником образом не проявляется». Он говорил, что население платит дань браку с большей регулярностью, чем смерти. Если рассматривать браки в зависимости от того, кто их заключает: юноши и девицы, холостые молодые люди и вдовы, вдовцы и девичьи, вдовцы и вдовы, — обнаруживается удивительное постоянство. Но то же самое происходит, если браки классифицировать в зависимости от возраста брачующихся. Даже когда речь идет о браках, которые можно назвать аномальными из-за большой разницы в возрасте, например: мужчины 30–35 лет женятся на женщинах 60–65, выясняется, что их пропорция из года в год чрезвычайно стабильна. Все происходит так,

* Опубликовано в: *Annales sociologiques*. Série E. Fascicule 1. Paris.

говорил Кетле, как если бы народ решил заключать каждый год постоянное число браков и сохранять их пропорции между различными возможными категориями.

При прочих равных обстоятельствах, если возрастной состав населения из года в год не меняется, в самом деле можно предвидеть, что число браков в различных возрастных категориях супругов останется примерно тем же, при условии, что стремление к вступлению в брак поддерживается на достаточно высоком уровне как во всех группах в целом, так и в каждой из групп. Понимаемая таким образом регулярность браков, то есть сохранение постоянного их числа между мужчинами и женщинами определенных возрастов, потребовала бы соблюдения двух условий: 1) чтобы число браков или возможных сочетаний не менялось, то есть число мужчин и женщин брачного возраста для каждой возрастной категории оставалось неизменным; 2) чтобы в рассматриваемой группе (например, женщины от 25 до 30 лет) стремление к вступлению в брак сохранялось в целом на том же уровне.

Впрочем, второе условие следует уточнить. Во-первых, стремление к браку различается в зависимости от возраста того или той, кто его испытывает: у совсем молодых людей, среднего возраста, весьма пожилых; но также в зависимости от возраста тех, с кем намереваются вступить в брак. Конечно, ничто не мешает нам выделить возрастные категории по нарастающей: мужчины А, Б, В, Г, Д, ..., женщины А', Б', В', Г', Д', ...; приписать категории А (мужчины) стремление (а) жениться на женщинах категории А', стремление (б) по отношению к Б', и стремление (в) — когда речь идет о В'; мы можем сложить все случаи стремлений и назвать эту сумму «брачные стремления категории А». Но, во-первых, не являются ли эти составляющие стремления одновременно или альтернативными и т. п.? Не проявляются ли самые слабые лишь в том случае, когда нет возможности удовлетворить наиболее сильные? С другой

стороны, не слишком ли они различны, чтобы их можно было складывать? Действительно, если рассматривать фактор возраста, то можно предположить, что обычно в каждой возрастной группе одного пола имеется стремление к браку, ориентированное в целом на определенную возрастную группу противоположного пола, без чересчур точного обозначения ее границ. При отсутствии такой группы переходят к другим, более молодым или старым; стремление к браку при этом снижается, но в одной и той же пропорции (в одинаковых возрастных группах), независимо от года наблюдения. Именно в этом смысле можно было бы сказать, что при прочих равных обстоятельствах эта пропорция постоянна.

Но действительно ли она остается таковой? Обратимся к графику, который приводит Симпан¹, показавший ежегодную пропорцию новобрачных (на 100 жителей) во Франции с 1805 по 1930 год. Мы видим, что удивительным образом, вплоть до начала войны, данные таблицы отражают основные экономические тенденции последовательных периодов и, кроме того, что из года в год наблюдаются довольно ощутимые изменения. В благополучные годы женятся чаще, а в кризисные браков меньше. Однако возрастной состав населения меняется не слишком быстро. Он остается почти постоянным в течение долгого ряда лет, тогда как число браков изменяется. Следовательно, у населения с тем же возрастным составом меняется стремление к браку. Впрочем, можно признать, что экономические мотивы оказывают неодинаковое влияние на разные возрастные группы, а различные категории браков (соответствующие различным возрастным комбинациям) не сохраняются в той же пропорции, то есть у разных групп стремление к вступлению в брак будет меняться.

Теперь представим, что в период длительной войны большому числу женщин брачного возраста не уда-

¹ Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. T. III, pouvoir. VII.

ется выйти замуж. Тогда можно сказать, что все происходит, как если бы население, которое может вступить в брак, уменьшилось: этим объяснялось бы уменьшение числа браков. Однако это не вполне верно, так как если не учитывать количество смертей, вызванных войной, население совсем не изменилось, но теперь существует препятствие для вступления юношей и девушек в брак. Что касается стремления к браку, ничто не доказывает, что оно в этот момент в данных группах снижается. Напротив, возможно, увеличивается из-за того, что встречает препятствия. Но может быть и так, что люди смиряются, признают невозможность, решают потерпеть: тогда стремление к заключению брака действительно слабеет. Далее, учтем количество смертей, вызванных войной в основном среди мужского населения. Сразу после войны у более многочисленного женского населения может усилиться желание вступить в брак в силу долгого ожидания, а также из-за роста конкуренции между претендентками. Но может быть и так, что часть этого женского населения окончательно откажется от брака из-за того, что ожидание было слишком долгим или сила конкуренции оказалась слишком обескураживающей. Что касается мужчин — будь то демобилизованные солдаты или молодые люди из нового поколения, не участвовавшего в войне, — можно полагать, что, сталкиваясь с возросшим в пропорциональном отношении женским населением, они поведут себя иначе, чем если бы женщин и мужчин было поровну.

Добавим, что среди возможных спутников жизни, как мужчин, так и женщин, разные по возрасту группы будут пользоваться большим или меньшим спросом; возможно, кстати, их выбор падет на другие, чем раньше, возрастные категории противоположного пола. Число браков различных категорий будет меняться не только из-за того, что изменился возрастной состав населения и возможные сочетания возрастов стали другими в количественном отношении. Оно поменяется также по-

тому, что вследствие изменения возрастной структуры стремление к вступлению в брак усилится или ослабнет в разных возрастных группах (каждого пола) в различной степени. Но только ли возрастной состав играет роль? И оказывает ли он прямое и автоматическое воздействие?

Попытаемся рассмотреть, что нам показывает в этом отношении война 1914–1918 гг. Мы будем опираться на данные, представленные г-ном Юбером в книге², на которую мы ниже еще не раз сошлемся, а также на собственные расчеты, касающиеся данных, опубликованных «Общей статистикой Франции»³. Численность новорожденных во Франции до 1914 года на 10 000 жителей была следующей:

| 1901–1905 | 1906–1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
|-----------|-----------|------|------|------|
| 153 | 158 | 156 | 158 | 150 |

Уменьшение в 1913 году, похоже, вызвано тем, что в последние месяцы продлили срок армейской службы тем, кто заканчивал служить второй год.

Для периода ведения войны (и с начала 1914 года) мы ограничимся данными по 77 департаментам, которые не были оккупированы. Проследим движение браков помесечно (Юбер, цитируемая книга, с. 223). В первом полугодии по июль включительно сохранялось то же количество и ритм браков, что и в 1913 году (с миниму-

² Huber M. La population de la France pendant la guerre. Paris: Presses Universitaires de France, 1933.

³ Мы будем использовать таблицы, опубликованные в: Statistique du mouvement de la population. Последний том вышел в 1934 году (том XI относится к 1931 году). С 1907 года статистика движения населения или, точнее, гражданского состояния, устанавливается с помощью бюллетеней, заполняемых в мэриях, каждый соответствует одному акту, записанному в Журнале, они посылаются в Общезападно-французскую статистику для обработки данных. Эти бюллетени заменили числовые таблицы, которые до 1906 года устанавливались в каждой коммуне, затем были централизованы сначала у субпрефектов, потом у префектов.

мом в марте, на Пасху, как и в другие годы). Но после объявления войны сразу же отмечается сокращение: с 17 600 в июле число браков опускается до 9 600 в августе и 4 300 в сентябре. Несомненно, «желание официально зарегистрировать некоторые союзы и дать возможность жене и детям пользоваться пособиями и пенсией могло после объявления мобилизации вызвать спешное заключение некоторых браков», чем объясняется снижение числа браков в августе лишь наполовину. В октябре–ноябре — по 3 800 браков — минимум за весь военный период — что приблизительно соответствует одной шестой браков, заключенных в те же месяцы 1913 года. С декабря 1914 года по июнь 1915 года включительно их число колеблется между 4 000 и 5 000. В июле 1915 года для военнослужащих устанавливается режим краткосрочных отпусков. Начиная с этого момента число браков в месяц начинает медленно расти: с 5 100 в июле до 8 800 в декабре 1915 года (вместо 14 000 в декабре 1913 года — сезонного минимума, выпадающего на рождественский пост)⁴. С января по сентябрь 1916 года — между 7 000 и 9 000 (без постепенного увеличения). А в октябре — около 11 000, и с этого момента до сентября 1917 года наблюдается рост до 13 800. Затем явный подъем в последний квартал 1917 года: в среднем 17 000 браков в месяц. «Поскольку зимой военные действия велись менее активно, легче было получить краткосрочный отпуск для того, чтобы жениться». В 1918 году — в среднем 15 000 за каждый из первых десяти месяцев. Затем число браков снижается до 13 400 и 13 600 в ноябре–декабре, после заключения мира. «Дело в том, что прекращение войны не сразу привело к демобилизации.

⁴ В мирное время есть три месяца, когда число браков минимально: один в феврале–марте, в зависимости от Пасхи, другие, менее ярко выраженные, в июле–августе (период уборки урожая) и в декабре (в рождественский пост); два максимума выпадают на апрель и октябрь — периоды демобилизации с военной службы. Они почти исчезли во время войны вплоть до октября 1917 года.

С другой стороны, резко изменились условия жизни и потоки населения: было остановлено или сокращено военное производство, возвращались пленные и беженцы и т. д. Эта общая сумятица не могла оказывать благоприятного воздействия на рост браков». В 1919 году, пока демобилизация шла очень быстро, число браков выросло с 18 200 в январе до 53 000 в сентябре (вместо 21 000 в сентябре 1913), 66 500 в октябре, 59 900 в ноябре.

В итоге динамика браков описывает следующую кривую: резкое падение с июля по сентябрь 1914 года, затем до апреля 1915 года — стабильный уровень, а затем медленный подъем до октября 1917 года, после чего стабильный уровень до конца 1918 года и очень быстрый подъем в 1919 году (более чем в два с половиной раза выше уровня 1913 года)⁵. После большого спада в годы войны и подъема 1919 года рассмотрим, что произошло в последующие годы. Отметим только, что этот спад браков во время войны — действительно уникальное явление в демографической истории Франции, а может быть, и других стран. Франко-немецкая война уменьшила число браков до 121 на 10 000 (вместо обычных 155–160), но, начиная с 1871 года, оно постепенно выросло до 145. Все другие изменения (за период более ста лет) намного меньше и в сравнении почти незначитель-

⁵ Пропорция новобрачных (на 10 000 жителей в год) во время войны:

| 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 149 | 102 | 45 | 66 | 97 | 109 | 180 |

Добавим, что если считать частоту браков среди лиц брачного возраста (юноши старше 18 лет и девушки старше 15 лет), она больше уменьшалась для женщин, чем для мужчин, что и следовало ожидать, поскольку мужское население сократилось (то же число браков делится на меньшее количество мужчин). Из 10 000 девушек старше 15 лет, 707 каждый год выходили замуж в течение восьми предвоенных лет, 479 в 1914–1919 гг., и примерно 325 в 1914–1917 гг., то есть меньше половины того, что было до войны (впрочем, последний расчет — наш, он весьма приблизителен).

ны. Вот каким было число новобрачных в 90 департаментах с 1919 по 1927 год на 10 000 жителей⁶.

| 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2286 | 3319 | 2232 | 1195 | 1178 | 1176 | 1174 | 1169 | 1164 |

Напомним, что в 1913 году их было 150⁷. Таким образом, частота браков в 1919 и 1920 году в среднем была в два раза больше, чем до войны; затем в последующие семь лет она медленно снижалась, все еще оставаясь выше уровня 1913 года. Компенсирует ли избыток браков после войны их дефицит в военный период? Да, поскольку в 1919–1924 гг. среднегодовое число браков было примерно на 60 000 больше, чем обычно, что действительно восполняет предшествующий дефицит. Но эта компенсация в цифрах не изменяет того факта, что множество женщин брачного возраста остались незамужними и что, с другой стороны — как мы покажем ниже — избыток браков в эти годы в значительной степени произошёл за счет будущих лет.

⁶ Среднегодовое число новобрачных на 10 000 лиц брачного возраста:

| Год(ы) | (мужья) | (жены) |
|---------|---------|--------|
| 1920–24 | 958 | 724 |
| 1925–29 | 747 | 578 |
| 1930 | 748 | 579 |
| 1931 | 715 | 553 |

Их количество уменьшилось на 25% для мужчин и на 33,5% для женщин: разрыв ничуть не сократился. Отметим, что после войны также наблюдался очень большой рост повторных браков: для вдов и разведенных их число почти удвоилось (по сравнению с довоенным периодом); а для вдовцов и разведенных — увеличилось почти на две трети. Это выглядит еще более неожиданным.

⁷ Добавим более свежие цифры, опубликованные в книге г-на Юбера:

| 1928 | 1929 | 1930 | 1931 |
|------|------|------|------|
| 165 | 162 | 164 | 156 |

Заметим, что частота браков лишь весьма незначительно превышает уровень 1913 года.

До сих пор мы придерживались хода мыслей г-на Юбера. Теперь, после того как мы определили исторические рамки нашего исследования, остановим свое внимание на распределении браков в зависимости от возраста мужчины и женщины и выясним, как повлияли на него эти крупные изменения. Г-н Юбер по этому аспекту вопроса воспроизвел имеющиеся основные данные. Однако мы будем придерживаться собственных расчетов и других, более подробных данных, известных нам до публикации его книги.

Чтобы более наглядно показать различные комбинации возрастов в браке, будем различать три класса: брак юношей с девицами более молодого, того же и более старшего возраста. При этом «тот же возраст» следует понимать широко. Общая статистика Франции представляет каждый год пропорциональное соотношение браков юношей с более молодыми девицами и с более старшими. Эти группы определяются так: юноши от 20 до 25 лет, от 25 до 30 и т. д., так что для групп одного возраста максимальная разница может достигать до 5 лет (юноши 25 лет и девушки 20 лет, к примеру). Но такого рода таблицы дают нам в итоге только то, что мы ищем.

Приведем эти пропорции (таблица I) с 1913 года по 1931. Мы рассчитали соответствующие данные, приняв значение 1913 года за 100. Кстати, с 1909 по 1913 год они менялись очень мало: пропорция юношей, берущих в жены девушек более старшего возраста, сократилась в интервале с 80 до 77 (на 1000 браков) или, в относительных числах, со 104 до 100. Рассмотрим первые две категории (наиболее многочисленные). В первой (браки юношей с девушками из более молодой возрастной группы) имеется явное уменьшение (на 15%) в 1915 году, которое сохраняется почти на том же уровне (12%) в 1916, 1917 и 1918 годах. Во второй (браки с девушками той же возрастной группы) в тот же период отмечается рост по сравнению с 1913 годом на 11% в 1915 году и затем в последующие три года до 1918 включительно: на 14% и 16%. Теперь отметим, что в третьей кате-

Таблица I

*Пропорция на 1000 браков мужчины с девицами,
принадлежащими к:*

| Год | Более молодой возрастной группе | | Той же возрастной группе | | Старшей возрастной группе | |
|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | абсолютные числа | относительн. числа | абсолютные числа | относительн. числа | абсолютные числа | относительн. числа |
| 1913 | 609 | 100 | 314 | 100 | 77 | 100 |
| 1914 | 616 | 100,5 | 300 | 96 | 84 | 109 |
| 1915 | 517 | 85 | 348 | 111 | 135 | 176 |
| 1916 | 533 | 88 | 357 | 114 | 110 | 143 |
| 1917 | 533 | 88 | 363 | 116 | 104 | 135 |
| 1918 | 537 | 88,3 | 362 | 116 | 101 | 131 |
| 1919 | 577 | 95 | 342 | 110 | 81 | 105 |
| 1920 | 551 | 91 | 359 | 114 | 90 | 117 |
| 1921 | 530 | 87 | 370 | 118 | 90 | 117 |
| 1922 | 506 | 83 | 391 | 125 | 103 | 134 |
| 1923 | 493 | 81 | 406 | 130 | 101 | 131 |
| 1924 | 481 | 79 | 420 | 134 | 99 | 128 |
| 1925 | 479 | 79 | 422 | 135 | 99 | 128 |
| 1926 | 487 | 80 | 417 | 133 | 96 | 125 |
| 1927 | 491 | 81 | 417 | 133 | 92 | 119 |
| 1928 | 491 | 81 | 417 | 133 | 92 | 119 |
| 1929 | 494 | 81,5 | 414 | 131 | 92 | 119 |
| 1930 | 500 | 82,5 | 410 | 130 | 90 | 117 |
| 1931 | 505 | 83 | 405 | 129 | 90 | 117 |

гории (когда супруга старше по возрасту) в 1915 году происходит значительный рост по сравнению с 1913 годом — на 76%; это самый большой показатель по всем трем категориям за рассматриваемые 19 лет. Кстати говоря, два других больших скачка отмечаются в этой группе и в последующие годы (также по отношению к 1913 году): на 43% в 1916, 35% в 1917 году, а в 1918 году снова поднимается выше показателя 1913 года на 31%. В 1919 году относительное увеличение составляет всего лишь 5%. Такое постепенное вплоть до 1918 года сокращение роста браков в третьей категории связано с мед-

ленным их увеличением, зарегистрированным в те же годы во второй категории, которая с 1913 по 1915 год росла за счет первой, а начиная с 1915 года — только за счет третьей. Во всяком случае, в этой третьей категории действительно имеется четко выраженное движение: в 1915 году — очень большое увеличение, более чем на три четверти, затем уменьшение, в результате которого, однако, к 1918 году число браков этой категории остается все же на треть выше значения 1913 года. Как можно это интерпретировать?

В 1915 году (спустя шесть месяцев после объявления войны) вдруг появилось множество браков, где жена старше мужа, и в то же время увеличилось число браков с небольшой разницей в возрасте (вторая категория); это вызвано, несомненно, тем, что значительная часть мужского населения была мобилизована и понесла большие потери (убитые, раненые и т. д.). Девушки, не имея более широкого выбора, вступали в брак с более молодыми юношами или примерно со своими ровесниками. И если частота браков последней категории затем уменьшается, оставаясь все же значительно выше по сравнению с довоенным уровнем, то это могло быть вызвано, например, тем, что в 1915 году предполагали, что война продлится долго, а в следующие годы постепенно стали чувствовать приближение ее окончания: поэтому сначала у девушек брачного возраста отмечалось нетерпение, а затем постепенно они научились терпеливо ждать. Другая причина — пропорция юношей брачного возраста постепенно уменьшалась с 1915 года (в результате войны), а это снижало вероятность браков, когда супруг моложе. В любом случае в этот период именно в отношении первой категории отмечается отчетливое и устойчивое сокращение пропорции браков (примерно на 13–15%), то есть браков, где жена существенно моложе (ведь среднее различие между соседними группами — пять лет). Добавим, что это наиболее многочисленная категория и что речь идет о времени, когда ежегодное количество браков сокращалось на 100 000.

Теперь перейдем к последующим годам. В 1919 году, сразу же после войны, все пропорции внезапно меняются. Снова увеличивается число браков юношей с девушками более молодой возрастной группы: их пропорция лишь на 5% ниже довоенного показателя. Две сильно выросшие другие категории начинают снова сокращаться. Показатели приближаются к уровню 1913 года. Это можно заметить, если рассматривать сумму отклонений от 100% по всем трем категориям. Эта сумма составляет лишь 20%, то есть треть значения по двум предшествующим годам. Этот возврат к предыдущему состоянию, конечно же, не означает, что возрастной состав населения брачного возраста стал таким же, каким был до войны, поскольку значительная часть мужского населения брачного возраста исчезла. Можно предположить, что большое число отложенных из-за войны браков юношей с более молодыми девушками стало наконец возможным. Может быть, у демобилизованных также обнаруживается очень сильное стремление сразу же образовывать семью, отчего между мужчинами появляется некоторая конкуренция (хотя их меньше, чем женщин), так что многие из них, самые старшие, без колебаний берут в жены очень молодых (об этом мы еще поговорим подробнее). Таким образом компенсируются или маскируются последствия диспропорции взрослого населения по половому признаку.

В 1920 году, несмотря на то, что динамика, прослеживавшаяся до 1919 года, возобновилась, а суммарное отклонение от показателей довоенного периода вновь удвоилось, их величина была все же ниже, чем в годы войны и особенно после 1916 года. Но в 1921, 1922 и последующие годы наблюдавшиеся ранее (во время войны) процессы возобновляются с нарастающей силой. Действительно, расхождения увеличиваются, в особенности в 1921–1922 годах, как если бы они были продолжением тенденции, намечившейся в 1918 году (суммарное отклонение — 58,7) и в период между 1919 и 1921 годами — датой непосредственного прекращения войны

(когда заключались браки, отложенные на время военных действий). Более того, если в этот трехлетний промежуток сумма отклонений была ниже, чем в военное время, то в дальнейшем, вплоть до 1928 года, она оставалась примерно на том же уровне и даже выше. Впрочем, достаточно рассмотреть первую, наиболее многочисленную категорию — браки юношей с девушками более молодой возрастной категории. Начиная с 1922 года их пропорция сокращается до уровня значительно ниже того, который существовал в 1916–1918 годах, то есть с 88 до 83, и в последующие годы колеблется между 79 и 81. Любопытный факт: больше всего растет вторая категория (браки ровесников), их пропорция, также с 1922 года, явно перекрывает цифры военного времени (125 вместо 116), тогда как пропорция браков третьей категории, достигшая в 1922 году военного уровня, затем начинает сокращаться (заметим, что браки этой категории наименее распространены и составляют примерно одну десятую от всех). Мы должны обратить внимание главным образом на пропорции в первых двух категориях. Начиная с довоенного периода и до 1922–1928 гг., первая пропорция (муж старше жены) снижается от 100 до 80 в среднем, а вторая (супруги одной возрастной группы) растет со 100 до 133. Таким образом, можно говорить о значительном росте числа браков между близкими по возрасту супругами в период, когда были ликвидированы первые последствия войны.

Теперь мы хотели бы сделать более тонкий анализ и сравнить, к примеру, браки, когда один из супругов старше другого, в зависимости от разницы в возрасте: большая, средняя, незначительная. При такого рода делении категория браков, где супруги принадлежат к одной возрастной группе, исчезла бы, поскольку внутри самой этой группы равенство по возрасту почти никогда не бывает абсолютно точным. Когда в одной из выделенных выше категорий, например, браков юношей с более молодыми девушками, существует динамика

к уменьшению пропорции, мы могли бы посмотреть, касается ли это в равной мере всех этих браков или только тех, где разница в возрасте больше или меньше.

Из ежегодных сводок, публикуемых главным статистическим управлением Франции, можно почерпнуть следующие данные (таблица II). Воспроизведем только относительные цифры, которые мы рассчитали, приняв за 100 все пропорции 1913 года. С другой стороны, мы изменим расположение колонок с тем, чтобы они, слева направо, были представлены в том же порядке, что и в предыдущей таблице. Эти цифры соответствуют двум таблицам (муж старше — жена старше). Пропорции рассчитываются не по отношению ко всем бракам, а только по отношению к бракам, где муж старше жены (три первые колонки), и — две последние колонки — где жена старше мужа^{*}.

Таблица II

*Пропорция браков, в которых
(данные относительно 1913 года по каждой колонке):*

| Год | Муж старше жены | | | Жена старше мужа | |
|------|-----------------|------------|--------------|------------------|------------|
| | на 10-14 лет | на 5-9 лет | меньше 5 лет | меньше 5 лет | на 5-9 лет |
| 1913 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1914 | 103,5 | 96,5 | 100 | 97,2 | 108 |
| 1915 | 111 | 79 | 105 | 86,5 | 129 |
| 1916 | 99 | 80 | 110 | 94 | 113 |
| 1917 | 92 | 80 | 114 | 99 | 102 |
| 1918 | 97 | 81 | 111 | 101 | 99,5 |
| 1919 | 104 | 89 | 108 | 104 | 95 |

Третья и четвертая колонки (браки с расхождением в возрасте менее 5 лет) частично соответствуют второй категории предыдущей таблицы: 1 и 2 колонки — первой, 5 колонка — третьей (3 и 4 колонки захватывают первую и третью категорию).

^{*} После 1919 года публикация этих таблиц в «Mouvement de la population en France» была прекращена.

Сначала рассмотрим левую таблицу (супруг старше): между средней величиной в первых двух колонках (расхождение в возрасте более 5 лет) и третьей (расхождение менее 5 лет) мы находим почти те же соотношения, что и между первой и второй категорией (браки молодых людей с девицами более молодой возрастной группы и того же возраста), и те же противоположные тенденции, которые мы встречали в 1914–1918 годах; они также меняются в 1919 году. Но теперь мы можем выделить (в первой категории) группы с разницей по возрасту от 5 до 9 лет и от 10 до 14 лет, что дает нам возможность заметить следующее: 1) для первой группы характерно сокращение, отмеченное в предыдущей таблице для категории I (муж старше), но оно гораздо более выражено: вместо сокращения со 100 до 88 для категории мы видим сокращение со 100 до 80, то есть на 20%; 2) для второй группы — разница в возрасте от 10 до 14 лет — явное снижение наблюдается только в одном 1917 году и всего лишь со 100 до 92; в другие же годы пропорция остается на уровне, весьма близком к довоенному, а в 1915 году отмечается явный рост — со 103,5 до 111. Таким образом, в этот период наиболее часто встречаются случаи, когда муж старше жены либо менее чем на 5 лет, либо более чем на 10 лет; иначе говоря, женщины выбирали супруга чаще среди тех, кто был ближе к ним по возрасту или же кто был намного старше (10 и более лет). Большие и маленькие расхождения в возрасте участились, а средние — сократились. Возможно, женщины, не найдя достаточно мужчин старше них на 5–9 лет, более смело выходили замуж за очень молодых мужчин (например, 18-летняя девушка и юноша 19–20 лет, допризывник) или за мужчин на 10 лет старше (например, служащих запаса или территориальных формирований, которые либо не были мобилизованы, либо служили на нерегулярной основе, а также выбывших по возрасту). Эту тенденцию мы не могли видеть в предыдущей более общей таблице. Отметим, во всяком случае, что с 1915 по 1918 год в категории «муж старше на 5–9 лет»

показатели были очень низкими, хотя обычно эта группа вбирает большую пропорцию браков. В сравнении с 1913 годом данная пропорция снизилась до 79 в 1915 году и держалась на уровне 80–81, а затем в 1919 году (когда начинают заключать браки, отложенные из-за войны) явно растет, но остается ниже довоенного уровня.

В правой части таблицы (жена старше мужа) также отмечается значительное увеличение пропорции для самых больших расхождений в возрасте. Впрочем, следует отметить, что здесь частота браков снижается очень быстро по мере увеличения разницы в возрасте, гораздо быстрее, чем в случае, когда супруг старше. Можно сказать, что для случаев, когда жена старше, соотношение категорий «менее 5 лет» к категории «5–9 лет» разницы в возрасте примерно соответствует соотношению «менее 8 лет» к «9–13 лет» для случаев, когда муж старше жены. Иначе говоря, разнице в 5–9 лет в правой стороне таблицы могла бы соответствовать разница в 9–13 лет в левой ее части. Мы видим, таким образом, что речь идет о серьезных возрастных различиях. Так, пропорция браков, где жена старше мужа на 5–9 лет, в 1914 году увеличивается на 8% по сравнению с 1913 годом, в 1915 — на 29%, в 1916 — на 13%, а затем снижается примерно до уровня 1913 года. Следует прежде всего отметить большое увеличение в 1915 году. Мы ранее упоминали о том, что в тот год пропорция браков юношей с девушками более старшего возраста увеличилась по сравнению с 1913 годом на 76%. Теперь разберем эту категорию браков и отметим, что увеличение их пропорции приходится полностью на случаи, когда разница в возрасте самая большая. Так, браки, где супруга старше менее чем на пять лет, сокращаются по сравнению с теми, где разница в возрасте больше (в первом случае пропорция изменилась со 100 до 86,5, а во втором — со 100 до 129). Но поскольку общее число браков на правой стороне таблицы увеличилось на 76% (см. таблицу I), то пропорционально рассматриваемая

нам категория (жена старше на 5–9 лет) выросла более чем на 100%. В том же 1915 году растут браки с наибольшей разницей в возрасте: как те, где старше жена, так и те (и особенно те), где старше муж. Через шесть месяцев после начала войны появляется очень интересная тенденция: если посмотреть в таблице II строку 1915 год, можно увидеть, что значения двух крайних колонок максимальные, а второй и четвертой колонок — минимальные. Рост браков с наименьшей разницей по возрасту наблюдается позднее. А начиная с 1922 года большие расхождения в возрасте постепенно начинают ощущаться как препятствие⁹.

Различие в возрасте ничего не говорит нам о возрасте самих супругов. Если мы хотим определить ожидания групп, нам следует прежде всего распределить их по подгруппам: очень молодые, молодые, старше, пожилые. Поэтому мы не будем долго задерживаться на понятии среднего возраста юношей и девушек, вступающих в брак (которое, кстати, важно в других отношениях), на разнице между их средними возрастам (она одновременно является средней разницей в возрасте по всем

⁹ Хотя количество незаконнорожденных даст не вполне правильное представление о количестве и типе незарегистрированных союзов, относительный рост их числа во время войны, конечно же, связан с сокращением доли законных браков. Г. Юбер говорит нам, что в 1916 году в 77 департаментах при том, что общее число детей, зарегистрированных живыми, снизилось с 604 800 до 313 000 (то есть в пропорции 100:57), а число незаконнорожденных живых детей уменьшилось только с 50 700 до 43 000 (то есть 100:85). «Война подняла число незаконнорожденных на непривычный уровень: до 142% среди зарегистрированных живыми детей в 1917 году. С 1920 года эта пропорция возвращается к значениям, очень близким к 1913 году — 88%. Она даже спустилась еще немного ниже после 1922 года». Добавим, что пропорция (на 1 000 незаконнорожденных) детей, признанных отцом в свидетельстве о рождении, сильно сократилась во время войны со 159 в 1913 году до 99 в 1915 году и далее продолжала сокращаться: 102 в 1916 г., 99 в 1917 г., 98 в 1918 г. (статистика по 77 департаментам). В 1920 году начинается обратное движение, и пропорция достигает 157 признанных отцом детей на 1 000 рожденных, а затем поднимается еще выше: в 1921 г. — 173, в 1922 г. — 177, в 1923 г. — 185, в 1924 г. — 183, в 1925 г. — 194 (данные по 90 департаментам).

бракам). Приведем только их значения. Мы пересчитали относительные значения, соответствующие этим разностям (посчитанные в месяцах).

Сразу же становится видно, что разница между средними возрастами мужей и жен, начиная с 1915 года, стала явно меньше по сравнению с 1913 годом (и с 1914 г.) и выражается в пропорции 82,5:100 (где за 100 принимается средняя разница в 1913 году). В дальнейшем ее значения менялись следующим образом: с 1915 по 1918 год — 83,75 (это время войны, когда разница сократилась примерно на 16%); 1919–1921 годы — 92 (это тот период, который мы называли ликвидационным, когда заключаются браки, отложенные на время военных действий, и когда стремились вернуться к довоенным условиям); 1922–1928 годы — 73 (именно в это время стали ощутимы долгосрочные последствия нарушения равновесия между полами у взрослого населения). В этот последний период (и до 1927 года) возрастные различия между супругами сократились более чем на четверть по сравнению с 1913 годом. В целом это подтверждает полученные нами результаты. Но это средние значения, и когда они снижаются, это может происходить оттого, что: 1) хотя мужья старше своих жен, но разница не так велика, как раньше; 2) растет число браков молодых мужчин с девушками старше по возрасту; 3) среди этого последнего типа браков также растут те, в которых разница по возрасту велика (в сторону девиц). Действует, главным образом, первая причина. Но, в частности, в 1915 году две другие, как мы увидели, прибавляют свое воздействие к первой, и этим объясняется тот факт, что в рассматриваемом году разница в среднем возрасте супругов столь мала. Следует отметить быстроту, с которой разница сокращается в период с 1921 года по 1925–1926 годы. Именно в это время, по окончании периода ликвидации, дает о себе знать сокращение мужской части населения и рост числа браков, где разницы в возрасте нет, или она маленькая, или даже негативная.

Таблица III

**Браки юношей с девушками,
средний возраст (годы и месяцы)**

| Год | Юноши | Девушки | Разница в возрасте | | Число браков | |
|------|-------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | лет и месяцев | относительн. числа | на 50 тысяч жителей | относительн. числа |
| 1913 | 28,6 | 24,3 | 4,3 | 100 | 75 | 100 |
| 1914 | 28,9 | 24,5 | 4,4 | 102 | 51 | 68 |
| 1915 | 29,4 | 25,1 | 3,6 | 82 | 22,6 | 30 |
| 1916 | 28,4 | 24,9 | 3,7 | 84,5 | 33 | 44 |
| 1917 | 28,2 | 24,9 | 3,5 | 80,5 | 40 | 65 |
| 1918 | 28,6 | 24,9 | 3,9 | 88 | 54,5 | 73 |
| 1919 | 29,1 | 24,11 | 4,2 | 98 | 144 | 198 |
| 1920 | 28,4 | 24,6 | 3,1 | 90 | 159 | 212 |
| 1921 | 28 | 24,3 | 3,9 | 88 | 116 | 154 |
| 1922 | 27,6 | 24 | 3,6 | 82 | 97,5 | 130 |
| 1923 | 27,1 | 23,8 | 3,5 | 80,5 | 89 | 118 |
| 1924 | 26,9 | 23,6 | 3,3 | 76,5 | 87,5 | 116 |
| 1925 | 26,7 | 23,6 | 3,1 | 72,5 | 87 | 116 |
| 1926 | 26,5 | 23,4 | 3,1 | 72,5 | 84,5 | 112 |
| 1927 | 26,7 | 23,4 | 3,3 | 80,5 | 82 | 109 |
| 1928 | 26,7 | 23,4 | 3,3 | 80,5 | 82,5 | 110 |
| 1929 | 26,6 | 23,4 | 3,2 | 74,5 | 81 | 108 |
| 1930 | 26,7 | 23,4 | 3,3 | 80,5 | 82 | 109 |
| 1931 | 26,6 | 23,2 | 3,4 | 79 | 78 | 105,5 |

Средний возраст юношей и девушек — несколько неясная величина. Мы можем прояснить ее, опираясь на таблицы, публикуемые ежегодно в статистическом сборнике «Динамика населения Франции». В них дана классификация браков по полу и возрасту новобрачных, то есть даны возрастные группы супруга и супруги в сочетании: менее 20 лет, 20–24, ... 50–59 и старше. Прежде всего мы рассмотрели соответствующие пропорции для 100 супругов каждой из групп. Но поскольку общее число тех и других сильно меняется в этот период и поскольку нас интересует собственно это изменение (при усло-

вни, что его можно отследить в различных категориях), то мы вели расчеты, принимая число супругов в каждой из этих категорий в 1913 году за 100.

Вначале рассмотрим пропорции жен различных возрастных категорий в 1913 году, принимая общее их число за 100¹⁰:

| Менее 24 лет | От 25 до 34 лет | От 35 до 49 лет | 50 и более лет |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 61 | 28,4 | 7,95 | 1,65 |

Данные таблицы IV помогают понять эволюцию, которую мы пытаемся проследить. Прежде всего видно, в какой степени и с какой скоростью стремление к браку с начала войны оказалось ущемленным у девушек моложе 25 лет. Их число сократилось наполовину в 1914 году, а в 1915 снижается ниже одной пятой от уровня 1913 года. Пока продолжается война, оно растет медленно и даже в 1918 году еще не достигает чрезвычайно

Таблица IV

*Число жен каждой возрастной категории
в относительных числах: 1913 = 100*

| Возраст / Год | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Менее 25 | 100 | 51,5 | 17,8 | 30,4 | 46 | 49,7 | 117 | 172 | 130 | 115 |
| 25-34 | 100 | 60,5 | 29 | 39,5 | 61,5 | 75,5 | 218 | 281 | 191 | 148 |
| 35-49 | 100 | 77 | 61 | 62 | 72 | 75 | 170 | 225 | 185 | 159 |
| 50 и более | 100 | 72,5 | 63 | 73 | 78,5 | 83,5 | 121 | 176 | 152 | 140 |

| Возраст / Год | 1913 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|
| Менее 25 | 100 | 112 | 117 | 120 | 118 | 115 | 116 | 116 | 118 | 113 |
| 25-34 | 100 | 126 | 116 | 111,5 | 107 | 104 | 104 | 101,5 | 104 | 100 |
| 35-49 | 100 | 145 | 136 | 125 | 119 | 116 | 114 | 110 | 112 | 108 |
| 50 и более | 100 | 140 | 138 | 136 | 136 | 138 | 138 | 138 | 139 | 132 |

¹⁰ Цифры, на которых мы основывали расчеты, взяты из таблиц, публикуемых каждый год в «Mouvement de la population en France», где указываются браки по возрасту с юношами, вдовцами, разведенными, и т. д. и в совокупности. Мы взяли лишь цифры, касающиеся всех супругов, без учета их предшествующего матримониального положения.

низкого уровня 1914 года. В 1919 году оно внезапно возрастает (до 117) и еще больше в 1920 году (до 172), а затем сохраняется на уровне, слегка превышающем довоенные показатели, и в течение десяти лет остается примерно на том же уровне.

Число жен от 25 до 34 лет сначала снижается в меньшей пропорции, но не намного. Оно возрастает несколько быстрее в 1917 и 1918 годах. Но следует отметить в особенности, как оно растет в 1919 и, главным образом, в 1920: 218 и 281; рост намного выше (на 90 и 60%), чем в предыдущей категории более молодых супругов. Как мы говорили, это объясняется не только тем, что женщины от 25 до 34 лет, которым помешали выйти замуж во время войны, больше спешили выйти замуж, чем более молодые. Причина также в том, что значительное число девушек, которым было меньше 25 лет во время войны и которые смогли выйти замуж, перешли теперь в эту более старшую возрастную категорию. Впрочем, пропорция жен от 25 до 34 лет, по-прежнему высокая в 1922 году, затем очень быстро снижается и в 1924 году оказывается на том же уровне, что и в более молодой категории, а в последующие десять лет постепенно снижается, так, что в 1931 году оказывается точно на том же уровне, что и до войны¹¹.

¹¹ Подсчитаем в этой связи, каким представляется в период с 1914 по 1918 год число девушек до 24 лет, которые вышли бы замуж, если бы общее количество жен этого возраста было за все военные годы то же, что и в 1913. Мы получим 563 533 (реально вышли замуж — 360 577), что составляет дефицит в 61%. Посмотрим, в какой мере он был заполнен с 1919 до конца 1924 года. Мы увидим, что за шесть лет число жен этого возраста в сумме превышает на 303 547 то, которое было бы, если бы сохранился уровень 1913 года. Избыток этих шести лет относится к дефициту пяти военных лет как 53 к 100. Дефицит, следовательно, покрывается лишь наполовину: итак, неудивительно, что в следующие годы и даже в 1929, 1930 годах число жен этого возраста всегда превышает уровень 1913 года примерно на 16%.

Но представленная таким образом идея покрываемого дефицита не совсем точна, поскольку девушки, которым во время войны было меньше 25 лет, довольно быстро перешли в более старшую возрастную категорию. Девушки этой категории, которые выходят замуж в 1923–24 годах,

Для простоты мы рассматривали довольно широкие категории. Если те же числа рассчитывать для более дробных категорий, выяснится, что опаздывают с замужеством наиболее молодые девушки: так, для девиц от 25 до 29 лет отставание явно больше, чем для 30–34-летних. В категории менее 24 лет опоздание с замужеством больше среди тех, кому нет 20 лет, чем кому за 20. Расхождение наиболее явно проявляется в 1919 году: в этом году (по сравнению с 1913 г.) меньше выходят замуж первые (на четверть) и больше вторые (на треть). И только в 1924 году восстанавливаются пропорции обеих групп, а в 1928 году больше выходят замуж первые, чем вторые (не намного). В военное время, таким образом, стремление к браку тем сильнее, чем старше девушки. Начиная с 1921 года ситуация изменилась: с этого времени средний возраст супруг, ранее немного выросший, стал быстро снижаться.

во время войны еще не думали о замужестве. Но вероятно, что в период между 1918 и 1924 годами им труднее было выйти замуж вследствие конкуренции со стороны девиц старшего возраста. Им пришлось задержаться. Этим объясняется то, что их количество больше, чем до войны, и то, что их возраст, несомненно, в среднем выше.

Теперь рассчитаем таким же образом, каким могло бы быть с 1914 по 1918 год число девиц 25–34 лет, которые вышли бы замуж, если бы общее число жен этого возраста было в среднем то же, что и в 1913 году. У нас получится 198 643 (вышли замуж 227 517), то есть дефицит примерно 45,6%, менее четверти по сравнению с дефицитом для более молодых девушек в тот же период. В какой мере он заполнялся с 1919 по 1924 год (включительно)? Мы видим, что за эти шесть лет число жен этой возрастной группы в сумме превышает на 411 000 то, которое было бы при сохранении уровня 1913 года. Избыток этих шести лет по отношению к дефициту пяти военных лет относится как 181 к 100. На самом деле дефицит заполнился меньше чем за два года — в 1919 и 1920. Но следует учитывать более молодых девушек, которые перешли в эту категорию незадолго до окончания войны и вскоре после нее. Во всяком случае, как мы указывали, в ликвидационные 1918 и 1919 годы больше всего выходят замуж те, кому около 35 лет. Этим объясняется тот факт, что в то время (начиная с 1917, когда начинается это движение) средний возраст жен явно растет. В 1920 году число жен этой возрастной категории еще велико, но увеличение доли более молодых — еще выше. Это объясняет снижение среднего возраста жен, начиная с 1920 года.

До сих пор речь шла только о браках женщин до 34 лет. Легко объяснить отмеченные выше изменения их числа в военное время отсутствием мужчин вследствие мобилизации, а после войны — долговременным сокращением взрослого мужского населения среднего возраста. Так, любопытно, что в меньшей степени, но весьма явно, количество жен от 35 до 49 лет и даже 50 и выше также уменьшилось в военное время. Для этих двух возрастных категорий в 1915 году уменьшение составляет примерно 30%, а в 1917 и 1918 году — на четверть. Конечно, некоторые категории мужчин старше 35 лет были мобилизованы. Однако для незамужних женщин 50 лет и старше, а также, в значительной мере, для тех, кому 35–49 лет, этот фактор в расчет не идет. Это обстоятельство следует запомнить, впрочем, так же, как и увеличение браков среди тех же категорий после войны, которое сохранялось вплоть до 1928–1931 годов.

Теперь перейдем к мужчинам и укажем, какой была пропорция мужей различных возрастных категорий в 1913 году (группировка не совпадает с той, что была для женщин).

| От 20 до 24 лет | От 25 до 29 лет | От 30 до 39 лет | От 40 до 50 лет |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24,4 | 44,3 | 21,82 | 7,3 |

Таблица V

*Количество мужей каждой возрастной категории
в относительных числах: 1913 = 100*

| Возраст / Год | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20–24 | 100 | 43,7 | 22 | 36 | 52,5 | 54,5 | 115 | 215 | 185 | 184 |
| 25–29 | 100 | 55,5 | 16,3 | 29 | 47 | 52 | 130 | 171 | 110 | 86,5 |
| 30–39 | 100 | 65 | 32 | 37 | 53 | 65 | 211 | 262 | 180 | 134 |
| 40–59 | 100 | 76,5 | 58 | 65,5 | 80 | 91,5 | 196 | 251 | 205 | 175 |

| Возраст / Год | 1913 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 20–24 | 100 | 185 | 199 | 203 | 194 | 187 | 189 | 186 | 203 | 177 |
| 25–29 | 100 | 79 | 80 | 83,5 | 86 | 85 | 87 | 85,5 | 88,5 | 84 |
| 30–39 | 100 | 107 | 94 | 83 | 79 | 76, | 77 | 77 | 81 | 81 |
| 40–59 | 100 | 156 | 145 | 136 | 128 | 124 | 119 | 113 | 112,5 | 105,5 |

Как и в случае с женами, видно, что в 1914 году число мужей моложе 29 лет уменьшается вполтину (немного больше для тех, кому до 24 лет, немного меньше — кто старше 24), а в 1915 году падает до одной пятой от уровня 1913 года. В последующие три года оно медленно поднимается, но даже в 1918 году еще совсем немного превышает низкий уровень 1914 года. В 1919 году оно внезапно увеличивается (на 125% для обеих категорий), но особенно возрастает в 1920 году (на 186%), примерно так же, как и для девушек моложе 25 лет в те же годы. Однако наибольший скачок отмечается в 1920 году в группе самых молодых — от 20 до 24 лет. Можно предположить, что увеличивается число браков с маленькой разницей в возрасте (юноши от 20 до 24 лет и девушки моложе 25). В последующие годы ситуация та же: число молодых мужей от 20 до 24 лет остается примерно в два раза выше, чем в 1913 году. Напротив, число мужей от 25 до 29 лет сильно сокращается. В 1922–1924 годах и даже позднее оно остается примерно на одну пятую ниже довоенного уровня. Несомненно, именно молодые люди, не участвовавшие в войне, начинают с 1920 года заполнять пробелы, оставленные теми, кому во время войны было от 20 до 24 лет и которым к этому моменту исполнилось бы от 25 до 29. Так объясняется (по крайней мере, частично) то, что разница в возрасте мужей и жен, с этого момента и надолго, оказывается меньше, чем в 1913 году.

Количество мужей в возрасте от 30 до 39 лет снижается в годы войны в меньшей пропорции, но также очень явно: на две трети в 1915 году по сравнению с 1913 годом. Затем оно возрастает, но не превышает в 1918 году уровень 1914 года. Здесь, как и в случае с женами 25–34 лет, надо отметить ту удивительную скорость, с которой растет количество браков этой категории мужчин в послевоенные 1919–1921 годы. Однако, в отличие от того, что происходит с женами 25–34 лет, их количество начинает снижаться с 1922–1923 годов, а в 1924 году становится ниже своего довоенного уровня, после чего еще сокращается и до 1931 года остается на одну пятую ниже зна-

чения 1913 года. Женщинам от 25 до 34 лет не хватает мужей из-за мобилизации на войну, так что им приходится выходить замуж, главным образом, за более молодых мужчин: так расхождение между средним возрастом супругов в этот послевоенный период еще больше уменьшается. Те же изменения наблюдаются в категории мужей от 40 до 59 лет, более смягченные в военное время, но усиливающиеся (в смысле увеличения) начиная с 1920 года. Еще в 1928 году их на одну пятую больше, чем до войны. Это результат запаздывания с женитьбой для мужчин, которым было 30–39 лет во время войны (с тех пор они перешли в более старшую возрастную категорию); в силу их принадлежности к старшим возрастным группам они, безусловно, были истреблены в меньшей степени. Но самое неожиданное, что эти тенденции коснулись мужчин, которым во время войны было 40–49 лет. Мы отмечали, говоря о наиболее старших категориях жен, что относительное увеличение их числа снижалось между 1920 и 1928 годом очень медленно. Вероятно, большее по сравнению с обычным временем число браков заключается между пожилыми мужчинами и женщинами оттого, что пожилые люди видят конкурентов в лице мужчин среднего возраста, а последние — в лице более молодых.

В предыдущей части мы рассматривали группы мужей и жен (в зависимости от возраста) порознь и интерпретировали количественные изменения этих групп, выдвигая некоторые гипотезы. Эти гипотезы мы могли бы проверить, выясняя, как изменилось число браков, группируемых по сочетаниям возрастов обоих супругов. Общая статистика («Динамика населения») каждый год публикует таблицы (те самые, которые позволили нам получить приведенные выше численные данные), где браки классифицируются следующим образом: мужья от 20 до 24 лет и жены в возрасте менее 20, от 20 до 24 лет... (юноши, вдовцы, разведенные и т. д.) Аналитическое исследование за 10- или 15-летний период было бы длинным. Но во всяком случае три изменения представляют

особый интерес: с 1914 года по 1915 год, с 1918 года по 1919 год и за весь военный период — с 1913 года по 1922 год, а также за последующие годы, поскольку в это время, хотя браков было больше, чем до войны, средний возраст мужей и жен и разница между средним возрастом обоих супругов очень сильно сократились. Мы ограничимся следующими тремя сравнениями.

Применим следующую методику: известно, что с 1914 по 1915 год общее число браков во Франции уменьшилось в относительных числах со 100 до 44. Для выделенных 48 возрастных категорий (6 категорий жен и 8 категорий мужей) примем данные 1914 года за 100 и рассчитаем соответствующие относительные числа за 1915 год. Эти относительные числа мы занесем в нашу таблицу. Таким образом, сразу можно видеть, у каких категорий они снизились больше или меньше, чем у всех вместе.

Снижение коснулось почти всех категорий, но в неравной степени. Мы заметили ранее, что браки девиц моложе 25 лет сократились более всего, далее снизилось число браков среди девиц от 25 до 29 лет. Это ясно видно из таблицы VI.

Таблица VI

*Пропорции браков в 1915 году
по возрастным категориям относительно 1914 года
(Относительное значение совокупности всех браков в 1915 г. = 44)*

| Мужья | Жены | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | моложе 20 лет | 20-24 года | 25-29 лет | 30-34 года | 35-39 лет | 40-49 лет |
| моложе 20 | 89,5 | 106 | 108 | 90,5 | - | - |
| 20-24 | 53,5 | 47,5 | 55 | 72,5 | 93,5 | 120 |
| 25-29 | 21,6 | 26 | 35 | 51 | 71 | 106 |
| 30-34 | 32 | 29,5 | 42 | 56 | 77 | 105 |
| 35-39 | 52,5 | 44,5 | 47,5 | 61 | 72 | 95 |
| 40-49 | 85,6 | 75 | 69 | 67 | 67,5 | 80 |
| 50-59 | 96,5 | 108 | 95 | 83 | 80 | 83 |
| 60 и выше | 100 | 116 | 82,5 | 88 | 98 | 81 |

Напротив, в трех последних колонках числа поднимаются выше средней величины — тем больше, чем старше женщины. Также и для мужчин: самое большое сокращение наблюдается для категорий от 20 до 39 лет, а для более старших категорий — заметно увеличение. Те, кому меньше 20 лет, в пропорциональном отношении женятся чаще. Но рассмотрим расхождения в возрасте. Мы видели, что пропорция браков юношей с девицами моложе них явно уменьшилась: это видно по таблице для мужей от 20 до 34 лет. Но в 1914 году эта возрастная группа представляет 80% всех мужей. Мы также отмечали, что браки молодых мужчин с девицами более старшего возраста становятся относительно тем чаще, чем больше разница в возрасте. Во всяком случае это можно констатировать для мужчин от 20 до 34 лет и в особенности для тех, кому меньше 20 лет. Довольно значительно сократилось (по сравнению с 1914 годом) число браков между одновозрастными группами от 20 до 34 лет. Но для более старших возрастных категорий их число снизилось намного меньше. Мы знаем, что их пропорция относительно всей совокупности браков увеличилась мало.

Впрочем, нас вообще удивляет то, что число браков этой категории довольно сильно сократилось, хотя известно, что мужчины 40 лет и старше не были мобилизованы: во многих случаях сокращение составляет от 20% до 30%. Для самых старших возрастов оно менее велико, но также весьма ощутимо. То же самое с женщинами старше 30 лет, которые в нормальной ситуации должны были бы выходить замуж за мужчин старше 35 или 40 лет. Все происходит так, как если бы воздействие войны в этом отношении вызывалось не только расставаниями, а аналогично экономическому кризису.

Теперь рассмотрим, как изменились браки по возрастным категориям с 1918 по 1919 год — период, когда в целом их число растет в очень большой пропорции: со 100 до 256 (см. таблицу VII). Можно видеть, что с 1918

Таблица VII

*Пропорции браков в 1919 году
по возрастным группам относительно 1918 года
(Относительное значение совокупности всех браков в 1919 г. = 256)*

| Мужья | Жены | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | моложе 20 лет | 20-24 года | 25-29 лет | 30-34 года | 35-39 лет | 40-49 лет |
| моложе 20 | 127 | 131 | 112 | 120 | - | - |
| 20-24 | 214 | 212 | 212 | 210 | 202 | 153 |
| 25-29 | 252 | 242 | 262 | 250 | 214 | 196 |
| 30-34 | 280 | 310 | 368 | 345 | 280 | 200 |
| 35-39 | 264 | 276 | 350 | 352 | 312 | 229 |
| 40-49 | 165 | 205 | 271 | 279 | 280 | 225 |
| 50-59 | 160 | 104 | 146 | 135 | 147 | 149 |
| 60 и выше | 100 | 88 | 150 | 138 | 120 | 142 |

по 1919 год количество браков, где женам меньше 24 лет, существенно увеличилось. Рост действительно превышает среднее значение для девушек моложе 24 лет, которые выходят замуж за мужчин от 30 до 39 лет, и особенно для тех, кто выходит замуж за 30-34-летних: разница в возрасте довольно естественная. Но, заметим, что гораздо больше этот прирост в категории жен от 25 до 34 лет. Если обвести в таблице самые высокие числа, превышающие 344 (вместо средней величины 256), то мы получим прямоугольник, включающий все браки женщин этого возраста с мужчинами от 30 до 39 лет. Разница в возрасте станет еще меньше, если учесть резкий рост браков между супругами одного возраста: от 30 до 34 лет.

Другое предварительное замечание: хотя в 1919 году растет число браков мужчин моложе 29 лет, но еще больше для тех, кому от 30 до 39 лет. В самом деле, можно видеть, что среди молодых мужчин вплоть до 39 лет число браков постоянно растет с увеличением возраста. Отметим, однако, характерную черту: браки молодых мужей более равномерно распределяются между женами различных возрастных групп, чем браки мужчин

старше 25 и особенно старше 30 лет. Иными словами, разница в возрасте в среднем больше для самых молодых мужей, чем для тех, кому около 30 лет — как если бы первые испытывали трудности в выборе молодых женщин из-за увеличения конкуренции со стороны тридцатилетних мужчин. С другой стороны, рост браков среди женщин всех возрастов, даже самых молодых, наблюдается, главным образом, с мужчинами от 30 до 39 лет; возможно, это потому, что у демобилизованных солдат этого возраста велико стремление жениться без промедления.

Но, проводя сравнение с 1913 годом, перейдем к послевоенному периоду, который определил положение, сохранявшееся вплоть до недавнего времени. Общее увеличение браков в относительных числах с 1913 по 1923 год выражается как 100 к 119.

Прежде всего можно заметить, просматривая последовательно колонки цифр сверху вниз, что все цифры регулярно уменьшаются, затем возрастают (встречаются некоторые исключения в категориях, включающих очень малое число случаев).

Таблица VIII

*Пропорции браков в 1923 году
по возрастным группам относительно 1913 года
(Относительное значение совокупности всех браков в 1923 г. = 119)*

| Мужья | Жены | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | моложе 20 лет | 20-24 года | 25-29 лет | 30-34 года | 35-39 лет | 40-49 лет |
| моложе 20 | 180 | 212 | 165 | 250 | - | - |
| 20-24 | 180 | 186 | 186 | 212 | 187 | 169 |
| 25-29 | 59 | 75 | 95,5 | 117 | 122 | 102 |
| 30-34 | 64 | 83 | 112 | 131 | 127 | 111 |
| 35-39 | 68 | 94 | 125 | 149 | 129 | 119 |
| 40-49 | 87 | 121 | 161 | 175 | 168 | 145 |
| 50-59 | 100 | 130 | 169 | 192 | 169 | 159 |
| 60 и выше | 83 | 95,5 | 179 | 182 | 172 | 158 |

Среди мужчин от 25 до 39 лет число браков либо снизилось по отношению к 1913 году, либо для некоторых категорий увеличилось очень незначительно. Это та группа мужчин, которым было от 20 до 34 лет в 1918 году к концу войны, то есть масса мобилизованных, многие из которых, кстати, женились в течение предшествовавших четырех-пяти лет; эта группа (самая важная среди мужского населения брачного возраста) понесла большие потери.

Вспомним, что в 1923 году по отношению к 1913 году пропорция браков юношей с девушками моложе по возрасту явно сократилась, в то время как пропорция браков с девушками той же возрастной или более старшей группы заметно выросла. Действительно, из таблицы видно, что для всех возрастных групп, где супруг моложе 34 лет (напомним, что они составляют четыре пятых от общего числа вступающих в брак), число браков растет с увеличением возраста жены до тех пор, пока он не сравняется с возрастом мужа. Значит, намного больше выросло число браков, где муж и жена одного возраста, чем тех, где муж старше. Теперь перейдем (перемещаясь правее) к случаям, когда жена старше: относительные числа (по отношению к 1913 году) продолжают оставаться высокими до 39-летнего рубежа жены: браки, где жена старше, намного участились по сравнению с теми, где старшим является муж. В частности, следует отметить, в какой степени увеличилось число жен 30–34 лет, а также 20–24, которые выходят замуж за юношей моложе 20 лет, число женщин 30–34 лет, а также 25–29 лет, которые выбирают мужей от 20 до 24 лет; число жен от 35 до 39 лет, а также 30–34 лет, которые выходят замуж за 25–29-летних, даже число жен 35–39 лет, которые выходят замуж за 30–34-летних; в целом это увеличение тем выше, чем больше разница в возрасте. Видно, что значительно чаще, чем до войны, женщины в достаточно большом возрасте выходят замуж за мужчин моложе себя или одноклассников. Дело в том, что мужское население, которое было мобилизовано на войну, сильно сократи-

лось, но появился новый слой молодых людей, которых война не затронула¹².

Мы должны также отметить два любопытных факта, которые следует пояснить. Большое число очень молодых мужчин женятся, и это можно объяснить тем, что

¹² Вот данные, которые помогут нам получить представление о нарушенной пропорции между числом мужей и жен различных возрастов. Следующие относительные числа представляют число мужей и жен каждой возрастной категории (где число браков мужей такого-то возраста и жен — такого-то) по отношению к соответствующему числу 1913 года предполагается равным ста. Относительное увеличение в целом по-прежнему составляет 119.

*Относительное значение числа мужей и жен
по возрастным категориям в 1923 году*

(Относительное значение в каждой категории 1913 года = 100)

| Возраст | Мужья | Жены |
|---------------|-------|------|
| моложе 20 лет | 192 | 108 |
| 20–24 года | 184 | 113 |
| 25–29 лет | 79 | 120 |
| 30–34 года | 101 | 145 |
| 35–39 лет | 123 | 145 |
| 40–49 лет | 156 | 141 |
| 50–59 лет | 158 | 139 |
| 60 лет и выше | 155 | 145 |

Следует отметить очень большое — почти вдвое — увеличение браков для юной молодежи 20 лет и от 20 до 24 лет. Затем идет чрезвычайное уменьшение браков среди тех, кому от 25 до 29 лет. Это неудивительно. В 1918 году в эту группу входили мужчины от 20 до 24 лет, то есть включая классы периода с 1914 по 1918 гг.

Так, в книге Юбера на стр. 422 находится список и классификация окончательных армейских потерь — убитые и пропавшие без вести — и их пропорция по отношению к общему числу мобилизованных (то есть всех, кто туда входил, включая вспомогательные службы и т. д.). Воспроизведем его для периода с 1911 по 1918 год:

| Год | Потери в % | Год | Потери в % |
|------|------------|------|------------|
| 1911 | 24,1 | 1915 | 27,8 |
| 1912 | 27,1 | 1916 | 18,4 |
| 1913 | 26,9 | 1917 | 13,1 |
| 1914 | 29,2 | 1918 | 8,0 |

В 1923 году группа мужей 25–29 лет состояла из тех, кто понес достаточно большие потери в 1914 и 1915 годах (около 30%), не считая больных, калек и т. д. Две следующие группы возрастают умеренно. Начиная от 40 лет и старше мужчины вступают в брак намного больше, чем до войны, а женщины — от 30 лет. Но, кажется, что более молодым женщинам труднее найти мужей, так как число жен возрастает мало, особенно после 24 лет. Оно растет тем меньше, чем они моложе, как если бы старшие составляли им конкуренцию.

они женятся на женщинах старше себя, которым не удается найти мужей постарше (из-за сокращения группы мужчин старше 24 лет). Но также наблюдается намного больше, чем в 1913 году, браков, где оба супруга моложе 20 лет. Речь идет о группах мужчин, которых война никак не коснулась, и женщинах, которые в обычной обстановке не стали бы так торопиться с замужеством (если, конечно, не предполагать, что их увлекает соревнование, что они заранее принимают меры, потому что женщины постарше обращают свои взоры на ту группу молодых людей, которая должна была достаться им; но это было бы слишком сильным допущением).

С другой стороны, по сравнению с 1913 годом также намного учащаются браки между супругами старшего возраста. Правда, это частично объясняется увеличением браков между пожилыми мужчинами и женщинами среднего возраста и даже молодыми. Браки женщин от 30 до 39 лет, также от 25 до 29, и даже моложе 24 лет с мужчинами старше 40 лет и даже старше 50 увеличились в значительно большей степени по сравнению со средним числом (особенно это справедливо для женщин 30–34 лет с очень пожилыми мужчинами). Но в то же время весьма явно возрастает число союзов, где оба супруга достаточно «в возрасте», так что мужчина не был призван на войну, а женщине не помешала выйти замуж мобилизация более молодых мужчин¹³.

Так, браки между молодыми и между пожилыми значительно увеличиваются по сравнению с 1913 годом,

¹³ Для краткости мы исключили из таблицы жен старше 49 лет. Приведем теперь относительные числа (как в вышеприведенном примере), соответствующие в 1923 году (по отношению к 1913, принимаемому за 100) бракам, где оба супруга имеют достаточно большой возраст. Вспомним, что относительная величина браков в целом (по сравнению с 1913 годом) = 119. Во всех категориях прирост намного больше.

| Мужья | Жены | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 40–49 лет | 50–59 лет | 60 и старше |
| 40–49 лет | 149 | 132 | 164 |
| 50–59 лет | 159 | 139 | 156 |
| 60 и старше | 158 | 151 | 143 |

и кажется, что война прошла между этими двумя поколениями, далеко отстоящими друг от друга, не затрагивая их и не парушая их жизнь, — одно остановилось у самого края войны, не вступая в нее и ожидая ее окончания, а другое оказалось за ее чертой и отвернулось от нее. Но даже если допустить, что браки между пожилыми людьми все же были отложены из-за войны и экономических трудностей, почему бы им не заключаться сразу после окончания войны?

Мы можем проследить за этим примечательным «опытом» вплоть до 1931 года, то есть в 8-летний промежуток 1923–1931 гг. (см. таблицу VIII, которую мы только что анализировали) и в 13-летний с конца войны. Представим, согласно той же методике, пропорции браков по возрастным категориям супругов (принимая за 100 соответствующие значения 1914 года):

Таблица IX

Пропорции браков в 1931 году относительно 1914 года
(Относительное значение совокупности всех браков в 1931 г. = 110)

| Мужья | Жены | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | моложе 20 лет | 20–24 года | 25–29 лет | 30–34 года | 35–39 лет | 40–49 лет |
| моложе 20 | 174 | 196 | 135 | 148 | - | - |
| 20–24 | 200 | 177 | 148 | 130 | 100 | - |
| 25–29 | 74 | 81,5 | 97 | 101 | 106 | 133 |
| 30–34 | 60 | 67,5 | 93 | 107 | 112 | 99 |
| 35–39 | 48 | 53,5 | 67,5 | 88 | 88 | 82 |
| 40–49 | 51,5 | 60,5 | 79 | 93,5 | 103,5 | 99 |
| 50–59 | 41,5 | 82,5 | 99,5 | 122 | 125 | 137 |
| 60 и выше | 41,5 | 43,5 | 109 | 120 | 140 | 152 |

Несомненно, заметны некоторые различия по сравнению с показателями 1923 года. Тогда среди мужчин от 25 до 39 лет (которым было в 1918 году от 20 до 34 лет, то есть это была масса мобилизованных), число браков, как и можно было бы ожидать, по сравнению с 1913 годом заметно сократилось. Восемью годами позже этим же мужчинам уже примерно от 35 до 49 лет, и именно

для этих категорий наблюдается еще более сильное уменьшение числа браков. Эта группа не просто сократилась из-за войны — она старше, а женское население находит среди постоянно растущего молодого мужского населения, вступившего в брачный возраст после войны, новые возможности для замужества. Бывшие мобилизованные, которые не женились сразу же после войны, в меньшей степени являются объектом соперничества. Впрочем, то же самое касается и мужчин старше 50 лет, многие из которых женились на очень молодых женщинах во времена захватки мужчин. Но, помимо этой легкообъяснимой переменной, неясными остаются причины сохранения на том же уровне, что и в 1913 году, существенных черт и значительных изменений.

В нашей таблице имеются две четко различимые области: одна — наверху слева, другая — внизу справа, где виден относительный рост числа браков, намного превышающий среднюю относительную величину (то есть 110) для всей совокупности браков. Прежде всего, это восемь чисел из первых двух строк и четырех левых колонок, но особенно — из первых двух колонок. Здесь мы видим браки женщины в возрасте от 25 до 34 лет с более молодыми мужчинами, а также браки, где обоим супругам либо от 20 до 24 лет, либо меньше 20 лет (они встречаются чаще), и те, где одному супругу меньше 20 лет, а другому — от 20 до 24 (здесь практически равное увеличение, в независимости от того, кто из супругов старше). С другой стороны, симметрично в двух последних строках и четырех правых колонках заметен рост по отношению к 1913 году, в целом менее выраженный, чем в предыдущих категориях, но больше среднего роста по всем бракам. Речь идет о браках, где мужу более 50 лет, а жене — от 30 до 59 лет ¹⁴.

¹⁴ Добавим, что для браков, не занесенных в таблицу, где женщины также старше, цифры, по сравнению с 1913 годом, таковы: муж — от 50 до 59 лет, жена — от 60 и более: 148 (по сравнению со 100 в 1913 году); муж 60 лет и старше, жена 60 лет и старше: 154. Первая категория включает 362 брака, вторая — 1092.

Для женщин 25–34 лет, как и в 1923 году, более всего возросла частота браков, где они выбирают мужей либо значительно моложе, либо значительно старше. Дело в том, что через тринадцать лет после войны количество мужчин старше их на 5–10 лет было еще достаточно невелико, и в указанных группах женщин существовала сильная конкуренция, вынуждающая их расширять поле выбора. Но, с другой стороны, как и в 1923 году, в тех участках возрастных таблиц, где война не оставила прямых последствий и можно было бы предположить, что ее отзвуки неощутимы среди самых молодых (тех, кто во время войны был ребенком), или среди пятидесяти-, шестидесяти-, почти семидесятилетних — браки увеличиваются больше, чем среди остальной части населения, в особенности по отношению к бракам девушек и юношей моложе 24 лет. В молодом и очень молодом возрасте женятся гораздо чаще, чем до войны. Группы, которые, таким образом, очень рано подвергались матримонимальному натиску, естественно, не могут сохранять в последующих возрастных группах тот же темп. Уже в 1931 году наблюдается сокращение — по сравнению с 1913 годом — браков мужчин от 25 до 34 лет, откуда был основной набор женихов в 1923 году, когда им было менее 26 лет. Так, чтобы число браков не падало, нужно, чтобы также не ослабевало это очень сильное стремление к вступлению в брак в самых молодых слоях населения обоего пола, что является наиболее характерной чертой последних десяти лет.

Следовало бы более детально изучить изменение брачных отношений во Франции с 1913 по 1918 год, поскольку никогда ранее столь долго и глубоко не нарушались социальные привычки, с давних пор приобретенные мужчинами и женщинами различных возрастных групп относительно типов заключаемых союзов и сочетаний возрастов супругов. Какие выводы мы можем сделать из этого анализа? Можем ли мы говорить о стремлении к браку в том смысле, что количеством заключаемых союзов среди населения в целом будем

измерять силу разного рода мотивов и причин, побуждающих мужчин и женщин к вступлению в брак? Разве не справедливо, что с момента начала войны 1914–1918 годов большое количество союзов пришлось отсрочить или приостановить, что мужчины и женщины, которые в обычное время вступили бы в брак, из-за различных преград остались холостыми? Из этого, однако, не следует, что в тот момент желание вступить в брак у них поутихло.

Доказательством нашей гипотезы может служить тот факт, что браки, заключавшиеся в тот период, показывают новые возрастные комбинации, растет число браков с большой разницей в возрасте, которую до войны сочли бы чрезмерной. С 1914 по 1915 год менее всего сокращается и даже увеличивается количество тех браков, в которых жена старше мужа, а также тех, где муж весьма пожилой, а жена совсем молодая. Например, женщины от 30 до 34 лет больше стремятся выйти замуж за мужчин намного моложе — из числа не подлежащих мобилизации юношей в возрасте до 20 лет, либо за 20–24-летних из числа служащих во вспомогательном составе или комиссованных, либо за мужчин намного старше (более 50 лет). Ту же тенденцию мы констатируем для женщин более старшего возраста и для самых молодых. Таким образом, все стараются преодолеть вызванные войной препятствия, заключая браки, которые можно было бы назвать ненормальными. Это значит, что стремление к вступлению в брак существует и открыто проявляется.

Можем ли мы сказать, что позднее, с 1918 по 1919 год, когда после демобилизации число браков возрастает в невиданных доселе масштабах, внезапно проснулось и усилилось сдерживаемое в военное время стремление к браку? Ведь если число браков в этот период гораздо превышает даже довоенный уровень, то происходит это оттого, что значительное количество союзов в военное время откладывалось. Иными словами, происходит возврат к нормальному состоянию. Здесь нет никакой горючки, излишнего внешнего возбуждения. Доказатель-

ство тому — тенденция к приближению среднего возрастного разрыва к тому состоянию, в котором он был до военных препятствий и давления обстоятельств. Вновь появляются те же возрастные сочетания в прежних пропорциях.

Наконец, по окончании восстановительного периода, после 1923 года число браков сохраняется на несколько более высоком уровне, чем до войны, и из года в год приближается к довоенному уровню. Но из этого факта мы не можем сделать вывод о том, что стремление к браку почти сравнялось с уровнем 1913 года. В самом деле, у значительной части населения возникает серьезное препятствие для заключения «нормальных» браков мужчин с женщинами моложе по возрасту. Теперь это уже не война, а ее следствие — сокращение мужского населения брачного возраста. Поиск супруга в этот период ведется активнее, вызывает более жесткую конкуренцию среди женского населения среднего возраста. Этим объясняется столь явное увеличение числа браков среди ровесников и столь же явное — когда женщина старше и даже намного старше мужчины. Не является ли тот факт, что женщины от 25 до 34 лет столь интенсивно разрабатывают резервный слой совсем молодых людей, признаком усиления стремления к браку?

Так, число браков в данный год в данном обществе вряд ли является показателем интенсивности сил, predisполагающих к заключению брачных союзов. Оно может сокращаться, а эти стремления возрастать; оно может сильно расти, в то время как те совершенно нормальны; в разные эпохи оно может быть одинаковым, тогда как стремления могли усилиться в одно время по сравнению с другим. Однако, мы полагаем, что можно различать, с одной стороны, коллективные стремления к браку, свойственные всему обществу в каждую эпоху, в каждый период и проявляющиеся в количестве браков и возрасте супругов, а с другой стороны — стремления отдельных групп и входящих в них индивидов. Предшествующий анализ относился к чувствам и желаниям

в том виде, в каком они развиваются у различных возрастных групп обоего пола. Эти чувства часто подавляются, ограничиваются, нередко люди стремятся достичь большего, чем могут получить. Но являются ли сами возрастные группы определенными, а главное, являются ли они коллективными реалиями? Сформированные статистиками из соображений удобства, они тем не менее не смешиваются друг с другом. Впрочем, их идентичность носит лишь эфемерный характер, поскольку включаемые в них единицы проходят, не останавливаясь, через установленные границы и каждые несколько лет переходят в другие категории. Более того: если и можно в каждый период выделить накладывающиеся друг на друга слои, как бы последовательные поколения, то они существуют как действительные социальные группы лишь в той мере, в какой само общество в целом определяет их место и регламентирует их поступки.

В частности, в том, что касается браков, существовали периоды, когда союзы, в которых отмечалось слишком большая или слишком маленькая разница в возрасте супругов или муж был явно моложе жены, казались исключением, чем-то ненормальным. Тогда общество стремилось запретить либо ограничить их, ссылаясь на различные причины, верования или предрассудки физиологического, психологического, морального рода, на экономические соображения (только достигнув определенного возраста, мужчина может иметь достаточное положение для создания семьи). Во время войны число браков такого рода увеличилось, и следует сказать, что их перестали считать ненормальными не только из-за многочисленности, но и оттого, что для общества в целом они представляли собой единственное средство поддерживать определенный уровень брачности. Во всех этих случаях под давлением общих социальных условий стремление к браку среди мужчин и женщин различного возраста оказывается ограниченным или ориентированным по-другому (что также является вынужденным).

Правда, можно было бы утверждать, что эти изменения объясняются слепой механической игрой конкуренции между различными возрастными группами, по аналогии с тем, как Дарвин представлял половой отбор в животном мире. До войны пропорция мужей до 24 лет была намного — почти вполровину — меньше по сравнению с 25–30-летними. Сразу же после войны, в 1918 и 1919 годах, она явно растет, но особенно сильно — в последующий период. Безусловно, это естественный результат сильного сокращения мужского населения старше 24 лет, которое прошло всю войну. Однако мы видели, что сильное увеличение браков среди молодых снова проявляется и в последующие годы вплоть до 30-х годов, когда мужчины 24–30 лет уже не принадлежат к сильно сократившимся категориям населения. Если до войны молодые женились меньше, то происходило это отнюдь не потому, что их стремление к браку было более слабым. Им мешала в этом конкуренция старших по возрасту, которые находились в более выгодном положении в материальном отношении, так как имели более прочное положение. Как только они перестали сталкиваться со старшими соперниками, поскольку количество последних сократилось, стремление молодых жениться, до сих пор сдерживаемое, смогло проявиться. Но опять-таки мы увидели, что во время войны и в восстановительный период число 25–34-летних жен росло намного быстрее (достигнув к 1919–1920 годам чрезвычайно высокого уровня), чем более молодых. В 1923–1924 годах сложилась противоположная ситуация. Число более молодых жен растет и сохраняется на высоком уровне до настоящего времени. Число жен от 25 до 34 лет уменьшается, возвращаясь к своему довоенному уровню. Из этого можно заключить, что женщины старшего возраста испытывали больше нетерпения в поисках супруга. Тем не менее справедливо, что более молодые (поскольку в настоящее время они чаще выходят замуж) тогда ждали не потому, что не хотели вступать в брак, а потому, что им мешала осуществить это конкуренция

со стороны более старших женщин. Теперь что касается мужчин: сохранится ли нынешняя ситуация, благоприятная для молодых? Через несколько лет юношам и девушкам, родившимся во время войны, исполнится 20 лет. Поскольку рождаемость была тогда сильно снижена, юношей и девушек 20–21 года и моложе будет очень немного. Тогда можно предвидеть, что конкуренция между молодыми и более старшими будет сильнее, и снова молодым придется ждать до тех пор, пока появятся юноши и, главным образом, девушки, родившиеся сразу после ликвидационных лет — в 1919, 1920, 1921: на сей раз их очень много. Таким образом, все как бы сводится к игре-состоянию между мужчинами и женщинами разного возраста, чьи шансы вступить в брак изменяются в зависимости от возрастного состава, а картину, которую в этом смысле представляет общество в разные периоды, можно считать лишь результатом наложения этих стремлений и индивидуальных усилий.

Если бы брак был всего лишь союзом полов, все могло бы происходить именно таким образом. Но брачный союз — это нечто иное. Это акт создания семьи и образование домашнего института, рассчитанного на долгое существование. Мы упоминали, что число браков изменяется с изменением экономических условий. Но экономическое состояние является результатом организации, которую придает себе общество, и общих условий, в которых оно находится. Мы не собираемся оспаривать тот факт, что возрастной состав населения страны и изменения, которым подвергается общество, оказывают большое влияние на браки, на средний возраст супругов, среднюю разницу между возрастными группами в заключающихся союзах, на пропорцию различных в этом отношении браков. Но возрастной состав населения прежде всего влияет на структуру и экономическое функционирование общества в целом. Безусловно, он изменяет возможные сочетания возрастов. И в той мере, в какой он реагирует на экономическое состояние, он воздействует на сочетания возрастов в браках, то есть

на браки различных типов, а также на стремление к браку вообще. Мы заметили, что во время войны браки сокращались не только среди мобилизованного мужского населения, но и среди мужчин, не участвовавших в войне из-за возраста (как и среди женщин соответствующего возраста). Не потому ли это происходит, что тогда большая часть активного населения отошла от дел, экономическая жизнь замедлилась, в результате чего появилось общее чувство обеспокоенности, неуверенности в завтрашнем дне в смысле доходов и имущества? Не по этой ли причине, отчасти, браки мобилизованных солдат не участились, хотя для этого были созданы условия?

После войны и до недавнего времени самый важный факт, который следует уяснить, — это снижение среднего возраста и уменьшение разницы в возрасте брачующихся, а также значительный рост числа молодых (и очень молодых) людей, образующих семью. Достаточно ли, в самом деле, чтобы осознать это, сослаться на уменьшение мужского населения призывного возраста, которое было мобилизовано на войну, и на относительный избыток женского населения? Конечно, много молодых людей женились в то время на женщинах старше себя или того же возраста. Но одновременно с этим отмечается значительный рост (по сравнению с довоенным периодом) числа браков молодых людей с еще более молодыми девушками. Для того чтобы появилось столько молодых семей, были необходимы новые, благоприятные экономические условия. В самом деле, так оно и есть. Это касается не только браков, но и возможностей получения доходов: конкуренция мужчин старшего возраста в ущерб молодым более не действует или действует не с такой силой. Кадры, активно участвующие в экономической жизни общества, омолаживаются. Происходит общая перестройка общества (причем в большой степени она определяется его новым возрастным составом), что делает возможным и стимулирует

браки молодых людей. Эта новая тенденция имеет коллективную природу: она вытекает из изменившихся общих условий.

Однако помимо экономических фактов нужно принимать в расчет другие социальные факторы. Представление о возрастных группах, о разделяющей их границе соотносится с составом общества и его частей, с его потребностями и возможностями. В наших старых нациях, особенно до войны, все должности были заняты, продвижение по службе шло лишь в зависимости от стажа, каждый должен был становиться в очередь и ждать. Молодые оказывались отделенными от пожилых плотной, несжимаемой массой, чья толщина давала им ощущение того, что прежде чем догнать старших, им придется преодолеть ряд этапов. Рассмотрим противоположный пример — Америку. Раньше, когда не хватало людей, чтобы освоить возможности этой страны, европеец пятидесяти лет мог сказать: для Европы я слишком стар, но я могу поехать в Америку, начать там новое дело, у меня есть шанс разбогатеть, как у молодого человека. Там пятидесятилетний бизнесмен не считался старым. Теперь, когда там конкуренция, вероятно, еще сильнее, чем в других странах, старение происходит быстрее, а обновление поколений — в ускоренном темпе, кажется, что сложилась обратная ситуация, и человек, которого у нас считают в расцвете сил, там кажется на закате своих возможностей. Во Франции чрезвычайно сильное сокращение (примерно на четверть) мужского населения, затронувшее к концу войны возрастные категории от 23 до 38 лет, имело неизбежным следствием тот факт, что молодые люди поднялись по возрастной шкале (и, возможно, на несколько ступенек снизились более старшие). Такое представление должно было зародиться не только в группе молодых, но и в обществе в целом, поскольку связи между всеми его частями оказались измененными. Во всяком случае молодые люди очень рано получили доступ к должностям, до войны считавшимся недоступными для них по возрасту, их сочли способными

ми справиться с обязанностями в том социальном кругу, который в них нуждался, поэтому-то в них зародилось, созрело и быстро расцвело чувство ответственности, безусловно, необходимое, чтобы, как говорится, нести бремя семейных забот. Не то чтобы они непременно были сильнее, созрели раньше, чем прежняя молодежь в их возрасте, — дело в том, что они в какой-то мере оказались подвергнуты воздействию «теплого оранжерейного климата».

Если воздействие либо реакция общества таковы, то все же неверно было бы полагать, что при наличии относительных изменений в различных возрастных группах общество по мере своих возможностей стремится только бороться с подобным случайным потрясением, пытаясь вернуть прежнее равновесие, считающееся естественным. Но существует ли такое равновесие, коль скоро средний возраст супругов и средняя разница в возрасте непрерывно отклонялись от прежнего количественного показателя не однократно, но в течение нескольких лет довольно длительного периода? Раньше (точнее, в 1853–1860 гг.) юноши женились в среднем в возрасте 30 лет и 5 месяцев, а девицы выходили замуж в 26 лет и 1 месяц. Совсем недавно (то есть в 1913 году, или спустя пятьдесят лет) средний возраст вступления в брак снизился для мужей до 28 лет и 6 месяцев, а для жен — до 24 лет и 3 месяцев. В течение двенадцати-тринадцати лет после войны для мужчин он составлял 26 лет и 7 месяцев, для женщин — 23 года и 4 месяца. Иначе говоря, в течение 60 лет среди мужчин наблюдалось уменьшение на 4 года, а для женщин — на 3 года. Раньше разница в возрасте между супругами составляла в среднем четыре года и четыре месяца, а сейчас — только три года и два месяца: это уменьшение больше чем на четверть, на 27%. Можно ли считать аномальной эволюцию, произошедшую с военных времен, если она продолжает движение, начатое шестьдесят лет тому назад и даже раньше?

Если придерживаться демографической точки зрения, распределение браков по возрастным категориям не могло бы оставаться в состоянии равновесия с течением времени. Не следует даже придавать слишком большое значение случайным изменениям, происходящим в нем по причине таких событий, как война. Во всяком случае браки и возрастной состав общества соотносятся с рождаемостью и смертностью, а мы знаем, что они подвержены изменениям, которые не компенсируются в течение длительного времени. Конечно же, это влияет на распределение браков. Но, с другой стороны, браки находятся также в соответствии с экономическим устройством, с тем, что можно также назвать состоянием правов, то есть с крупными коллективными фактами, которые, если их рассматривать в течение сколько-нибудь длительного времени, не остаются в равновесии, а изменяются под влиянием новых обстоятельств и уже свершившейся эволюции. В равновесной системе эти потрясения исчезли бы бесследно, поскольку они затрагивали бы лишь части, которым не под силу устойчивым образом изменить функционирование целого. Напротив, именно социальному организму свойственно делать более прочными изменения, которые приняли истинно коллективную форму. Так, поверх индивидуальных усилий и стремлений существует как бы коллективный брачный марш, смысл и ритм которого регулируются развитием общества.

Глава 4

теория и метод

*Статистический эксперимент и вероятность (1923)**

Существует ли принципиальное различие между статистиком, который склонился над колонками цифр и графиками, и физиком, который проводит эксперимент и следит за его исходом? Принято считать, что различие существует, и мы испытываем соблазн отнести статистику к категории тех, кто соприкасается с фактами лишь посредством книг и справочников, куда эти факты заносятся, а главное, мы склонны отказать ему в малейшей способности влиять на эти факты, изменять их или же упрощать. Статистики охотно сравнивают с историком, с той лишь разницей, что исторические факты более не подвластны ученому, ибо относятся к прошлому, тогда как статистик не способен влиять на факты, запечатленные в цифрах, по причине их сложности или многочисленности либо по причине того и другого одновременно.

Попытаемся выяснить, как влияет возраст на смертность в какой-либо группе. Если бы организм был относительно простым химическим соединением, можно

* Из: *Revue philosophique*. № 96.

было бы действовать подобно химику, который подвергает известное соединение реакциям, в результате которых оно разлагается. Но каковы элементы организма, каковы их взаимоотношения, какие воздействия оказываются на него на каждом возрастном отрезке? Это бесконечно сложная задача не только потому, что речь идет об организме, но и потому, что все представители данного вида, находясь в одном и том же возрасте, не идентичны. Приходится ограничиваться наблюдением за происходящим, то есть, не оказывая на группу какого-либо воздействия, подсчитывать ежегодную долю смертей среди людей одного возраста. Если эта доля представляет собой постоянную величину, мы получаем искомый результат, хотя, на первый взгляд, мы действуем иными, нежели обычный экспериментатор, методами.

Но действительно ли это иной метод? Симпай так совсем не считает¹. Он сопоставил несколько примеров эксперимента в физике и операций в статистике, чтобы показать, как в обоих случаях приходят к одинаковым результатам очень схожими способами. Рассмотрим более детально эти примеры.

«Возьмем ряд данных по месячному уровню безработицы для некой совокупности рабочих за определенное количество лет. На первый взгляд, колебание (variation)² в этих данных как таковое оказывается достаточно сложным: в нем переплетаются, вероятно, колебания за год, месячные и сезонные, а также колебания на протяжении более длительных периодов, тенденции роста или снижения за многие годы. Используя соответствующие статистические приемы, мы, с одной стороны, устраним межгодовые колебания, чтобы вычлениить и отделить внутригодовые, то есть собственно

¹ *Simiand F. Statistique et expérience. Remarques de méthode. Rivière, 1922.*

² Используемый Хальбваксом термин «variation» переводится, в зависимости от контекста, как «колебание» и как «изменение». Если в первом случае он означает отклонение от средней величины переменной, то во втором — прежде всего, просто разницу значений переменной. — *Прим. перев.*

сезонные колебания, а затем выделим или вычленим колебания за более длительный период. А уже после этого мы последовательно определим возможную взаимосвязь каждого из этих колебаний с тем или иным фактором». Чем наши действия отличаются от действий физика, который разлагает явление на составные части, чтобы изучить, как воздействует на них каждый из факторов?

Конечно, все здесь зависит от постановки проблемы. Действительно, можно задаться вопросом, каковы перспективы безработицы для группы либо отдельного ее члена. Для группы получают одну или несколько цифр, которые в точности отражают относительную долю безработных при тех или иных условиях. Этот результат столь же достоверен, как и тот, что получают в любой науке. Для члена группы дело обстоит иначе: соотнося число безработных с общим числом рабочих в группе, можно рассчитать так называемый шанс безработицы для среднего рабочего¹. Это уже не достоверный результат, поскольку неизвестно, будет ли данный рабочий безработным или нет. Именно по этой причине некоторые логики сочли необходимым различать вероятность и индукцию: только на последней основывается закон, тогда как на первой могут основываться лишь более или менее правдоподобные предположения⁴.

Так, в физике закон позволяет *наверняка* предвидеть, поведет ли себя определенным образом то или иное конкретное тело, тот или иной «физический индивид». Нам не говорят, какое количество железных брусьев из ста расширится на некоторую величину, мы не знаем также, какие именно брусья расширятся: закон расширения действует в отношении каждого бруса и в отношении их группы в целом.

Позже мы увидим, следует ли говорить о вероятности в отношении группы рабочих, которым грозит безработица, или группы фактов, основанных на стати-

¹ То есть оценить вероятность потери работы любым представителем данной совокупности. — *Прим. персв.*

⁴ См.: *Venn J. Logic of Chance*. 1888 (3-e ed.). P. 203 и далее, 265 и далее.

стическом наблюдении, в том же смысле, что и в отношении ряда фактов, происходящих, как говорится, случайно⁵. Вполне возможно, такое понятие, например, как вероятность доживания до определенного возраста, было введено в теорию страхования лишь по причине удобства — оно предполагает, что данную естественную группу людей определенного возраста заменяют воображаемой (*fictif*) группой индивидов, полагаемых идентичными или даже принадлежащими к одному среднему типу. На этом основании констатируем: существуют такие группы, в отношении которых можно наверняка установить, что в них будет иметь место некоторое явление, затрагивающее столько-то индивидов, и при этом невозможно сказать, каких именно индивидов оно коснется. Но разве не так же обстоит дело с некоторым количеством сложных физических объектов, состоящих из множества отдельных молекул? Законно ли было бы задать вопрос физику, где именно произойдет разрыв металлического провода под высоким напряжением, в каком месте сферического тела произойдет электрический разряд и как будет распределяться температура в мельчайших частицах тела? Разве эта неточность в деталях сколько-нибудь уменьшает ценность законов эластичности тел, электричества или теплоты? Все же для физика детали представляли бы не меньший интерес, чем для человека — предвидение длительности жизни каждого индивида, а для рабочего — предвидение безработицы, грозящей лично ему⁶.

⁵ О понятиях частоты, вероятности и случайности см.: *Fréchet et Halbwachs. Le calcul des probabilités à la portée de tous*. Paris: Dunod, 1923.

⁶ В отчетливой форме эту проблему поставил Борель в статье «Радиоактивность, вероятность и детерминизм», вышедшей в «*Revue du mois*» 10 января 1920 г. Он проясняет тот интерес, который представляет для нас овладение энергией, заключенной в атомах, и, следовательно, знание причин, которые вызывают их распад в радиоактивных телах. Возьмем бесконечно малую массу радия, в которой содержится, к примеру, 45 миллионов атомов. Экспериментальные данные и соображения вероятности заставляют нас признать, что в день их распадается примерно 45. «Тогда встает вопрос: определены ли уже сейчас те 45 ато-

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что вся разница между примером статистического исследования безработицы, приведенным Симнапом, и неким физическим опытом по изучению изменения объема тела в газообразном состоянии при различных температуре и давлении состоит, как нам кажется, в том, что во втором случае воздействие одного фактора в целях изучения воздействия другого (допуская, что рассматриваются всего два фактора⁷) действительно устраняется, тогда как в первом случае удается абстрагироваться от него (без его материального устранения) «статистическими средствами». Вот, например, как мы будем действовать при исследовании безработицы. Для устранения межгодового колебания в отрасли промышленности, в отношении которой нам, кстати, известно, что его сезонные значения из года в год не меняются, мы рассчитаем среднее значение для каждого месяца [для всех январей, февралей и т. д.] в течение всего периода, год за годом (при необходимости мы выбрасываем те годы, в отношении которых у нас есть причины полагать, что какая-то внутригодовая пертурбация нарушила порядок сезонных влияний), и сравним эти средние, предполагая, что они относятся к месяцам условного (fictive) года, за вычетом межгодовых колебаний. Для устранения сезонных колебаний мы рассчитаем среднее значение

мов, которые подлежат распаду в течение данного дня?.. Имеют ли они внешние признаки, благодаря которым их можно различить?.. Если да, то жизнь каждого радиоактивного атома имеет в настоящее время строго определенную длительность?..» Но можно сделать и другое предположение — об отсутствии старения атомов (Борель говорит, что для этого имеются весьма веские основания). Тогда вероятность распада для всех атомов одинакова: только случайные обстоятельства определяют взрыв.

⁷ На самом деле устраняют не сам фактор, а изменения [его значения]: говоря математическим языком, изучается изменение функции относительно изменения одной из ее переменных. Но другие переменные входят в функцию с приспаванным им постоянным значением. Например, в формуле $pV = p_0 V_0 + (1 + \alpha t) \cdot t$ (температура) не изменяется, но ее постоянное значение тем не менее определяет значение pV , то есть соотношение между давлением и объемом.

безработицы за каждый год, за тот же период времени (при необходимости исключая те месяцы, в которые, как мы думаем, сезонные воздействия могли нарушить порядок годовых влияний) и сравним эти средние значения, предполагая, что каждое из них относится к году, состоящему из 12 условных месяцев, за вычетом колебаний, происходящих от месяца к месяцу.

Итак, существует разница между реальным устранением физических изменений и операцией, которая позволяет изучить отдельно и в абстрактной форме, путем расчета средних значений, два материально неразделимых аспекта некоего единства. Через средние значения сезонных или годовых колебаний мы представляем распределения фактов: первые — на последовательности лет, в течение которых фиксируются годовые колебания, прочие — на последовательности месяцев, в течение которых фиксируются сезонные колебания. Если мы соотнесем их с месяцами года за вычетом годовых колебаний, а затем с годом, за вычетом сезонных колебаний, это будут условные месяцы или год, и мы никаким образом не сможем их себе вообразить. Как можно было бы сравнить средние цифры безработицы за январь, февраль и т. д. (в течение десятилетнего периода) с цифрами, представляющими объем массы газа при температуре 1° , 2° и т. д. (при постоянном давлении), если каждая из первой последовательности цифр представляет ряд явлений (например, безработица в январе за каждый год из 10), обусловленных действием сразу двух факторов (причина сезонного колебания *в сочетании*, по крайней мере, частичном, с причиной годового), тогда как каждая из второй последовательности цифр представляет явление (объем массы газа), обусловленное влиянием одного фактора (воздействие температуры *без* воздействия давления)?

Но это различие, возможно, весьма относительно. В конце концов, мы не знаем, какими молекулярными воздействиями обусловлено то, что мы называем дав-

лением и температурой. «В кинетической теории газа, — говорит Пуанкаре, — рассматривают молекулы, движущиеся с большой скоростью; их траектории меняются от постоянных столкновений, принимая самые причудливые формы, они бороздят пространство во всех направлениях. В результате наблюдений мы получаем простой закон Мариотта: каждый индивидуальный факт сложен — закон больших чисел восстановил простоту средних значений». Представим, что физики работают на молекулярном уровне. Вероятно, для установления законов перемещения [молекул] им действительно придется использовать статистический метод: то, что для наших физиков предстает в качестве факторов или сил, полностью воплощенных в одном простом явлении, для этих микроскопических наблюдателей будет выражаться в форме среднего значения огромного числа частных изменений^{*}. Впрочем, возможно, что в итоге своих вычислений они получают те же результаты, что и обычные физики в итоге своих экспериментов.

Правда, эти микроскопические физики не ставили бы свой эксперимент сами. Но разве это необходимое условие экспериментальных исследований? Действительно, предположим, что наши физики, не проводя опытов, ограничивались бы фиксацией (при естественном изменении температуры и давления) изменения объема (например, газа) в закрытом баллоне из эластичного вещества, который, кстати, сделан не для научных целей. И наблюдение, в силу случайных причин, несколько раз проводилось бы при одинаковой температуре. Разве они не достигли бы, благодаря соответствующим

^{*} В книге Бореля «Случайность» можно найти целую главу, посвященную применению вероятностных методов исчисления в физических науках (см. с. 157 и далее). Примечательно, что статистический метод используется, главным образом, при изучении явлений атомарного уровня, а также в механике небесных тел, то есть в тех двух областях науки, где тела, по причине их значительной величины и удаленности друг от друга либо, напротив, по причине чрезвычайно малых размеров, ускользают если не от наших чувств и наших инструментов наблюдения, то от нашего воздействия.

расчетам, на основании таблицы, где эти наблюдения были бы упорядочены в соответствии со значением объема при постоянной температуре и переменном давлении (либо наоборот), тех же самых результатов — несколько позже, но на основании тех же точно данных и посредством умозаключений того же рода?

Симиан напоминает: «Как свидетельствует история различных наук, встречаются случаи, когда без воздействия человека, только за счет стечения благоприятных обстоятельств происходит упрощение, достаточное для того, чтобы ученый смог увидеть связь явлений». Это случаи естественного или спонтанного опыта. Напротив, в социальной сфере фиксация статистических фактов нередко предполагает воздействие человека на область, из которой черпаются данные. Конечно, такое действие нельзя отождествлять с действием экспериментатора. Законы, устанавливающие порядок переписи населения или выборов, таможенных сборов или ведения книг записи гражданского состояния, тюремных книг и т. д., сами по себе являются социальными фактами: они — часть социальной природы и в целом отвечают ненаучным потребностям. Однако, благодаря им приобретают содержание и форму те категории и различения, из которых ученый может извлечь пользу, хотя не он сам их предложил, и зачастую они его далеко не устраивают. Все происходит так, как если бы физик для своих исследований использовал промышленное оборудование или наблюдал бы за действиями какого-нибудь инженера или техника. Тем не менее он узнал бы больше, чем если бы просто наблюдал факты природы. Работа статистика часто имеет ту же особенность. Он радеет об исследовании социальной материи в ситуации, когда органы администрации, государства либо те, что представляют в том или ином виде социальное целое (*collectivité*), принуждают его принять определенные рамки. Вместе с тем он вынужден приспособливаться к пробелам, путанице, неясностям в классификациях, сделанных другими. Так, для сбора криминальной статистики

преступников и нарушителей выделяют из групп, где они смешиваются с другими людьми, объединяют их в категории, наделяют их соответствующим эпитетом. Вследствие того, что их изолируют от других людей, включают в новую группу, где они оказываются среди себе подобных, усиливаются и лучше выявляются черты, свойственные их природе и их роли в обществе. Именно так химик выделяет из минералов какие-то вещества, в их общей массе едва заметные; но, будучи извлечены в большом количестве и собраны вместе, они выказывают свойства нового тела, которое можно наблюдать и с которым можно проводить эксперименты. Только потому, что криминальная материя общества подвергается обработке, необходимой для ее осуждения и наказания, устранения или изоляции, чтобы препятствовать причиняемому ею вреду, а не для того, чтобы исследовать ее с единственной целью познания, криминальные статистические данные страдают многими недостатками.

Если бы данные по безработице не собирали изначально по месяцам, по отраслям промышленности, по странам, если бы они не отделяли безработных от бродяг, калек и т. д., то действительно было бы невозможно совладать с неясной и изменчивой массой фактов. Работа по вычислению средних значений предполагает перевод в одну или более новых плоскостей той совокупности фактов, части которой нам представляет статистика. Это интеллектуальная, а не физическая операция, как говорит Симиан, поскольку в данном случае мы размышляем о связях, то есть об абстракциях. Что это, еще одна черта, которая радикальным образом отделяет статистику от экспериментальной науки? Но что есть, к примеру, ускорение в физике как не абстрактное отношение скоростей, и где доказательства, что оно воплощено в чем-то, помимо выражающих его терминов? Впрочем, поскольку средние значения и статистические формулы содержат элементы, извлеченные из реальности, поскольку среднее значение — это только точка зрения на ряд конкретных фактов, наш разум опериру-

ет вещами. Поскольку всякий контакт ученого с вещами сводится к наблюдению за ними, то достаточно изменить порядок наших наблюдений, взглянуть на них с новой точки зрения, и это будет равносильно изменению порядка, в котором мы переходим в усмотрении от одной части являющейся нам реальности к другой. То же самое мы делаем и при упорядочении фактов с целью вычисления среднего значения, — но эксперимент ничего более и не содержит.

Симнан приводит другой пример, «еще большего сближения двух процессов. Вот совокупность операций: посевы некоторых растений, оплодотворение цветов в определенных условиях, выбор и посев новых зерен, новые посевы, новый сбор урожая, наблюдение за некоторыми особенностями у различных поколений растений, которые при соответствующей обработке приводят к одной из так называемых менделевских теорий. Вот, с другой стороны, совокупность операций над различными поколениями людей или животных: наблюдения над размерами или другими соматическими особенностями различных поколений, статистическая обработка этих данных с целью выделения из них некоторых упрощенных результатов, которые при соответствующей обработке приводят к так называемым гальтоновским теориям. Какая принципиальная разница существует между двумя совокупностями исходных операций, которые позволяют человеческому разуму прийти к определенным соотношениям?»

Первая совокупность операций (посевы и т. д.) является экспериментом, вторая (фиксация размеров и т. д.) — статистической операцией. В чем состоит аналогия? Очевидно, не в том, что в обоих случаях в итоге приходят к теориям, имеющим целью объяснить механизм или установить действие причинности, а в том, что сравниваются характерные особенности различных поколений. Рассмотрим более детально, как в обоих случаях происходит сопоставление, и напомним, чтобы быть точными, подробности использования этих методов.

1. *Эксперимент*. Вот каким образом Мендель установил то, что он назвал законом распределения «генов»⁹. Он работал, например, с разновидностями обычного садового горошка (*pisum sativum*): некоторые из них имели длинные побеги, другие — короткие, у некоторых были зеленые горошины, у других — желтые и т. д. Обратимся к размеру всходов. Мендель помещает пыльцу от растения с длинными побегами на пестик растения с короткими побегами (из которого он предварительно удалил тычинки и пыльцу). Обозначим первые растения P_1 . Гибриды F_1 , которые появились из его семян, все были длинными. Он позволил им самоопылиться, собрал семена, высеял их: некоторые дали растения с длинными побегами, некоторые — с короткими. Он считал эти короткие саженцы F_1 , определил, что длинные по отношению к коротким находились в пропорции три к одному. Затем он позволил новым саженцам F_2 самоопылиться: короткие растения дали только короткие саженцы. Что касается длинных, из них треть дала только короткие саженцы, другие две трети дали короткие и длинные растения: он считал эти сеянцы F_2 (последние две трети) и нашел, что длинные по отношению к коротким были в пропорции три к одному, как и гибриды первого поколения F_1 . Значит, совокупность сеянцев F_2 включала в себя только короткие растения, гибридные растения и только длинные растения в пропорции 1:2:1.

Теперь рассмотрим гипотезу Менделя, объясняющую эти результаты. Для длинных потомков исходного растения P_1 должны иметься некоторые факторы, которые всегда обуславливают большую длину побегов этого вида, как должны быть некоторые факторы для коротких потомков исходного растения P_1 , всегда обуславливающих короткие размеры побегов. Обозначим первый из этих факторов S , а второй s . Когда скрещивают два растения, оплодотворенная яйцеклетка должна

⁹ Morgan. The Physical Basis of Heredity. Philadelphia, 1919.

содержать оба фактора = Ss , а поскольку гибриды, которые получаются из нее, длинные, признак S должен быть доминантным. Если теперь два фактора, присутствующих в гибриде F_1 , распределяются при образовании яйцеклетки и пыльцы, половина яйцеклеток будет содержать фактор S , а половина — s . То же самое происходит с каждой половиной всей пыльцы. Теперь простой расчет вероятности позволит предвидеть, что эти яйцеклетки и пыльца при случайном сочетании дадут для поколения P_2 1 SS (длинные растения), 2 Ss (гибридные растения) и 1 ss (короткие растения).

В этой совокупности операций следует разделять материальное воздействие исследователя, статистический расчет и вероятностное умозаключение. Статистический расчет состоит в подсчете (для каждого нового поколения) числа индивидов, обладающих либо не обладающих данным признаком, а также в группировании полученных результатов в таблицах. Вероятностное умозаключение состоит в сравнении наблюдаемых цифр и цифр, рассчитанных при допущении действия только законов [распределения] случайности¹⁰.

Эксперимент состоит в том, что сначала выбирают длинное и короткое растения, короткое оплодотворяется от длинного, а не самоопылением (предварительно у короткого растения удаляются тычинки и пыльца), затем полученные таким образом гибридные сеянцы F_1 изолируются, чтобы произошло самоопыление, полученные в результате сеянцы F_2 снова изолируются, чтобы они самоопылились. Статистический расчет не представлял бы никакого интереса, если бы касался поколений растений, воспроизводящихся без такой изоляции, и вероятностное умозаключение просто не понадобилось бы.

¹⁰ Для семи пар признаков, которые изучал Мендель (19 959 опытов), соотношение доминантных и рецессивных признаков было 2,996 к 1,004 (вместо 3:1). При наследовании цвета садового горошка (203 500 опытов) соотношение было 3,004 к 0,996, вероятная погрешность = $\pm 0,0026$.

2. *Статистическая операция.* Гальтон¹¹ рассматривает 78 семей, каждая из которых включает не менее 6-ти братьев и сестер, в отношении которых он располагает данными по цвету глаз в трех поколениях (бабушки и дедушки, родители, дети). Он последовательно рассчитывает пропорцию светлых глаз для детей, чьи бабушки и дедушки имели светлые глаза; для детей, чьи родители имели светлые глаза, для внуков, чьи бабушки и дедушки имели светлые глаза, выделяя отдельный случай, когда сами родители имеют либо не имеют светлые глаза. Он получает следующие цифры: 70,2%, 82,7%, 78% (соответственно 86,4 и 58,3%), тогда как для детей со светлыми глазами, чьи бабушки и дедушки, а также родители не имели светлых глаз, для внуков и т. д. те же пропорции составляют 44,9%, 54,2%, 60,3% (соответственно 72,6 и 50,3%). Из этого подсчета и сопоставления он делает вывод о том, что цвет глаз передается по наследству не только от родителей детям, но и внукам от бабушек и дедушек.

В этом примере, как и в предыдущем, имеются статистические расчеты и вероятностные умозаключения. В определенной группе случаев для нескольких последовательных поколений подсчитывают случаи, когда проявляется либо не проявляется признак, и составляют таким образом таблицу данных. С другой стороны, признается, что если бы не было передачи по наследству, эти признаки распределялись бы случайно, то есть они не встречались бы чаще у детей, чьи родители либо бабушка с дедушкой эти признаки имеют, чем если бы те их не имели. Действительное расхождение между цифрами, рассчитанными ввиду этой гипотезы, и наблюдаемыми цифрами позволяет утверждать, что это не так. Но матерьяльное вмешательство исследователя отсутствует: наблюдаемые семьи не подвергались никакому искусственному воздействию с его стороны. Он наблюдает за ними постфактум, подобно тому как историк описывает факты прошлого.

¹¹ Galton F. Natural Inheritance. 1889.

Из приведенного примера не следует, что экспериментальные приемы не используются. В поисках условий, которые допускают наблюдения и расчеты Гальтона, позволяя ему уловить интересующее соотношение, выяснилось даже, что они ни в чем принципиально не отличаются от условий, которые Менделю пришлось воссоздавать искусственно. Предположим, что Гальтону действительно пришлось бы продолжить изучение наследственности в обществе типа австралийских племен, описанных Спенсером и Жилленом, где отсутствовал бы моногамный брак, где определенная группа мужчин имеет законные супружеские отношения с определенной группой женщин, причем эти группы были бы весьма обширны. В этом случае он оказался бы в таком же трудном положении, как и Мендель, если бы тот не смог полностью изолировать изучаемые сеянцы. Гальтон смог отобрать определенное количество семейных пар и проследить за их потомками в течение двух поколений только потому, что семейные пары образуют в обществе замкнутые группы, в которых — и только в них — происходит рождение детей. Иными словами, изоляция сеянцев, которая выступает у Менделя средством искусственного воздействия, существует в наших обществах в отношении человеческих семейных пар благодаря законам брака. Таким образом, эти законы, несмотря на то, что ученые никак не участвуют в их формировании, свидетельствуют тем не менее о вмешательстве человека, материально преобразующего наблюдаемый объект¹².

¹² Небезынтересно указать, что Гальтон в своих исследованиях по наследственной передаче таких физических признаков, как, например, рост, использовал три комплекса данных: в первую очередь, данные «Records of Family Faculties», свидетельства (относящиеся к прошлому) о семейных признаках, полученные от корреспондентов, предоставивших серьезные гарантии и на конкурсной основе получивших вознаграждение; во-вторых, «специальные» наблюдения, сделанные по просьбе Гальтона или проведенные в его лаборатории, которые касались только братьев одной семьи; наконец, «эксперименты» с дуинистым гороником, выбранным из-за того, что у него не перекрестное опыление, а самоопыление (достаточно редкое явление в растительном

В отличие от прочих экспериментов, спонтанно поставленных обществом, о которых мы говорили выше (в частности, в отношении криминальной статистики), об эксперименте Гальтона можно даже сказать, что общество сделало в точности то, что захотел бы сделать сам ученый, чтобы его расчеты и сопоставления стали возможными.

Теперь зададимся вопросом, каковы особенности описанных нами операций? Какие из выделенных нами элементов: эксперимент (в узком смысле вмешательства человека в природу), статистический расчет и вероятность — преобладают в каждом случае? Является ли преобладающим в первом случае эксперимент, а во втором — статистический подсчет? Можно ли считать, что, несмотря на сходство формы, только первый эксперимент является «специально подготовленным наблюдением», где наблюдение действительно предшествует фактам, получающим в нем существование, а второй — «наблюдение постфактум», которое само получает существование в уже данных явлениях? Разве в обоих случаях не идет речь о решении одной из тех проблем, которые называются «вероятностью *a posteriori*» и которые позволяют определить состав урны для голосования, учитывая уже выпутые из нее шары? Ведь когда Мендель обнаруживает 1 длинное растение, 2 гибридных и 1 короткое в качестве характерной пропорции для семян третьего поколения, это равносильно тому, что из урны одновременно выпули бы 2 шара, и здесь он вывел бы следующую пропорцию для выпутых шаров: один раз 2 белых и один раз 2 черных к двум разам по одному белому и черному. Откуда он сделал бы вывод о том, что в урне находилось столько же белых шаров,

мире). Хотя для последнего он оставляет наименование «эксперимента» (поскольку сам высевает растение в определенных условиях), ясно, что основное преимущество такого наблюдения (самоопыление) при скрещивании и прочим: наблюдаемые Гальтоном семьи «извлечены» из более обширной группы, и рождения происходят в столь же индивидуализированных парах, как и у растений.

сколько черных, подобно тому как факторы «длинный» и «короткий» поровну распределены в растениях первого поколения. В действительности, раньше всего могла появиться гипотеза о наличии факторов в яйцеклетке и пыльце, которые «распределяются» при созревании. В любом случае проверить ее можно было, лишь устроив таким образом, чтобы содержимое урны (здесь: исходное число факторов) не изменялось бы в течение всего наблюдения — лишь в этом состояло вмешательство экспериментатора.

С другой стороны, когда Гальтон вычисляет долю детей, имеющих светлые глаза, от родителей со светлыми глазами, от бабушек и дедушек со светлыми глазами, он еще ничего не знает о влиянии наследственности и факторов, определяющих цвет глаз, в отношении их к каждой группе — он не знает о содержимом урн. Обнаружив большую долю детей со светлыми глазами в рассматриваемой группе, он делает вывод, что в ней соответствующие факторы были более многочисленны, чем в случайно образованной группе, а поскольку эта группа характеризуется наличием светлых глаз у старших поколений, следовательно, эта особенность имеет тенденцию передаваться по наследству. Но к такому выводу ему позволяет прийти также и то, что благодаря матримонимальной организации наших обществ он сумел все рождения поставить в соответствие устойчивой и замкнутой группе предков. Это походит на то, как если бы перед каждой выемкой шаров урны заполнялись неизменным содержимым.

Таким образом, в этих двух примерах условия эксперимента не являются ни более, ни менее необходимыми. Без них мы лишились бы любых средств проведения наших статистических вычислений и проверки гипотезы. Если в результате наших расчетов мы получаем формулы, которые видятся нам отражением групп или характерных признаков неких групп, это объясняется тем, что нашим наблюдениям предшествует отбор фактов — будь то материальная операция, посредством которой

мы изолируем некоторые из них, или используемые нами разделения, привнесённые в реальность обществом, которое изолирует иные группы, например, семьи или все категории людей, учитываемых раздельно при переписи населения.

Но это побуждает нас, вслед за Симнаном, выделять среди всех прочих подсчёты, представляющие статистический интерес. Критикуя тех, кто видит в статистике «средство количественного изучения явлений, предстающих множествами случаев, которые могут изменяться вне жестко фиксированных правил», Симнан замечает, что для получения статистики недостаточно обобщить большое количество единиц или случаев. Подсчёт такого рода, говорит он, действительно представляет интерес для ученого, если «применим к какой-либо совокупности, группе, которая обладает устойчивыми признаками, либо рассматривается как обладающая таковыми совокупность, группа». И он приводит некоторые примеры: «Как заметил профессор Бенен, расстояние от одной железнодорожной станции до каждой станции сети не есть статистический факт. Число повторных наступлений такого-то дня недели в течение месяца не есть статистический факт».

В то же время, разве в целом массиве исследований, касающихся фактов, о которых говорят, что они не подчиняются четким правилам и происходят случайно, не применяются методы вычисления, обычно называемые статистическими? Представим, что на поверхность, ограниченную прямыми, случайным образом бросают некоторое количество монет и подсчитывают расстояние от центра монет до каждой из этих прямых: разве не получится ряд цифр, отражающих распределение при случайных бросках, и разве невозможно показать, что это распределение соответствует предсказаниям теории вероятности? Разве нельзя также вычислить с той же целью количество появлений в ряду десятичных цифр числа π каждого из 9 первых чисел; и не окажется ли, что, к примеру, каждое из 6 первых чисел появляется

столько раз, сколько выпадают числа от единицы до шестерки при бросании игральной кости? Не образует ли каждый такой ряд, по выражению Симпсона, «группу, обладающую устойчивыми признаками», если ее можно представить графически посредством очень правильной кривой (биномиальной кривой)?

Таким образом, нам приходится рассматривать, в каком соотношении находятся статистические исследования и теория вероятности. Хотя Симпсон в ходе всего своего исследования совсем не говорит о вероятности, нам кажется, что одним из наиболее верных и важных следствий его определения статистики является четкое разделение предметов этих двух дисциплин.

Он рассматривает два вида числовых рядов и показывает на примерах, почему один из них относится к статистике, а другие нет. Вот эти примеры — два положительных и два отрицательных.

1. Статистика общего движения цен — это действительно статистика, «поскольку за индивидуальными ценами (единственной наблюдаемой реальностью) имеется нечто, что хотя и не реализуется исключительно и полностью ни в одной из них, все же... действительно является реальностью». Но вся совокупность наблюдений над некоторым количеством звезд с целью определения собственного движения Солнечной системы не относится к статистике, потому что само это движение есть «факт, реализующийся как таковой материально, что размещенный вне Солнечной системы наблюдатель мог бы констатировать с помощью физических методов» и, конечно, при помощи одного только наблюдения. Эти примеры взяты из книги Боули¹³.

Рассмотрим их более детально. Боули говорит: «Подобно тому как Солнце и Земля движутся в направлении отдаленной точки, расположенной в созвездии Геркулеса, звезды также заметно смещаются, что вы-

¹³ Elements of Statistics, 1902 (2 ed.), p. 218.

звано движением наблюдателя (для него незаметным): звезды, находящиеся в той области пространства, к которой он приближается, кажутся удаляющимися друг от друга; расположенные в той области, откуда он удаляется, кажутся приближающимися друг к другу; звезды, находящиеся в направлении, перпендикулярном к линии движения наблюдателя, кажутся перемещающимися в противоположном от него направлении. В то же время все эти звезды сами движутся со скоростью, совпадающей со скоростью движения Солнца, но в ином направлении — и направлений этих столько же, сколько звезд. Итак, имеется общий вектор движения в направлениях, определенных движением Солнца, но в каждом частном случае он полностью исчезает (при наблюдении движения одной звезды). Точно так же, когда изменение денежной единицы (ее покупательной способности) оказывает общее влияние на цены, оно бывает скрытым за флуктуациями, вызванными действием причин, затрагивающих только определенные товары. В обоих случаях, при наличии достаточно точных наблюдений (конечно, и при достаточном количестве таковых) можно раскрыть общую тенденцию». Итак, идет ли речь о наблюдении за движением цен или движением звезд, Боули различает два вида причин: одна из них общая, влияющая на все эти движения и действующая в одном направлении; остальные — частные, действующие в разных направлениях. «Если разрозненные последствия частных причин незначительны по отношению к их числу, они будут тяготеть к взаимной нейтрализации», и, в среднем, заметно будет изменение, вызванное общей причиной.

Симпиан не принимает такого уподобления [цен звездам]. И вот, как нам кажется, почему. В случае движения звезд общей причиной является собственное движение Солнечной системы, выраженное средним значением: оно «реализуется материально», вне частных наблюдений за движением звезд. Даже не принимая во внима-

ние вопрос об относительности движения, можно ясно видеть, что наблюдатель, расположенный в точке, не вовлеченной в движение Солнечной системы по направлению к созвездию Геркулеса, мог бы непосредственно обнаружить и измерить это движение. В противоположность этому, причина, выраженная в среднем значении движения цен, реализуется только во всей совокупности этих движений, не имея самостоятельной реальности вне их, и может быть выявлена лишь через совокупность частных наблюдений. Отвлечшись от конкретных цен, экономист никаким из существующих способов не смог бы наблюдать, к примеру, изменение покупательной способности денег, поскольку она проявляется только в этих ценах.

2. «Среднее всех наблюдений плотности некоего тела может быть действительно получено посредством математической операции, идентичной той, с помощью которой на основании некоторого числа наблюдений над индивидами выделяют, к примеру, показатель развития мозга (*l'indice céphalique*), свойственный каждой расе. Но разве имеют между собой что-то общее эти два массива данных?» Действительно, в первом случае данные (как в вышеупомянутом примере с собственным движением Солнца) можно было бы получить в некоторых особых условиях «единственно путем прямого наблюдения».

Совсем иное дело во втором случае: данные здесь не имеют физического или материального существования вне совокупности индивидов. Определение плотности тела является результатом ряда наблюдений нескольких индивидов или одного индивида в разные моменты времени. Полученные цифры очень мало отличаются друг от друга, даже если отбросить все причины систематической погрешности или устранить их влияние путем расчетов (при измерении физической величины всегда имеют место небольшие случайные погрешности). Но коль скоро эти погрешности возникают случайно, теория вероятности предполагает, что обычно они

являются отклонением от значения с одинаковой частотой в сторону увеличения и уменьшения, и чем их больше, тем меньше их абсолютное значение. Впрочем, и опыт подтверждает это предположение. Тогда выясняется, что если рассчитать среднее значение всех измерений, ошибочные измерения со знаком плюс или минус нейтрализуют друг друга. Среднее значение будет отражать только те измерения, которые не нейтрализуются, то есть не ошибочные, то есть, в конечном счете, точное измерение величины, какую физик получил бы непосредственно, располагая более точными, чем наши, инструментами, столь же совершенными, как и его собственные. Этот пример ряда наблюдений, не относящихся к статистике, находится в согласии с предыдущим. Действительно, можно рассматривать звезды как инструменты, которыми мы пользуемся для измерения собственного движения Солнца, но это инструменты движущиеся; отсюда — наличие стольких мелких случайных погрешностей, нейтрализующихся при большом количестве наблюдений.

Правда, Симиану можно было бы возразить следующим образом. Если он различает два типа последовательностей: последовательность наблюдений за физической величиной и таковую в отношении цен — значит, в первом случае вне наблюдений и наблюдателей объективно существует какая-то *вещь*, «реализующаяся материально», предмет, который можно было бы *непосредственно* постичь при некоторых особых условиях. Но это только с теоретической точки зрения. На самом деле об этой величине мы можем знать лишь то, что нам о ней сообщают наши наблюдения. С другой стороны, каким образом можно убедиться, что вне цен не существует никакой объективной реальности, для которой они являются лишь показателем? Если мы исходим только из фактов, то есть данных, которые можно наблюдать, то из этих двух типов последовательностей мы выводим только одно различие: в одной значения по-

стоянно колеблются вокруг центрального значения, как и предполагает теория вероятностей, в другой же они не обладают такой регулярностью. Но между этими двумя типами распределения — регулярным и нерегулярным — множество промежуточных звеньев. А главное, обнаруживаются, например, в биологии, такие человеческие характеристики, относительно которых измерение в подавляющем большинстве случаев дает результаты, распределяющиеся вокруг центральных величин с той же регулярностью, что и погрешности наблюдения. Почему бы нам тогда не признать, что нерегулярность, выявленная в иных последовательностях, объясняется несовершенными условиями наблюдения или тем, что сами факты или тенденции, результатом которых таковые являются, сталкиваются с обстоятельствами, препятствующими действию естественных сил? Тем не менее эти естественные и общие силы являются действительными причинами, которые нам следует пытаться постичь, — только они объясняют наличие регулярности в последствиях.

В действительности, известно некоторое количество измерений, которые, как нам кажется, можно объяснить только при помощи вероятностей или закона погрешностей. Статистик Кетле очень удивился, найдя чрезвычайное сходство между кривой погрешностей наблюдения и кривой, которая выражает распределение размеров. Вот как Борель излагает свой тезис: «Можно сказать, что измеренные размеры удовлетворяют тем же законам, что и погрешности измерения. Все происходит так, как если бы одного человека, чей рост был бы равен среднему, измерили очень много раз наблюдатели достаточно человечные или обладающие очень несовершенными измерительными инструментами»¹⁴.

Не вызывает сомнения то, что, измеряя рост призывников одной страны и рассчитывая его среднее значе-

¹⁴ Le Hazard. P. 139. См. также нашу книгу: La théorie de l'homme moyen. Essai sur Quetelet et la statistique morale. Paris: Alcan, 1913. P. 28 и далее.

ние, равно как вычисляя средний показатель развития мозга у различных рас, мы занимаемся статистикой. Но регистрация большого числа наблюдений для одной и той же физической величины и расчет их среднего значения, по мнению Симиана, к статистике не относятся. Кетле же полностью уподобляет среднее значение, полученное в первом случае, тому, что получено во втором. «Вычисляя среднее значение, — говорит он, — можно иметь в виду две совершенно разные цели. Можно стараться определить “число, которое существует на самом деле” (это как раз случай с плотностью тела, к которому обращается Симиан), либо рассчитать число, дающее наиболее близкое представление о нескольких различающихся множествах — однородных, но неравных. В первом случае, измеряя, например, двадцать раз подряд высоту здания, мы высчитываем настоящую среднюю величину. Во втором случае, вычислив среднюю высоту домов, находящихся на определенной улице, мы получаем арифметическую среднюю величину (не этот ли случай имеет в виду Симиан, когда говорит о расчетах, не имеющих статистического значения?). Ряд чисел, дающих, в собственном смысле слова, среднее значение, непрерывен, и в нем мы обнаруживаем регулярность, которая отсутствует, когда извлекается среднее арифметическое (именно на эти особенности указывает Симиан, когда говорит об устойчивых признаках группы). Так, тип среднего человека выражается в действительно среднем значении»¹⁵.

Сходство между кривой размеров и кривой погрешностей наблюдения, однако, не означает их идентичности. Уже Хершель говорил в этой связи: «Автор, несомненно, слишком торопится. Вероятность природной погрешности (в сравнении с таковой человека, который производил бы размеры по устойчивой модели) примерно вполонину выше той, что взята здесь для сравнения (вероятная погрешность наблюдения). Она явно выхо-

¹⁵ La théorie de l'homme moyen. P. 36.

дит за границы любых небрежностей или недочетов, допустимых в практике совершения погрешностей, таких как указанные чрезвычайные расхождения в последовательности типовых замеров, сколь бы ни было велико их число (пускай даже оно достигало бы половины от этих значений)». Борель, конечно, преувеличивает, когда говорит, что «все происходит так, как если бы при идеально подобранной игре последовательность партий содержала бы число выигранных партий, равное количеству сантиметров, выражающих средний рост», и что «таблица, в которой было бы записано число выигранных партий в каждой последовательности, была бы в точности сопоставима с таблицей, где был записан рост»¹⁶. Рассмотрим некоторые цифры, полученные Кетле. Он пытался проверить опытным путем правила расчета вероятности: на 4096 выемок ему пришлось бы извлечь (из урны, содержащей равное количество черных и белых шаров) 2048 белых шаров, а он вынул 2066. Значит, отклонение между расчетным числом и наблюдаемым составляет 18. Кроме того, он измерил рост 20–25 тысяч человек и получил на 1000 следующие числа по наиболее часто встречающимся ростам:

| | Итого | | | | | |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Наблюдаемый | 117 | 134 | 157 | 140 | 121 | 669 |
| Вычисленный | 107 | 137 | 153 | 146 | 121 | 664 |
| Абсолютная разность | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 23 |

Для 669 наблюдений расхождение составило 23. В случае с выемкой шаров оно составило 18 для 2066, или 3,5% в первом случае и менее 0,9% — во втором. Значит, по этим результатам нельзя отождествлять ни статистику размеров с наблюдением вероятности, ни среднее значение роста со средним значением наблюдений над одним и тем же телом при наличии случайных погрешностей.

¹⁶ Op. cit. P. 139, сноска.

Тем не менее мы показали¹⁷, что если хотим объяснить соображениями вероятности регулярное распределение размеров, равно как и другие физические характеристики, группирующиеся вокруг средних значений, мы должны признать, что каждый случай (строение каждого взрослого индивида данного роста) независим от всех других. Независимость причин, порождающих рассматриваемые факты, является основанием для такого расчета¹⁸. Но если, с одной стороны, из-за последственной передачи физических признаков члены одной или нескольких родственных семей или какие-то разновидности одной расы воспроизводят или тяготеют к воспроизводству особенностей строения своих предков, если, с другой стороны, люди одной эпохи и одного региона совместно испытывают действие одних и тех же сил, одной и той же социальной и физической среды, с точки зрения их телосложения, являются ли они независимыми?

Совсем не беспорядок, то есть случайность рождений и индивидуального развития, объясняет здесь регулярность. Напротив, именно регулярность (то есть общие условия существования вида и группы) объясняет то, что индивиды в этом, как и во многих других отношениях, выстраиваются в хорошо выровненные ряды. Иными словами, индивиды лишь заполняют рамки, определенные устойчивыми физическими и социальными законами. Исследование индивидов, подобным образом «обрамленных» (то есть групп), позволяет определить эти рамки, но никакой индивидуальный случай сам по себе

¹⁷ *Op. cit.* P. 59.

¹⁸ Гальтон замечает, что телосложение человека — не простая величина, но сумма некоторого количества элементов: пяти десятков отдельных костей черепа, позвоночника и т. д., суставы, хрящи. Он делает вывод: «Если рост всех людей, выстроенных в порядке его увеличения, образует столь безукоризненно правильный ряд, то это является результатом сочетания многочисленных, почти независимых переменных, суммой которых и выступает рост».

не раскрывает существования и формы какой-либо из этих рамок¹⁹.

Остается аргумент, основывающийся на том, что оба типа последовательностей, которые различал Симиан: последовательность измерений одной физической величины (плотности тела) и таковая в отношении цен, — сводятся к серии индивидуальных наблюдений, причем неважно, существует ли вне их «материально реализованная вещь», поскольку нам известны лишь эти наблюдения. Однако здесь не учитывается принципиальное отличие первого и второго типа наблюдений: в первом случае наблюдения являются индивидуальными или приближаются к таковым, во втором же они носят коллективный характер. Это утверждение мы хотели бы выделить особенно.

Предположим, что цены являются таким же измерением некой величины (чье реальное существование, впрочем, гипотетично), как и то, что называют стоимостью: разве мы спутаем их с измерением плотности тела? Но последовательность измерений может использоваться двумя совершенно различными способами. Либо мы намереваемся узнать величину, существующую — по крайней мере, по видимости — вне нас. Тогда тот, кто производит измерения, вынужден будет доверять исключительно данным своего восприятия и в момент наблюдения избегать всех влияний, которые члены его группы могут оказать на него. В то же время он будет

¹⁹ Численное равенство полов при рождении (с небольшим преобладанием мальчиков), кажется, дает замечательный пример действия вероятности. Согласно самым последним исследованиям (см.: *Branchet, L'oeuf et les facteurs de l'ontogénèse*, Paris: Doin, 1917. P. 162 и далее), пол будет определяться мужскими половыми клетками: половина всех сперматозондов содержит дополнительную хромосому, которая, оплодотворяя яйцеклетку, предопределяет зачатие женских особей, но это же замедляет [их скорость продвижения по маточной трубе] (откуда небольшой избыток новорожденных мужского пола). Однако это всего лишь гипотеза, поскольку «возможно, различные яйцеклетки или даже одна, на разных стадиях своего созревания, привлекает одну категорию сперматозондов в большей степени, чем другую» (*ibid.* P. 174).

стараться избежать влияния своих привычек, сойти с пути наименьшего сопротивления, не поддаться очарованию какого-то числа, запавшего в его память, и т. д. Именно так в карточной игре после сыгранной партии смешивают карты или при игре в рулетку используют материальное устройство, которое мешает какому-либо замыслу игрока осуществиться в серии партий. В целом, стараются изолировать каждое наблюдение и сделать его независимым от всех остальных, устранив из ряда наблюдений все, что могло бы внести в них какую-нибудь связь [между событиями].

Но, с другой стороны, мы можем интересоваться наблюдателями и стараться определить, по выражению Бореля, «коллективное ощущение» (однако не в том смысле, в каком он это понимает²⁰), то есть то, как люди из различных групп (групп реальных, а не случайно образованных) воспринимают и измеряют один и тот же видимый объект. Но тогда индивиду более не придется подчинять себя лишь наблюдению величины вплоть до самозабвения и выхода из своей группы. Даже лучше, чтобы объект вызывал в разуме наблюдателя знакомые представления и давал ему возможность внести погрешности такого рода, которые свойственны либо обществу, членом которого он является, либо последовательности сменяющих друг друга поколений индивидов, частью которой является его личность. Так, в случае с измерениями одной и той же физической величины совокупность измерений не имеет никакого единства, никакой внутренней устойчивости: можно было бы предположить, что они были произведены

²⁰ Borel. Op. cit. P. 226 и далее. На основании сведений, предоставленных ему заместителем директора международной Палаты мер и весов Гийомом, Борель утверждает, что «при увеличении числа считываний, произведенных тренированными наблюдателями, удалось установить средние значения с *гораздо более* высокой точностью, чем при индивидуальных наблюдениях», например, посредством считываний с помощью лупы по миллиметровой шкале *сотой доли миллиметра*. Он добавляет, что так определили «точность коллективного ощущения». Но что в этом коллективного?

с вековым интервалом людьми, не знавшими друг друга, не состоявшими членами одного общества. Единственная связь, существующая между этими отдельными единицами, является внешней по отношению к их совокупности: это материальное воздействие, которое величины оказывают на каждого наблюдателя в отдельности. И если бы не существовало этого единого основания, имеющего материальную реализацию вне индивидов, то было бы неясно, каким образом можно объяснить факт совпадения их наблюдений.

Напротив, в случае с ценами, рассматриваемыми как мера стоимости, совокупность цен на одно и то же изделие в одно время и в одной среде является результатом коллективного единства: эти цены являются также словно бы суждениями, которые сформулированы знающими друг друга людьми или, во всяком случае, людьми, устанавливающими связи именно для того, чтобы условиться относительно цен. Существующая между этими ценами связь — это общность оценки одного и того же предмета или услуги в группе: каждый оценивает товар, учитывая предшествующие или актуальные суждения о цене, сформулированные окружающими либо им самим. Если бы каждый в этом отношении не исходил из имеющихся в его группе суждений, было бы неясно, как объяснить то, что члены группы условливаются относительно цен. Ряд индивидуальных цен восстанавливает и вызывает к жизни совокупность коллективных устремлений, которые существуют сами по себе и о которых мы получили бы весьма неточное представление, если бы хотели объяснить их воздействием внешней по отношению к группе реальности.

Если среднее значение ряда наблюдений можно рассматривать то как точное измерение материально реализованной физической величины, то как выражение совокупности индивидуальных случаев, вне таковой не существующее, можно предвидеть, что выбор наблюдаемой группы в первом и во втором случаях должен будет основываться на различных принципах. В первом случае

важно, чтобы наблюдения были достаточно многочисленными — для нейтрализации мелких случайных погрешностей. Но место, время и сам порядок их осуществления не важны. Все будет происходить так же, как в играх, построенных на случайности: неважно, участвует ли в игре одновременно большое число игроков или один игрок играет в течение очень длительного времени. Точно так же неважно, что наблюдения начинаются в любой произвольный момент и прерываются или возобновляются точно так же произвольно. Во втором случае, конечно, предпочтительнее, чтобы число наблюдений было большим — лучше будут сглаживаться, взаимно компенсируясь, серьезные единичные погрешности. Но, как показал Симпан, главное, чтобы наблюдение относилось к однородным совокупностям с устойчивыми признаками. Посему безразлично, чтобы отмеченные случаи отвечали этому условию для определенного времени и места, а также чтобы цепь наблюдений не прервалась²¹. Важно также стараться руководствоваться естественными «делениями» реальности, вместо того чтобы произвольно выкраивать поле нашего наблюдения. «Не будем доверять средним значениям, — говорит Симпан, — будем лучше контролировать, перекраивать показания средних значений одного типа через показатели другого, через дополнительные данные, будем сохранять лишь те, которые после этих проверок представляются нам обладающими действительной устойчивостью и отвечающими какой-либо коллективной реальности».

Продemonстрируем на примере важность этих методических правил. Весьма известная экономическая тео-

²¹ По этому поводу см. главы VII и VIII уже цитированной книги Симпана (р. 39 и далее). Необходимо «видеть протекание явления», вместо того, чтобы «удовольствоваться состояниями и совпадениями, которые могут быть результатом или следствием весьма разнообразных промежуточных изменений»; необходимо объявлять «явление в его целостности», так, чтобы ухватить из него «по крайней мере по одной фазе в каждом состоянии», отслеживать его, по возможности, во всех его фазах; необходимо повторять наш опыт как можно чаще и т. д.

рия утверждает, что обменный курс денежных единиц двух государств необходимо стремится к соотношению между покупательной способностью этих денег на внутренних рынках каждого из них. Снижение обменного курса в одной стране, следовательно, должно было бы выражаться в соответствующем увеличении цен. Однако на практике этого соответствия нет. «В настоящее время между европейскими странами, находящимися на разных полюсах, например, между Швецией или Швейцарией, с одной стороны, и Польшей, с другой, существует различие в стоимости жизни по крайней мере в три раза, и цены растут по мере того, как из Польши перемещаешься в Австрию, Латвию, Эстонию, Португалию, Чехословакию, Италию, Францию, Великобританию, Швейцарию»²².

Эти сведения мы почерпнули из статистики общего движения цен в каждой из стран с низким обменным курсом, в которой цены на все изделия представлены средним значением либо единым индексом. Но поскольку среднее значение относится к одной стране, оно, возможно, включает слишком ограниченное число наблюдений. Предположим, что мы рассчитывали среднее значение цен, обобщая все страны: с высоким, средним или низким курсом обмена, а также среднюю цену золота (выраженную в денежных единицах каждой из этих стран). Весьма вероятно, что в этом среднем значении более не проявляется (по крайней мере, в той же степени) несоответствие между ценами и обменным курсом. Все происходит так, как если бы вышеуказанная классическая теория соответствовала действительности. Существует тенденция к установлению равновесия между ценами и покупательной способностью. В некоторых странах имеются факторы, которые вступают в действие,

²² Мы потаивствовали эти сведения из замечательного исследования Джини Коррадо, преподавателя статистики Падуанского университета: *Gini Corrado. Rapport sur la question des matières premières et des denrées alimentaires*// Publications de la Société des Nations. 1922.

чтобы нарушить данное равновесие, но если увеличить число наблюдений, воздействия этих разнообразных факторов нейтрализуют друг друга.

Но можно обнаружить и обратное: среднее значение всех цен, рассчитанное даже для одной страны, соответствует слишком разнородной совокупности наблюдений, слишком неустойчивой группе фактов. В этом случае нужно выделять различные категории цен, которые можно считать однородными и устойчивыми в силу тех или иных оснований, и рассчитывать среднее значение для каждой из этих категорий. Действительно, вполне правомерно было бы выделять, например, товары, которые торговцы приобретают за рубежом, товары местного производства, все составляющие которых обеспечиваются национальным рынком, и товары, произведенные внутри страны, но с использованием импортируемых составляющих.

Разберем два первых случая. Мы должны будем констатировать, что цены на товары, приобретенные за рубежом, намного точнее и гораздо быстрее отражают флуктуации обменного курса, чем цены на товары местного производства. И не потому ли последние выказывают в этом настоящую инерцию, что они определяются национальными условиями, а флуктуации обменного курса зависят от международного рынка? Здесь вступают в действие психологические факторы, а именно, различие в экономической чувствительности у тех, кто спекулирует на обменном курсе (своей денежной единицы или чужих), и у основной части населения страны: «в целом, валютные спекулянты лучше, чем основная часть граждан данного государства, осведомлены об экономических колебаниях и уделяют больше внимания тем явлениям, которые могут таковые обуславливать»²³. С другой стороны, «тогда как иностранцы менее глубоко, чем подданные, осведомлены о ресурсах страны (и имеют склонность их недооценивать), последние

²³ Ibid. P. 54.

склонны питать иллюзии относительно реальной ситуации из-за воодушевляющего их патриотизма». Конечно, Джини приводит и другие причины этого запаздывания в повышении цен на одну категорию в сравнении с другой, но и здесь, как и в только что приведенных примерах, во всех видах цен выражается различие в отношении (*attitude*) определенных групп. Средняя цена потому является здесь собственно статистическим значением, что она соответствует коллективной психологической предрасположенности, которая исчезла бы в среднем значении всех цен, тем более установленном в отношении многих стран. Она проявилась бы только как отклонение от ситуации равновесия, как расхождение или различие с тем, что представляло бы состояние равновесия или единообразия. Но нас действительно интересует различие. Если устранить или нейтрализовать все различия, мы в самом деле оказываемся перед вопросом: что же остается, не исчезает ли какая бы то ни было основа для наблюдения при устранении то одного, то другого фактора?²⁴

Впрочем, для того, чтобы наилучшим образом изучить какой-то факт или объект, следует наблюдать его в тех условиях, которые можно было бы назвать наиболее нормальными (то есть когда он не меняется или меняется мало). Вместо того чтобы, вычисляя среднее значение, собрать в обширную группу все наши наблюдения над ним, сделанные в самые разные моменты, мы

²⁴ Обсуждая утверждение Парето о том, что «колебания различных частей явления... суть проявления единого и единственного состояния вещи», состояния равновесия, представленного средним значением, мы говорили: «Колебания объясняют через среднее значение — скорее, это среднее значение объясняется за счет колебаний. Что касается последних, следовало бы не только учитывать тот факт, что они более или менее отклоняются от среднего значения, но объяснять их через них самих, поскольку это — явление, имеющее определенные смысл и интенсивность... Среднее значение, отнюдь не объясняя что-либо, напротив, устраняет все то, что нам было бы интересно знать, то есть изменения и то, что за ними стоит» (*Revue d'économie politique*, Juillet-août, 1920. P. 474.).

могли бы ограничить наше наблюдение периодами равновесия, когда причины, вызывающие колебание [значений], оказывают наименьшее воздействие. Вернемся к примеру с обменным курсом. Джини выделяет периоды, когда «обменный курс подвергается только периодическим колебаниям, вызванным, например, сезонными изменениями на внешнеторговом рынке», а не систематическими изменениями в интересующем нас смысле²⁵. Так, (до войны) «обмен представлял собой всего лишь нерегулярные колебания вокруг точки равновесия». В этих условиях «страховка от риска изменения обменного курса... была вполне осуществима». Таким образом, не выказывая чрезмерной смелости, спекулянты могли приобретать иностранную валюту в тот момент, когда она ценилась ниже, и затем перепродавать ее, когда спрос усиливался. Впрочем, таким образом они способствовали сокращению колебаний в обе стороны. В другие периоды «колебания неопределенного характера или же систематические отклонения в некотором направлении добавляются к периодическим колебаниям... например, спекулянты приобретают иностранную валюту, когда она растет, в надежде на новый подъем в дальнейшем — таким образом, они временно способствуют снижению обменного курса денежной единицы своей страны, а затем компенсируют это снижение в момент перепродажи валюты, как только обменный курс становится для них выгодным».

Но могут произойти и иного рода события: «например, при известии о военном поражении, политических проблемах или серьезном конфликте между трудом и капиталом иностранцы, ведущие торговые расчеты на основе денежной единицы побежденной или нестабильной страны, предвидят, что данной стране потребуется увеличение импорта или что она не сможет сохранять экспорт товаров на прежнем уровне и, следовательно, будет избыток (ее денежной массы) за рубежом.

²⁵ Op. cit. P. 51.

Значит, ввиду предполагаемых последствий им нужно понизить обменный курс денежной единицы данной страны. Или же им стало известно, что правительство решило увеличить эмиссию бумажных денег, а потому они предвидят повышение цен на внутреннем рынке или считают, что политика правительства усугубит экономическое положение страны и может привести к войне — тогда они заранее снижают стоимость денежной единицы»²⁶.

Воспользуемся теперь наблюдениями, сделанными в период *систематического* и весьма интенсивного изменения обменного курса, последствия которого испытало на себе большинство экономических групп, которые отреагировали по-разному, способствуя усилению или ослаблению этого изменения. Сравнив эти наблюдения с картиной колебаний обменного курса в обычное время, задумаемся, смогли бы мы путем вычисления или какого-нибудь умозаключения вывести значения вторых из первых. Любое намерение такого рода кажется нам неосуществимым. Мы не знаем, не сойдет ли в результате всех этих изменений обменный курс с авансцены экономической жизни. Но если он и занимает такое положение и входит в качестве существенного элемента в коллективную жизнь стольких групп потребителей или производителей, если он в этом смысле существует в качестве отдельной экономической реальности, то началось это с того момента, когда он вышел из состояния равновесия. Подобно тому как погода вмешивается в текущие заботы людей лишь с того момента и лишь в тех странах, где она часто меняется и где ее изменения довольно значительны. Симпан в одной из своих работ²⁷ говорил об экономисте, принадлежащем к математической школе: «Все его построение вращается вокруг теории равновесия; но к чему нам эта теория, даже если предположить ее совершенство, если сутью реальной экономической жизни нам представляется

²⁶ Op. cit. P. 54.

²⁷ La méthode positive en science économique. P. 134.

постоянное отсутствие равновесия?» И далее: «Чтобы действительно продвинуться в экономических знаниях, надо в первую очередь непосредственно обращаться к изменениям, то есть к динамической форме явлений»²⁸.

Конечно, если бы наблюдения над ценами давали нам сведения только о суждениях и мнениях групп покупателей и продавцов относительно существующей вне их материальной реальности, то есть о стоимости товаров, под которой мы понимаем соотношение между количеством имеющегося товара и потребностями (считается, что их можно измерить), или о количестве вложенного в изделие труда, или о любых других данных подобного рода — тогда *колебания*, замеченные в этих суждениях или мнениях, могли бы оказаться простыми погрешностями, и долгом статистика была бы их нейтрализация и стремление постичь саму стоимость посредством цен и помимо них. Но если стоимость не имеет реальности, отличной от цены, тогда изменения цен — это все, что свидетельствует о стоимости, и таковые следует выявлять и изучать непосредственно.

Если с этой точки зрения статистический метод противоположен науке о вероятностях, то с другой точки зрения он опирается на нее. Иными словами, законы, которые статистика пытается установить, отличны от законов вероятности: это не законы [распределения] случайности, предполагающие независимость индивидуальных фактов. Напротив, статистика есть только там, где имеется совокупность устойчивых признаков, то есть система одновременных воздействий на всех членов группы, создающая между ними множество связей взаимозависимости — всякий достоверный закон выражает отношения такого рода. Но для установления подобных законов статистика очень часто должна опираться на законы [распределения] случайности.

Мы видели, что часто сравнивают полученные в результате расчетов цифры, выражающие то, что могло бы произойти, имея место лишь игра случайности,

²⁸ Op. cit. P.136.

и цифры, полученные путем наблюдения как раз для того, чтобы измерить направление и величину колебаний, объясняемых отнюдь не случайностью (каковая есть множество индивидуальных воздействий). Например, Перрен приводит расположенные в порядке возрастания атомные веса первых двадцати пяти простых веществ: 4; 7; 9,1; 11; 12; 14,01; 16; 19; 20; 23; 24,3; 27,1; 28,3; 31; 32; 35,47; 39,9; 39,1; 40,1; 44; 48,1; 51,2; 52,1; 55. Все эти числа получены в результате измерений с точностью до 0,01²⁹. Однако, «если бы значения атомных весов (измеренные с данной степенью точности) распределялись случайно, можно было бы ожидать, что 5 элементов из 25 имели бы целочисленный вес с точностью $\pm 0,1$ »³⁰. Но, не считая кислорода (которому целочисленный вес был приписан), это верно в отношении 20 элементов. Можно было бы ожидать, что один элемент будет иметь целочисленный вес с точностью до 0,02 — но таких оказалось 9. Отсюда Перрен делает вывод о том, что «пока еще не известная причина удерживает атомные веса вокруг целых значений». Сравнение результатов наблюдений и расчета вероятностей проливает свет на существование такой причины.

Теперь предположим, что в отношении большого числа рабочих семей мы имели бы данные о распределении их расходов и нам удалось бы сгруппировать все эти семьи (с учетом точности измерения) в определенное количество категорий, в соответствии одновременно

²⁹ В данном ряду воспроизведены неточные значения атомных весов в порядке их расположения в современном варианте таблицы Менделеева. Ни один из табличных весов, уточненных современными методами измерения, не имеет целочисленного значения. Большинство указанных здесь значений расходятся с современными данными более чем на $\pm 0,01$. При этом ряд элементарных веществ в таблице начинается с водорода (имеющего наименьший атомный вес 1,00794), здесь же первым указан приблизительный вес гелия, который располагается в таблице вторым. — *Прим. перев.*

³⁰ «Ибо только одна пятая большого числа точек, отмеченных наугад по линейке с сантиметровой шкалой и нанесенными миллиметровыми делениями, падает на 2-мм сегменты, расположенные у концов каждого сантиметра» (*Perrin. Les atomes. 1913. P. 36.*).

с типом распределения и общим уровнем их расходов. Если между этими категориями есть четко выраженные интервалы (в сравнении с интервалом, соответствующим каждой категории), мы также можем сказать, что существует причина, удерживающая сгруппированные подобным образом семьи рабочих, поскольку, будь они распределены случайно, интервалы, разделяющие группы, не появлялись бы вовсе ³¹.

В этих двух примерах все происходит так, как если бы одновременно с наблюдаемым рядом воображали условный (*fictive*), отличный от предыдущего тем, что в нем интересующая нас причина не действует.

Но то же самое происходит, как это было отмечено выше, когда мы разлагаем совокупное среднее значение на многие средние, его составляющие ³². В первом их характеристики исчезали, и все происходило так, как если бы вместе с несколькими рядами для одного явления, в каждом из которых под воздействием собственных причин развивались бы различные следствия, построили бы такой ряд для этого явления, из которого все эти причины были бы устранены. Это равнозначно предположению о том, что мы изучаем данное явление в рамках ряда строго независимых друг от друга индивидуальных случаев, то есть случаев, входящих в разные ряды. Иными словами, мы снова получаем случай, к которому применимы только законы [распределения] случайности. Например, при расчете частоты наступления смерти в группе, включающей оба пола и все возрастные категории, мы действуем так, как если бы мы делали расчет для совокупности, на которую не распро-

³¹ См. нашу книгу: *La classe ouvrière et les niveaux de la vie*. Paris: 1912. P. 256 и далее. Лишь 12 процентов исследованных семей не смогли войти в эти группы.

³² Иногда, впрочем, в самом среднем значении совокупности то или иное составляющее среднее исчезает лишь частично. В Пирсоновых кривых иногда различают два максимума, вследствие чего можно предположить, что среди связанных групп есть такая, которая слишком мала, чтобы ее воздействие отражалось лишь в среднем значении для всех групп.

страняются причины смерти, характерные для каждого пола и возраста, и которая, следовательно, не подвержена ни одному из коллективных воздействий, определяющих группу.

Если бы удалось материально изолировать каждый компонент единой группы, то воздействие каждого фактора изучали бы без помех, возникающих из-за воздействия прочих. Но достижимо ли это даже в физических науках? Вернемся к обозначенному выше примеру: вот совокупность наблюдений над изменениями объема одного и того же количества газа. Могу ли я изолировать воздействие давления, а затем температуры и изучить их раздельно? Да, это возможно, но с помощью искусственного приема, обеспечив стабильность в первом случае температуры, а во втором — давления. Но стабилизируя, я отнюдь их не устраняю. Реально я противопоставляю воздействиям, повышающим температуру, воздействия, которые ее понижают. С этой точки зрения я обеспечиваю состояние равновесия, то есть среднюю температуру (между более и менее высокими, чем те, при которых я наблюдаю за телом).

Но, с другой стороны, когда я вычисляю среднее значение безработицы за один месяц, потом за другой (и так для целого ряда лет), я предполагаю, если беру достаточно длительный период, что межгодовые колебания взаимно нейтрализуются. Я противопоставляю колебаниям, действующим по отношению к среднему в одном направлении, колебания, действующие по отношению к тому же среднему в другом. Различие между двумя случаями только в том, что в первом я заранее фиксирую среднюю величину, а во втором допускаю, что учтенные причины ежегодных колебаний действуют каждый месяц одинаково, так что мне удастся *фиксировать* годовое колебание. Но в этом-то и проявляется действие закона [распределения] случайности. Действительно, у меня нет никаких оснований допускать, что годовое колебание более или менее систематически проявляется в один месяц с большей силой, чем в другой.

Иными словами, я должен предположить, что оно распределяется случайно по всем месяцам, и рассчитывая его для того же месяца в течение всего периода, я имею дело с независимыми величинами, подчиняющимися законам вероятности, то есть с величинами, распределяющимися равномерно вокруг средней. Говоря кратко, я не могу устранить воздействие совокупности факторов, чтобы изучить воздействие каждого порознь, иначе чем применяя закон вероятности³³. Но при этом я могу придавать значение воздействию каждого из этих факторов и имею основания их изучать только потому, что соответствующие колебания образуют устойчивую совокупность, а также потому, что в нашем примере месячные колебания безработицы зависят друг от друга, то есть они не подчиняются одному только закону вероятности.

Итак, статистические операции обладают всеми отличительными признаками экспериментального метода. И однако же они находятся в столь тесной связи с теорией и вычислением вероятности, что недавно снова был поднят вопрос: «не является ли вычисление вероятности основой всех статистических прогнозов»?³⁴ То, что оба эти суждения вовсе не противоречат друг другу, вытекает из результатов исследования нами той роли, которая в статистике отводится вероятностным умозаключениям. Статистические законы отличаются

³³ Можно было бы, как подсказал нам Симпан, сначала вычислить для каждого года соотношение между числом безработных за каждый месяц и числом безработных этого года, которое неизменно принимается равным 100. А это равнозначно тому, чтобы сразу устранить годовое колебание. Но даже тогда невозможно получить для каждого года относительное значение за один и тот же месяц, поскольку сезонное колебание может быть подвержено от года к году небольшим и случайным изменениям. Значит, придется, насколько возможно, устранять эти небольшие изменения, рассчитывая за каждый месяц среднее для относительного значения в течение всего ряда лет, то есть применяя закон вероятности.

³⁴ *Medolaghi*. La previsione statistica e il calcolo delle probabilità // *Meiron*. Décembre 1920.

от законов [распределения] случайности, и, возможно, следовало бы во избежание всяких двусмысленностей отказаться от таких выражений, как «статистическая вероятность», «статистическое равновесие», которые представляют результаты, не связанные с теми, что получает экспериментальное и достоверное изучение групп. Но статистик всегда вынужден пользоваться теорией вероятности при анализе наблюдаемых им коллективных объектов и при раздельном анализе изменений каждого их элемента в связи с прочими коллективными или какими-либо иными объектами. В этом смысле теория вероятности играет в статистике почти такую же роль, как *инструменты* в физико-химических экспериментах.

Закон в социологии (1933)*

Социология со своим скромным багажом замыкает шествие великих, давно сформировавшихся и получивших признание наук. Во вступлении к циклу лекций Абель Рей напомнил, что исходной моделью и прототипом научных законов, несомненно, были религиозные, моральные и политические предписания¹. Но общество, которое набросило целую сеть законов на мир неорганических и даже органических объектов, само, кажется, стремится избежать попадания в нее. Вот почему можно было спросить: а существуют ли законы в социологии? — и вопрос этот, конечно, остается актуальным. Предположим, однако, что он решен и что регулярные отношения между социальными фактами, открытые к настоящему времени, являются законами. Попытаемся установить их отличительные черты.

* Опубликовано в: Science et loi. 5^e Semaine internationale de synthèse. Paris: Alcan, 1934.

¹ Об этом см.: Cornford F. M. From Religion to Philosophy, a Study in the Origins of Western Speculation. London: 1912. В частности, следующие замечания: «порядок Природы “сакрален”, поскольку его непосредственно продолжает человеческое общество» (р. 50). «Мойра, проекция Номоса» (р. 54); «Социальная структура создана, чтобы вобрать порядок Природы» (р. 59) и т. д.

По крайней мере, когда мы выделяем отличительные черты закона во всех науках о природе, он всегда представляется нам отношением, извлеченным из *материального* и, желательно, *количественного*² наблюдения, отношением, которое выражается в форме *общего* утверждения и является *специфическим* (хотя это спорный вопрос), то есть таким, которое устанавливается между однородными элементами одного порядка или одной области: объяснение механического — механикой, биологического — биологией и т. д.

Нужно ли добавлять, что закон должен быть простым?

В 48-й лекции своего «Курса позитивной философии», озаглавленной «Основные черты физического метода в рациональном исследовании социальных явлений», Огюст Конт говорит, что правило, предписывающее ученому всегда идти от простого к сложному, подходит лишь для неорганических наук, каковыми, например, являются физика и химия. Действительно, нужно всегда идти от известного к неизвестному. Но когда речь идет о человеке и обществе, совокупность [явлений] представляется скорее известной. «В непосредственном их изучении нас должна вести взаимосвязь явлений... Всякое изолированное исследование различных социальных

² Конечно, в социологии имеются регулярные отношения между качественными данными, требующими в первую очередь описания, например, существование двойных похорон (индивидуальных и племенных) во многих нецивилизованных обществах. См.: Hertz R. Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort// Année sociologique. № 9. 1905–1906 (номер вышел в 1907 г.) P. 48–137. Ту же работу можно найти в сборнике «Mélanges de folklore et d'histoire des religions», 1929 (серия «Travaux de l'Année sociologique»). Но, не говоря уже о том, что *двух* похорон недостаточно для признания факта качественным, не будем забывать, что здесь речь идет о племенах со сложной структурой, где нужно считать кланы, и что также надо считать присутствующих, измерять степень родства, средние временные интервалы между индивидуальными и коллективными похоронами, и что изученное соотношение будет тем лучше поддаваться научному объяснению, чем более точно будут определены все эти элементы.

элементов с необходимостью является перациональным и бесплодным»³.

Если, говоря о законе в социологии, мы сначала обращаемся к формулировкам того, кто первым задумал нашу дисциплину как отдельную науку, то поступаем так оттого, что с этой основополагающей точки отсчета может показаться, будто бы практика социологов ориентирована прямо противоположным образом. Мы имеем в виду не только растущую специализацию исследований в социологии. Все более и более вместо того, чтобы исходить из общего взгляда на функции общества, ставят целью установление частных причинных отношений. Но не ведет ли попытка объяснения через целое частей, фактов и специфических связей к опасности введения в науку соображений о конечной цели? Возьмем пример из биологии: разве не пришлось ей начинать с изучения свойства красных кровяных шариков связывать кислород воздуха? И что нового в этом отношении дало бы размышление о функции жизни в целом и о строении организма, вне которых данного свойства, конечно, не было бы, но которые этого свойства не объясняют?⁴ Не оказывается ли гарантией против финализма выделение частичных законов причинности, объяснение каждого явления по отдельности, отказ — хотя бы временный — принимать в расчет целое, частью которого оно является?

Между тем более всего нас поражает следующий факт: социологическое наблюдение применяется и может быть применено только в отношении единств

³ Cours de philosophie positive. Vol. IV. P. 255.

⁴ Мы заимствуем этот пример из кн.: *Lacombe R. La méthode sociologique de Durkheim. Etude critique.* Paris. P. 97. Автор полагает, что при объяснении биологических функций едва ли возможно не рассматривать их пользу или их предназначение. Мы берем этот пример, намеренно обходя вопрос о роли принципа конечной цели в биологии.

(ensembles)⁵, и мы можем признать существование самих этих единств и определить их только в тот момент, когда нам кажется, что они подчиняются неким законам.

Утверждение о том, что брак есть социальный факт, можно понимать в нескольких смыслах: либо внимание обращают на саму форму института брака, либо думают скорее о коллективных силах, определяющих в данном обществе то, что называется коэффициентом брачности. Мы будем придерживаться второго аспекта. Имеет ли число браков самостоятельную реальность, то есть существует ли оно в качестве коллективного факта? Возьмем, по крайней мере, некоторое количество людей, которые решают вступить в брак в одной стране за один год. Не правда ли, сколько бы случаев мы ни рассмотрели, столько нам придется выделить индивидуальных обстоятельств? Разве то, что мы называем коллективным фактом, не является всего лишь средним значением для большого числа индивидуальных фактов, каждый из которых есть только применение к частному случаю общих законов человеческой природы?

Однако было установлено, что в одной и той же стране эта средняя величина изменяется одновременно с развитием внешней торговли, то есть одновременно с изменением уровня импорта и экспорта на душу насе-

⁵ Термин «ensemble» является ключевым в данной работе Хальбвакса. Однако нет возможности во всех случаях перевести его на русский одним словом, что затеяет замысел автора. Принципиально то, что он вводит «ensemble» в различных контекстах на двух уровнях объяснения: социальной реальности и правил социологического метода — связывая содержание сложного единства (совокупность социальных отношений, из которых неустранним элемент субъективности: представления, верования и т. д.) и формулировку закона (суждение, устанавливающее наиболее общее отношение между данными наблюдения). Значение термина расширяется еще более ввиду его употребления в математическом контексте: этим словом передается понятие множества. Для переведенных на русский слов «единство», «совокупность», «целостность» отдельно и в сочетаниях: «совокупность социальных связей», «совокупность условий», «совокупность причин и обстоятельств», «сложное целое», «органическое единство», «сложное единство» — в оригинале используется именно этот термин. — *Прим. перев.*

ления в стране⁶. Конечно, можно было бы предвидеть, что при благоприятных экономических перспективах большее число людей брачного возраста не колеблется, решая создать семью. Но в этом отношении было бы невозможно сформулировать точный прогноз для каждого индивидуального случая, поскольку влияния, которым подвергается каждый индивид, трудно и ограничить, и вычислить. При вступлении в брак каждый исходит не только из своего личного положения, но также из мнения об обстановке [в обществе]. Именно воздействие последнего, то есть коллективного представления, раскрывает нам статистика, и мы действительно не смогли бы выявить его каким-то иным образом. Итак, среднее значение числа браков в группе изменяется одновременно с этим представлением и в том же направлении; это говорит о том, что оно само является социальным фактом, реализующимся только в группе, а не у каждого индивида в отдельности. Значит, именно закон, установленное отношение, заставляет нас признать существование коллективного устремления в браке. Но это отношение сложнее, чем каждый из элементов, между которыми оно устанавливается. Следовательно, здесь мы шли от более сложного к менее сложному.

⁶ В «Началах статистики» Боули сравнил кривые, представляющие движение этих двух фактов в Англии с 1860 по 1895 год, и констатировал, что между ними была тесная связь (*Bowley, Elements of Statistics, 1902 (2 ed.). P. 175*). Он говорит: «Когда растет стоимость экспорта и импорта, стимулируется торговля, и, несмотря на рост цен, люди брачного возраста надеются, что благополучие продлится и цены снизятся. Но когда снижаются цены, снижаются также прибыли и доходы, и люди брачного возраста проявляют больше осторожности и колеблются со вступлением в брак. Вагеманн, бывший председатель Службы статистики Рейха, в недавней работе (*Wagemann, Introduction à la théorie du mouvement des affaires. Paris: Alcan, 1932*), посвященной ретроспективному изучению ритма сделок в Германии с 1825 по 1913 год (p. 40), без сомнений утверждает, что «ряд наиболее важных для изучения общего движения пемецкой экономики данных, которые нам доступны, предоставляется статистикой браков... Как кажется, она довольно хорошо отражает изменения реальных доходов, поскольку возможность вступить в брак находится в связи с благосостоянием населения».

Можно было бы сделать аналогичное замечание по поводу всех фактов, называемых социальными. Они раскрываются и приобретают очертания, можно сказать, перед нашим взглядом только в связи с законами, которым они, как мы признаем, подчиняются. Например, какой иной, более сильный аргумент, нежели существование социальных законов самоубийства, мы можем противопоставить тому мнению, что самоубийство является не коллективным фактом, а лишь множеством индивидуальных случаев? Разве тот факт, что число самоубийств регулярно изменяется в зависимости от структуры и особенностей групп (и, таким образом, что исследование индивидуальных случаев не позволило бы предсказать его динамику), не является доказательством того, что индивиды, намеренно лишаящие себя жизни, подчиняются превосходящим их силам и что силы эти имеют социальную природу? Именно это мы попытались установить вслед за Дюркгеймом⁷.

Но когда совсем недавно Симпай решил определить глобальные изменения заработной платы во Франции, ему можно было возразить, что зарплата зарплате рознь, что каждую профессию, каждую отрасль промышленности здесь надо рассматривать как частный случай или же как совокупность частных случаев. Как же тем не менее ему удалось показать, что понятие глобальной зарплаты во Франции и впрямь соответствовало реальности? Он показал, что действительно существует закон, согласно которому изменяется зарплата в целом, который достаточно хорошо просматривается через частичные изменения зарплаты и объясняет то общее, что есть у этих частичных изменений⁸. Добавьте к этому,

⁷ См.: Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд / Пер. с фр. А. Н. Ильинского. М.: Мысль, 1994 (по изданию 1912); а также книгу «Причины самоубийства» (Halbwachs M. Les causes du suicide. Paris: Alcan, 1930).

⁸ Simiand F. Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. Essai de théorie expérimentale du salaire. Paris: Alcan, 1932. Vol. 3. См. также наш анализ этой работы: Une théorie expérimentale du salaire // Revue philosophique. Novembre-décembre 1932. P. 323–363. Но прежде всего следует обратить внимание на другую работу Симпая: Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement général des prix du XVI^e au XIX^e siècle. Paris: Les Editions Domat-Montchrestein, 1932.

что все обнаруженные им существенные связи между зарплатой и ценой, зарплатой и прибылью, зарплатой и деньгами устанавливаются между этими различными элементами и глобальным движением зарплаты. Это доказывает, что помимо частных зарплат действительно существует общая зарплата. Здесь установление закона снова предшествовало открытию факта.

Таково отношение между законом и фактом в социологии. Но перейдем к самому закону. Мы намерены снова задаться вопросом: возможно ли, как в физике, абстрагируясь от целого, сначала установить законы частные и простые, а затем восстановить целое через постепенное усложнение, но так, чтобы в полученных сочетаниях саму форму найденных в начале законов не пришлось бы менять? Или же, напротив, при установлении закона нет необходимости принимать во внимание целое?

В физических науках чаще всего стараются выявить воздействие некоторого фактора (и только его одного) на изучаемые факты и, следовательно, устранить все остальные. Лишь когда это удастся, можно сформулировать закон. Социальным наукам известны устойчивые факторы, но те, что подвергаются изучению, [всегда] изменяются. От значительной части групповой жизни можно абстрагироваться, поскольку между ней и нашим явлением нельзя выявить отношения сопутствующего изменения. Но существует тем не менее много таких факторов, которые следует принимать во внимание, поскольку они находятся в более или менее тесной связи с тем, что мы называем рядом причин и рядом следствий (при допущении, что мы смогли раскрыть прямую связь между двумя рядами). В некоторой мере они подвержены влиянию изменений, происходящих в том или другом ряду, и, поскольку сами они отражают условия, в которых происходит их развитие, когда в ходе его они меняются, [это значит, что] и развитие в дальнейшем протекает уже в иных условиях. Представим себе человека, который поднимается по склону: между энергией,

которую он тратит, и высотой, на которую он поднимается, существует прямая связь. Но следует учитывать, что постепенно это упражнение вызывает либо возбуждение, либо усталость, его шаг ускоряется или замедляется и одно и то же движение вызывает большее или меньшее усилие. По мере продвижения вверх меняется также характер почвы: земля, например, становится более рыхлой или наоборот — поэтому каждому усилию соответствует большее или меньшее поступательное движение. Вся совокупность условий реагирует на соотношение между израсходованной энергией и высотой, на которую поднимается человек, и эта реакция изменяется в зависимости от рассматриваемого периода именно потому, что она сама изменяется в результате уже осуществленного движения. Впрочем, как раз здесь и проявляются особенности всякого органического единства: ему приписывают то, что называется причиной факта или ряда фактов определенного рода. Причина оказывает свое воздействие в определенных условиях, в этом органическом образовании, которое имеет данное строение в данный момент времени. Но действие этой причины не может не привести к изменениям органического образования, поэтому чтобы измерить ее действие и постичь его характер, недостаточно наблюдать только за изменением причины и следствия, нужно также проследить за всеми рядами обстоятельств, связанных с этим изменением, понять, как они преобразуются и как влияют на это изменение.

Вернемся к уже рассмотренным примерам. Мы говорили, что существует связь между развитием внешней торговли и числом браков. В сущности, мы установили, что экономические кризисы, по всей видимости, вызывают временное уменьшение числа браков⁹. Но можно

⁹ Точное отношение между экономическим положением и количеством браков можно установить только для определенного времени (и, конечно, места). Боули установил его для Англии с 1860 года, но он напоминает, что в первой половине века доля браков была в обратном отношении с ценой на зерно: когда росли цены, снижалось число бра-

ли обнаружить то же самое в период длительного спада? Здесь, конечно, следует изучать отдельно крестьян и городских жителей, а среди последних выделять мелких предпринимателей, или ремесленников, и заводских рабочих. Предположим, что в отношении брака разные классы в период спада выказывают различную реакцию. Конечно, общий результат будет меняться в соответствии с долей [представителей] каждого класса в массе населения. Но и в период спада можно обнаружить, что таковая колеблется: например, растет доля рабочих крупных отраслей промышленности. Изменения в развитии внешней торговли действительно оказывают воздействие на число браков. Но воздействие это осуществляется в таких условиях, что оно в принципе не остается постоянным и зависит от изменения значимости различных социальных классов. А последнее условие меняется под воздействием развития внешней торговли или динамики цен. Стремясь обнаружить закон, мы должны учитывать и это возможное изменение.

Но следует также принимать во внимание устойчивость или среднюю величину доходов. Статистик Легуа сделал некогда интересное наблюдение: на следующий год после роста числа смертей (например, по причине эпидемии) можно наблюдать отчетливый рост количества браков. Не происходит ли это оттого, что множество вдовцов и вдов спешат снова вступить в брак? Конечно, нет. Но из-за смерти одного или обоих родителей многие дети получают наследство, и это наследство, каким бы скромным оно ни было (даже если это только мебель и белье), все же помогает им обустроиться¹⁰. В более общем виде, доля браков изменяется в связи,

ков, и наоборот. Дело в том, что тогда для рабочего класса зерно было основной статьей расходов. Теперь, когда зерно дешево, а зарплата выросла, изменение цены на хлеб не оказывает более такого сильного влияния. Отныне важнее всего общее процветание страны, которое оказывается результатом подъема внешней торговли — теперь оно регулирует число браков.

¹⁰ *Legoyt. La France et l'étranger. T. I. P. 499.*

главным образом, с перспективами на будущее, но также и в связи с теми ресурсами, что уже имеются в наличии. Таким образом, изменение доходов, по-видимому, обуславливает представления об экономическом будущем и возлагаемые на него надежды, и это условие изменяется под воздействием самой причины, то есть развития внешней торговли. Следовательно, эти и другие ряды причин и следствий приходится рассматривать как элементы сложного целого, поскольку надежды на сохранение благоприятной ситуации предопределяют вступление в брак юношей и девушек, имеющих доходы и имущество, — и их уверенность частично основана на этих доходах и этом имуществе. Разве может при изменении этого условия не измениться воздействие причины (то есть экономического положения) на заключение браков?

Изучение социологических законов самоубийства привело бы к замечаниям подобного рода. Как известно, первые авторы, изучавшие это явление, и в частности, Дюркгейм, прежде всего обратили внимание на отчетливо проявляющуюся взаимосвязь между числом самоубийств и, с одной стороны, религиозной принадлежностью (протестанты чаще лишают себя жизни, чем католики), а с другой, гражданским состоянием самоубийц (среди холостяков самоубийство встречается чаще, чем среди женатых людей, число самоубийц уменьшается по мере увеличения количества детей в семье). Законы, которые можно было сформулировать на этом основании, очень напоминали законы физических наук. Это действительно были отношения, установленные между двумя рядами фактов, изолированных от всех прочих: самоубийство и религиозная принадлежность, самоубийство и гражданское состояние. От всех прочих характеристик абстрагировались: либо предполагали, что они являются константами, либо признавали, что их изменения не оказывают заметного влияния на уже зафиксированные.

Однако религиозная принадлежность и устройство семьи нам представляются только аспектами гораздо более сложной реальности. В странах со смешанными конфессиями протестанты в пропорциональном отношении более многочисленны в городах, а католики — в сельской местности. С другой стороны, есть причины полагать, что семейные традиции и обычаи, то есть то, что можно назвать духом семьи, лучше сохранились и сохранили свое влияние на людей в крестьянских группах, нежели в городских сообществах. Вот почему приходилось выяснять, не было ли истинной причиной изменений количества самоубийств (наблюдаемых в различных группах, выделенных по религиозному признаку или по составу семьи) то, что те и другие переплетались, хотя бы отчасти, с более обширными и сложными социальными образованиями — с крестьянскими и городскими сообществами.

Но в то же время новый закон имел совершенно иной характер в сравнении с предыдущими. Самоубийство было соотнесено не с рядом однородных фактов, полученных благодаря абстракции, но с социальной структурой, с эволюцией, которая затрагивала самые различные коллективные институты и обычаи. Правда, форма первых, более простых законов была более точной. И опираясь на них, продвигались к более общему закону. Не менее справедливо и то, что новый закон учитывал иные условия или факторы, воздействие которых на явление нужно было обнаружить, чтобы действительно понять это явление во всей его сложности. Возьмем, к примеру, промышленный городской стиль жизни. Его следствием является не только ослабление наиболее значительных традиционных опор, каковыми выступают религия и семья, действующие мощным тормозом на пути склонности к самоуничтожению. Кроме того, в городской среде жизнь усложняется, и растет число поводов для самоубийства. В качестве его причин Дюркгейм называл религиозный и семейный факторы. В поводах или мотивах он видел лишь условия,

считая их мало изменяющимися. На самом деле, и число первых, и сила вторых являются следствием стиля жизни: крестьянского или городского. Более того, возможно, что усложнение жизни способствует трансформации верований и обычаев, связанных как с религиозным институтом, так и с устройством семьи. Именно этот механизм отражен в новом законе, который помогает нам его постичь, поскольку ни одна из частей этого механизма не оставлена без внимания¹¹.

Сложная форма и постепенное расширение — вот два условия, при которых социологический закон будет выражать совокупность причин и обстоятельств, определяющих изменение факта, а также их порядок следования. Экспериментальная теория заработной платы, сформулированная Симианом, представляет нам в этом смысле наилучший образец. Давно уже предпринимались попытки обнаружить отношения, существующие, с одной стороны, между зарплатой и ценами, а с другой стороны, между зарплатой и прибылью: поскольку цена включает в себя прибыль и зарплату, нет ничего естественнее предположить, что изменения этих различных элементов взаимообусловлены. Отсюда, законы и наброски законов, снова подобные тем, что получены в физике. Симиан выделял отношения подобного рода: он признавал, что при повышении цен зарплата и прибыль увеличиваются, а при понижении цен они снижаются или во всяком случае более не растут. Однако является ли это удовлетворительным типом закона, в достаточной степени отражающим действительность, в данном случае — изменения зарплаты, а также определяющие ее условия и причины?

Симиан исходил из роста стоимости драгоценных металлов, или — в более общей форме — денежных средств, как фактора, изменение которого, по всей видимости, определяет изменение цен, зарплаты и прибыли. Но в то же время эти три категории фактов он соотно-

¹¹ См. нашу книгу, цитируемую выше.

сил со структурой и эволюцией экономической жизни. Действительно, отношение между ценами и деньгами не простое: оно не является механическим либо автоматическим. Это не есть отношение между измеримыми вещами физической природы (количество товаров, количество металлических или бумажных денег), оно является также отношением между человеческими группами: промышленниками, рабочими, торговцами и т. д.

Именно этим объясняется важность денег. Действительно, с одной стороны, именно на деньгах основано все здание финансов, которые определяют активность, расширяют либо сужают перспективы для некоторых из групп; значит, деньги не только вызывают движение цен через эти изменения, но также и изменения в количестве изделий (число и производительность предприятий), которые реагируют на зарплату и прибыль. С другой стороны, и по причинам, раскрываемым коллективной психологией, именно на деньги ориентируются группы в оценке зарплаты и прибыли. И их отношение в этом вопросе меняется в зависимости от периода: ускорения или замедления притока денежных средств. В частности, зарплаты и прибыли сопротивляются снижению и побуждают к техническим усилиям, увеличивающим производительность, так как и рабочие, и их руководители привыкают к выраженному в денежной сумме доходу периода высоких цен. Значит, не только актуальные, но и прежние финансовые состояния через существующие представления оказывают свое воздействие на изменение прибылей, цен, на производство. Итак, можно утверждать: *движение денег отражает и объемлет все экономическое развитие в целом* — в силу того, что деньги являются связующим звеном всех видов экономической деятельности, а также в силу характера порождаемых ими представлений. Связывая изменения зарплаты с указанной причиной, мы соотносим их со всей сложной системой обменов, производства, распределения, какой она развивается на протяжении длительных исторических периодов.

По мере того как социологический закон расширяется настолько, чтобы представлять последовательные преобразования всего сложного единства, по мере того как он охватывает, в этом смысле, все большую часть реальности, возникает вопрос: приложим ли он по-прежнему к повторяющимся изменениям или их последовательностям (свойство, без которого он не мог бы оставаться законом, без которого нет возможности его подтвердить)? Если можно было бы установить простой закон: например, закон спроса и предложения или закон, связывающий отношением постоянного, пропорционального, сопутствующего колебания зарплату и цену, — он был бы действителен для всех обществ и для всех состояний одного общества. Но так ли обстоит дело с законом, касающимся единства, которое мы можем назвать органическим? Если обществу свойственно постоянно претерпевать видоизменение устремлений, представлений, деятельности, то по окончании фазы подъема цел фазы их снижения не может быть простой противоположностью предшествующей. Она отличается от нее, но в то же время она закрепляет некоторые результаты, достигнутые в период подъема: экономический организм уже не тот же самый, каким он был до подъема. Иными словами, эволюция [органического] единства является *необратимой*.

Но это вовсе не препятствует сведению к единому закону всей совокупности изменений, если в сложной эволюции подобного единства можно обнаружить последовательность *фаз*, повторяющихся через более или менее длинные интервалы в одном и том же порядке. Именно в этом видится нам условие всякой органической жизни, развивающейся путем такого чередования фаз. В противном случае организм либо не менялся бы и перестал бы отличаться от инертного механизма, либо, постоянно изменяясь в одном направлении, стал бы быстро разлагаться и разрушаться. Рассмотрим для примера человека или животное, которые живут в постоянном чередовании часов сна и бодрствования. Можно

было бы подумать, что сон есть противоположность бодрствованию. Однако посмотрим на это повнимательнее. Во-первых, существуют функции, которые продолжают друг друга, не внося при этом заметных взаимных изменений. С другой стороны, во время сна не происходит повторного прохождения в обратном порядке всей той последовательности органических состояний, которые были пережиты в период бодрствования. Но, главное, представим себе животное, которое бы жило несколько недель или несколько дней. Непрерывно на протяжении периодов бодрствования и сна оно проходит последовательные фазы индивидуальной эволюции, которые ведут от рождения к смерти. Если мы будем рассматривать это движение как прогресс или непрерывный процесс, можно сказать, что сон, представляющий одним из его фрагментов, объясняется предыдущим этапом, то есть бодрствованием, и наоборот. Каждая фаза по-своему закрепляет приобретения (или потери), полученные (или понесенные) в предшествующей фазе. Таким образом, это действительно необратимая эволюция. Однако имеется повтор тех же связей между различными функциональными видами деятельности в пределах двух последовательных фаз, и совокупность этих связей можно выразить посредством закона — причем сложного. — который приложим ко сну, бодрствованию и смене этих состояний.

Это было всего лишь сравнение. Но бросим взгляд на основные аспекты социальной жизни. Если полная контрастов картина, которую история, как в калейдоскопе, рисует нам, вызывает впечатление постоянной смены сцен, то происходит это оттого, что историки берут факты в их конкретной форме и обращают внимание главным образом на различия. Догадывались ли мы до исследований Симпсона о том, что на протяжении последних 150 лет (а может быть, и более) разворачиваются некие длительные фазы, задающие ритм экономическим событиям и иным социальным фактам? Правда, Симпсон выделял главным образом те чередования,

которые соответствовали крупным изменениям глобальной заработной платы. Безусловно, существует множество других изменений, которые проявились бы в движении населения, в числе рождений и браков, в основных фактах моральной жизни, если бы можно было проследить их на протяжении достаточно длительных периодов и, главное, на достаточно независимых и однородных социальных единствах. Как и экономическая, политическая и религиозная жизнь также проходят ряд фаз. Вряд ли найдется институт, о котором можно было бы сказать, что он находится только на вершине кривой: нужно было, чтобы он появился на свет, чтобы к нему постепенно привыкли, и так же постепенно он должен видоизмениться, исчезнуть и быть заменен другим. Все фазы имеют ту особенность, что они отличаются одна от другой, но не являются противоположностями — одна находит в другой условия и смысл своего существования. В любом случае, поскольку обе они воспроизводятся согласно единому порядку (в различных обществах или в одном и том же), в социальной жизни обнаруживаются повторяющиеся движения — причем сложные и взаимосвязанные, — которые, таким образом, было бы возможно выразить в форме законов.

Однако для социологического закона недостаточно, чтобы он передавал эволюцию сложного единства. Нужно еще, чтобы эту эволюцию, во всей ее полноте, можно было представить в общей формуле. Ведь «закон может относиться только к общему».

Предположим, что при некоторых заданных условиях происходит эволюция. Возможно, эти условия невоспроизводимы. В этом случае какая у нас будет гарантия того, что мы действительно имеем дело с законом? Возможно также, что повторятся те же условия, но не все они будут иметь социальную природу — тогда ничем нельзя будет доказать, что наблюдаемые закономерности не объясняются за счет влияния этих несоциальных условий, действующих в течение всего эксперимента. Видимый социальный детерминизм был бы тогда

прерван (*scraît suspendu*) самым настоящим физическим детерминизмом. Более того, даже если бы повторилось соединение социального факта с физическим, оно все равно осталось бы случайным. Это — *событие*, которое более или менее вписывается в категорию случайных фактов. Значит, установленный в таких условиях социологический закон является справедливым лишь для того периода, который начинается этим событием и заканчивается его следствиями. Это «частный» закон, наподобие исторических объяснений. Он не является ни физическим законом, ни законом общества в целом.

Всякое общество занимает часть пространства. Это общество включает людей, которые разворачивают [в пространстве] органическую жизнь. Значит, оно подвергается совокупности физических и биологических воздействий. В той мере, в какой эти воздействия остаются *неизменными*, их не приходится принимать в расчет в социологии, когда отыскивается причина *изменений* тех или иных социальных фактов. Но остаются ли социальные факты теми же самыми при изменении этих физических воздействий? Вернемся к нашим примерам.

1. Мы говорили о том, что склонность к самоубийству представляется отличительной чертой группы, что эти изменения суть социальные факты, которые можно объяснить структурой и функционированием общества в том или ином его состоянии либо в той или иной фазе его эволюции. И даже если самоубийцы не страдают психическими заболеваниями, можно утверждать, что большая часть самоубийств объясняется ментальными расстройствами. Итак, перед нами социальный факт, который обусловлен причинами биологического характера — по крайней мере, отчасти. Также можно было бы сказать, что, если социолог констатирует наличие связи между уровнем смертности и степенью скученности, этот социологический закон применим лишь постольку, поскольку существует микроб туберкулеза, и, таким образом, этот закон зависит от органических обстоятельств. Также можно сказать: если существует

связь между степенью сложности социальной жизни и долей самоубийств, то и этот социологический закон применим лишь потому, что существуют психические заболевания — а значит, он также зависит от биологических условий.

Тем не менее нам трудно предположить, что биологический факт как таковой может быть причиной социального факта. Однако заметим, что когда мы характеризуем какой-либо факт как биологический, мы, возможно, обращаем внимание на одну из его черт, тогда как он имеет и другие, которые можно анализировать иначе. Будем исходить из социологической точки зрения и попытаемся выяснить, целься ли данный факт — хоть он и предстает в специфической форме психического заболевания — через одну из таких черт связать с категорией более общих воздействий, определяемых тем не менее через социальные условия. В психическом заболевании нас интересует то, что оно приводит к тем же следствиям, что и другие явления нашего века: разорение, потеря денег, траур, разочарование в профессии, душевные страдания и т. д. Можно ли все эти разнородные явления охватить единым взглядом, чтобы выяснить, какого рода социальное воздействие все они осуществляют? Ограничившись рассмотрением отношений человека с обществом, частью которого он является, мы заметим, что во всех указанных выше случаях человек внезапно ощущает себя в изоляции, и невыносимое чувство одиночества охватывает его. Является ли это чувство следствием биологического факта, каковым предстает душевное заболевание, или факта небιологического, неважно для социолога — ему нет нужды выходить за пределы имеющегося во всех этих фактах свойства изолировать индивида от общества. Таким образом, речь не идет больше о том, чтобы вводить в сеть социальных отношений физический или биологический фактор. Напротив, имеются все основания полагать, что как только эти факты получают выражение в чисто социальных условиях, их воздействие на обще-

ство объясняется также чисто социальными причинами. Таким образом, система социальных фактов, в которую они включены, предстает полностью независимой по отношению к иным фактическим порядкам, инертным или органическим по своей природе.

2. В качестве другого примера мы взяли отношение, связывающее экономические кризисы и изменение числа бракосочетаний. Американский экономист-статистик повторил предпринятую ранее Уильямом Стэнли Джевоном попытку объяснить циклические торговые кризисы регулярным повторением таких астрономических явлений, как увеличение числа солнечных пятен (это тезис Девонса) или движение Венеры по отношению к Земле и к Солнцу¹². Таким образом, движение торговли оказывается связанным с движением небесных тел. Действительно, имеются посредующие физические явления: это режим выпадения дождей, существенные изменения урожайности. Остановимся на последнем. Обилие или скудость урожая и в самом деле зависят от метеорологических условий в течение года. Тем не менее в урожайности нас интересует не само по себе физическое явление, а скорее сокращение предложения зерна, повышение или понижение цены на него, то есть экономические реакции групп, которые происходят в связи с этими физическими явлениями, но которые могли бы происходить и в отсутствии таковых, при условии, что уменьшение или увеличение количества зерна можно получить другим способом. В конце концов, можно объяснить рост (или снижение) количества зерна на рынке расширением площадей возделывания (что предполагает увеличение населения) или увеличением численности населения, занимающегося сельским хозяйством, увеличением вложенных в землю денежных средств или расширением и совершенствованием сельскохозяйствен-

¹² Moore H. L. *Generating Economic Cycles*. New York: Macmillan, 1923. См. рецензию Симпсона на эту работу, помещенную в: *Année sociologique, nouvelle série*. № 1 (1923–1924). Fasc. 4. P. 806. Мур занимался только изменением урожайности и сельскохозяйственными кризисами.

ной техники — и это без учета той роли, которую могут играть (либо не играть) организации, откладывающие излишки зерна с тем, чтобы сбывать их в неурожайные годы. Итак, возможно, что экономические кризисы в самом деле являются результатом метеорологических обстоятельств, которые изменяют урожайность. Но поскольку экономический эффект был бы в точности таким же, если бы урожайность изменилась в результате преднамеренного вмешательства агентов и групп людей, социолога не интересует та форма, в которой произошло это изменение, он устанавливает само изменение — и здесь социальная система снова оказывается независимой от физического детерминизма. Мы можем также добавить, что рассмотренное в своем социальном аспекте изменение количества выставляемых на рынок продуктов — не что иное, как социальный факт, который должен быть объяснен чисто социальными причинами.

Рассмотрим теперь, возможно, наиболее удивительный в этом отношении пример поиска закона в социологии, который, по всей видимости, способен установить соответствие между всем единством экономических и социальных связей (и эволюцией во времени, определяемой этим единством) и хорошо описанным физическим фактом. По мнению Смиана, изменение цен, прибылей, зарплат и многих других элементов обусловлено ростом объема свободных денежных средств. Но степень этого роста сама обусловлена количеством добываемых драгоценных металлов, то есть существованием серебряных или золотых месторождений там, где люди могут обнаружить их в нужный момент или в момент крайней необходимости — то есть, в конце концов, сугубо физической причиной. Можно ли в данном случае говорить о чисто социальных причинности и законе, коль скоро один из членов отношения представляет собой материальное обстоятельство? И не придется ли нам, чтобы дать объяснение этому обстоятельству, покинуть систему социальных связей и поместить данный факт в сис-

тему всех подобных ему материальных фактов, которые, возможно, подчиняются закону распределения или повторения — по закону физическому, — а может быть, и вовсе не подчиняются в своем распределении ни одному закону?

Здесь следует отметить основной пункт, вызывающий трудности. Как указал Симиан, дело в том, что открытие золотых месторождений в некой точке пространства в некий момент времени является так называемым «событийным» фактом, то есть таким фактом, который мог и не иметь места и который во всяком случае не зависит с необходимостью от самой социальной группы, ее структуры и ее устремлений. С этого момента из отношения или единства отношений, в которое включен подобный факт, нельзя вывести общего закона. Точно так же, если в биологический механизм воспроизводства вмешался бы физический фактор, на который сам организм не мог бы никак воздействовать, нельзя было бы вывести закон о том, что воспроизводство есть постоянная и необходимая отличительная черта жизни.

Вот почему Симиан старался показать, что введение в экономическое обращение драгоценных металлов в достаточном количестве не является единственным средством увеличения свободных денежных средств и что — по крайней мере, в известных пределах — эмиссия бумажных денег, зависящая от общества, дает тот же эффект. Здесь нам также нет нужды выходить за рамки чистого и простого социального факта, каковым является рост объема денежных средств. Важен этот рост сам по себе, в какой бы форме он не происходил. Это то условие, которое мы должны выражать в как можно более общей форме. Если бы мы уделяли пристальное внимание частным формам, в которых этот рост выражался в разное время, мы не увидели бы функции, которую он выполняет в обществе в целом, и не смогли бы сформулировать социальный закон.

Это замечание справедливо для всех разделов социологии. Речь идет о семье? Мы имеем закон для данного института, который различает в таковом разнообразных родственные отношения, в частности, отношения, связывающие детей и родителей. Преемственность в семье кажется обусловленной физиологическим явлением — кровным родством. Однако мы знаем, что эти кровные отношения менее важны, чем идея или вера, что сын происходит от отца и матери или вообще от предков, и усыновление — чисто социальный факт — вызывает тот же эффект, что и биологическая связь¹³. Речь идет о политической организации и правительстве? Сначала можно подумать, что начальник — это человек, отличающийся от всех остальных некоторыми физическими или церебральными свойствами, и что, следовательно, институт правительства предполагает совокупность подобных органических условий у такого-то или такого-то. Но мы знаем, что даже тогда, когда подобные качества вовсе отсутствуют, группа всегда может силой воображения (*fictivement*) приписать тому или иному из своих членов качества, на которых зиждется авторитет. Политическая власть — это порождение группы, а не результат физического либо органического воздействия, которое было бы внешним по отношению к ней. Подобным образом и деньги создают кредиты и доверие не благодаря своим физическим свойствам. Это социальная группа создает деньги, по мере того как ощущает в себе смутные, однако действительные резервы доверия, которые ей требуется только конкретизировать.

Таким образом, мы могли бы признать определенную методологическую ценность сформулированного Огюстом Контом правила (мы его приводили в нача-

¹³ Дюркгейм особенно настаивал на этом пункте в своем (неопубликованном) курсе о семье, некоторые фрагменты которого публиковались: работа «*La famille conjugale*» (заклещенное из курса о семье), помещенная Марселем Моссом в «*Revue philosophique*» (janvier-février 1921); и «*La famille et la parenté d'après Durkheim*» в: *Davy. Sociologues d'hier et d'aujourd'hui*, Paris: Alcan, 1931, P. 103 и далее.

ле); в социологии следует отталкиваться от единства, чтобы прийти к его составляющим — в отличие от последовательного продвижения в физических науках. Но следует уточнить, что мы понимаем под единством. Нам дано не единственное общество. Общество с большой буквы, но группы. Они могут образовывать различные единства, в зависимости от устанавливающихся между ними отношений. Причем эти единства обладают известной независимостью друг от друга: именно это мы подразумеваем, когда говорим о политической, религиозной, экономической и прочих эволюциях, которые следует различать и изучать порознь. Теперь возьмем одно из таких единств в некой стране и рассмотрим его на протяжении некоторого периода или последовательности периодов. Можно видеть, что входящие в это единство группы в своих действиях и реакциях связаны друг с другом, что движения в них взаимозависимы (*s'enchainent*) и что сами эти движения и их взаимосвязь, по всей видимости, являются результатом эволюции единства. Поэтому можно, конечно, каждую группу изучать по отдельности, но даже если определить таким образом частные законы, которые относятся к действиям отдельно взятой группы, поскольку эти действия происходят лишь в отношении к некоторым другим, и в первую очередь, в связи с общими фактами, воздействующими на все единство групп, их следует постигать прежде всего и главным образом в их взаимосвязях.

Мы видели, что в политической экономике главными факторами являются изменение цен и, в особенности, изменение объема имеющейся в обращении денежной массы — то есть то, что представляет интерес для всей совокупности экономических субъектов, а не единственно для той или иной их категории. Иными словами, когда эти группы таким образом связаны, они включаются в более обширную группу — экономическое общество в целом. Таким образом, мы можем проверить здесь то, что говорили о коллективных представлениях: они существуют и их можно постичь только в единстве,

а не в какой-либо части группы, взятой отдельно. Точно так же и закон экономической эволюции реализуется не в каких-либо действиях частной группы, но в единстве: в связях и последовательности действий всех (tous) групп, сопоставленных и рассмотренных как единое целое (comme un tout). А как же может быть иначе, если такой закон стремится выразить отношения, которые связывают все эти элементы [единства] и которые для каждого из них отчасти являются внешними?¹⁴

Не попытаться ли нам теперь определиться по отношению ко *времени*? Мы говорили, что социологические законы применимы к эволюции целого, то есть являются динамическими. Социальная эволюция распадается на ряд частных преобразований, и можно было бы задаться вопросом: не следует ли для постижения эволюции единства сначала определить эти элементарные движения, каждое по отдельности, и, может быть, даже каждое состояние равновесия? — что позволило бы создать статику раньше динамики и, насколько возможно полно, абстрагироваться от времени¹⁵. Но как этого уда-

¹⁴ Говоря о законе в астрономии и механике, Минер (Miner) рассматривал использование статистики в качестве крайнего варианта, простого «побочного» метода, вступающего в действие тогда, когда нет возможности прямого наблюдения и измерения элементов. В социологии можно было бы наблюдать за элементами, то есть индивидами. Но, как специально отмечал Анри Пьерон, психологического индивида нельзя изучить с достаточной степенью точности, поскольку сами его действия и состояния во многом объясняются единством, частью которого он является. Значит, следует соотносить его с единством. Микроскопический метод здесь нереализуем: макроскопический метод оказывается не крайним средством, но единственным, которое только и можно применить.

¹⁵ В недавнем исследовании под названием «Контрасты между экономическими теориями и фактами» статистик (он одновременно является и математиком) Джини заметил, что в социологии динамика отделяется от статик не только через опыт (*l'habitude*) — который, возможно, играет здесь ту же роль, что инерция в динамической механике, — но также и через предвидение условий в будущем. В итоге, «различие возникает из того факта, что элементы динамической экономики (и социологии) — это люди, тогда как в механике это — неодушевленные тела» (*Gini C. Contrastes entre les théories économiques et les faits // Scienza, Mars 1933*).

лось бы достичь в области социальных фактов? Речь идет здесь о тех воздействиях, которые осуществляются либо одной группой в отношении другой, либо внутри одной группы, одним из ее элементов в отношении другого. Всякое социальное изменение есть связь движений во времени, и их направление можно раскрыть лишь при условии включения этой связи в эволюцию целого, которая распространяется на все частные изменения, но реализуется только в их совокупности, а не в каждом из них в отдельности.

Итак, мы отчетливо видим, как важно в социологии рассмотрение времени. Как мы видели, изучая социальную эволюцию, следует учитывать то, что прошлое сохраняется в определенной форме, что все элементы социального устройства подвержены изменениям и оказываются преобразованными ходом эволюции, равно как и то, что представление о будущем и его ожидание в свою очередь воздействует на нее. Но человеческое единство, способное одновременно представлять себе прошлое и будущее, — что это, как не *сознание*?¹⁶ Именно с этой точки зрения, сугубо объективной или позитивной, а не с точки зрения метафизики или интроспективной психологии, мы считаем собственным объектом социологии законы или регулярные отношения, которым подчиняются коллективные сознания.

¹⁶ В исходном варианте текста (помещенном в «Science et loi. 5^e Semaine internationale de synthèse», откуда он был перенесен в сборник «Classes sociales et morphologie»), эта принципиальная формулировка содержит одно существенное отличие (помимо того, что в сборнике имеет место ошибка наборщика): субъектом определения выступает не «человеческое единство (ensemble humain)», а «человеческое существо (exemplaire humain)». Поскольку в завершающей фразе доклада речь идет о коллективных сознаниях, поправка, внесенная редактором французского текста, предстает оправданной, а потому она была перенесена и в русский вариант. — *Прим. перев.*

*Статистика в социологии (1935)**

Сегодня, как и два года тому назад, когда я говорил здесь о законе в социологии, мне должен был помогать мой большой друг Симиан. Вы его не услышите больше, и я с большим прискорбием выступаю перед вами один. Однако это мое выступление вдохновлено, главным образом, его оригинальными размышлениями о статистическом методе. Его мысль принадлежит нам, она принадлежит будущему. Его нет с нами, и он более не может указывать нам путь, но, намеченный Симианом, этот путь сегодня отчетливо различим. Я хотел бы, чтобы вы разделили мое убеждение, укрепившееся по мере испытания, что более верного пути не существует.

Хотя статистика применялась поочередно во многих науках о живой и неживой природе, сначала она была открыта именно в области общественных наук. Прежде всего статистиков интересовали такие предметы, как население, природные ресурсы тех или иных

* Из: *La statistique, ses applications, les problèmes qu'elle soulève*. 7^e Semaine internationale de synthèse. Paris: Presses universitaires de France, 1944 (дата выхода в свет).

государств, продолжительность жизни различных групп людей, рождаемость, браки, соотношение числа новорожденных мужского и женского пола. Есть все основания полагать, что мы будем иметь больше всего шансов обнаружить отличительные особенности статистической работы, наблюдая за ее использованием в социологии.

Как мне думается, Симпай ясно видел, что она не смешивается с методами, применяемыми в других науках, что в них она всегда остается самой собою, когда речь идет об изучении групп, что она дополняет эти методы и что к тому же она — единственное средство постижения социальных закономерностей.

Иногда ей дают определение науки о средних величинах. Например, из некоторого числа наблюдений над индивидами можно получить среднее значение, которое будет показателем развития мозга (*l'indice céphalique*) расы. Верно также, что физик может определить плотность тела с помощью ряда частных наблюдений, на основании которых он вычислит среднее. Например, он может рассчитать среднее значение плотности определенного количества железных брусков. Однако между этими двумя случаями имеются различия. Что касается плотности тела, то понятно, что прибор или наблюдатель, находящийся в наилучших условиях, может определить ее посредством единичной констатации. Напротив, что касается показателя развития мозга, то его невозможно получить в результате единичного наблюдения над единственным субъектом. Действительно, это особенность, которая как таковая, возможно, не реализуется ни у одного из наблюдаемых индивидов, а приложима в отношении всей целостности.

Таким образом, статистика применяется в отношении фактов, определяемых количественно, посредством большего или меньшего числа индивидуальных констатаций — по фактов, отличных от этих индивидуальных элементов и не реализующихся как таковыми ни в одном из них.

Иными словами, статистика позволяет постичь групповые особенности, которые имеют реальность для группы в целом, но которые нельзя было бы обнаружить у какого-либо отдельно взятого ее члена. Например, средняя продолжительность жизни в группе людей не будет в целом точно такой же, как у кого-либо из людей, выбранных наугад, и тем не менее это — реальность, поскольку для той же самой группы на протяжении ряда периодов она оказывается постоянной, как и для множества групп, которые имеют такое же распределение индивидов по возрасту.

Правда, эти группы должны представлять собой определенную реальность, иметь определенную устойчивость в качестве групп. Не всякий подсчет есть статистика. Натуралист не будет развлекаться, подсчитывая средний рост животных в зоопарке, которые оказались собранными в одном месте по случайности или чьей-то прихоти. Так же среднее значение цен, отобраанных наугад: оптовые и розничные цены, зарплата, цены на услуги, квартплату, — это не статистика. Расчет же среднего размера животных одного вида или оптовых цен в стране в данный период, напротив, ею является. То же верно и для последовательностей, рассматриваемых во времени. Среднее значение цен за десять или даже за пять лет не есть статистика, пока мы не знаем, существует ли связь или отношение подобия между этими годами с экономической точки зрения и какое движение было за это время. Среднее значение цен за все годы подъема или спада, ежегодный средний рост цен в каждый из этих периодов, напротив, являются статистическими данными, поскольку ряд лет в каждый из этих периодов представляет собой группу, имеющую реальность, устойчивость. Единство во времени и пространстве, предполагающее наличие организации и связи между частями и исследуемое в качестве такового, — именно это объект, в отношении которого используется статистика.

Но является ли достаточным это определение, представленное Симианом? Оно приложимо ко всему точно

определенному. Однако ограничивается ли оно им? Могут возразить, что в мире живых существ есть организмы, а внутри организмов различные органы также составляют реальные и устойчивые единства: группы органов, группы клеток — особенности которых изучают обычно методом прямого наблюдения, каковой не является статистическим. Но дело в том, что именно между этими живыми существами и социальными группами имеется принципиальная разница. Предположим, что я измеряю кому-то температуру. Достаточно знать ее для части тела, какой-либо внутренней части. То же, если я изучаю ткань: я могу взять одну или несколько клеток, чтобы наблюдать их под микроскопом. Это так и при непосредственном изучении функций всех организмов одного вида. Дело в том, что здесь рассматриваемые единства образованы абсолютно сходными и почти идентичными частями. Что касается социальных групп и собственно социальных явлений в этих группах, то здесь ситуация иная. Устремления, верования, коллективное мышление представлены в каждом индивиду неравномерно, по-разному: каждый человек представляет лишь одну их часть или аспект. Вот почему существует только одно средство постичь коллективное состояние: собрать все эти части, полностью пересчитать, не оставляя без внимания ни одну из них, а затем воссоздать первоначальное единство.

По сути, реальными единствами являются только социальные группы именно потому, что они состоят из различных элементов. Все прочие единства являются скоплениями. Живые виды являются скоплениями организмов, органы и ткани — скоплениями клеток, а сам организм — всего лишь индивид. Социальные группы — это нечто большее и нечто иное.

Обратимся теперь к этому понятию групп и реальных, устойчивых единств. Именно тут начинаются сложности. Такие группы надо изучать. Но они представляют собой отнюдь не осязаемые предметы с ясными очертаниями. Прежде чем начать их изучение, их нужно

сформировать. А как их сформировать, если они еще не были изучены? Обратившись к некоторым примерам, можно лучше понять природу этого замкнутого круга.

Официальная статистика обычно проводит наблюдения в [известных] пространственных и временных рамках и не может действовать как-то иначе. Иногда эти рамки действительно соответствуют реальному социальному делению, например, когда речь идет о числе рождений и смертей в разных странах или за разные годы. Но население департамента не является социальной группой. Пятилетний или десятилетний период обычно не является определенным социальным периодом. Конечно, точки отсчета нужны. Что бы ни делали: рассматривали в телескоп участок неба или срез под микроскопом, — понятно, что наблюдатель определяет и делит поле наблюдения посредством сетки линий, равноудаленных друг от друга и пересекающихся под прямым углом. Это верно, но он помещает свой прибор таким образом, чтобы эти линии охватывали все интересующие его детали или примерно совпадали с реальными границами изучаемого предмета. Статистик же не меняет рамки по своему желанию. Он проводит, к примеру, перепись населения каждые пять или десять лет и в соответствии с этими интервалами указывает численность населения, цены, зарплату, хотя, возможно, именно в один из промежуточных годов начинается или заканчивается какой-то длительный процесс, происходит существенное изменение. Хотя официальные статистические данные дают нам лишь то, что они могут дать, в этом отношении они достигли существенного прогресса, поскольку сегодня известно о ежегодном, ежеквартальном и даже ежемесячном движении населения. Но как много авторов, работающих с этой статистикой, ограничиваются сравнением данных, полученных с интервалом 10, 20 и даже 50 лет! Какой ученый объединяет наблюдения с таким временным интервалом? Вот почему Симьян провозглашал принцип непрерывного изучения явления, наблюдения за ним от начала до конца.

подобно тому, как ботаник не ограничивается наблюдением за растением в первых числах каждого месяца или по воскресеньям, а следит за ним изо дня в день, от появления ростка до цветения.

В ежегодных статистических справочниках можно обнаружить таблицы, которые показывают распределение браков в зависимости от разницы в возрасте супругов. Но во Франции обычно ограничиваются сравнением возрастных сочетаний, подсчитанных таким образом: муж от 20 до 25 лет и жена от 20 до 25 лет, муж от 25 до 30 лет и жена от 20 до 25 лет. Тогда первая комбинация включает случаи, когда мужу 20 лет и жене 20 (разница в возрасте = 0), также случай когда мужу 25 лет, а жене — 20 (возрастной интервал = 5 годам), и все случаи, когда жена старше мужа на 1, 2, 3, 4 года и на 5 лет. Таким образом, в одной категории объединены браки, которые с биологической, но также и с социальной точки зрения представляют собой весьма различные типы брачных союзов.

Можно было бы также задать вопрос, имеют ли социальную реальность возрастные группы в том виде, в каком их определяют статистики. Здесь требуется ясность. Когда мы говорим, что животному столько-то лет, мы, возможно, сомневаемся, следует ли вообще употреблять термин «возраст». Прежде всего мы имеем в виду то, что оно достигло определенного этапа индивидуального биологического развития и, если угодно, биологического развития, естественного для него как представителя своего вида. Но само животное своего возраста не знает, и если бы люди были всего лишь животными, они сами не знали бы больше. С другой стороны, изолированный человеческий индивид, лишенный всякой связи с себе подобными, не опираясь на социальный опыт, даже не узнал бы о том, что должен умереть. Возможно (если память предполагает жизнь в обществе), он и не вспомнил бы о том, что был моложе, чем в настоящее время. Какой смысл могло бы иметь для него понятие возраста? Значит, это действительно социаль-

ное понятие, установленное при сравнении с различными членами группы. Во всяком случае степень точности, с которой оно на нас распространяется, зависит прежде всего от традиций и институтов. Один турецкий студент сказал мне, что в его стране, где совсем недавно ввели запись гражданского состояния, большинство людей не знает своего возраста, и если им задают такой вопрос, они отвечают, что это их не интересует. В целом же турки различают детей, взрослых и стариков, помещая себя в одну из этих категорий.

Но если наш возраст нам в некотором смысле навязывается обществом, из этого не следует, что мужчины или женщины данного возраста, выраженного в количестве лет, образуют определенную социальную группу. Это представляется невозможным, поскольку, во-первых, в такой группе люди оставались бы на очень непродолжительное время — ведь каждый год мы поднимаемся на одну ступень и непрерывно переходим из данной категории в следующую. С другой стороны, хотя и предлагали создать, к примеру, партию сорокалетних, разве имеются интересы и проблемы, общие для молодых людей, взрослых людей или престарелых? Ведь в действительности речь идет о группах, члены которых очень различаются по возрасту, поскольку распределены на очень обширном интервале. Наконец, в зависимости от эпохи, традиций, институтов, даже состава населения возрасту придают большее или меньшее значение, и молодость, зрелость и старость определяются [коллективным] мнением очень по-разному. Раньше пятидесятилетний европеец считал себя достаточно молодым, чтобы вступить в деловую жизнь в Америке, тогда как в наших странах в этом возрасте оставляли дела и уходили на пенсию. Возможно, со времени последней войны ситуация существенно изменилась и может измениться снова.

Итак, имеется чрезмерная арифметическая строгость, несколько искусственная и произвольная, свойственная нашим устоявшимся представлениям о *возраст-*

ных пирамидах, составляемых из суживающихся слоев равной высоты, каждый из которых соответствует одной возрастной категории (от 0 до 5 лет, от 5 до 10 и т. д.), пирамидах, в которых правая половина фигуры включает женщин, а левая — мужчин. Когда накладывают друг на друга две возрастных пирамиды, составленных, например, для Германии и Франции, то можно констатировать, что пирамида, как мы и ожидали, имеет гораздо более широкое основание в Германии, так как доля детей в этой стране выше; после отметки «25 лет» она становится тоньше и от этой точки расходится с очень узкой в основании французской пирамидой, которая далее покрывает немецкую, поскольку во Франции количество людей старшего возраста намного выше. Мы имеем здесь точное отражение числовых данных. Но каково их значение с социологической точки зрения?

Следовало бы выяснить, одинакова ли граница, отделяющая зрелый возраст от молодого, старший от зрелого в глазах [коллективного] мнения обеих стран. В этом можно усомниться, поскольку там, где много пожилых людей, скорее всего, они видят себя более молодыми, чем они есть. А там, где много молодых людей — поскольку многие из них занимают (или намерены занять) положение, которое в других случаях закреплено за взрослыми, — они, возможно, считают себя (и признаются окружающими), старше, чем есть, принимая в расчет их возраст в годах. Напротив, если учесть, что одна из этих стран находится ближе к северу, а другая — к югу и что этнический состав в них различен, то, весьма вероятно, в одной из них, например, во Франции, созревание более раннее, чем в другой. Тогда там и взрослые, вероятно, раньше, а также раньше переходят в категорию стариков; так что французское население может оказаться еще старше, а немецкое — еще моложе, чем это представляется из данных цифр.

Наконец, как не учитывать разнообразие социальных классов, профессий, городских и сельских сред? Разве возрастная пирамида для одной страны одинаково-

ва для города и для сельской местности; для промышленности, торговли, сельского хозяйства и творческих кругов; для зажиточных классов и бедняков? Заметим, что в Соединенных Штатах пропорция взрослых ко всему населению примерно та же, что и во Франции, не потому, что там издавна такая же низкая рождаемость, а по причине наплыва иммигрантов. Следовало бы выявлять и эти различные условия. Статистическое исследование должно осуществляться как раз в отношении таких различающихся групп. Возрастные же пирамиды обо всем этом дают нам столь же схематичное и слабое представление, что и египетские пирамиды о судьбах огромного числа людей, на долю которых выпало их строительство.

То же самое я скажу и о другом приеме, впрочем, изобретательном и в некотором отношении полезном. Его недавно предложили статистики с тем, чтобы было удобнее сравнивать в разных странах такой показатель, как средний уровень смертности. Когда было замечено, что средний уровень смертности (или, что то же самое, вероятность наступления смерти) в Германии намного ниже, чем во Франции, то появилось искушение поддаться иллюзии и вообразить, что в одном и том же отношении средняя продолжительность жизни в одной стране больше, чем в другой. Если учитывать то обстоятельство, что возрастной состав населения обеих стран отличается, кажется вполне естественным, что более пожилое население платит смерти большую дань, чем более молодое. Дабы устранить причину ошибки, решили поступить как в физике, когда, чтобы измерить действие одного фактора, устраняют или делают неизменным другой. Вот почему в данном случае попытались устранить влияние возрастного состава. Можно было бы ограничиться сравнением уровня смертности среди людей одного возраста в той и другой стране. Но решили пойти дальше: вычислить, как и раньше, уровень смертности только для всего населения каждой страны.

но при этом скорректировать его, учитывая неравномерное распределение по возрасту. Чтобы осуществить такой расчет, выберем типичное население, которое по этому распределению будет занимать приблизительно среднюю позицию среди всех стран. Рассчитаем для различных возрастных категорий типичного населения уровень смертности, наблюдаемый в этих возрастах, к примеру, во Франции и Германии. Потом вычислим общий уровень смертности, полученный в результате для каждой из этих стран. Мы обнаружим, что тогда как *простой уровень смертности*, вычисленный по старым методикам, более высок во Франции, чем в Германии, так называемый *скорректированный (rectifié) уровень смертности* во Франции ниже.

Но каково точное значение этого результата? Смерть — не только биологический, но также и социальный факт. Уровень смертности может меняться не только для всего населения, но и для каждой возрастной категории, точнее, в зависимости от возрастного состава населения (который является результатом определенных социальных условий). В стране, где мало детей и много взрослых, последним меньше угрожает конкуренция со стороны молодых — у них более спокойная и обеспеченная жизнь. С другой стороны, когда детей мало, то больше заботятся об их физическом развитии, здоровье. Изменения в возрастном составе населения Франции еще не доказывают, что уровень смертности для определенного возраста не стал выше. Поэтому нельзя [при расчетах] сохранять уровень смертности по каждому возрасту и одновременно менять [возрастной] состав населения. Конечно, поступая таким образом, хотели изолировать биологический аспект смерти и изучить лишь те факторы, которые определяют естественную жизнеспособность населения, однако, с учетом состояния медицины и гигиены в каждой из стран. Но помимо возрастного состава населения смертность зависит также от многих других социальных факторов.

Смерть — результат жизни, а жизнь обусловлена экономической ситуацией, устройством семьи, институтами и традициями. Все эти факторы следовало бы устранить или по крайней мере предположить их единообразие во всех странах. Но возможно ли это? Как мы видим, приходится ставить весьма парадоксальные вопросы. Сколько времени прожили бы французы, если, оставаясь французами, они жили в тех же физических и социальных условиях, что и шведы? Сколько времени прожили бы немцы, если бы, оставаясь немцами, они бы жили в тех же условиях, что французы? Как заметил Симиан по поводу недавнего экономического исследования, сравнения уровней жизни в различных странах, постановка таких вопросов равносильна вопросу, как жил бы верблюд, если, оставаясь верблюдом, он попал бы в полярные районы, или как жил бы, оставаясь самим собой, северный олень, если бы его переправили в Сахару. Иными словами, все происходит так, как если бы для изучения демографических особенностей какой-либо страны следовало бы исходить из населения, которого нет ни в одной стране; как если бы мы имели дело с людьми, которые рождаются, женятся, умирают в регионе, который невозможно хоть как-то определить в том, что касается его семейных, религиозных, юридических, экономических условий. Но так же, как *homo economicus*, подобный *homo demographicus* — абстракция, которую слишком тщательно отделили от реальности, чтобы она могла дать нам представление о чем-нибудь реальном.

Конечно, мы не оспариваем того, что эти приемы схематизации и анализа могут приносить пользу. Они дают нам более точное знание о данных, которыми мы располагаем, а также возможность обнаружить между ними связи, которые были нам недоступны до подобной обработки. Весь вопрос в том, чтобы понять, что лучше: объяснить таким образом максимальное число фактов, которые в целом весьма приближительны и ограничены, или искать другие факты. Конечно, одно не исключает другого, при условии, что мы не успокоимся

на достигнутом и не вообразим, будто объяснили реальность, заменив ее формулой или таблицей, с которой она более или менее согласуется. Здесь имеется риск на реальные группы наслоить группы воображаемые (*fictifs*), которые кажутся соответствующими первым только потому, что они и есть реальные группы, но лишённые значительной части своего содержания. Но можно ли быть уверенными в том, что утраченное нами из соображений простоты не было главным, тем, без чего нельзя понять и объяснить реальность?

Утверждают, будто статистика — это наука средних величин и графиков кривых. Вероятно, этого определения недостаточно. Во всяком случае, совершенно справедливо, что, например, для устранения сезонных колебаний безработицы следует рассчитывать ежегодные средние показатели, а чтобы их сделать более достоверными — даже ежемесячные. Симьян даже видел в количественной социологии эквивалент экспериментального метода. Но здесь следует принять ряд излишних для физики мер предосторожности, поскольку у нас отсутствует средство контроля, доступное физикам, а именно, материальная проверка (*vérification*). Если физик устранил влияние существенных факторов, [порождаемые ими] явления не возникают. Здесь цифры всегда можно комбинировать друг с другом. Для уверенности в том, что их средние значения или показатели соответствуют реальности, которая в социологии сложнее, чем в физике, статистик должен рассчитывать также типичные комплексные значения, например, медианы с квартилями и децилями, учитывать наложение данных, а также рассчитывать множество иных видов показателей.

Что касается кривых, они должны отражать все изменения данного явления, представляя его во всех фазах, а также охватывать явление во всей его протяженности, во всех его частях. Именно так можно будет представить движение заработной платы в виде нескольких кривых, насколько возможно непрерывных, наложенных друг на друга. Их будет столько, сколько име-

ется данных, соответствующих различным группам: сельскохозяйственным, промышленным (в различных отраслях и видах промышленности), а также группам больших, средних и малых городов. Это требует длительного и напряженного внимания, одновременно абстрактного и конкретного. Но этот эмпирический метод единственный из всех позволяет сохранять максимально тесные контакты с реальностью.

Принципиально иной является точка зрения статистиков, многие из которых — математики по образованию. Она достаточно хорошо может быть выражена в двух фразах, которые я заимствую из замечательной работы Жибра «Формы экономического неравенства»¹: «Наш закон является по сути своей статистическим. Он сводит кривые экономических распределений к известной кривой, имеющей вид колокола, которую называют также кривой Гаусса, или кривой погрешностей». Действительно ли идеалом статистического исследования является сведение экономических и социальных фактов, их движения и изменения к той или иной кривой, знакомой математикам? Конечно, изобретательность алгебраистов и геометров велика. Они владеют многочисленными приемами корректировки, они умеют вводить в свои формулы различные параметры так, что, соблюдая необходимые условия, всегда можно свести наблюдаемые кривые к теоретическим кривым известной формы. Именно таким образом английский статистик Джордж Одди Юл несколько лет назад показал, что кривые распределения населения, наблюдаемые на протяжении более чем ста лет в трех столь различных странах, как Англия, Франция и Соединенные Штаты, посредством некоторых корректировок легко замещают или частично перекрывают отдельные участки одной и той же теоретической кривой, которая имеет абсолютно правильную форму и выражается единственной формулой. Но кривые подобного рода ничего не сообщают

¹ *Gibrat. Inégalités économiques. — Прил. перекл.*

нам о внутреннем механизме, связывающем различные ряды фактов, в каковых выражается движение, приблизительно в них представленное. Между тем с изучения этого сочетания (jeu) связей — и только с него — начинается позитивное исследование. Есть также риск, что упрощения, необходимые для построения кривых, устранят большое число существенных черт, которые только и могли навести нас на путь объяснения.

Вот, например, исследование движения цен, которое в течение нескольких десятилетий с такой тщательностью проводилось во многих странах. Давно было замечено, что цены выражали циклические краткосрочные изменения: спад, застой, затем подъем — отделенные периодическими кризисами с интервалом в 5, 6, 7 лет. Здесь наблюдалось регулярное движение, которое, на первый взгляд, можно было представить кривой, подобной той, что выражает периодические колебания маятника, то есть синусоидальной кривой. К этой достаточно простой кривой обратились, возможно, оттого, что она отражала чередующиеся регулярные движения вокруг среднего уровня, то есть положения равновесия. Это физико-математическое представление получало все большее распространение, поскольку позволяло свести к простому и единому типу весь ряд последовательных изменений. Конечно, было заметно, что сквозь эти колебания и в каждом периоде проступало изменение иного типа и гораздо более продолжительное — как рост, так и понижение, — то усиливающее, то смягчающее эти колебания и вносящее в них иные отклонения. Но вместо того чтобы изучать это изменение само по себе, его постарались устранить, подобно тому, как склоны горы превращают в плоскость, в горизонтальную линию. Мысленно расчленили склоны и другие случайности (здесь: подъемы и спуски по отношению к склону) и сначала, чтобы установить крутизну склона, исходили этих подъемов и спусков. Таковую определили методом наименьших квадратов или как-то иначе, но затем о ней больше не было и речи. Подразумевалось, что это вто-

ростепенное изменение, не связанное с основными колебаниями и не оказывающее на них воздействия.

Конечно, в «Курсе статистики» Афтальона мы обнаруживаем: «Уже были выстроены некоторые теории, согласно которым долгосрочное движение цен также якобы подвержено большому ритму чередований». Но автор добавляет: «Существование этих больших циклов несколько сомнительно. До сих пор было замечено только два с половиной таких цикла (с конца XVIII века) — что слишком мало для установления устойчивой закономерности» (р. 95). Симиану, напротив, станет ясно, что одного или двух повторений достаточно, чтобы установить реальность этих больших циклов. Дело в том, что он рассмотрел весь их сложный механизм: двух опытов может быть достаточно, если они выявляют все сложное единство разнообразных факторов, которые точно измерены. Афтальон ограничивается простым чередованием подъема и спада, упрощенной кривой, которая действительно не типична, ибо отражает только один-два случая. Здесь все внимание обращено на краткосрочные циклические движения. Они уже породили обширную литературу. Предпринимаются попытки создать теорию, изолируя данные факты от сложного движения, в которое они вовлечены. Их пытаются объяснить из них самих.

Симиан, напротив, установил существование долгосрочных периодических изменений цен путем прямого наблюдения, охватывающего более ста лет, а не исходя из коротких циклических изменений. Более того, он понял их природу, лишь поместив их во взятое во всей сложности единство экономической эволюции, то есть повторно введя в изучаемый объект все то, что было из него устранено. Я еще не знаю точно, как он объяснял короткие циклические изменения, которым посвятил свою последнюю лекцию в Коллеж де Франс. Возможно, я сильно заблуждаюсь, но, полагаю, он понимал их механизм в свете долговременных изменений, короткие циклы размещая в их рамках.

Во всяком случае мне доподлинно известно, что для него циклические изменения не сводились к колебаниям в ту или иную сторону от положения равновесия, что он видел в них последовательные фазы органической эволюции и своего рода прогресса, так что каждый цикл или каждая его часть не были автоматическим воспроизведением предшествующего движения в том же (если речь идет о полном цикле) или в противоположном (если речь идет о половине цикла) направлении. Это было не периодическим возвратом к точке равновесия, но переходом от одного неравновесия к другому или, если угодно, от одного неустойчивого равновесия к другому, отличающегося от устойчивого уже тем, что такое предшествовало ему, подготовило его и в какой-то мере явилось его условием. Никакое простое схематическое представление не могло бы нам объяснить что-либо в подобной эволюции.

Понимать применение статистических методов в количественной социологии следует совсем иначе. Эти методы дают нам не теории, а инструменты наблюдения и сравнения, одновременно точные и объективные, и именно в этом направлении их следует развивать все далее. С этой точки зрения — и не вдаваясь в технические детали — мы должны испытывать приемы, с которых пор столь часто рекомендуемые и используемые под названием показателя и коэффициента зависимости, коэффициента корреляции. Их цель — при визуальном сравнении эмпирических кривых заменить вычисления единственным значением, заключенным, например, между -1 и $+1$, где $+1$ представляет степень максимального соответствия между двумя рядами фактов, 0 — отсутствие всякой связи, а -1 — максимальную степень несходства (которая, кстати, также является отношением зависимости). Преимущество такого метода состоит в том, что субъективную и качественную оценку (которая может меняться в зависимости от наблюдателя) он заменяет объективным и точным результатом. Вычисление автоматически ответило бы на вопрос, существует ли зависимость между этими двумя рядами и какова

степень этой зависимости. Теперь не нужно, как прежде, долго рассматривать кривые, проявляя изобретательность, интуицию, споровку: любой, кто сделает такое вычисление, проведет своего рода сортировку связанных друг с другом фактов, отделив их от всех прочих. Это может обеспечить производительность коллективной и лабораторной работы.

Но прежде следует признать, что математики не пришли к согласию о значении различных коэффициентов, скорее, они сошлись на том, что абсолютно достоверный коэффициент корреляции еще не найден. Совсем недавно, на последнем конгрессе Международного института статистики, Фреше, опросивший нескольких наиболее известных своей математической компетентностью статистиков относительно очень часто применяемого коэффициента корреляции Браве-Гальтона, констатировал, что «диапазон валидности коэффициента корреляции намного уже, чем это первоначально предполагали; никакое значение коэффициента корреляции, будь оно равно $+1$ или -1 , не могло бы само по себе гарантировать причинность, которую следует доказать соображениями иного порядка».

Но особенно спорным нам кажется сам принцип, на котором основывается этот метод. Речь идет о выявлении того, что со времен Джона Стюарта Милля называют сопутствующими изменениями в обоих рядах. Причем при этом не ограничиваются сравнением «первых различий» или «смежных изменений», то есть изменений в элементах, располагающихся один подле другого. Возможен учет изменения каждого ряда по отношению к его среднему значению. Разницу в интенсивности изменений обоих рядов здесь устраняют, отделяя отклонения путем вычисления среднеквадратичного отклонения для всего ряда (то, что ангlosаксы называют *standard deviation*²). Тем самым внимание переносится на общее значение и относительную значимость изменений. Все

² Стандартное отклонение. — Прим. перев.

это прекрасно. Но ведь, как это часто отмечалось, если изменения в двух рядах сопутствуют друг другу, имеет место ковариация, но из этого не следует, что между ними имеется корреляция. Возможно, существует третий ряд, связанный независимо с первым и со вторым. Ранее я обнаружил, что существует достаточно сильная ковариация между числом самоубийств и показателями экспортной торговли во Франции с 1870 по 1910 гг. — это, возможно, объясняется тем, что оба факта находятся в связи с промышленным прогрессом.

С другой стороны, главным неудобством такого метода является то, что в нем абстрагируются от порядка, в котором изменения следуют друг за другом во времени и которым нельзя просто так пренебречь. Можно было бы одновременно переставить два таких сопутствующих изменения, перенести их из середины в начало, в конец, или же действовать в обратном порядке, начать с конца. Коэффициент ковариации был бы тот же, но взаимосвязь фактов была бы совсем иной, поскольку мы находимся в такой области, в которой последовательность явлений необратима. Например, отмечали, что при росте цен растет и зарплата, но при снижении цен зарплата не снижается. В связи с этим же, как можно узнать, какой ряд изменений является причиной, а какой — следствием, если не обращать внимание на порядок следования? Конечно, можно сравнить изменения с разрывом в один или два года, и тогда неизбежные расхождения покажут, какой ряд изменений предшествует и является причиной. Именно так статистики Гарварда поступили в отношении трех кривых: биржевого движения, движения сделок, движения денег. Но известно, что эти методы прогнозирования работали лишь применительно к прошлому. К тому же между рядами имеют место взаимные воздействия и реакции: по отношению к соседнему ряду то или иное изменение в один момент оказывается причиной, в другой становится результатом. Об этом нам может сообщить только прямое и непрерывное наблюдение, которое следует тому

порядку, в каком явления сменяют друг друга из года в год. Это значит, что метод, не учитывающий такой порядок, возможно, упускает главное.

Конечно, главным объектом статистического метода являются соответствия в рядах изменений. Но мы хорошо понимаем, что изменение — в зависимости от фазы эволюции, в которой оно происходит, — может иметь различное значение, хотя его направление и интенсивность остаются теми же самыми. Увеличение количества произведенных товаров может происходить в период процветания, поскольку увеличиваются рынки сбыта и цены выгодны производителям. Но оно может произойти и происходит, как показал Симиан, в период спада именно потому, что цены снижаются, и за счет количества товаров пытаются компенсировать то, что теряют на розничной цене. В этом случае ковариация нам ничего не сообщает: именно она и нуждается в интерпретации. В этом смысле прогрессом было бы уже одновременное сравнение двух рядов при помощи нескольких показателей или коэффициентов, например, показателя зависимости, который точно отражал бы смежные изменения, и показателя корреляции, который отражал бы совокупность в целом. Также следовало бы сопоставить тем же образом два ряда, наблюдаемые одновременно, и, наконец, проследить изменения в зависимости от их порядка и интенсивности, установить одновременно движение и его скорость.

Конечно, математический арсенал в этом отношении предоставляет нам большое количество различных приемов, которые могут быть адаптированы к самым различным и самым сложным случаям. Но учитывая переплетения социальных фактов, разве нет риска потеряться в сложности абстрактных формул, и не лучше ли прежде обратить внимание и постоянно удерживать его на самих эмпирических кривых, которые уже столь многочисленны и разнообразны, что их достаточно, чтобы поглотить все усилия, на которые способен наблюдатель? Математический инструмент мощен, но не

будет ли его эффективность выше, если сначала другими методами определить связи, которые важно прояснить, выявить протяженность и границы поля исследований? Было бы иллюзией, чреватой серьезными последствиями, верить, что и сами связи, и это поле обнаружатся путем вычислений, посредством измерения всевозможными способами и во всех отношениях всего, что имеется в наличии. Поскольку число возможных сочетаний неограниченно, мы никогда не смогли бы их исчерпать и никогда не достигли бы цели.

Если мы теперь вспомним о том, что статистический метод в социологии должен применяться к единствам или реальным группам и выявлять их характерные особенности, существующие только в рамках единства и часто не реализующиеся ни у одного из индивидов и даже ни в одной из частных групп индивидов — особенности, которые можно различить или выделить только в рамках целого, — станет ясно, что существует риск переопределить (*reconstruire*) единство, исходя из той или иной его части. Например, подобным шагом в демографии была бы интерполяция, которая по произвольно выбранной части (чаще всего по десяти-двадцати прошлым годам, иногда по движению населения за последние два-три года) определяет, каким будет население Франции и любой другой страны, континента, всего мира в 1950 году или в 2000. Но только по наблюдениям за населением в течение пятидесяти лет можно точно узнать природу демографических тенденций за малую часть этого длительного периода.

Также, исходя из современного уровня рождаемости и смертности фертильных женщин брачного возраста, в отношении всего населения Франции можно сделать вывод, что вместо 1 000 женщин брачного возраста через определенное число десятилетий их будет только 900, 800, 600 — как будто вопрос не состоял именно в том, изменится ли уровень рождаемости и смертности в следующие десятилетия. На подобные расчеты расходуются огромные умственные усилия, которые на самом

деле ничего не прибавляют к нашим знаниям и дают представление (может быть, в необычной форме) всего лишь о том, что мы уже знаем и что справедливо лишь для ограниченного отрезка времени, к которому подобные данные относятся. Мы могли бы узнать существенно больше, если бы занимались исследованием, прежде всего, ранних периодов и расширяли пространство наблюдения, разлагали бы глобальные и смутные единства, каковыми являются населения стран, на более ограниченные, но не произвольные группы, пытались найти, нащупывая и сопоставляя, естественные социальные сочленения.

Я всегда с большим уважением к авторам читаю статьи по математической статистике, которые выходят в таких журналах, как «Metron» и «Econometrica». Надо ли говорить, что меня всегда несколько удивляет столь редкое обращение этих авторов к позитивной реальности и, как мне кажется, безразличие к простым и чистым фактам, фактам во всем их охвате, подробностях и чрезвычайном разнообразии. Совершенно справедливо, что специалистам в области демографии или экономической истории слишком часто не хватает того минимума математической культуры, без которой накопление фактов является в немалой мере лишь напрасной эрудицией. Но насколько большую службу сослужила бы нам математическая статистика, насколько успешнее она применялась бы в социальных науках, если бы те, кто ею занимается, более внимательно относились к современным результатам позитивной науки!

Репан говорил о логике и математике: «Это отнюдь не отдельные и последовательные науки, это всего лишь совокупности неизменных понятий. Они не сообщают ничего нового, а только позволяют хорошо анализировать уже известное. Не будем отрицать существования наук о вечном и неизменном, но со всей определенностью выведем их за пределы всякой реальности». Я не отнес бы это суждение к сказанному мною, ибо оно недостаточно подчеркивает то обстоятельство, что мате-

математика в любом случае укоренена в реальном — и именно потому, что от него отделена. Математика может быть чрезвычайно мощным инструментом при условии, что она подчиняется прогрессу позитивных наук. Но слишком часто происходит обратное. Кажется, например, что чаще всего мы отдаем предпочтение проблемам, для которых математическая статистика дает наиболее проверенные и удобные формулы. Однако что бы мы сказали о враче, которого вызвали к больному, уже давно страдающему, например, неврастенней или циклотимней, если бы этот врач ограничился тем, что использовал лишь принесенные с собой точные инструменты: термометр, приборы для измерения давления и для рентгеновского обследования внутренних органов? Разве не принципиально, чтобы он, напротив, расспросив больного, прежде получил общее представление о всем развитии болезни вплоть до настоящего момента? Разве не благодаря этим сведениям приобретут смысл точные наблюдения, которые можно сделать, используя инструменты?

В социальной науке, как и в социальной реальности, мы имеем шанс несколько продвинуться вперед, только приспособив математическую статистику к проблемам, которые ставит позитивное исследование, требуя от нее, главным образом, средство повышения точности измерения и выражения. Что касается объяснений, есть все основания полагать: в отношении фактов, несомненно, более сложных, чем в биологии, они не могут иметь вид математических.

*Методология Франсуа Симиана.
Рационалистический эмпиризм
(1936)**

Огюст Конт говорил, что когда научная дисциплина ускользает из рук ученых *докторов*, становясь достоянием литераторов, для нее это — начало упадка и наиболее ясный знак того, что она на пороге своего заката. И наоборот, когда она впервые осознает самое себя и трудности стоящей перед ней задачи, неудивительно, что, переходя из области литературы в область науки, она предстает в более строгом и грубом виде. Это тем более необходимо, что она должна разорвать с прежними привычками. Например, долгое время считали, что в политической экономии или в социальных науках достаточно немного здравого смысла и неспециализированного разума, который сразу же и без труда приспосабливается к любой теме. Поскольку политики, предприниматели, адвокаты, журналисты и популяризаторы всех видов и уровней с ходу брались за все эти проблемы и без видимых усилий их решали — правда, каждый по-своему и со своей точки зрения, — как было не ду-

* Опубликовано в: *Revue philosophique*. P. 121.

мать, что темы и сюжеты этой науки представляют собой предмет непринужденной беседы, в которой одним можно было блеснуть системностью взглядов, другим — скептицизмом? И разве можно было не считать самым дурным тоном введение в эту область научных методов и требований, основывающихся на доказательстве фактами, упорядочении и измерении таковых, на том требовании, чтобы определения, постулаты, принципы формулировались эксплицитно, а рассуждениям была придана надлежащая форма? Однако, если социальные факты гораздо сложнее, чем прочие, и если они до сих пор изучались очень поверхностно и поспешно, чтобы иметь шанс раскрыть их причины и законы, следует увеличить предосторожности. Если мы полагаем возможным создание науки о социальных фактах, мы не можем рассчитывать на триумфальный въезд: неизбежен тщательный анализ, выработка правил, нужно будет без конца возвращаться к основоположениям, к ранее сделанным утверждениям. Надо будет заново выстроить классификации, детально проверить аргументы и связи между ними, надо будет не бояться утомить внимание и вызвать потерю интереса из-за монотонности или сухости абстрактных построений, если таковые необходимы, придется углубляться в технические подробности, как только это понадобится, и до тех пор, пока такая надобность не отпадет. Только при этом условии будут заложены основы настоящей *доктрины*, то есть корпуса неопровержимых истин, который приобрел бы обязательный характер для совокупного единства (*universalité*) разумов и безгранично расширялся бы.

С этой точки зрения, Франсуа Симьян сегодня предстает одним из тех *докторов*, о которых говорил Огюст Конт — кто в наше время, быть может, более других внес наибольший вклад в формирование основ социологической доктрины в том смысле, о котором мы только что говорили. Философ по духу, он формировался, по его собственному выражению, под влиянием концептуаль-

ных методов¹, рано обратился к экономическим исследованиям². Не будет преувеличением сказать, что с его смертью наша страна потеряла самого крупного экономиста (не будем говорить о мировом масштабе). Однако мы не видим причин, чтобы не напомнить здесь о его вкладе в философию и одновременно о философском значении его творчества.

Можно сказать, что теологическая и метафизическая философия сформировалась много веков тому назад, но уже в менее отдаленную эпоху — во всяком случае, полтора века тому назад, а в более отчетливой форме в последние несколько десятилетий — экономические факты все больше завладевают вниманием думающих людей. Экономическая наука, или экономическая философия, постепенно приобретает очертания, становится устойчивее. Поэтому не нужно думать, что если эта часть философского учения оказалась обойдена вниманием со стороны мыслителей прошлых столетий, то ею действительно можно пренебречь. Скорее, как показал Симпан, экономические факты существуют как таковые и представляются важными лишь с относительно недавнего времени. Конечно, всегда существовали богатые и бедные, богатства, продукты, работники, промышленность, сельское хозяйство. Но этот аспект жизни людей

¹ Симпан прослушал курс Бергсона в Лицее Генриха IV, и мне вспоминается, что Бергсон представлял его как «наиболее философский ум, какой еще не встречался среди моих учеников». Во время собрания, последовавшего за первым уроком в Коллеж де Франс, Симпан вспоминал, что во время своего обучения в Высшей нормальной школе он многое почерпнул из курсов Левин-Брюля, познакомившего его с философией Огюста Канта. Будучи первым на конкурсном экзамене по философии, Симпан опубликовал множество статей в «Revue de métaphysique et de morale» и в «Revue philosophique», делал важные сообщения во Французском философском обществе и на III Международном конгрессе по философии (Гейдельберг, 1908).

² Симпан преподавал историю экономических фактов и учений, затем историю экономической статистики в Высшей практической школе с 1910 по 1935 гг.; он был профессором политической экономики в Консерватории искусств и ремесел с 1923 по 1934 гг. (бывшая кафедра Ж.-Б. Сея), а также историю труда в Коллеж де Франс (1932–1935). Он опубликовал 3-томный «Курс политической экономики для Консерватории» (книга вышла в Париже в 1929 г.).

не выступал в той мере, в какой это происходит сегодня, на первый план их мышления. Другие интересы: религиозные, семейные, политические, военные — привлекали больше внимания, и сегодня мы говорим об экономической жизни прошлого в значительной степени благодаря тому, что научились сами выделять этот аспект социальной жизни из всех остальных. Иными словами, философия — это всегда лишь рефлексивное исследование содержания категории коллективных представлений. По мере изменения таковых, вполне естественно, объект философской рефлексии расширяется либо перемещается. Философия не справилась бы со своей задачей, если бы была направлена на тот порядок реальности, который составляет все более значительную часть психологической жизни людей и групп.

Но, с другой стороны, пока догматическая философия продолжает ориентироваться на проблемы великой традиции, она не может препятствовать постепенному распространению научного исследования на все факты природы и, в частности, на социальные человеческие факты. Важнейшей частью чистой философии является исследование приемов, которые использует разум, чтобы при помощи своего света проникнуть во всякий порядок фактов и вобрать его в себя, каким бы этот порядок ни был. Сверх и, возможно, помимо как философии теологической или метафизической, так и социально-экономической, имеется теория знаний и методология различных дисциплин. Сами философы считают, что понимаемая таким образом логика — формальная логика, логика наук — принадлежит области их исследований. А Спинноз был методологом высокого класса. Дедукция и индукция, понятия причины, условий, причинных отношений и научных законов или закономерностей, исторический, концептуальный, экспериментальный методы — обо всем этом он не переставал размышлять.

С точки зрения тех частных наук, которым он себя посвятил, ему возражали, что обычно ученые придают второстепенное значение рассуждениям о методе. Возможно, только социальным наукам свойственно пред-

шествующее получению каких бы то ни было результатов глубокое осмысление используемых приемов, их природы и значения. Во всяком случае, отнюдь не философы могут упрекнуть Симиана в том, что большую часть своих усилий он затратил на изучение движения самого разума, на факторы и элементы познания. Обычно сходятся во мнении, что «Рассуждение о методе» Декарта заслуживает изучения само по себе, независимо от его «Геометрии», «Диоптрики» или «Метеоров». Точно так же методологию Симиана можно рассматривать саму по себе, абстрагируясь от полученных с ее помощью результатов, как вклад в научную логику и, в более общем виде, в исследование деятельности разума.

Перед социологом, который намеревается объяснять социальные факты, открыты два пути. Но, как оказывается, ни тот, ни другой не ведет его к цели. Если он, как Джон Стюарт Милль, чувствителен, главным образом, к сложности этих фактов, он попытается воссоздать их путем дедукции, исходя из общих свойств человеческого существа: это абстрактный метод, который никогда не соприкоснется с реальностью. Мы еще вернемся к этому методу, последовательную критику которого дал Симиан. А если социолог обеспокоен прежде всего тем, чтобы не потерять контакт с фактами, он будет рассматривать их как историк, то есть в их конкретной форме. Но как отсюда вывести общее суждение? Потому-то Сеньобос считает, что в историю нельзя вводить способы объяснения, подобные тем, что мы обнаруживаем в науках о природе. Но если бы это было так, нам пришлось бы отказаться от любого индуктивного объяснения социальных фактов. Естественно, что Симиан с самого начала и постоянно стремился опровергнуть это мнение³.

³ «Méthode historique et science sociale», сообщение в Обществе современной истории (январь 1903). *Revue de synthèse historique*. — février-avril 1903. P. 1–22, 129–157; «La causalité en histoire», сообщение во Французском философском обществе (заседание в мае 1906 г.) и обсуждения. *Bulletin de la Société française de philosophie*. Juillet 1906. P. 245–290. Дискуссия по поводу сообщения, сделанного в ответ на доклад Сеньобоса: «Les conditions pratiques de la recherche des causes dans le travail historique» (заседание в мае 1907 года). *Ibid.* Juillet 1907. P. 291–298, 385–386.

Нам говорят: «Социальный факт психологичен по своей природе, а будучи таковым, он субъективен». Первая часть этого утверждения верна. Социальный факт — это отношение людей к объектам природы или отношение людей между собой по поводу этих объектов. Здесь все сводится к привычкам, признанным правам, то есть психологическим элементам. Но вторая часть неточна. Если социальный факт субъективен, то невозможна социальная наука, поскольку она может быть только наукой об объективном. Но что такое объект, и какое условие является необходимым и достаточным, чтобы знание о нем было объективным? Если речь идет о внешнем восприятии, мы называем объектом то, что в психологическом комплексе предстает не зависящим от нас, не произведенным нами и имеющим для нас принудительную силу. Именно это отличает восприятие от сна, воображения, галлюцинации. Таким образом, объективность — это не свойство, вытекающее из самих вещей. Объект, вещь, с эмпирической точки зрения — только единство ощущений, созданное исключительно путем абстракции. Точно так же, объективными научные результаты становятся в силу того, что они кажутся нам независимыми от нашего действия и от нашей мыслительной спонтанности, и в силу того, что они представляют закономерности сосуществования и следования, которым мы подчинены.

В этом смысле наука является объективной, и ей не нужно выходить за рамки явлений. Различают же в физике ощущения и то, что объективно (звуки, цвета и т. д.). В области же социальных фактов объективным будет все то в нас, что к нам приходит от общества: юридические правила, религиозные догмы, формы собственности, способы обмена и т. д. Моя индивидуальная воля отлична от всего этого комплекса, в котором ее можно выделить путем абстракции. Именно так можно сформировать социальный факт.

Но тогда нам возразят: «Социальный факт — не более чем абстракция. Чтобы иметь дело с реальностью,

надо изучать индивидов, ибо только они — реальные объекты». Как будто эти индивидуальные объекты имеют вещественную реальность! В действительности это всего лишь комплексы ощущений. Органический индивид — это абстракция. Клетки — тоже. Социальное явление — абстракция в той же степени, в какой абстракцией является явление химическое или физическое. Всякий научный факт есть абстракция. Нас не должны смущать забавы номиналистов: «Правительство — это абстракция; Церковь, семья, текстильная промышленность — абстракция. Скажите лучше: правители, духовенство, члены семьи, индивиды, образующие текстильную промышленность». Тогда отчего бы не сказать физиологам: «Собака, желудок, функция кровообращения — это лишь абстракция. Реально существуют лишь собаки, желудки, кровь, сердца и даже клетки, кровеносные сосуды, клетки желудка. Абстрактная собака не существует, она не лает. Сердце — это не действующее существо, и кровообращение — также».

Достаточно использовать абстрактные идеи, не приписывая им метафизического существования. Социолог не верит в мифические существа, какими являлись бы обмен, машинная индустрия, равно как и в субстанциальные сущности, коими может выступать текстильная промышленность или католическая церковь. Но он обязан употреблять эти абстракции, так как только они позволяют ему выразить объект исследования и установить отношение, которое соответствует характеру науки. Если же я рассматриваю только индивидов, я запрещаю себе выделять в них то, что относится к способу организации, то есть общий социальный элемент, из всего, что по отношению к нему чуждо или безразлично. Мой долг — сказать: машинная индустрия как форма производства порождает то или иное следствие. Индивиды претерпевают этот процесс, но не объясняют его. К тому же бесполезно различать разные степени абстракции. Правительство, демократическая партия — это одна реальность, правители, демократы — другая.

Главное — использовать удачные абстракции, которые выявляют закономерности или законы.

Нам скажут: «Пускай социальные явления существуют и различаются, но они никогда не могут иметь иного происхождения, кроме индивидуального. Они происходят только от повторяющихся и обобщенных индивидуальных действий и идей. Они — творение наших отцов, дедов, более отдаленных предков. И не важно, сколь высоко мы здесь поднялись — социальные факты всегда объясняются только действием, согласием, договором индивидов». Правда ли то, что социальная организация — это абсолютно искусственное образование, являющееся результатом ежедневно возобновляемого согласия между людьми, и что если бы мы однажды решили от нее отказаться, она стала бы другой? Однако где в истории мы можем найти следы такого договора или соглашения между независимыми индивидами? Напротив, чем больше мы углубляемся в прошлое, тем больше индивид кажется нам интегрированным в недифференцированную группу.

По сути, здесь мы имеем дело с неверно истолкованным понятием причины. Историки понимают под причиной один или несколько предшествующих фактов, выбранных наугад в соответствии с чутьем, с идеями самого историка и его окружения, интеллектуальной модой. Действия, мысли, мотивы людей прошлого *воображают*, соотносясь с теми людьми, которые известны, с современниками. Практику объясняют через ее предназначение, ее функцию, тот или иной институт — через его полезность (по крайней мере, кажущуюся). Но в человеческом действии не всегда осознаются его истинные причины. В тот или иной момент один и тот же институт используется в различных и даже противоположных целях. Как же тогда учесть его сложность и его особенности? В действительности, причина — это предшествующее явление, неизменное и несобусловленное. Причина есть лишь там, где есть закон (по крайней мере, предполагаемый). В этом смысле индивидуальное явление причины не имеет.

Однако существует мнение, что собственный интерес истории состоит в объяснении того, что в ней есть индивидуального, конкретного. Понимаемая таким образом история была бы не исследованием фактов прошлого по модели естественных наук, она представляла бы собой хотя и не искусство, но науку, имеющую установленный, данный способ объяснения, касающийся тех фактов, которые, как и их причина, никогда не воспроизводятся дважды. Должна была бы существовать историческая причинность, которая связывала бы частные факты между собой. Что следует об этом думать?

Утверждение о том, что мы имеем дело с частными фактами, которые как таковые в точности не повторяются, справедливо для всех научных областей. Возьмем биологию: желудок дважды не реагирует одинаково. Возьмем минералогию: в истории Земли не будет второго каменноугольного периода. То же самое верно и для железного бруса: он имеет некоторые особенности, отличающие его от других. Конкретное в таком понимании может пониматься как сложность, как случайное соединение рядов независимых причин. Тогда мы имеем альтернативу. Либо объяснение индивидуального будет границей — и в этом случае речь пойдет о комбинировании абстракций с целью постоянного уменьшения доли необъясненного. Но тогда то, что можно будет объяснить таким образом, будет объяснено в соответствии с типом причинности, имеющимся в других науках. Либо явление в своей абстрактной форме уникально (затмение, появление кометы) и представляет собой единичный опыт. Если я *понимаю*, что при повторении причины оно повторится, я по-прежнему остаюсь в рамках естественных причинных отношений. С другой стороны, конкретное можно вообразить как уникальный синтез, следствие абсолютно непредусмотренной спонтанности, при этом действующей как в отношении фактов органических и неорганических, так и исторических. Тогда можно попытаться запечатлеть этот синтез в каком-нибудь образе, подобно тому, как

симфония выражает чувство, то есть прибегнуть к объективно произвольной интуиции. Придется сказать, что объяснить можно все, кроме этого.

Историки уделяют много внимания случайным фактам (слово пастуха решает судьбу империи; личность Гладстона объясняет эволюцию английской политики). В действительности они либо ограничиваются условиями и недооценивают истинные причины события, либо неосознанно ссылаются на множество социологических законов, которые не доказаны или смутны и которые следовало бы сформулировать и раскрыть как [совокупность] общих отношений. Социальная наука должна вычленить устойчивые и определенные отношения после того, как зафиксированы и обособлены случайности. И операция эта не отличается от тех, которые производят в позитивных науках.

Предположим, что порог воды в заливе поднимается, и флора и фауна эволюционируют в таком направлении, что приобретают особенности, характерные для организмов, живущих в пресноводном озере. Можно ли сказать, что причиной возникновения этих особенностей является этот подъем? Событие — лишь условие, действительные же причины — биологические факты, факты адаптации организмов к определенной среде, остающиеся неизменными при любых условиях, в которых организмы оказались. Факт заболевания индивида чаще всего может рассматриваться как случайность. Физиолог, врач отмечает этот случайный элемент, но его собственная работа — установить отношение причин и следствий события, которое вслед за этим событием или по причине такового имеет место в организме.

Сммиан, в итоге, предлагает ряд правил, посредством которых возможно дать научное объяснение историческим и социальным фактам⁴.

⁴ La causalité en histoire. См. в том же исследовании детальное рассмотрение текста, взятого из «Истории современной Европы» Сеньобоса (*Seignobos. Histoire de l'Europe contemporaine*).

1. Определить в *общих терминах* конкретное следствие, которое предлагается объяснить. То есть следует искать выражение, которое само уже было бы научно-аналитическим. Вместо того, чтобы сказать: «Революция 1848 года во Франции», следует говорить: «свержение непопулярного правительства небольшой группой противников, сумевших воспользоваться тем или иным обстоятельством»; вместо: «отмена законов о зерне в Англии» следует говорить: «отказ от закона, ущемляющего интересы экономической категории, наделенной политической властью, выгодного некоей другой экономической категории, определяемой так-то, таким-то способом» и т. д. Впрочем, общее и конкретное не противоречат друг другу.

2. Среди множества явлений, предшествующих данному, причиной будет то, что можно связать с ним *наиболее общим отношением*. Можно ли сказать, взрывая скалу и поджигая при этом кучу пороха, что причиной взрыва является скала, порох или огонь? Скала связана со взрывом только очень частным отношением, равно как и порох, и огонь. Напротив, резкое расширение газа связано со взрывом гораздо более общим отношением, поскольку не требует существования ни скалы, ни пороха, ни огня — данное явление произошло бы и в иной ситуации. Значит, это и есть причина, все же остальное — только условия. Столь же частным является и соотношение между революцией, маленькой группой подстрекателей, свергнутым королем, изменением порядка голосования, объединением Штатов и т. д. Следует искать более общий факт, например, факт несоответствия. Иными словами, условие — это предшествующее, которое может быть замещено чем-то другим, а причина — это то, что не может быть замещено, а если и может, то в наименьшей степени. Впрочем, всякое разделение на причину и условие всегда относительно. Если речь идет об эпидемии, один и тот же факт (например, скученность) для социолога будет причиной, а для биолога — условием, и наоборот.

Следствие 1: Всегда нужно выявлять непосредственно предшествующее событие. Часто говорят: при простуде возникает насморк. Но при этом существует событие, непосредственно предшествующее насморку: спазматическое воздействие холода на ткани, слизистые оболочки, выделения слизистых. Именно оно и является причиной.

Следствие 2: Всегда нужно стремиться к взаимозаменимости объясняющих суждений. В истории ничто не встречается так часто, как объяснения одного и того же факта (повторяющегося) разными причинами. Если одни и те же причины вызывают одинаковые следствия, то следствие является результатом одной и той же причины. Если нельзя произвести взаимную замену, значит, истинная причинная зависимость не найдена.

Использование этих правил ведет к устранению индивида в качестве причины. Индивид никогда не бывает непосредственно предшествующим событием. Например, причиной в случае с Гладстоном является то, что отличает событие, когда предложенный им закон прошел голосование, от другого события, когда закон не прошел — а именно, абстрактный элемент его личности. Индивид — это только случай, и его чаще всего можно заменить⁵. Заметим также, что и подражание ничего не объясняет (одна мода или подражание успешно приживается, другая — нет), как не являются объяснением мотивы, задачи, преследуемые цели (которые встречаются в одном случае и отсутствуют в другом). В более общем виде, эволюция, следование никогда не объясняются через самое себя, но только при условии признания их соответствия некоторому закону.

Из всего вышесказанного следует, что, вопреки встречающемуся иногда мнению, роль социолога состоит не только в обработке материала, который ему пре-

⁵ По этому поводу см. также рецензию Сумиана на книгу: *Mantoux. La révolution industrielle au XVIII^e siècle. Essai sur les commencements de la grande industrie moderne en Angleterre* (1906). Рецензия помещена в: *Année sociologique*. № 10. 1905–1906. P. 539–551.

доставляет историк. Ведь обычно этот материал выработан таким образом, что из него нельзя выделить общие отношения, которые к тому же представлены так, что передают реальность в деформированном и усеченном виде. Нам говорят: «История есть точное, беспристрастное представление о прошлом, лишенное тенденциозности или морализаторских целей». Пусть так. Но «точное» не значит «беспристрастное», не значит «автоматическое»; «лишенное тенденциозности» не значит «непредвзятое», «без отбора». Некоторые астрономы могут специализироваться на фотографировании неба. Но история ни в малейшей степени не является фотографированием прошлого. Самое сырое историческое произведение, даже просто сборник документов — это уже выбор. Для того, чтобы с пользой эксплуатировать простой жернов, надо иметь хоть какое-то представление о строении, формах и размерах деталей, которые могут использоваться. Могут ли понадобиться ученому эти материалы? Не потребуют ли они новой обработки? И может быть, для науки лучше черпать нужные сведения из сырой материи напрямую?

По сути, история — это исследование, которое проводят собственными средствами, наугад, вместо того, чтобы пользоваться услугами науки. Что же удивительного, если нас гнетет вес фактов, накопленных в огромном количестве, но чаще всего бесполезных, непригодных к использованию, так как они разрабатывались плохо? Лакомб говорил: «Вес фактов, собранных в разуме, можно уменьшить, лишь связывая их, и эта связь может быть только научным обобщением»⁶.

Но разве обобщение не есть прежде всего упрощение? И поскольку ошибка историков состоит в том, что они поддаются гипнозу конкретного, разве не будет наилучшим методом непосредственное обращение к

⁶ С этой критикой истории можно сравнить критику Симпаном географии в: *Etude sur la «géographie humaine»* // *Année sociologique*. № 11. P. 723–732). См. обсуждение этой работы Л. Февром в его книге «*La Terre et l'évolution humaine*», гл. I, а также ответ Хальбвакса в: *Année sociologique*. Nouvelle série. T. I. P. 900–910.

абстрактному, чтобы, подобно геометру, исходить вначале из каких-то простых идей, элементарных положений о природе человека, а затем дедуктивным путем воссоздать приблизительный образ человеческого общества и вновь прийти к реальности? Разве не существует по крайней мере одна социальная наука — политическая экономия, — которая, как кажется, установила подобным образом действительные законы и свела к некоторым элементарным принципам все сложное взаимодействие различных видов экономической деятельности? Разве один из наиболее известных теоретиков, рассуждавших о логике социальных наук, не пришел к выводу, что здесь подходит только *обратный дедуктивный метод*? Его суть в следующем: имея общее представление о том, что именно хотят объяснить, зная в общих чертах реальность, идти ей навстречу, сочетая элементарные суждения, которые не выведены и не извлечены из социальных фактов.

В студенческой работе о теории познания Канта, написанной Симианом в 1894 году, мы выделим следующий отрывок: «Если я считаю, что схоластический, рационалистический, систематический строй кантовского изложения мешает мне восприятию его идей, то это просто значит, что мой разум не имеет склонности к схоластике, к рационализму, “систематизации” в достаточной степени. В конечном счете, само это противопоставление заставило меня осознать этот факт». Фактически, начиная с этой и до своих последних работ, Симиан не переставал предостерегать социологов и экономистов от концептуального или абстрактного метода (применением которого, в частности, в политической экономии являются чистая и математическая экономика). Это, можно сказать, лейтмотив всей его методологии⁷.

В этом вопросе он не боялся повторять самого себя и часто возобновлять одну и ту же аргументацию почти в той же форме, поскольку находился в той внешней

⁷ См. прежде всего: *La méthode positive en science économique*. Paris: Alcan, 1911.

невыгодной ситуации, в какой всегда оказывались ученые (по крайней мере, в начале своей научной деятельности), вступая в споры с метафизиками. С одной стороны, еще нет достоверных результатов, или же они настолько скромны, что кажутся незаслуживающими внимания. Кроме того, следует иметь в виду и трудности, задержки, которые предполагает позитивное исследование, необходимость очень «приземленной» работы, чрезвычайно техничной и специализированной, значительный разрыв (способный остудить самую большую решимость) между желаемым и достижимым. С другой стороны, видимость обширных и окончательных результатов, полученных достаточно быстро, — конечно же, за счет усилий, но эти усилия поощряются и вознаграждаются чувством того, что создаваемая вами система является плодом личной изобретательности, если не вашего гения; удовлетворение от того, что вы сразу же открываете более широкие перспективы, при этом перескакивая через факты и отворачиваясь от тружеников, склонившихся к земле. Но что если все это — лишь кажимость? «Противопоставление фрагментарным и всегда лишь предварительным результатам экономической науки всего корпуса классической доктрины, где все вопросы кажутся имеющими решение, — писал Симиан в 1899 году, — отнюдь не является для нас аргументом. На самом деле, претензии на объяснение всего сразу являются собой скорее особенность примитивных и грубых знаний; истинная наука при своем появлении прежде всего объясняет гораздо более узкую область. У деревенского знахаря гораздо меньше сомнений по поводу причин болезней, чем у умудренного научным опытом врача. Экономическая наука сейчас ощущает себя очень невежественной: возможно, это и есть тот прогресс, который ей больше всего нужен»^{*}.

Обратимся сначала к традиционной доктрине политической экономии, которая в области социальных наук предлагает наиболее показательный пример кон-

^{*} Op. cit. P. 37.

цептуального метода. Поскольку экономисты рассуждают об удовлетворении потребностей через деятельность людей, им следует исходить из каких-то психологических положений. В целом они заявляют, что придерживаются главного мотива экономической деятельности, и формулируют следующее исходное психологическое суждение: «В экономической жизни главный и общий мотив человеческих действий — это личная выгода, которая побуждает нас искать наибольшего преимущества с минимальной затратой усилий, жертв и возможного риска». Мы еще вернемся к этому принципу. А пока примем его. Нас интересует вот что: будет ли дедукция с установлением этого принципа действовать надежно и с полной строгостью, подобно тому как развертывается «цепь простых и понятных оснований»⁹.

Возьмем несколько примеров. Размещение капитала. Чтобы удержаться от его растраты, пожертвовать немедленным его использованием, нужно, чтобы [этому] была найдена достаточная компенсация, выраженная в приросте капитала. В этом случае процентная ставка будет решающим фактором. Если она понизится, капиталы будут отозваны или не будут размещены. Но почему бы, спрашивает Симпан, дедукции не пойти по другому пути? Если человек не потребляет свой капитал, значит, он вполне доволен тем, как удовлетворяются его потребности в данный момент. Вот почему он старается его сохранить — ради возможной пользы, которую он получит от него позднее. Поэтому важно, чтобы размещение капитала было надежным. Решающим фактором становится безопасность размещения. Приток капиталов будет происходить и туда, где процентные ставки самые низкие, но зато обеспечена (или, еще лучше, растет) безопасность вклада. Итак, эти два пути ведут к противоположным выводам. Как же выбрать один из них?

⁹ *Op. cit.* См. гл. I «Дедукция или психологическое наблюдение в социальной науке. Методические заметки» (опубликовано сначала в виде статьи в «Revue de métaphysique et de morale», июль 1899. Р. 446–462).

Другой вопрос. Свободная конкуренция и ее влияние на качество и цену изделий. Между двумя изделиями одного вида, при равной цене (то есть потерях) клиент будет искать наилучшее качество (наибольшее преимущество); при равном качестве — самую низкую цену (те же преимущества, меньше потерь). Но как выбрать, если, как это обычно бывает, одновременно встречаются различия и в преимуществах, и в потерях? Вот мебель из сосны: менее прочная, но и менее дорогая — умеренное преимущество, небольшие потери. А вот мебель из ореха: более прочная и долговечная, но дорогая — заметное преимущество, существенные потери. Где для человека будет больше выгоды? И можно ли предвидеть, что в зависимости от его выбора конкурирующее производство будет заботиться в большей степени о дешевизне, а не о качестве, либо же пойдет по пути повышения качества, не беспокоясь о снижении цен?

Наконец, можно ли в теории заработной платы на основании того, что рабочий ищет свою выгоду, сделать вывод о существовании минимума зарплаты, который точно выражает величину, необходимую для удовлетворения его основных потребностей? Если вознаграждение за труд опускается ниже этой величины и не спасает рабочего от нищеты, не выгоднее ли ему избавить себя по крайней мере от трудовой нагрузки? Но из этого можно также сделать вывод о том, что минимума заработной платы не существует. Рабочий ищет средства избежать полного обнищания. Он всегда будет работать, была бы хоть какая-то зарплата — поскольку любое вознаграждение всегда будет иметь для него значение. Рассматривая одну лишь выгоду, как узнать, стоит ли затраченное усилие меньше, чем удовлетворение всех потребностей, или меньше, чем хотя бы частичное удовлетворение потребности? (Напомним, что позже, путем статистических наблюдений Симнан сумел установить шкалу или градацию предпочтений в группах рабочих: сначала — удержать денежный доход как таковой, только затем — не увеличивать затраты уси-

лий, после — увеличить денежный уровень дохода и в последнюю очередь — уменьшить затрату сил.) Но если это неизвестно, как установить общие законы заработной платы?

Добавим следующее: личная выгода побуждает человека к удовлетворению наибольшего числа потребностей. Но существует ли граница в списке потребностей и степени их удовлетворения? В зависимости от ответа на этот вопрос рабочий либо согласится, либо не согласится увеличить качество и интенсивность своего труда ради дополнительного заработка.

Таким образом, в различных случаях анализ выделяет два или несколько несовпадающих направлений действия, которые в одинаковой степени соответствуют исходному принципу. А ведь доктрина должна была бы выбрать одно из них, исключив всякое другое толкование. И если, придерживаясь дедуктивного метода, сделать это не удалось, то не потому ли, что исследователи все же безотчетно руководствовались некоторыми элементами, почерпнутыми из реальности, некоторыми наблюдениями, впрочем, поверхностными и неполными?

Нужно либо заниматься дедукцией, либо наблюдать, но не наблюдать и дедуцировать одновременно, иначе разом пропадают все преимущества как дедукции, так и наблюдения. Нельзя менять принцип в процессе работы, ограничивать и задавать его в каком-то частном направлении, поскольку тогда он будет ценен только теми своими следствиями, которые получают свою силу не из этого принципа. По существу, авторы приносят свои частные наблюдения в принцип, который должен цениться в силу своей общности. Одни замечают, что человек при размещении своих капиталов в первую очередь ищет возможности получения дохода, а другие — что он находит личную выгоду прежде всего в безопасности вложения средств. Считалось, что рабочий заинтересован хотя бы в минимуме заработной платы, поскольку в современном Западном мире рабочие часто выдвигают подобное требование. Однако, живи они среди

китайского или негритянского населения, наши экономисты признали бы, что из выгоды рабочий часто вынужден соглашаться на совершенно мизерную зарплату.

Формула «человек преследует свою выгоду» справедлива лишь в том случае, если экономист может разъяснить человеку, в чем состоит его подлинная выгода. Но как экономист может ее выявить, если он не проводил никаких наблюдений? И если даже он проводил такие наблюдения за людьми, он знает не о том, что им на самом деле выгодно, но о том, что им таким кажется. Однако то, что кажется выгодным одному, не обязательно представляется столь же выгодным другому. Отсюда противоречивость выводов, являющаяся следствием того, что один принцип охватывает различные и даже противоположные наблюдения.

Попробуем теперь, опираясь исключительно на дедукцию, исходить из принципов, рассматриваемых либо в качестве самоочевидных истин, либо даже в качестве предположений. Такая позиция является *идеологической*: она полностью ясна и, может быть, наиболее логична, но придерживаться ее затруднительно. Действительно, чтобы доктрина оставалась чисто аналитической, она должна разорвать все связи, которые она может сохранять с конкретной реальностью. В этом случае наблюдение больше не будет применяться даже для того, чтобы проверить установленные следствия и чтобы тем самым придать принципу фактическую достоверность. Если гипотезы, представляемые до сих пор, были в той или иной степени подсказаны реальностью, это доказывает только то, что нашим авторам не достало воображения. Но это не может отменить теоретическую природу таких гипотез. Поскольку они произвольны, «с не меньшей обоснованностью [на новом основании] можно было бы построить множество иных концептуальных систем экономической науки. Например, экономическую теорию можно было бы основать на гипотезе, что труд — это удовольствие, а не тяжелая необходимость; или на гипотезе, что человек ищет свою меньшую выгоду, или что он в наименьшей степени

пытается удовлетворить свои потребности (аскетическая гипотеза)»¹⁰, и на всех подобных предположениях, какие только можно сделать. Спекуляция допускает любую свободу. Если авторам нравится изощряться в построении подобных систем, которые не претендуют на объяснение реальности, такая игра ума остается вне нашей критики.

На самом же деле большинство теоретиков на этом не останавливается. Если бы они не ставили своей целью понимание и объяснение экономической реальности, то зачем и по какому праву они бы стали называть свои теории экономической наукой? Прежде всего они мысленно помещают себя в идеально простые условия. «Они строят заведомо концептуальные и схематичные гипотезы и путем дедукции выводят все, что может быть следствием этих условий в рамках указанных гипотез. Наконец, они употребляют результаты абстрактного анализа, чтобы проникнуть в смутные единства, каковыми являются конкретные факты, и прояснить большую или меньшую роль, которую играет это предварительное идеальное упрощение в их понимании»¹¹. Однако такое приближение к фактам отнюдь не является проверкой истинности теории. Вот как в действительности поступают теоретики.

Соответствуют ли их утверждениям наблюдения над фактами или хотя бы над некоторыми из них? Они ими пользуются, чтобы доказать совершенство теории. А если не соответствуют? Тогда всю вину возлагают на сложность явлений, трудности в осуществлении наблюдения, которое соответствовало бы теоретическим позициям, на роль случая, имеющего место во всякой конкретной реальности. Таким образом, теоретики могут, не противореча самим себе, с одной стороны, отказаться от контроля над теорией со стороны фактов, а с другой стороны, утверждать, что теория необходима для их осмысления.

¹⁰ Op. cit. P. 33

¹¹ Op. cit. P. 186. Сообщение на конгрессе в Гейдельберге.

«Один из самых лучших примеров, который только можно привести в пользу права исходить из гипотез, — говорит Симпан, — это атомная теория. Однако: 1) защищающие ее ученые в действительности стремились доказать верифицируемость ее следствий. И если она приобрела известную роль, то только потому, что все следствия, которые можно было получить из нее путем умозаключения, действительно оказывались верифицированными; 2) но и тогда данная теория даже ее сторонниками продолжала считаться гипотезой и отвергалась отдельными учеными до тех пор, пока фактическое доказательство не заменило [дедуктивно полученных] следствий; 3) наконец, некоторые недавно выявленные факты, по всей видимости, непосредственно верифицируют эту теорию, но никто не задумался над тем, что для ее научной ценности успешное проведение такой верификации очень важно. Что же думать о претендующей на истинность теории, если она не вступила даже на начальный этап своего развития?»¹²

Теперь рассмотрим сами принципы или предпосылки, из которых может исходить подобного рода теория. Например, был выдвинут принцип поиска личной выгоды. Надо определить выгоду чисто аналитически, не заботясь о том, как ее могут понимать определенные реальные группы людей или наблюдаемые индивиды, а *a priori* вводя идею личной выгоды — с единственным условием, чтобы вошедшие в нее элементы согласовывались между собой. Возможно ли это? Мыслимо ли это? Как мы показали, в эти понятия всегда входят, не могут не войти, какие-то эмпирические элементы. Однако эти данные, заимствованные из реальности, являются результатом не методичного просмотра фактов, а особых условий, в которых оказался наш автор, и, в конце концов, случайности. Серьезнее всего, что он не отдает себе в этом отчета и, забыв, откуда пришли эти элементы

¹² Op. cit. P. 130–131. De l'économie mathématique// Année sociologique. № 11 (1906–1909). 1910; относительно предисловия Пеплеве к французскому переводу «Теории политической экономии» Уильяма Стэнли Джвонса (1909).

наблюдений, полагает, будто они являются продуктом чистого и простого разума, в результате чего он начинает противопоставлять, как истину — мнению, свой личный опыт опыту групповому, опыту людей, с которыми он вступает или не вступает в контакт. Но в таком случае истина оказывается абсолютно произвольной и субъективной, а мнение — единственной объективно наблюдаемой реальностью.

«Иначе и быть не может в идеологической доктрине. Или она пожелает оставаться сугубо объяснительной, тогда, как только факты перестанут соответствовать теории... ей не останется ничего другого, кроме как отказаться от этой теории и прибегнуть к действительно экспериментальному методу, то есть отказаться от самой себя. Или же (если факты не пригнаны к результатам дедукции) она может заявить, что ее теория объясняет вещи такими, какими они *должны* быть, какими они были бы, если бы человек понимал свою выгоду так, как ее следует понимать *разумно*»¹³. Например, нам скажут, что если бы люди правильно сознавали свою выгоду, вместо того чтобы делать слишком малые или слишком большие вложения, они вкладывали бы ровно столько, чтобы их доход всегда обеспечивал им удовлетворение их потребностей на одном и том же уровне. Но если люди не следуют этой максиме, на каком основании утверждают, что оно фиксирует наиболее выгодное поведение? Почему бы нам не находить больше удовлетворения в «поочередном переходе от скромной жизни без излишеств к жизни на широкую ногу, от ограничений — к безграничному удовольствию, хотя бы и временному?» Чем это менее *разумно*?¹⁴

¹³ Op. cit. P. 79. Une théorie selon la méthode abstraite// Année sociologique. № 8 (1903–1904). 1905; относительно работы Landry A. L'interêt du capital. 1904.

¹⁴ Op. cit. P. 78. Относительно принципа предпочтения настоящих благ будущим, на котором основана теория выгоды Бем-Баверка и Ландри, Симпан возражает, что наше воображение более ярко рисует нам радости ближайшего будущего, нежели будущего отдаленного: «Для некоторых воздушные замки и химеры тем более сильны и притягательны, чем они отдаленней» (ibid. P. 74).

Иными словами, если мы претендуем на то, чтобы высказываться относительно реальности, не принимая ее в качестве отправной точки, то нам остается лишь противопоставить тому, что есть, то, что должно быть, если бы в реальности все было организовано так же, как в разуме теоретика. В конце концов, это значит следовать нормативному и финалистскому направлению, не имеющему ничего общего с научным поиском. Или, скорее, это означает, что путем недопустимой перестановки в порядке проблем мы приходим к прикладной науке до того, как создана наука чистая. Предлагают следовать именно такому порядку во имя чистой экономики. «Но, — спрашивает Симпай, — разве проблема чистой оптики состоит в определении и подборе сочетания линз, дающих самую лучшую подзорную трубу? Если бы было в ходу выражение “чистая физиология”, разве стали бы считать ее проблемой поиск наилучшей диеты? Разве определение условий функционирования современной паровой машины — это проблема чистой механики?»¹⁵ В конце концов, все это — проблемы прикладной науки, произвольно и без научного обоснования отобранные среди других. «Прикладная оптика в качестве оптики не имеет причины стремиться создать очки, которые не искажают, вместо искажающих. Прикладная физиология в качестве физиологии с одинаковым вниманием станет изучать средства, приводящие к смерти, и средства, позволяющие ее избежать». Точно так же и прикладная экономика может искать не только условия максимального различия между удовлетворением потребностей через потребление благ и работой, необходимой для производства этих благ, но и условия минимального различия между ними (такая постановка проблемы подошла бы для общества аскетов)¹⁶. Таким

¹⁵ Op. cit. P. 84. Un système d'économie politique pure // *Année sociologique*. № 10 (1905–1906). 1907; по поводу работы Эфферта (*Efferz O. Les antagonismes économiques*. 1906) и введения к ней Андлера.

¹⁶ Op. cit. P. 85–87.

образом, истина, из которой мы исходим в данном случае, — это предпочтения автора теории, основанные, безусловно, на опыте, но опыте расплывчатом, искаженном, постигающем лишь малую долю реальности.

Вероятно, можно показать, что за постулатами или гипотезами, сформулированными в этих теориях, всегда лежит нормативная предзаданность такого рода. Но допустим, что это не так и что на самом деле речь идет об объяснении (в научном смысле этого слова), а не об оценке. Наши авторы настойчиво заявляют о своем праве упрощать, устранять, оставлять без внимания все, что усложняет рассуждения либо является второстепенным, — чтобы удерживать в поле зрения основной и наиболее важный элемент. «Так, — скажут нам, — поступает механика, когда в абстракции изучает сочетания простых сил, соотносит простые движения, пренебрегая трением и всеми сложностями, какие могла бы дать реальность при непосредственном наблюдении». Действительно, этот прием «полностью законен, но его использование регламентируется и ограничивается самой природой изучаемого объекта и целью исследования, которая задается в соответствии с ней. Тот, кто, желая объяснить движение паровоза, для упрощения анализа абстрагировался бы от трения, колес, угля, пара, в итоге мало что сумел бы объяснить»¹⁷.

Что же думать о тех, кто для объяснения социальных фактов начинает с того, что абстрагируется от самого общества? Как мы говорили, такие авторы исходят из психологических оснований, поскольку речь идет о человеческих действиях и представлениях, но оснований, целиком образованных принципами индивидуальной психологии. А как же иначе? По определению, факты социальной психологии являются внешними по отношению к индивиду. Есть только один способ познать их: выйти за границы самого себя и наблюдать их там, где они существуют, — извне, в группах. Но теоретик не

¹⁷ Op. cit. P. 187–96.

желает ничего почерпнуть из наблюдения. Значит, он вынужден наблюдать за самим собой, тщательно отделяя или, по крайней мере, пытаясь отделить все, что несет отпечаток действия или мышления других. Допустим, что это возможно. Мы хотим сказать только, что желание объяснить основные экономические явления (цены, рынок, обмен и т. д.) через элементарные явления индивидуальной психологии идет *«наперекор реальности»*, ибо явления индивидуальной психологии зависимы и производны от важнейших экономических явлений, каковые хотят объяснить с их помощью»¹⁸.

Чтобы объяснить экономическую стоимость, какой она проявляется в ценах, исходят из индивидуальных оценок или, скорее, из потребностей индивидов. Но эти потребности, какими они обнаруживаются у отдельного индивида, предоставляют для анализа только качественные составляющие. Это не те величины, которые можно измерить. Но, говорит Симиан, понятие экономической стоимости является хоть и психологическим, но принципиально количественным. «Нам представляется, что это удивительное психологическое явление, возможно, единственное в своем роде, — *мнение, имеющее количественное выражение*, — существует как такое только в социальной форме (и вследствие своего социального происхождения)...» «Давайте мысленно разделим социальное и индивидуальные сознания. С одной стороны, в психологии группы, общества мы получим объективные оценки, количественно измеримые явления (сами находящиеся в более или менее прямой связи с количественными характеристиками физических вещей); с другой стороны, в психологии индивидов — чувства, предпочтения, качественные явления. С первых на вторые бессознательно переносят свойство количественной измеримости, а затем объясняют одни через другие или даже, перескакивая через эту промежуточную социальную квантификацию, хотят напрямую установить

¹⁸ Op. cit. P. 145.

функциональные отношения между ними и соотносящимися с ними физическими вещами — таким образом парашивая логическую ошибку и постоянно вращаясь в замкнутом круге»¹⁹.

К примеру, в анализе исходят из гипотезы о том, что продавцы и покупатели некоей вещи приходят на рынок, заранее зная ей цену. Но взглянем на факты. Индивидуальные оценки происходят от уже действующей и известной цены, они образуются в разуме индивида из большего или меньшего различия с известной ему стоимостью, которую все уже признают за этой вещью. Доказательством тому — то, что если вещь новая или обменивающимся не известна какая-либо установленная цена, их оценка будет полностью неопределенной, произвольной и даже недоступной фиксации. Если бы Робинзон не жил в человеческом обществе до того, как оказался на своем острове, у него не было бы никакого представления о стоимости вещей, которые он может найти или сделать. Предположим, я встречаю в горах пастуха и прошу у него чашку молока. Когда я спрошу у него, сколько я должен, он мне скажет: «Дайте мне столько, сколько вы дали бы в городе», или же он сам назовет мне известную ему розничную цену. Социальный факт нельзя объяснить через индивидуальные явления, поскольку они сами производны от социального факта.

Именно потому, что концептуальная дедукция исходит из двусмысленных принципов, которым не хватает точности данных наблюдения и опыта, чаще всего она ведется в двух или нескольких различных и даже противоположных направлениях. Очевидно, что, соприкасаясь с фактами, всегда можно изменить и усложнить соответствующие им гипотезы и по мере необходимости ввести в последние множество элементов, которым ранее не уделяли внимания. Если принципы проливают на факты только тот свет, который от них же и получают,

¹⁹ Op. cit. P. 147–148.

то почему бы не избежать этого бесполезного обходного пути и не исходить из самих фактов? Это тем более необходимо, если гипотезу считают верной самой по себе, поскольку она удовлетворяет разуму, а не частным наблюдениям, на которых она основывается, — что заставляет нас приписывать самим фактам лишь второстепенное значение. Если полагают, что наблюдение является лишь дополнением, его не будут практиковать со всем необходимым вниманием, всеми предосторожностями и полнотой.

Придумать гипотезу — совсем не то, что ее вырабатывать. Именно это имел в виду Ньютон, когда провозгласил: «*Hypotheses non fingo*»²⁰. Вот почему Симиан не считает уместным введение в свой метод гипотез, иными словами, идей, которые не вытекают из одних только фактов. Придуманная гипотеза, особенно в социальной науке, имеет все шансы не охватить существенные элементы реальности (по крайней мере, некоторые) — ведь ее придумал индивидуальный разум, изолировавший себя от общества. Тогда для чего она нужна? Если такая изоляция — лишь видимость или фикция, то почему бы не осознать ее в качестве таковой, и если в этой гипотезе, несмотря ни на что, все же имеется какое-то социальное содержание, почему бы не попытаться, методично перебрав факты, расширить его и дополнить? Поскольку, как бы мы ни старались использовать умозаключение и рефлексию, опираясь на нее или отталкиваясь от нее, сама она никогда не раскроет нам этого содержания.

Примеры, которые упоминает Симиан, взяты главным образом из экономической социологии. Но, как он постоянно указывал, эти критические замечания справедливы также и в случае изучения всех прочих социальных фактов: религиозных, юридических, моральных. Конечно, дисциплины, которые до сих пор охватывали эти различные категории явлений, приобрели более или

²⁰ Гипотез не измышляю (лат.). — Прим. перев.

менее различающиеся формы. Но за этими различиями остается то, что чаще всего они воссоздавали право, религию, мораль, исходя из представления, которое составил о них теоретик — идеала того, какими они должны быть или были бы, если бы соответствовали принципам и постулатам, произвольно установленным и выбранным каким-то отдельным автором. На деле же, все эти явления «в изучаемой нами реальности имеют следующую существенную особенность: это прежде всего социальные явления, а потому позитивный и объективный метод их постижения и объяснения будет для всех них необходимым и адекватным методом социологического познания»²¹.

Эта двойная критика приемов, используемых в изучении социальных фактов — с одной стороны, историками, с другой, авторами концептуальных объяснений, — приводит нас не только к негативным результатам. На самом деле, и тем и другим не хватало точного понимания того, каким должен быть индуктивный метод в этой области.

Теперь обратимся к наукам, уже сформировавшимся: о физических и, в особенности, биологических фактах, которые по своей сложности более всего схожи с явлениями социальной жизни. Мы констатируем, что они продвигались вперед только посредством опыта, понимая под этим не только простое наблюдение, но и экспериментальные приемы. Симьян особенно настаивал на той мысли, что, вопреки часто повторяемому мнению, в социологии ставить опыты можно и что в противном случае было бы невозможно создать позитивную социальную науку²².

²¹ Op. cit. P. 206.

²² Statistique et expérience. Rémarques de méthode. Paris: Rivière, 1922 (воспроизводит председательскую речь в Статистическом обществе Парижа: Journal de la Société. Février 1921). См. также по этому поводу: L'expérimentation statistique et les probabilités// Revue philosophique. Novembre 1923. [Supra p. 275-307].

По мнению Симпана, эквивалентом эксперимента в других науках в социологии оказывается статистический метод. Покажем это на примере: «Вот ряд данных по месяцам, отражающих уровень безработицы некой совокупности рабочих за некоторый период времени. На первый взгляд, как таковое, колебание в этих данных представляется достаточно сложным: в нем, вероятно, смешиваются колебания за год — ежемесячные и сезонные, — а также за более длительный период, тенденции к росту и уменьшению за несколько лет. Используя статистические приемы, устраним, с одной стороны, межгодовые колебания, чтобы выделить колебания внутригодовые и собственно сезонные. Затем устраним сезонные, чтобы определить и выделить колебания за более длительный период. И уже затем изучим отношение, каким каждое из этих колебаний может быть связано с тем или иным фактором. Чем принципиальным эта совокупность операций отличается от той, с помощью которой исследование сложного материального движения в той или иной из естественных наук определяет и выделяет последовательно каждое из составляющих движения, изучая по отдельности то, что происходит в каждом из них?» То же самое происходит при любом расчете среднего значения, при помощи которого в группе выделяют влияние возраста, пола, гражданского состояния. В этом смысле статистика — это прием абстрагирования, столь же эффективный, как и выделение или фиксация того или иного фактора в экспериментальном методе.

Конечно же, здесь есть и различие²³. Ученый-естественник действует посредством материальных опера-

²³ См. также методологическое введение к крупной работе Симпана «Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. Essai de théorie expérimentale du salaire». Paris: Alcan, 1932. Vol. 2. (Большая часть этого введения вышла в: *Journal philosophique*. Septembre-octobre 1930, janvier-février 1931). В нашей статье «Экспериментальная теория заработной платы» (*Journal philosophique*. 1932. P. 321–369) имеется более детальный анализ метода и обзор экономической доктрины автора. Эта статья и настоящее исследование поясняют и дополняют друг друга; но мысль Симпана была настолько богата, что, по нашему мнению, почти нигде материалы одной работы не перекрываются другой.

ций и с их помощью эффективно выделяет из всей реальности различные факторы. Статистик не осуществляет материального вмешательства: он анализирует элементы сложного явления путем интеллектуальных, а не физических операций. «Но разве в опыте важнее всего именно средство операции, материальное или интеллектуальное, а не сам ее объект [и результат]?»²⁴ Разве в других областях нет примеров естественного и спонтанного эксперимента, то есть эксперимента без вмешательства ученого? Действительно, преимуществом собственно материального эксперимента является то, что при изоляции или устранении определенного фактора явление либо происходит, либо нет. В этом случае сама реальность доказывает верность абстракции. В статистике цифры всегда комбинируются с цифрами. Чтобы убедиться в том, что наши группы данных не произвольны, нам следует принять целый ряд дополнительных предосторожностей, проверить, являются ли наши данные однородными, просмотреть все, что мы могли забыть или пропустить, произвести ряд перестановок. Вот почему метод здесь играет очень большую роль — все зависит от работы разума. Но каким бы ни было действие человека, разве главное по-прежнему состоит не в том, что «опыт имеет место там и только там, где существует такое расположение фактов, при котором человеческий разум способен установить между ними связь»?

Пойдем дальше и покажем не только то, что статистические приемы в социальной науке являются эквивалентом эксперимента в физических и естественных науках, но также и то, что они особенно подходят для исследования групп — только они позволяют увидеть их характерные особенности и изменения. Иными словами, социальные реалии отличаются от физических, и именно специфика первых требует применения нового метода, который в других областях не является столь же необходимым, но играет роль лишь второстепенного и вспомогательного.

²⁴ Statistique et expérience. P. 10.

«Среднее значение для наблюдений над плотностью некоего тела можно получить путем математической операции, в точности так же, как при выявлении в определенном количестве наблюдений, например, показателя уровня развития мозга для какой-либо расы [действительно, можно рассчитать также среднюю плотность некоторого количества железных брусьев]. Но разве не различается характер этих двух типов данных?» Действительно, в первом случае инструмент или наблюдатель, помещенный в наилучшие условия, мог бы установить нужную величину путем прямого и однократного наблюдения (над одним железным бруском). «Именно так обычно поступают в естественных науках. Но во втором случае нет инструмента или условий наблюдения, которые когда-либо позволили бы нам материальное, прямое, однократное (применительно к индивиду) наблюдение показателя развития мозга. Можно сказать, что он, по определению, не реализуется как таковой ни в одном из индивидов и при этом является реальной характеристикой их *совокупности* таковых»²⁵.

Не всякий подсчет есть статистика. Километраж от одной железнодорожной станции до всех других — это не статистический факт. То, сколько раз какой-то день недели повторяется в течение месяца, — не статистический факт. Почему? Потому что «эти подсчеты неприменимы к какому-либо единству, какой-либо группе, имеющей некоторую устойчивость в качестве таковой». Итак, статистика — это некоторый вид экспериментального исследования; она применяется по отношению к фактам, «которые определяются количественно, с помощью большего или меньшего числа индивидуальных констатаций, каковые отличаются от этих индивидуальных элементов и не реализуются как таковые ни в одном из них», но характеризуют группу как таковую²⁶.

Следует заметить, что это важное определение природы и объекта статистики, поскольку оно придает

²⁵ Op. cit. P. 17.

²⁶ Op. cit. P. 19.

целостность самому определенно социальных фактов и по-новому освещает его. Оно даже выходит за пределы порядка количественных фактов. В действительности, понимаемая таким образом статистика — всего лишь модель и образец всякого социологического метода. Она только применение, особенно точное и надежное (поскольку мы имеем дело с величинами), более широкого метода, который распространяется на все социальные факты, как количественные, так и качественные. Так, понимаемой средней статистической величине должна соответствовать всякая характерная особенность или изменение, которые не реализуются в каком-либо отдельном индивидуе, а присущи всему единству и образуются объединением различных индивидуальных величин путем их своеобразного качественного сложения. Чтобы подобная операция стала возможной (а она стала бы тем более возможной, чем лучше это условие выполнялось), нужно, чтобы эта особенность или изменение, не являясь как таковое величиной, было бы связано со структурами, рамками, пространственными преобразованиями, чтобы оно могло быть представлено объективно: как вещь или объект, материально выраженная протяженность, место, распределение и иерархия частей группы или схема, в которой каждая единица находит свое место. Отсюда следует, что Симпан имплицитно сформулировал метод интеграции, подходящий для всей нашей области, и что правила, которые он вывел из своего определения, в общем применимы во всех разделах социологии, если отделить их от той технической формы, которую он им придал, размышляя об экономических и демографических фактах. Только с точки зрения общей методологии мы их и рассматриваем здесь. Мы, впрочем, не забудем, что Симпан смог таким образом воспринять и улучшить эти правила только потому, что, ведомый верным инстинктом, он избирательно обратился прежде всего к тому порядку социальной реальности, который в силу его количественной измеримости лучше всего поддается научному изучению.

Симмиан говорит, что научное наблюдение будет позитивным лишь при условии, что оно направлено на реальные и устойчивые единства. Но нельзя ли возразить на это, что он не знает, существуют ли они в действительности? Затем, если мы признаем их существование, можно было бы сказать, что для их изучения потребовалось бы сначала их узнать, выявить их место и границы в пространстве и времени. А разве это не означает, что мы совершаем то, в чем он упрекал концептуальную школу: совершаем логическую ошибку и одновременно попадаем в замкнутый круг? Чтобы избежать первой и выйти из второго, требовалось ни больше ни меньше чем принятие метода интегрального эмпиризма, или, точнее, — не побоимся прибегнуть к плеоназму — метода чистого и полностью экспериментального эмпиризма.

Если мы будем придерживаться фактов — но фактов, охватываемых и отслеживаемых во всей их полноте, различаемых и группируемых исключительно по их собственным сходствам и различиям, — тогда, должно быть, появится возможность признать [устойчивые] единства, если таковые существуют, и признать их там, где они существуют, вплоть до их естественных границ в пространстве и от их реального начала до конца [их существования] во времени.

Вот почему мы не будем останавливаться на конкретной и живописной картине, в виде которой истории представляют нам события человечества. Конечно, факты располагаются на ней в хронологическом порядке. Но, прежде всего, рамки, деления по векам, по времени правления, по неким важным событиям являются эмпирическими только в плохом смысле этого слова, так как они основаны на общем и поверхностном опыте, соответствуют традициям, привычкам и интересам, относящимся скорее к практической жизни, чем к научному знанию. Впрочем, на этой картине столько белых пятен, различных и неравнозначных разрывов в порядке следования событий, ведь внимание историков кон-

центрировалось на определенных моментах и периодах, а в рамках периодов — только на отдельных аспектах реальности. Но мы уже не можем позволить себе руководствоваться концептуальными теориями [чтобы исправить положение]. Авторы этих теорий выделили и сгруппировали факты внешне более научно и систематично, в согласии с классификациями, которые исходили из понятий и проблем, а не из обыденного мышления. Однако, поскольку эти понятия и проблемы не являются результатом методического и исчерпывающего наблюдения над реальностью, поскольку это, главным образом, умозрительные взгляды, индивидуальные мнения, каждое из которых удерживает из совокупности фактов только соответствующие интересам теоретика, — это просто иной способ искажения [реальности], который содержит не меньше произвола и белых пятен.

Симнан мог бы также сказать: не надо уподобляться «садовому метеорологу», который запирается в своем саду, чтобы изучать направление ветров и атмосферное давление. Чтобы иметь возможность понять и объяснить эти явления, их следовало бы отслеживать на очень больших пространствах, на целом континенте и даже на всей земной поверхности. Но, с другой стороны, что остается делать больному, если медики-специалисты назначают ему одну или несколько весьма специфических диет, а тот, соблюдая их, не замечает никакого улучшения? Конечно, нужно отказаться от всех диет, основанных на предвзятых мнениях, и, чтобы найти подходящую, попробовать испытать поочередно в самых разных комбинациях воздействие разнообразных продуктов — как тех, которые ему запретили, так и тех, которые ему прописали, велели избегать, принимать в малых количествах, делать основой своего питания. Однако при попытке научного объяснения социальной структуры крупного города, возникающего в нем товарооборота и движения и населения, морфологической эволюции города следует отказаться от обоих методов. Из исторических монографий о кварталах, улицах,

домах ничего нельзя почерпнуть, ибо они затрагивают лишь часть, малую долю, оставляя без внимания как раз общие тенденции, то есть самое главное. Та же проблема и с планами обустройства и благоустройства города (то, как должно быть, а не то, что есть — теория, а не позитивное исследование).

Таким образом, мы не будем следовать ни тем, ни другим. Мы будем руководствоваться только реальностью и прежде всего тем, что мы найдем о ней — в виде сырых материалов — у историков и теоретиков, но особенно — тем, что мы к этим материалам добавим, восполняя в них пробелы, восстанавливая непрерывность [фактических] рядов, отслеживая их как можно дальше в направлении от прошлого к настоящему, пока станут различимы крупные изменения и дифференциации в единствах, достаточно протяженных во времени и пространстве. Конечно, придется прибегать к абстракции, создавать однородные единства, отслеживать изменения в них через все прочие изменения. Но абстракция является законной, оправданной, если опирается на самые явные сходства и различия между единицами, которые мы связываем или разделяем, и выступает только инструментом проб и ошибок. Лишь затем мы увидим, действительно ли эти эмпирически сформированные единства ведут себя как социальные реалии²⁷.

Таков метод Симьяна, представленный в его большой работе под названием «Зарплата, социальная эволюция и деньги». Идет ли речь о зарплатах, ценах и т. п., Симьян прежде всего убеждается в том, что данные, относящиеся к различным периодам, соответствуют единствам, сформированным схожим образом. Если же у него возникают сомнения на этот счет, он без колебаний разлагает и перегруппировывает эти единства до тех пор, пока не устанавливает, что они однородны или же обладают всегда одинаковой «определенной разнородностью». Затем, когда, например, ряды зарплат точно зафик-

²⁷ Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie... Paris: Alcan, 1932.

сированы, когда речь идет о сравнении изменений в них с другими специально отобранными явлениями и о порядке, в котором их следует рассматривать, он не руководствуется никакими гипотезами, теориями, идеями — он следует сугубо эмпирическим путем, последовательно рассматривая все встречающиеся на этом пути факты только через призму зарплаты. Вот для чего рассматриваются всевозможные социальные характеристики, с которыми зарплата может взаимодействовать в общем опыте, а также в опыте ученого (именно для этого он составляет два списка обстоятельств: эмпирический и теоретический²⁸). Такие принципы, как «мы находим лишь то, что ищем» и «в основе каждого наблюдения или опыта лежит направляющая идея» прямо противоположны исследовательским принципам Симиана. Можно сказать, что Симиан не ищет ничего специально, он не отдает предпочтения одному явлению в ущерб другому и следует за фактами, а не за какой-то идеей, если только это не идея изучения фактов...

Нам возразят, что он, похоже, выходит за границы фактов, когда предполагает наличие глобального движения зарплаты, в котором частные, местные движения, свойственные той или иной профессии, суть только выражения, и что в том же направлении идет общее движение цен, что существуют группы рабочих и нанимателей, которым свойственны те или иные коллективные представления и устремления. Разве это видимые реалии, которые постигаются не посредством абстракции, а органами чувств? Симиан мог бы ответить, что коллективные реалии, действительно, не постигаются органами чувств, подобно конкретным объектам, но от этого они не менее достоверны (*positives*). Они являются своеобразной связью между явлениями, и эта связь — такой же факт, как и другие, он также определяется только через ряд констатаций. Мы утверждаем только это,

²⁸ *Op. cit.* См. также нашу статью «Une théorie expérimentale du salaire» (p. 326–328).

ни больше и ни меньше, когда говорим о коллективных реалиях. В коллективных устремлениях и представлениях реален только способ связи между фактами, которые из них вытекают, — и мы отнюдь не опираемся здесь на какое-то внутриспсихологическое наблюдение; для нас устремление или представление — ничто вне следствий, которые они дают и которые мы можем установить.

Как-то на лекции о понятии закона в социологии, которую я читал в присутствии Симиана, он заметил, что в своей большой работе он ни разу не употребил термин «закон» для обозначения объекта и результатов своего исследования. Он говорил скорее так: регулярные последовательности, закономерности в цепи фактов. Как известно, позитивисты отнюдь не разделяли эту сдержанность, хотя сами сводили закон к простому факту. Во всяком случае, позиция Симиана здесь вполне соответствует традиции эмпириков²⁹.

Но наука не может ограничиваться констатацией фактов: она должна их объяснять. Симиан избегает говорить о законах, но он твердо намерен исследовать причины эволюции, под каковыми он подразумевает не метафизические принципы, а то, что обуславливает явления и их связь. В этом смысле, действительно, можно сказать, что интегральный эмпиризм у него уравновешен истинным рационализмом. Более того, Симиан является рационалистом в той же мере, в какой он является эмпириком, так как если существуют только факты, то нужно, чтобы они сами собой формировали и выражали своего рода скрытую причину, которая выявляется при перегруппировке фактов в соответствии с естественными связями между ними. Иными словами, именно в эмпиризме — и только в нем одном — факты, образуемые ими единства и тот порядок, в котором они

²⁹ «Тот факт, что если что-то произошло, то что-то произойдет и впредь, есть, фигурально выражаясь, естественный закон: Джон Стюарт Милль, чтобы исключить всякую мысль о необходимой зависимости и ограничиться только фактами, охотно говорит: естественные единства» (*Ravaisson, La philosophie en France au XIX^e siècle*, P. 60).

развертываются, должны быть постижимы сами по себе. В противоположность пустым концептуальным идеологическим системам, обедняющим реальность, это рационализм, богатый содержанием, способный объяснить реальную эволюцию, — это позитивный рационализм³⁰.

Рассмотрим главную проблему, которую ставят перед собой теоретики математической экономики и так называемой чистой, или абстрактной, экономики, которые, впрочем, работают в традициях классической школы. Все их построения вращаются вокруг теории равновесия. Они предлагают определить прежде всего условия равновесия на идеальном рынке, или условия статичной и неразвивающейся экономики. Если эти условия не реализуются, полагают, что временно и в силу случайных обстоятельств экономика отклоняется от состояния равновесия, которое единственное соответствует действительной природе всякого экономического общества. «Но, — спрашивает Симона, — к чему нам эта теория, даже если предположить, что она совершенна, если мы полагаем, что сутью реальной экономической жизни является как раз постоянное отсутствие равновесия или сменяющие друг друга состояния равновесия, и если такое положение представляется рациональным и нормальным?»³¹ Добавим, что можно было бы удивляться и беспокоиться относительно того, что организмы периодически переживают этапы видимой жизненной недостаточности желания, аппетита, сопровождающегося чувством неудобства, а затем, после насыщения, состояние отчетливого жизненного избытка, сопровождающегося чувством насыщения, выходящего за рамки необходимого в данный момент и образующего запас на будущее. Можно было бы считать, что это нормальное состояние и есть состояние равновесия: отсутствие недостатка, отсутствие излишка. Но как бы мы назвали

³⁰ Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie... Op. cit. II. См. также нашу статью, цитированную выше (p. 355).

³¹ La méthode positive en science économique. Op. cit. P. 134.

это состояние, если бы оно продолжалось до бесконечности? Смертью. А она не может объяснять жизнь, которая не прерывается именно благодаря чередованию того, что называется неравновесными состояниями.

То же самое относится к экономической жизни. Исследование — уже не статическое, а динамическое, протяженное во времени, непрерывно отслеживающее общества во всех сменяющихся периодах их эволюции, выявляет, что они проходят поочередно фазы сжатия и расширения, если угодно, депрессии и процветания, кстатии, фазы долгосрочные, каждая из которых продолжается несколько десятилетий. Проблема состоит в том, чтобы понять принцип такого чередования. Но уже установлено (путем констатации происходящего, экспериментального анализа факторов и их воздействия), что эти фазы не просто противоположны одна другой (как движения маятника относительно положения равновесия или как отрицательное действие вычитания, аннулирующее положительное действие сложения), а таким образом, что из той и другой возникает что-то новое, причем одна является условием другой, и само это чередование есть условие непрерывного экономического прогресса³². Поэтому причина того, а не иного направления их развития находится не вне ряда фактов — в идеальной модели, которая как таковая никогда не реализуется, — а в самих фактах и в связях между ними.

Можно было бы также показать, что объяснения подобного рода могли бы применяться и к прочим социальным фактам, помимо экономических, что все социальные институты, обычаи, потоки коллективного мышления также проходят через аналогичные взаимно обусловленные фазы: их чередование является условием того, что можно назвать прогрессом в каждом из этих различных полей реальности³³.

³² *Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie...* II. По поводу органического аспекта этой эволюции см. также нашу статью (р. 347).

³³ См. нашу работу «Закон в социологии» (в наст. сборнике).

Путем изучения фактов и из самих фактов Симиан показал, что деньги, рост денежной массы и соответствующие коллективные представления играют в экономической жизни роль изначальных движущих сил, аналогичную силе или давлению воды в каналах¹⁴. Именно таким образом происходили рост цен, расширение производства, рост доходов: с 1900 года, когда началась разработка месторождений Трансвааля, ранее — с 1850 года, когда были обнаружены золотые месторождения в Калифорнии, а также неоднократно — еще в более ранние времена — в начале и в течение XVI века, когда из Америки в Испанию стало поступать золото, отчего этот драгоценный металл распространился по Европе. В чем причина? Можно ли утверждать, что подобная связь действительно рациональна? По правде говоря, золото или серебро или все, из чего делают деньги, занимает, в конечном счете, лишь незначительное место в потоке движения товаров и обменов — оно составляет лишь малую долю в совокупности ценностей. Денежные элементы только потому так часто проходят перед нашими глазами, что они перемещаются очень быстро и могут, подобно статистам в театре, появляться на сцене несколько раз. Как такая малая часть общего богатства могла бы определять наиболее важные его движения? Как можно было бы объяснить процветание и депрессию притоком или редкостью того, что является всего лишь одним из инструментов, и даже более инертным и малоактивным в сравнении с другими?

В опубликованном Симианом за год до смерти докладе «Деньги, социальная реальность», дающем удивительный синтез его воззрений на этот вопрос, он напоминает, что в XVIII веке была создана экономическая теория (она сохранялась и до наших дней), которая видит в деньгах всего лишь средство обмена или измерения товаров, внешний знак богатства, не имеющий собственной ценности, без которого можно было бы обой-

¹⁴ Cours d'économie politique. Op. cit. 1^{ère} année (1930–1931), P. 35.

тись³⁵. В наши дни также встречается немало экономистов, разоблачающих суеверное отношение к золоту как один из вековых предрассудков, от которого просвещенным современным людям, к счастью, удастся все более успешно избавляться. Это идеологическая точка зрения, говорит Симиан, «вольтеровский» рационализм, весьма поверхностный в том смысле, что он полагает, будто бы деньги — это удачное изобретение нескольких индивидов или результат искусственного соглашения. Однако, говорит Симиан, мы должны отдавать себе отчет в том, что деньги являются именно социальной необходимостью, самым условием экономической жизни, то есть жизни в обществе, а потому золото не является внешним знаком богатства (поскольку может обмениваться на прочие товары), прочие товары ценны только в той мере, в какой они могут быть обменены на золото. То есть золото — это вещь, которая среди прочих желанна как богатство в полном смысле этого слова, и, следовательно, от нее зависит будущее. Деньги позволяют уже сейчас реализовать товары, которые будут произведены и доступны лишь через некоторый период времени, иногда достаточно продолжительный. Если это представление и предмет, к которому оно относится, не существовали, как люди участвовали бы в предпрятиях, сулящих отдачу не сразу, и откуда производители и потребители получили бы необходимую сумму доверия, чтобы решиться увеличить число продаж и куплей? Наоборот, не потому ли, что все агенты производства привязаны к денежному выражению своего дохода, в период спада они противопоставляют падению производства силу инерции, каковая выступает отправной точкой для новых усилий и наиболее действенной причиной прогресса в ходе чередования подобных фаз? Можно ли тогда говорить о коллективной приверженности к золоту (из-за приписанного им доверия) как

³⁵ La monnaie, réalité sociale // Annales sociologiques. Séction D. Fasc. 1. 1934.

о суеверии, а вовсе не о «своего рода жизненном инстинкте, — как говорит Симиан, — благоприятствующем групповому развитию, даже не вполне осознаваемом индивидами, точнее, наилучшим образом и наиболее эффективно используемом в отношении важнейших реальных в *коллективном рассудке*»³⁶.

Таким образом, философы и экономисты XVIII века разоблачали как предрассудок древнее первобытное верование, что золото якобы обладает магическими свойствами, дает сверхъестественную власть и т. д. Будучи просвещенными мыслителями, они отводили ему ту роль, которую оно и должно играть: металл гири весов как средство измерения, жетоны как средство обмена. Но вместо наблюдения над экономическим обществом они его реконструировали, а реконструируя, устраняли из него коллективные, по виду иррациональные силы, без которых, однако, не бывает живого, движущегося общества, собственно экономической жизни. Попадобилась не новая конструкция, но более обширные, по-настоящему интегральные исследования, чтобы признать: деньги действительно ценились коллективным разумом в качестве самой желанной формы богатства, и подобная вера не была суеверием, она даже не была иррациональной, поскольку выступала пружиной и главной движущей силой экономической жизни. По сути, именно теория *просвещенных* философов и экономистов была иррациональной, несмотря на видимую ясность ее принципов и дедукций — ибо она не могла объяснить происходящее.

При этом Симиан напоминает, что идеи, сформулированные им в докладе, применимы и к другим разделам социологии, в частности, к исследованию религиозных верований³⁷. В XVIII веке были и такие *просвещенные* философы, для которых религиозные объекты

³⁶ Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie... Op. cit. II. P. 518, а также нашу статью (р. 356).

³⁷ La monnaie, la réalité sociale... Op. cit. P. 18.

представляли лишь искусственными построениями, делом рук священников и колдунов, корыстолюбивых и хитроумных. Однако позитивное научное исследование, направленное на сами эти верования, показало, что они выполняли необходимую функцию в жизни групп. Действительно, религиозные создания, боги, духи, призраки в каком-то смысле — чистые символы, наименования, соответствующие конкретным объектам, которые недостижимы для любого естественного опыта, и признавать их существование у нас нет никаких научных оснований. Но религиозный символизм, подобно экономическому помпализму, направляет нас на путь собственно рационального объяснения. Религиозные верования обоснованы в той мере, в какой они символически представляют реальные коллективные силы, исходящие от группы. Без них общество как психическое существо, нуждающееся в поддержании и периодическом обновлении веры в самого себя, не могло бы существовать и развиваться. В обоих случаях тип объяснения в основе своей один и тот же.

Объясняющая теория Симиана действительно сводила всю экономическую жизнь к одному факту как к основному условию — к большему или меньшему изобилию денежных средств, которое, в свою очередь, зависело от физических (и по отношению к обществу случайных) условий, как-то: наличие и открытие в известном месте и в известное время серебряных или золотых рудников, количество в них доступного выработке металла. Связь, говорил он, рациональна, «поскольку она и не могла быть другой, поскольку не могла оказаться, прямо или опосредованно, случайной»³⁸. Но разве здесь изначальное, порождающее явление не оказалось случайным? Разве нельзя представить общество, которое в известный момент не обладало бы в достаточном количестве золотом, необходимым для увеличения товарооборота? Значит, экономический организм не несет

³⁸ Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie... Op. cit. I. P. 24–25. См. также нашу статью (p. 355).

причины своей жизни и эволюции исключительно в себе самом. Избежав идеологического рационализма, мы впали бы в эмпиризм в худшем смысле этого слова — в эмпиризм историков, придерживающихся порядка частных и конкретных причин, который Симнан отверг.

То, что дано в фактах и действительно представляется существенным, — это не традиционная роль и престиж золота, но выполняемая золотом функция, которая не зависит от его физической природы и, следовательно, от конкретных условий, определяющих введение его в обращение. Симнан, сравнивая период неконвертируемых денег и периоды денег из драгоценных металлов, смог констатировать, что увеличение [массы] неконвертируемых средств оказывает то же самое воздействие на цены, доходы, производство и, следовательно, может выполнять ту же самую функцию, что и деньги на базе драгоценных металлов³⁹. Конечно, даже тогда нужно было, чтобы деньги рассматривались как истинное богатство, чтобы они сохраняли какую-то связь с золотом или чтобы усовершенствованная организация общественного кредита давала бы какие-то гарантии. Но можно представить, что за неимением золота в нужный момент в экономику можно ввести подобные деньги в количестве, необходимом, чтобы цикл фаз не прерывался и в том же порядке осуществлялись связи, обуславливающие прогресс или просто экономическую жизнь. Точно так же и в области политической социологии: за неимением наследников короля необходимая функция, которую они выполняют, может осуществляться другими методами — главное, чтобы была общественная власть, суверенитет. Объяснения такого рода хорошо отвечают всем требованиям теории, одновременно позитивной и рациональной.

Оба термина — эмпиризм и рационализм, — которые мы объединили для характеристики применяемого Симнаном метода, а точнее, его теории метода, в тради-

³⁹ Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie... Op. cit. II. См. также нашу цитированную выше статью (p. 356–357).

ционной философии привычно противопоставляются. Дело в том, что эмпирики до сих пор стоят на позициях узкого индивидуализма. Они берут, к примеру, факты индивидуального сознания, изолируют их друг от друга, а разделив, пытаются затем их связать. Но им никогда не удавалось подняться до общих утверждений, до порядка универсальных связей, которые, собственно, и являются предметом науки. Как же могло быть иначе, раз они придерживались опыта, но исключали из опыта все, что не являлось индивидуальным и частным? Кант ведь признавал, что нужно искать причины этих эмпирических связей, что всякая связь между частными явлениями требует синтетического принципа (принципа *априорного* синтетического единства), обосновывающего их с точки зрения всеобщего. Но он ограничился указанием на формальные условия такого синтеза. Он раздельно рассмотрел два вопроса: *quid juris* и *quid facti*, — но не сумел и даже не попытался найти или открыть закон в фактах, причины их соединения в наблюдаемых явлениях.

Сохраняя свою точку зрения, историки не пошли дальше констатации, к тому же констатации смутной и неполной, ибо не испытывали, подобно философам, потребности объяснить или действительно понять факты. Понимать для них — значит все лучше постигать развертывание событий в их конкретной реальности, видеть события прошлого, как если бы они происходили сегодня, и словно ощущать свою причастность к ним. Для ученого же, напротив, понять — это открыть причины, из-за которых явления сменяются и должны сменяться обязательно в этом порядке, а не в другом. Именно так мыслили авторы концептуальных теорий — они искали причины фактов. Но искали в индивидуальном рассудке, то есть во взглядах недостаточно осведомленного разума, который вовсе не оставляет места социальным реалиям, ибо последние, в действительности, существуют вне поля мышления индивида. Разве удивительно поэтому, что им пришлось думать и говорить,

какими факты должны быть, как они должны развертываться, соответствует ли их связь индивидуальному разуму, или же провозглашать, что, будь наш разум достаточно силен и будь он способен охватить их во всех подробностях и полностью проанализировать их сложность (*dum Deus calculat, fit mundus...*⁴⁰), он признал бы их соответствие нашим построениям.

Метод Симиана совсем иной. Это, как мы сказали, интегральный эмпиризм — интегральный в противоположность не только произволу идеологического эмпиризма, но и ограниченности эмпиризма вульгарного, который метод Симиана превосходит просто потому, что охватывает весь опыт целиком. Только при этом условии он действительно обнаруживает социальные единства. Если придерживаться частных индивидуальных фактов, в них самих невозможно обнаружить причины связей между ними. Когда же мы помещаем их в социальные единства, придающие им структуру и движение, причины их связи обнаруживаются в самих этих единствах. Впрочем, коллективные реалии: институты, группы, представления, склонности, уже сами по себе являющиеся единствами, — также включаются в более обширные единства. Достаточно наблюдать за ними, следить за их развитием, чтобы понять причины отношений, установившихся между их частями. Если признать, что коллективные представления находятся в том же отношении к индивидуальному опыту, в каком в традиционной философии [роды и] виды — к частным фактам чувственного восприятия, тогда, действительно, нет иного рационального объяснения, помимо чистого и простого распознавания социальных единств и связей между ними. Так перед нами открывается путь позитивного объяснения, которое, оставаясь в области фактов, по распространяя исследование как можно дальше во времени и пространстве, дает нам возможность раскрыть их причины. Конечно, для того чтобы этот метод нас

⁴⁰ Когда Бог рассчитал, он сотворил мир (лат.). — *Прим. перев.*

к чему-либо привел, необходимо, чтобы коллективные единства и в самом деле существовали. Но и это мы узнаем благодаря экспериментальному наблюдению — и только ему. Симпиа не постулировал социальную природу изучаемых им явлений. Она обладала для него принудительной силой факта.

Впрочем, не следует полагать, что его методология и в особенности ее применение делает нашу задачу более простой. После Симпиа социологи не смогут больше довольствоваться произвольными построениями и поверхностными наблюдениями. Подобно тому как великий художник отправляет своих учеников к природе, истинный ученый отправляет нас к фактам. Это сложнейшая школа, самая суровая дисциплина, но разве это может быть причиной, чтобы отклоняться от единственного пути, не ведущего нас в тупик? Разве сама философия — если хорошо приглядеться к ее истории — когда-либо продвигалась вперед, обновлялась иначе, чем соприкасаясь с новыми аспектами позитивной реальности?

*Точка зрения
социолога
(1937)**

Взору социолога, выступающего перед выпускниками политехнической школы, сразу же является фигура, о которой я позволю себе напомнить: это Огюст Коит, видный философ, который не только стал крестным отцом социологии, но также дал определение, обозначившее ее место в ансамбле наук. На мой взгляд, Коит замечательным образом воплотил собой то, что я называл бы научным духом в широком смысле.

В моем нынешнем выступлении Огюст Коит — лишь отправная точка, учитывая, что он мало занимался политической экономией. Тем не менее следует сказать о его отношении к экономистам своего времени. Его эпоха уже не была временем зарождения экономической науки (которая намного старше социологии); то был период ее бурного развития: Адам Смит опубликовал «Богатство наций», а во Франции ему вторил Жан-Батист Сей. Коит, претендовавший на создание науки о человеке

* Опубликовано в: X-Crise. Bulletin № 34. Текст двух лекций, прочитанных в Политехническом центре экономических исследований, Париж. Два вступительных параграфа здесь не воспроизведены.

и обществах, говорил об этих вопросах совсем мало, занимая безразличную и даже враждебную позицию по отношению к политической экономии.

Правда, он хорошо знал работы Адама Смита и восхищался ими: его теорией разделения труда, содержанием наблюдений, которые можно найти у этого видного экономиста, — но его отталкивала система Смита. Он упрекал всех экономистов за их метафизичность — в том смысле, в котором он употреблял слово «метафизика» — то есть за то, что хотя они создали прекрасное орудие войны против старого режима, режима корпораций, против всего, что следовало разрушить, ничего действительно органического и созидательного они не представили. Он упрекал их за дискуссии о понятии стоимости, по его мнению, пустые. Конта отнюдь не приводил в восторг закон спроса и предложения. Он упрекал экономистов, по существу, за то, что они создали суверенную экономическую науку, и восставал (в особенности в письмах Джону Стюарту Миллю, который в этом вопросе следовал общей ориентации школы) против выделения экономической науки в самостоятельную дисциплину, отделенную от всех прочих социальных наук.

Дело в том, что Огюст Конт сформулировал принцип, о котором важно напомнить, так как и сегодня мы продолжаем им руководствоваться. Ведь когда от науки о безжизненной материи: астрономии, физики, химии — переходят к наукам о жизни и человеке, предмет претерпевает глубокие изменения, и метод также должен меняться. До сих пор правило и метод, указанный Декартом, состоял в том, чтобы идти от элементов к целому, от частей к единствам; здесь же все обстоит иначе. В основе своей метод состоит в том, чтобы идти от известного к неизвестному.

Итак, физике или химии лучше всего известны элементы. От них и следует отправляться: элементы всегда будут познаны лучше, чем целое. В области биологических наук и социологии, напротив, прежде всего познаются единства. Что касается деталей, индивидуаль-

ного, частного, к ним приходят в последнюю очередь, и они действительно объясняются через целое. По мнению Огюста Конта, при этих условиях следует никогда не терять из виду единство, которое образуют, к примеру, различные аспекты социальной реальности и которое также должны составлять различные науки об обществе. Этим объясняется враждебность, антипатия, которые он испытывал по отношению к классической политической экономии, претендующей на существование вне и независимо от социальных наук.

Как я уже говорил, мы, социологи, отчасти приняли эту точку зрения. И если мы размышляем о том, что такое социологическая точка зрения в политической экономии, наша исходная мысль состоит в том, что социологи возвращают политическую экономию в ансамбль прочих социальных наук, а экономические факты вводят в совокупность прочих социальных фактов.

Возьмите, например, Макса Вебера, знаменитого своими исследованиями о пуританстве и начальном этапе капитализма. Что он сделал, если не поместил зарождающийся капитализм в социальную среду, религиозные устремления которой он изучал? Возьмите немецкого социолога Карла Бюхера: что он сделал своей классификацией последовательных форм экономической жизни, если не объяснил их через историческую и юридическую среду, всю совокупность обычаев?

Нет такого экономиста-социолога, у которого бы вы не обнаружили подобной социологии, понимаемой в целом как своего рода обстановка или фон для экономических фактов. Первая работа, если мне будет позволено говорить о себе, привела меня к постановке следующего опыта: я хотел изучить цены на земельные участки в Париже в течение некоторого периода и был вынужден изучить сначала само строение Парижа, развитие городской жизни за весь рассматриваемый период, поскольку без этого я не смог бы понять движения цен.

Много позже Дюркгейм наиболее четко определил позицию социологов перед лицом экономических фактов. Это произошло в 1908 году на собрании Общества

экономистов, где его внимание привлёк заголовок сообщения, которое должен был делать некий Лимузен о политической экономии и социальных науках. После этого выступления слово взял Дюркгейм и, удивив присутствующих экономистов, сказал примерно следующее.

На первый взгляд, имеется существенное различие между экономическими и прочими социальными фактами. Возьмем, например, из числа прочих социальных фактов те, что касаются семейного или политического права, морали, моральных обычаев и даже эстетики. И что же? Во всех случаях можно сказать, что люди практикуют лишь то, что думают, что отвечает их верованиям или идеям. Следовательно, все социальные науки, например, сравнительное право или сравнительная мораль, имеют дело с идеями или идеалами.

Политическая экономия, напротив, имеет дело с вещами — по крайней мере, на первый взгляд. Возможно, машина представляет собой экономический факт, машинное же производство таковым является наверняка. Труд — это экономический факт, нечто материальное. Товары — это экономические реалии, устойчивые объекты, которые можно потрогать. Сама стоимость товара — это качество, которое с давних пор мыслится как внутренне присущее, то есть принадлежащее самим вещам, как бы его ни определяли: через труд, затраченный на эти вещи, или через совокупность органических потребностей, имеющих в организме, которому отвечает полезность этих вещей.

Однако, — говорит Дюркгейм, — «это чересчур материалистическая точка зрения». Экономические факты не таковы. Когда к ним присматриваешься пристальнее, это прежде всего верования: факты верований и факты мнения. Предположим, к примеру, что в некий момент запрещают пить вино или есть свиному по религиозным мотивам. Стоимость вина или свиного изменится, но при этом наличное количество этих продуктов не уменьшится, органическая природа людей не изменится просто оттого, что появилось новое верование.

И если мы поближе рассмотрим различие в стоимости объектов, мы констатируем, что оно всегда определяется верованиями, и изменение стоимости — результат эволюции этих верований.

Рассмотрим, к примеру, как устанавливается зарплата. Согласно теории, принятому правилу, зарплата определяется по отношению к некоему минимуму. Однако как устанавливается этот минимум, исходя из чего? Исходя из некоторого набора представлений, общих для людей в определенные периоды. Считается, что зарплата должна представлять, к примеру, определенный уровень жизни — и это также является фактом верования.

Следовательно, заключает Дюркгейм, поскольку экономические факты, необходимые для объяснения цен, зарплат, рынка, и явлений, обусловленных рынком, в конечном счете сводятся к верованиям или идеям, нет причин устанавливать барьер между экономическими и всеми прочими фактами. Мы находимся в мире психологического, и все эти факты прежде всего психологичны — это представления или устремления.

Эту мысль Дюркгейм высказал в некотором смысле мимоходом. Он занимался совсем другими вещами, а не политической экономией, но, на мой взгляд, эта мысль достаточно глубока и может иметь довольно серьезные последствия, так как если экономические факты — это верования или мнения, то нужно всерьез учитывать, к примеру, традиции, эволюцию этих верований во времени. Очень часто объяснение верования лежит в прошлом.

Когда речь зашла об объяснении текущих цен, экономисты, представляющие традиционную, классическую школу, заявили Дюркгейму, что его тезис невероятен, поскольку он предполагает, что прихоть наших верований и мнений подчиняет себе те факты, которые, как раз наоборот, вытекают из вечных и неизменных законов, как, например, закон спроса и предложения. Но в самом деле! Стоит присмотреться внимательнее, и мы увидим, что закон спроса и предложения мало что объясняет в формировании цен. Он, возможно, объясняет некото-

рые флуктуации и тому подобное, но не объясняет, отчего цены на одни изделия одни, а на другие изделия — другие. Многие экономисты, особенно в наше время, объясняют текущие цены тем, что такими они были раньше. Здесь следовало бы остановиться на том, о чем только что говорил Блок: цены в настоящем во многом объясняются их прошлым, оставшимися о них воспоминаниями; и если эти воспоминания устранить, скорее всего, восстановить дифференциацию цен было бы невозможно.

Но на этом пункте я не хочу надолго задерживаться и сразу перехожу к тому, что считаю наиболее существенным. Симнан (чьим другом я был в течение всей его жизни и чьим мыслям мои были очень созвучны) был экономистом, а также методологом. Перечитывая, в частности, сообщение, которое он сделал здесь, у вас, и последовавшую за ним дискуссию, я ощутил, что многие из выдвинутых возражений, возможно, были вызваны тем, что его взгляды были недостаточно известны. Возможно, Симнану следовало бы перед своим выступлением о современном кризисе, современном экономическом развитии изложить вам свои взгляды на природу экономических фактов и на метод, который следует использовать в их изучении.

В творчестве Симнана можно выделить критическую часть и часть, приводящую к результатам. Я хотел бы остановиться, прежде всего, на критической части. Этот период продолжался на протяжении примерно сорока лет, в течение которых в «Социологическом ежегоднике» (*«Année sociologique»*), а затем в «Трудах по социологии» (*«Annales sociologiques»*) он рецензировал — вместе с несколькими коллегами, но основные усилия исходили от него — все важные книги по экономике, выходившие в тот период. Это были не простые рецензии, но такие, которые предоставляли ему возможность постепенно выявить и сформулировать некоторое число принципов и правил, а также развить критические замечания, которые он ценил более всего и к которым

без конца возвращался. Он часто говорил: «У меня много идей, по сути, я всегда повторяю одно и то же». Но он никогда не повторял это тем же способом — можно сказать, что во время таких повторов его мысль постоянно двигалась вперед.

Прежде всего, он оказался лицом к лицу с классической политической экономией, которая шла путем дедукции, и сказал себе: вот метод, который кажется очень строгим, очень основательным, уже испытанным в некоторых науках, он должен бы дать нам определенность. Посмотрим, можно ли его применять — ведь раз его применяют в политической экономии, это не случайно. Те, кто предлагал подчинять дедукции этот порядок фактов, чувствовали сложность экономической реальности. Эти факты слишком сложны для изучения их экспериментальным методом. Тогда разве нельзя пойти навстречу фактам, исходя из некоторых имеющихся о них идей, даже подменяя сложную картину упрощенной схемой? Как раз упростив, ее можно было бы объяснить, увязать различные ее части с какими-либо принципами.

Вероятно, его крайне удивило, что при попытке дедукции из некоторого принципа, открывался обычно не один путь, а по крайней мере два.

Возьмем такой пример: нужно объяснить [логику] вложения денежных средств. Мы будем исходить из разделяемой некоторыми экономистами идеи о человеческой природе: человек стремится к собственной выгоде. Вот такой человек, и он вкладывает деньги. Вложив их в какое-то дело, он отказывается от немедленного потребления определенных благ, и поскольку для него это тяжело, он обязательно будет ожидать некоторой компенсации. Такая компенсация должна быть тем выше, чем существеннее его жертва. В этих условиях, если он хорошо понимает свою выгоду, то потребует повышенную процентную ставку, а следовательно, капиталы будут вложены, сбережения направлены в такие предприятия, которые приносят очень высокие проценты. Вот какой вывод можно сделать относительно вложений.

Но, говорит Симиан, можно рассуждать и иначе. Если некто не потребляет сразу имеющиеся блага, а сохраняет их, то делает это оттого, что хочет воспользоваться ими в будущем. Он побеспокоится о том, чтобы его средства действительно сохранились, то есть будет искать прежде всего гарантии безопасности. Величина процентной ставки его мало интересует — он стремится к надежности вклада. Можно сделать вывод, что если люди хорошо понимают свою выгоду, они разместят свои сбережения в тех сферах, где процентные ставки, возможно, низкие, но где вложение не рискованно.

Итак, мы имеем два противоположных результата: вложение средств в те виды деятельности, где процентные ставки наиболее высоки, какой бы ни была степень безопасности, и вложения, при которых проценты второстепенны, но где самое главное — безопасность. Два различающихся следствия одного и того же принципа, не так ли? Как же это происходит?

То же можно показать и в других случаях, как это делает Симиан. Например, в отношении того, что зарплата устанавливается на минимальном уровне, что есть минимум заработной платы. Исходя из тех же самых предпосылок, можно было бы доказать, что нет минимума зарплат, что зарплата может снижаться до бесконечности. Можно было бы также доказать, что производимые изделия будут, главным образом, высококачественными. Качество будет наиболее важно, а следовательно, цены будут высокими. Но, исходя из тех же предпосылок, можно было бы установить, что на качество производимых изделий не будут обращать внимание: самым важным будет дешевизна. Как объясняется это различие в выводах?

Дело в том, что предпосылки, очевидно, были слишком расплывчатыми, слишком общими; это были, если угодно, истины общего опыта. Но каждый человек, осуществлявший дедукцию, считал необходимым уточнить эти предпосылки на свой лад, то есть опираясь более или менее осознанно на опыт. Но на какой опыт?

На свой индивидуальный. Некоторые замечали, что люди, с которыми они общались, придают большое значение безопасности, для них выгода состоит прежде всего в получении гарантий безопасности. Другие замечали, что люди стараются прежде всего увеличить доход, без колебаний идут на риск. И они заключили, что люди вкладывают деньги ради подобного преимущества, то есть ради высокой процентной ставки. Почему они так рассуждали, а главное, почему они использовали этот опыт, если они претендовали на осуществление чистой дедукции, не опирающейся на опыт?

Безусловно, потому что не опираться на опыт очень трудно. Мы все основываем предпосылки — какими бы простыми они ни казались — на каком-то опыте. Только этот опыт обычно очень ограничен — это очень узкий опыт. Тогда, наверное, следовало бы четче осознать тот факт, что мы опираемся на опыт, даже устанавливая свои предпосылки. Таким образом, нам приходится приступить к продуманному, методичному и полному пересмотру фактов.

Очевидно, можно было бы претендовать на полную независимость от опыта, то есть принять чисто идеологический метод, попытавшись определить принципы, якобы не вытекающие из наблюдения над фактами и в этом случае представляющие, если угодно, гипотезами чистого разума. Но тогда, говорит Симиан, на каком основании строить именно эту гипотезу, а не какую-то другую? И здесь ему приходится подчеркнуть другую особенность дедуктивных методов, которую он резюмирует в следующей формулировке: «Почти все те, кто подобным образом занимался политической экономией, исходили из нормативных устремлений». Это означает, что они формируют некоторую идею, концепцию того, что предпочтительно, рационально, разумно — и именно из этих представлений исходят в своих дедукциях.

Это значит начать процесс против того, что обычно называют чистой экономикой. Симиан был очень удивлен этим названием, которое взяла политическая

экономия. Ведь, говорил он, когда более подробно анализируешь исходные принципы, обнаруживается, например, что чистая экономика предлагает обеспечить такие условия, чтобы был минимум работы, минимум усилий, максимум результатов. Или еще, чистая экономика предлагает обеспечить состояние экономического равновесия.

Прежде всего нужно отметить это странное преобразование реального порядка вещей: начинать с прикладной политической экономии, с проблемы, которая обычно встает в рамках применения уже сформировавшейся теории или науки. Это представляется довольно странным. Разве цель чистой оптики — рассчитать соединение линз, которое позволит улучшить видимость? Это прикладная проблема. В конце концов, могло бы оказаться столь же интересным изучить условия, необходимые для того, чтобы получить искажающие линзы: эта проблема совершенно не зависит от самой теории оптики. И если мы говорим о чистой физиологии, то разве целью ее является определение наилучшего режима питания? В качестве таковой можно было бы указать и определение режима питания, который обеспечивал бы наибольшее удовлетворение вкуса. Или ею могло быть продление жизни, но также и ее сокращение. Все эти проблемы вполне законны, но это не проблемы чистой науки.

Значит, в политической экономии рассуждают примерно так же, когда говорят, например, что цель состоит в получении максимального разрыва между минимумом усилий и максимумом результатов. Но почему бы не попытаться получить при максимуме усилий минимум результата? Это могло бы стать идеалом общества аскетов. В любом случае реальность предоставляет нам множество промежуточных вариантов между этими двумя крайностями.

Или возьмем соображение относительно равновесия. Некоторые, например, полагают, что было бы идеалом получить экономическое общество, организованное таким образом, что предельная (marginal) полезность

или, как ее называют, предельная прибыль в каждой сфере была постоянной и во всех сферах одинаковой. Точно так же можно поставить своей задачей расчет условий, при которых один человек обеспечил бы распределение своего дохода в течение всей жизни так, чтобы предельные траты всегда были одинаковы. Но почему бы не задаться целью сделать обратное? Почему бы не попытаться испытать в одно время максимум удовольствия, а в другое — минимум?

Похоже, экономисты абстрактной школы заигнорированы понятием равновесия. На заседании Центра синтеза Адамар, крупный математик, которого вы хорошо знаете, сказал: «Статистики и экономисты должны научить нас, как привести к равновесию экономическую жизнь». Но разве уравновешенная экономическая жизнь — это идеал? Разве экономическая жизнь в какой-либо момент находится в состоянии равновесия? Симпсон постоянно указывал на тот факт, что, по сути, равновесие такого рода почти никогда не достигалось, что экономическая жизнь — постоянный переход от одного состояния неравновесия к другому и что эта последовательная смена состояний неравновесия — необходимое условие экономического прогресса. Точно так же, чтобы наступила весна, нужна зима.

Имея дело с физиологическим организмом, ученый, который занимается проблемой равновесия, может забеспокоиться, увидев, что этот организм проходит через сменяющие друг друга фазы. Во время дефицита он истощен, поскольку ему недостает питательных элементов, а в противоположных фазах он испытывает чувство наполненности, насыщения. Такой ученый сказал бы: «Но ведь это совершенно ненормально, этот организм непрерывно находится в состоянии неравновесия, надо бы привести его в равновесие». Что это было бы за состояние, в котором организм никогда не знал ни чувства нехватки, ни чувства наполненности? Это было бы смертью — а она не может объяснить жизнь.

Теперь, правда, экономисты абстрактной школы требуют права на абстракции и упрощения. Но разве в экспериментальных науках не пользуются абстракциями? Разве не так поступают во всех уже сложившихся науках? Разве не используют их, например, в исследованиях по механике? Да, говорит Спмнан, но только тогда, когда знают, что именно хотят изучить, каков объект интереса и что об этом объекте хотят узнать. Ведь если вы, пожелав изучить, к примеру, паровую машину, поочередно абстрагируете от трения, колес, угля, тепла, пара, то что же останется?

Если мы обратимся к экономистам, которые применяли этот метод, мы с удивлением обнаружим людей, которые, изучая такие принципиально социальные явления, как цены, рынки, зарплаты, профессиональная жизнь и т. д., начали с того, что совершенно абстрагировались от общества. В своем рассмотрении они действительно исходили из отдельно взятого человека, экономического субъекта. Когда изучают вопрос с точки зрения потребностей, по сути, речь идет об отдельном экономическом субъекте. Когда хотят объяснить цены, ссылаются на потребности этого экономического субъекта, поскольку потребности испытывают индивиды как таковые. И этим способом, через индивидуальные потребности, пытаются объяснить такой социальный факт, как цена. Однако при этом не замечают, что реально придать некоторые количественные значения самим потребностям можно потому, что они постепенно сложились под влиянием объектов, которые нам представляются имеющими некоторую стоимость, то есть известную цену.

Иными словами, люди жили и живут в экономической среде, которая имеет особенность при этом весьма примечательную и которая, возможно, является большой загадкой политической экономии: в этой среде проявляются мнения, которые в то же время являются количествами. Но это может иметь место только в обществе, точно так же, как вне общества не может быть языка.

Язык предполагает социальную жизнь. Так же и установление цен в денежном выражении предполагает социальные группы.

Если в сельской местности я встречу пастуха и попрошу его дать мне стакан молока, а после этого спрошу, сколько я ему должен, он скажет мне: «Дайте мне столько же, сколько вы дадите в городе или в деревне». Или же он спросит меня, какова цена молока на рынке. Цену фиксирует не производитель: обычно он слишком занят производством, чтобы заниматься чем-то еще. Цены фиксируются на рынке экономическими агентами, чьей основной функцией является установление связи, соответствий между группами, а следовательно, формирование мнения об условиях, в которых должен происходить обмен.

Именно под влиянием этой денежной экономической организации мы и живем. И тогда вы видите, что если хотят объяснить социальные экономические факты (каковыми являются цены) через индивидуальные оценки, образуется настоящий порочный круг, ибо индивидуальные оценки зависят только от общества, в котором живут индивиды и которое уже установило систему цен.

Возвращаясь к другим критическим замечаниям Симпсона в адрес абстрактной экономики, я мог бы сказать еще многое, но я хочу сразу перейти к позитивной части его творчества. Не буду детально воспроизводить ее здесь, так как это было бы слишком длинно, и я полагаю, что многим из вас ее содержание хорошо известно.

Было бы интересно, например, обратиться к закону спроса и предложения, о котором я не хочу говорить слишком плохо, поскольку когда читаешь в первый раз изложение этой теории у Адама Смита, она поражает и кажется подлинным открытием. Бергсон (он по духу был весьма близок к англосаксам и оставался близок к позициям Адама Смита), который был моим преподавателем философии, имел привычку говорить: «Из социальных наук [он не очень любил социологию] есть только

одна действительно сформировавшаяся — это политическая экономия, так как она открыла закон. Это закон спроса и предложения».

Притом, если рассмотреть этот закон повнимательнее, он покажется чрезвычайно простым. Назовем предложение содержащим, а спрос — содержимым, увеличьте содержимое — уровень (то есть цена) повысится, и наоборот, содержащее (то есть предложение) не изменится. Это элементарная истина, истина даже не социального или человеческого порядка. Как с помощью утверждений такого рода можно было бы объяснить любую экономическую реальность? Это тип совершенно пустого закона.

Я говорю, что было бы интересно этот закон сравнить с другим: с тем, который, как я думаю, установил Симиан, но в его случае — методом чистого наблюдения. Он состоит в том, что экономическая жизнь развивается периодами большой длительности: двадцать пять-тридцать лет, иногда больше, иногда меньше. Эти чередующиеся периоды вслед за Симианом привыкли называть «период А» и «период Б»: период А — процветание, период Б — спад. С конца XVIII века, с 1788 по 1815–20 гг. — период процветания, приходящийся в том числе на войны во время Революции и Империи, которые никак на него не повлияли. С 1815–1820 по 1850 год наступает период спада, снижения цен, падения, сокращения доходов, снижения заработной платы. Приблизительно с 1850 по 1875 год — период активного расширения, процветания. С 1875–1880 по 1900 год — период спада. В некоторых странах с 1900 по 1923–24, в других по 1929–30 годы — это период процветания, несмотря на войну, которая мало что изменила. Уже в 1927 или 1928 году я прочел в рукописи большое произведение Симиана «Зарплата, социальная эволюция и деньги»¹, в котором тот предупреждал, что через несколько лет

¹ *Simiand F. Le salaire, l'évolution sociale et la monnaie. Paris: Alcan, 1932. Vol. 3.*

мы вступим в новый период спада — и он будет долгим. Это что, закон? Симиан не очень любил говорить о законах. Во всяком случае, это закономерность (*régularité*) или повтор.

Я мог бы указать вам еще один тип отношений, которые Симиан определил и установил, только ведя наблюдения над фактами. Разного рода устремления, как в категории рабочих, так и в категории работодателей, в зависимости от их силы или в порядке снижения интенсивности можно классифицировать следующим образом: стремление сохранять ту же прибыль; стремление прилагать те же усилия или, если угодно, не увеличивать их; стремление к увеличению прибыли; стремление к сокращению усилий. Таким образом, мы обнаруживаем, что устремления оказывают свое влияние в соответствии с их силой или интенсивностью, и что когда устремление определенного ранга в одной из категорий работодателей и рабочих вступают в противоречие с устремлениями, имеющими более низкий ранг в противоположной категории, побеждает стремление, имеющее ранг 1, противостоящее, например, устремлению 2 или 3. Это также закон или, скорее, совокупность закономерностей, вся сила и ценность которых основывается на том, что они резюмируют значительное число опытов и сравнений.

Ведь Симиан был наблюдателем. Он провел свою жизнь, изучая факты по цифрам, кривым, статистике. Я должен отметить, что он мало изучал математические кривые, хотя интересовался математикой и занимался ею. Он изучал кривые эмпирические. Вместо того, например, чтобы пытаться свести множество эмпирических кривых к кривым, известным в математике, своей основной работой он сделал различение кривых, их положение, пытаясь понять общее движение. Таков был его прием наблюдения.

Многие (в том числе и он сам) утверждали, что Симиан применял метод *интегрального эмпиризма*. Понятие эмпиризма подчас употребляется как понятие, имею-

щее негативную окраску, но в случае с Симпиадом, я полагаю, следует прояснить, чему это понятие соответствует. Он не захотел изобретать никаких гипотез, а ограничился изучением фактов и отношений, которые складывались между фактами по мере того, как они проявлялись в его мышлении или опыте, а он их последовательно изучал, не желая отдавать предпочтение одному порядку фактов перед другим. Благодаря этому ему удалось постепенно выделить некоторые связи и закономерности из самих фактов, из реальности, из самих наблюдений. Вот в каком смысле можно говорить о нем как о настоящем эмпирике.

Правда, он добавлял, что его эмпиризм был эмпиризмом рациональным. Именно на этом я хотел бы остановиться подробнее. Эмпирический рационализм или рационалистический эмпиризм: эти два слова не сочетаются. Оба слова противопоставляются в философии, в общепринятой логике. Действительно, часто ссылаются на схему, посредством которой объясняют, как порой получают предварительную форму закона: различают рациональный, дедуктивный, метод и метод эмпирический, состоящий в наблюдении. Полагают, что истинность некоего утверждения устанавливается путем сочетания результата дедукции, с одной стороны, и наблюдения, с другой: они либо стыкуются, либо нет. Сам факт их стыковки доказывает правильность выдвигаемого утверждения.

Но где же здесь доказательство? Это дедукция или наблюдение? Если дедукция, тогда зачем нужно наблюдение? Можно без него обойтись, стоит только рассуждать, а наблюдение — это лишь способ, которому не следовало бы придавать никакого значения. Если доказательство в наблюдении, нет нужды в дедукции. Почему бы не признать, что видимая значимость дедуктивного умозаключения основана на том, что, намереваясь осуществить дедукцию, в действительности руководствуются наблюдением, то есть интуицией?

Вероятно, если бы мы решительно встали на экспериментальный путь, мы сделали бы гораздо больше открытий. Противопоставление рационализма и эмпиризма могло бы иметь место, если бы мы придерживались вульгарного эмпиризма — того, который обычно занимается только индивидуальными или частными фактами, которые представляются естественным образом разделенными, изолированными друг от друга. Предпринимались попытки связать изолированные индивидуальные или частные факты. Установить такую связь было трудно. Вот почему в целом действовали через теорию, рационально. Однако теоретик и сам был индивидом, который, в конечном счете, опирался только на сугубо индивидуальный опыт. Как он мог объяснить факты и связи между ними, которые обусловлены именно социальной жизнью и являют собой содержание и саму суть социальной жизни? Мы можем познать социальные факты, лишь выходя за свои пределы, наблюдая за тем, что происходит в обширных группах. Но теоретик, как правило, избегает таких единств. Он замыкается в самом себе, пытаясь извлечь из своих собственных идей — идей индивида — объяснение реальности. Он наверняка потерпит неудачу.

Совсем иными оказываются метод и точка зрения Симпсона, которые, как вы сейчас увидите, строго эмпиричны и в то же время строго рациональны. Ведь как мы можем дать объяснение частным индивидуальным или частичным фактам, которые обнаруживаем в природе, вокруг нас, в порядке наших исследований о людях и обществах? Только помещая эти частные и индивидуальные факты в те единства, частью которых они являются. Сами эти единства, которые также ограничены, мы поместим в еще более широкие единства. Таков предложенный нам метод.

Заметьте, что традиционная логика утверждает, будто бы частный факт объясняется его родом. Где этот род? Он — в разуме, в мышлении; частный факт — в опыте. Симпсон говорит: род — это единство; именно оно объяс-

няет связи между элементами, частными фактами, входящими в него. Следовательно, мне нет нужды отыскивать в своем разуме идею рода, но — что гораздо сложнее — в самой реальности мне приходится отыскивать единства, связи внутри них и связи между ними, обнаруживая их посредством наблюдения и опытным путем простирая поиск как можно дальше.

Я повторяю, здесь мы в области эмпиризма, но также и в области рационального, поскольку рассудок, или объяснение вещей, находится в самих вещах. Иначе и быть не может, ибо как бы сформировались и функционировали эти единства, каким образом привели бы они к замечательным следствиям — социальной жизни и согласованности различных ее частей, — если бы сами не были рациональными? Следует искать причину вещей (*raison des choses*), их разумное основание (*raison*) в самом опыте. Вот, вкратце, как можно обрисовать творчество Симиана, его логику и методологию.

На последнем заседании, которое я помогал провести, я слушал выступление Кутро (Coutrol), который говорил о Симиане и пытался дать определение истинного экспериментального метода, противопоставляя его тому, что делал Симиан. Это навело меня на мысль рассказать вам одну маленькую притчу.

Жил-был однажды филолог-систематик, который с давних пор все свое время посвящал восстановлению рукописи. У него были лишь беспорядочные фрагменты этой рукописи, в которой преобладали лакуны. Для их заполнения и восстановления он открыл ряд правил, которые, вероятно, можно было бы сравнить с шахматной игрой, разгадыванием кроссвордов. Эти правила, однако, претендовали на несколько большее, так как в их основании лежали некоторые математические методы. Он был очень доволен этим методом и называл его методом малых моделей. Он говорил: «Он дает мне очень хорошие результаты, я надеюсь на успех». Однажды было сделано открытие — но то был уже не филолог, а историки, изучавшие античность, археологи, литераторы, которые расширили круг чтения, искали в мало-

известных произведениях, исследовали музейные коллекции, развалины, места раскопок и в итоге нашли недостающие фрагменты.

Как повел себя филолог? Это никак не поколебало его спокойствия. Сперва он отказался читать найденную рукопись. Он продолжал применять свои правила. Однако в разговорах, а затем благодаря газетам, которые о ней говорили, он уловил что-то из этой найденной рукописи и перенес в свое мышление. Но таким образом, он изменил правила, чтобы они соответствовали новому тексту. А поскольку, естественно, тем самым ему удалось прояснить большее число фрагментов и фраз, он все больше восхищался своим методом, пока всерьез не уверился в том, что только благодаря его методу, его правилам и восстановили рукопись.

В заключение хочу сказать, что интерес представляют все исследования, проводимые во всех науках и относительно всех объектов. Я полагаю, что политическая экономия дала ученым, в частности, математикам, темы для размышления и повод для блестящих реконструкций. Я не буду заходить слишком далеко и даже признаю, что математическая политическая экономия является хорошим инструментом анализа и может раскрыть нам все те аспекты экономической реальности, которые без нее ускользнули бы от нас. Тем не менее я продолжаю считать, что математическая экономика интересна прежде всего математикам и как приложение математики. Для нас, остальных, это — роман, впрочем, роман прекрасный. Я читал Курно, Вальраса, Парето и должен сказать, они сообщили мне мало нового о самой реальности, самих фактах. У меня не сложилось впечатления, что их построения можно было бы включить в позитивную и реальную науку.

Итак, пусть продолжают занятия математической экономией, пусть математики продолжают использовать свою изобретательность и строгость в размышлениях подобного рода — я не вижу в этом ничего плохого. Однако я полагаю, что нам сейчас больше всего недостает исследователей и наблюдателей, людей, располо-

женных к исследованию различных сторон экономической реальности посредством наблюдения. А этот метод тяжел, сложен, требует много времени и сил и, поверьте мне, пока еще весьма далек от совершенства.

У меня есть впечатление, что мы не проникли вполне и с достаточной точностью в [проблему] цен, несмотря на все исследования, сделанные в этой области. Я уверен, что нам ничего не известно о потреблении, однако же в политической экономии потребление играет первостепенную роль. Я читал одну из последних лекций Симпсона, где он постарался собрать все то, что известно о потреблении: это был долгий крик отчаяния. Он не смог найти ничего. Он непрерывно указывал на недостатки, пробелы. Как ставить самые элементарные проблемы, и в особенности проблемы фундаментальные, если действовать иначе?

Значит, в данный момент важно не слишком обольщаться построениями математической экономики. Я не говорю это о тех математиках, которые на законном основании интересуются подобными упражнениями в рамках своей профессии, хотя (по это другой вопрос), мы могли бы ожидать от них сотрудничества иного рода, гораздо более плодотворного. Я говорю это для не-математиков, для тех, кто совсем или почти без пользы рискует пожертвовать математике значительное время. Порой я говорю это самим преподавателям политической экономии, которым было бы лучше предоставлять новые материалы, собирать еще неизвестные факты, простирайте позитивное исследование реальности как таковой.

Я заканчиваю это выступление — слишком длинное для вас, а для меня слишком короткое — одной фразой. Точно так же, как наше беспорядочное производство с его слишком хаотичными формами следовало в значительной мере заменить управляемой (*dirigée*) экономикой, так и в нашей области и в нашей науке следовало бы заменить избыток разобщенных специальностей по-настоящему направленным (*dirigée*) экономическим исследованием.

приложения

Каради В.

Морис Хальбвакс:

биографический очерк

Чтобы определить место Мориса Хальбвакса (1877–1945) в социологии, следует начать с того, что по происхождению он эльзасец, из семьи преподавателя университета. Его отец во время аннексии Эльзаса Германией в 1871 году выбрал Францию, а по окончании Высшей нормальной школы стал преподавателем немецкого языка. В 1879 году он получил назначение в Париж и с тех пор, благодаря своему влиянию и написанию базовых учебных пособий, содействовал повышению уровня преподавания немецкого языка во Франции. Морис Хальбвакс воспитывался в семье чиновников, принадлежавших к средней либеральной буржуазии, которые держались на расстоянии от политики и были не очень зажиточны. Происхождение определило его выбор профессии, называемой в ту пору «либеральной» — профессии преподавателя. Поскольку он рано созрел в интеллектуальном отношении и со всей страстью отдавался делу, социальное происхождение помогло ему обрести в работе призвание. Встреча с Бергсоном, который преподавал философию в гуманитарных

классах Лицея имени Генриха IV, стала для него настоящим открытием, и он с энтузиазмом избрал философию, поступив в Высшую нормальную школу. К тому же эта «чистая» и всеохватная дисциплина постоянно первенствовала среди прочих и, как правило, в школе ею занимались самые лучшие студенты. Его карьера, казалось, была определена с самого начала. Он всю жизнь был преподавателем, сначала в средней школе, затем в высшей.

Прибыв на улицу Ульм, он снова обрел тот круг, к которому принадлежал от рождения (треть его товарищей-литераторов были детьми преподавателей). Тогда же он оказался вовлечен в крупное политическое движение, связанное с делом Дрейфуса. По свидетельству Эли Халеви, прежде в Высшей нормальной школе политикой не занимались, но неожиданно она стала источником принципиального раскола в университете. Предстояло сделать выбор. Под влиянием и руководством Люсьена Херра, знаменитого библиотекаря школы, Хальбвакс стал социалистом, и этому выбору (подкреплённому его восхищенным отношением к Жоресу) он оставался верен всю жизнь. Он не был активным деятелем движения, но в тот момент, когда он сознательно решил отойти от метафизических изысканий и обратиться к социологии, именно этот выбор стал для него решающим событием. Он сам вспоминал, в какой степени Франсуа Симнан, которым он восхищался, способствовал открытию этой новой для него дисциплины. Симнан был одним из социалистически мыслящих университетских преподавателей, который с 1900 года занимал пост главного редактора «Критических заметок», посвященных социальным наукам, а главное, являлся руководителем экономической секции в дюркгеймовском «Социологическом ежегоднике» (*«Année sociologique»*).

Под этим влиянием и в порыве интеллектуального обращения Хальбвакс, как кажется, вовсе не испытывал стесненности рутинной университетской карьеры. После первого года преподавания одновременно в Кон-

стантине и Монпелье, в 1904 году он получает должность старшего преподавателя в немецком университете Геттинген, возле Ганновера. В его работе над рукописями Лейбница¹ (он готовит небольшую книгу об этом философе) следует видеть своего рода прощальный поклон метафизике, поскольку в это же время он уже приобщился к немецкой политической экономии. После этого он берет отпуск и, обеспечивая свое существование в Париже мелкими работами, вновь становится студентом — теперь в области права и политической экономии. По-прежнему при горячей поддержке своего друга Симпана, он отправляется к Дюркгейму и с 1905 года становится членом его социологической школы. Диссертация в области права «Экспроприация и цена земельных участков в Париже (1880–1900)» (вышедшая в 1909 году), в действительности является серьезной работой по прикладной социологии. Здесь Хальбвакс показывает, как проекты городского планирования выражают глубинные социальные потребности, логика которых, более сложная, чем закон спроса и предложения, управляет механизмом спекуляции². Эта книга позволила ему занять свое место среди социологов, которые публиковали очень мало работ по актуальным проблемам. Книга послужила хорошим поводом для встречи с Жоресом, а социалистическая партия выпустила на ее основе маленькую брошюру с пропагандой против капиталистической спекуляции³. В 1905 году он начал сотрудничать

¹ Он также сотрудничал в немецко-французской комиссии, которая готовила (но так и не смогла закончить из-за начавшейся войны) перечень рукописей Лейбница.

² Книгу приветствовали как образец необходимого традиционной политической экономии обновления: «Можно надеяться, что эта работа, в сочетании с работами г-на Ф. Симпана, убедит молодых экономистов в необходимости пересмотра традиционных положений экономической науки и проверки их посредством фактов. Политическая экономия из диалектической должна стать экспериментальной» (*Revue du mois*, № 8, 1909, P. 639).

³ См. «Земельная политика муниципалитетов» в 3-й главе настоящего издания.

с журналом «Социологический ежегодник», в котором его роль росла от выпуска к выпуску: накануне войны Хальбвакс был одним из восьми основных сотрудников.

Вернувшись в штат преподавателей университета, Хальбвакс некоторое время работает в лицее Реймса, но в 1909 году получает одну из тех стипендий для стажировки в Германии, которые Республика все более щедро представляла своей элите⁴.

В заголовках его первых работ явственно отражаются как научные, так и политические интересы: «Замечания к социологической постановке проблемы классов», «Потребности и устремления в социальной экономике», «Психология современного рабочего», «Наука и социальное действие», «Капиталистический город». Эти темы, которые разрабатывались под влиянием таких немецких экономистов, как Зомбарт, или социалистов, как Бернштейн, определены чуждым университетским преподавателям того времени стремлением соединить наблюдение над повседневными явлениями с теоретической рефлексией и, возможно, перейти к политическому действию. Из сторонников Дюркгейма, он единственный на протяжении всего своего творчества с удивительной последовательностью руководствовался собственным жизненным опытом на предмет социальной дифференциации. Чтобы отрефлексировать этот опыт в научной форме, он развил чрезвычайное чувство факта, наблюдаемого в обыденной жизни.

Его становление как социолога можно сравнить с формированием кабинетных этнологов дюркгеймовской группы, хотя нельзя сказать, что его знание жизни

⁴ В Берлине, где он упорно изучал немецкую политическую экономию и марксизм, он вызвал своего рода политический скандал. Со спокойным, почти неосознанным мужеством, которое он проявил при немецкой оккупации во время Второй Мировой войны, он послал в «Юманите» (где его друзья Херр и Мосс в течение некоторого времени вели регулярные рубрики) рассказ о подавлении императорской полицией забастовки в Берлине. Изгнанный из Пруссии, он закончил год в Австрии, в Вене. В Париже этот инцидент даже упоминался в Палате.

рабочих было столь же опосредованным, как знания Дюркгейма или Мосса об австралийских религиях. Во всяком случае, их подходы были во многих отношениях аналогичными. Как и молодые социологи, как сам Дюркгейм, Хальбвакс был вынужден соотносить новаторский проект эмпирической социологии с условиями тогда еще господствовавшей классической философии. Его первые статьи публикуются не только в «Revue socialiste», но также в «Revue philosophique», «Revue de métaphysique et de morale» и «Revue d'économie politique» которые были почти официальными органами научных обществ или университетских объединений.

При этом ссылки у самого Дюркгейма на современные реалии были редки (за исключением работы «Самоубийство»), а социологическая теория в целом оставалась безразличной к проблемам социальной стратификации. До Хальбвакса ни на одном гуманитарном факультете Франции — и таким образом, ни в одной из гуманитарных дисциплин — не защищалась диссертация, основанная на прямом наблюдении изучаемых фактов; а темы, почерпнутые из современной истории, только начали разрабатываться на факультетах⁵. Обсуждать результаты полевых обследований населения окраин, с которым мэтры Сорбонны встречались в лучшем случае на занятиях в народных университетах, было довольно смелым шагом. Еще более смелой была значительная тематическая и методологическая инновация, представленная большой книгой «Рабочий класс и уровень жизни» (1913), которая, конечно, не могла бы удовлетворить критериям докторской диссертации, наибо-

⁵ До 1890 года темы современной истории, то есть касающиеся периода после Французской революции, вообще отсутствовали и получали право на существование в академических трудах весьма медленно. Было четыре диссертации подобного рода до 1900 года и тринадцать — в следующее десятилетие; из них только одна принадлежит перу выпускника Нормальной школы. Это существенное свидетельство «интеллектуального отставания» систематически наблюдается для большинства тем исследований, на рубеже века бывших новыми.

лее высокой барьерной планки в университете — если предположить, что таковая могла была успешно взята — без поручительства социологической школы, представленной на защите Бугле и Левн-Брюлем, настроенных, конечно, дружески, но не без критического запала.

Учитывая слабость интеллектуального влияния марксизма во Франции, только эмпирические исследования той поры проливали некоторый свет на положение рабочих — от Виллерме до учеников Ле Пле. Для того, чтобы прийти к теории рабочего класса, необходимо было воссоздать объект исследования на базе новой теории стратификации, основанной на связи труда со стилем жизни. Опираясь на два немецких социологических исследования семейных бюджетов, Хальбвакс обнаруживает, что распределение расходов при равном семейном положении и доходах является индикатором социальных диспозиций рабочего класса, в частности, относительной десоциализации работников, занятых ручным трудом. Слабую интегрированность в общество, которая объясняется специфическими потребностями рабочих, невозможно понять вне связи с трудом. Хальбвакс воскрешает здесь позитивистскую тему, которую развивал уже Огюст Конт (она встречается также и у Алена) и которая ближе других находилась к марксистской теории отчуждения. В процессе труда рабочий выполняет инструкции, чтобы воздействовать на вещи, на сырой или обработанный материал. Он вынужден покинуть общество, чтобы составить единое целое со своим инструментом или станком, потерять человеческие черты, превратившись в грубую рабочую силу. Таким образом, Хальбвакс предвосхитил теорию отчуждения, элементы которой обнаруживаются в этнографии рабочей жизни, имеющей целью через набор функций и их объективацию в расходах реконструировать то, что впоследствии, будучи верным приверженцем Дюркгейма, он назовет коллективным сознанием класса. Главные из этих парабол впоследствии были развиты

Хальбваксом в статье «Материя и общество» (1920), и он еще не раз возвращался к ним в различных эссе, книгах, и лекциях⁶.

Удивление сегодняшнего читателя будет вызвано тем, что в этих фундаментальных работах, посвященных классам, как будто совершенно отсутствуют ссылки на марксизм. Несомненно, это не вызвано каким-то университетским оппортунизмом, это — свидетельство трудной интеграции дюркгеймовской и марксистской точек зрения. Напомним, что на рубеже веков, вплоть до второй мировой войны, марксизм, не прижившийся в университете, оказывал очень слабое влияние даже на левое крыло интеллектуалов. Последние были более близки к французским профсоюзным традициям, чем к ортодоксальному направлению, представленному Жюлем Гедом. Как бы то ни было, оригинальный вклад Хальбвакса в дюркгеймовскую концепцию общества состоит во введении категории социальности (воспроизводство навыков интеграции в общество), посредующей между семьей и обществом в целом. Конечно, введение этого основного принципа стратификации в исследование никогда не приводило к тому, что системе классов отводилась главенствующая роль, хотя бы методологически. Тем не менее это позволило заложить основы дифференциальной социологии, основанной на существующем разнообразии жизненных стилей. Так, например, Хальбвакс противопоставляет дюркгеймовскому разделению на конфессиональные группы фундаментальное, по его мнению, деление между горо-

⁶ «Материя и общество» была включена в I главу настоящего издания вместе с двумя текстами ранних лет «Потребности и устремления в социальной экономике» (1905) и «Замечания к социологической постановке проблемы классов» (1905) и более поздней работой «Характеристики средних классов» (1939). См. также книги «Набросок психологии социальных классов» (1938), «Эволюция потребностей в рабочих классах» (1933) и его лекции в Сорбонне «Социальные классы» (1937).

дом и деревней, между демографическими категориями, между этнически разнородными слоями населения, городскими классами и т. д.

С кануна войны 1914 года Хальбвакс стал одним из наиболее заметных социологов. Однако при этом он не получил должности на факультете и продолжал работать преподавателем философии в лицее Тура. Сразу же после призыва в армию его комиссовали из-за близорукости, в первые месяцы войны он преподавал в Нанси до тех пор, пока город не оказался включенным в зону расположения армии, и лицей пришлось эвакуировать. Тогда он перешел в Министерство вооружения, где сотрудничал с социалистом Альбером Тома, его другом. Тот, будучи человеком чрезвычайно ответственным, сформировал вокруг себя настоящую команду, собранную из бывших «левых» выпускников Нормальной школы. Здесь Хальбвакс вновь встретился с Симианом, Буржемом, Юбером и др. К концу войны, в 1918 году, когда страна восстанавливалась, он сразу поступил на работу в высшее учебное заведение и наконец смог полностью посвятить себя социологическим исследованиям. После недолгого пребывания на факультете в Канне он получил назначение на только что созданную кафедру социологии и педагогики в Страсбурге (если не ошибаюсь, она первой во Франции открыто носила такое название). Эту должность он занимал до 1935 года, когда ему предоставили место в Сорбонне. Его преподавание в Страсбурге прерывается лишь изредка, либо учебной поездкой на Ближний Восток, либо временной командировкой для преподавательской работы в Чикаго или же работой на кафедре Симона в Консерватории искусств и ремесел. После возвращения Эльзаса Франции Страсбургский университет стал играть важную роль: за несколько лет он сравнялся со вторым университетом в стране, Лионским. Располагая значительными средствами, в тот период университет стал местом встречи выдающихся исследователей: здесь начинают

свою карьеру историки Люсьен Февр и Марк Блок, психолог Шарль Блондель (все они, с разницей в несколько лет, продолжают ее в Париже, как и Хальбвакс). Страсбург стал очагом обновления и расцвета социальных и гуманитарных наук.

Уход из жизни Дюркгейма в 1917 году нанес социологической школе тяжелый удар. Быстро исчезла сплоченность тех, кто себя к ней относил: они занялись все более узкоспециализированными исследованиями. Отчетливо проявились признаки упадка, шла ли речь о трудном выживании «Социологического ежегодника» (появились всего два выпуска, один из которых представлял собой урезанный выпуск двадцатых годов, затем специальные выпуски, неперiodичные и выходившие впоследствии под заголовком «Труды по социологии» [*Annales sociologiques*]) или о сокращении набора и о регрессе преподавания социологии на факультетах в период между двумя войнами. Как ни парадоксально, можно даже сказать, что дюркгеймовская теория рисковала подвергнуться популяризации и обеднению в результате включения в программу Нормальной школы для учителей младших классов. Несмотря на затянувшийся упадок, его теория продолжала жить благодаря работам бывших учеников и сотрудников, чей пастрой был далек от ортодоксии, но которые при этом обеспечили поддержку и развитие позитивного духа в гуманитарных науках Франции.

Разнообразием работ, которое явствует из анализа его библиографии, Хальбвакс, несомненно, оказывается самым верным сторонником дюркгеймовских идеалов универсального применения социологического метода. Важную часть его обширного творчества составляют рецензии на книги, прямо или косвенно посвященные социальным наукам: тогда как со времени угасания «Социологического ежегодника» большинство старых дюркгеймовцев отказалось от исследований подобного рода. Помимо того, что Хальбвакс работал в «Социо-

логическом ежегоднике», он сотрудничал с «*Revue du mois*», «*Libres propos*» (журнал Алена), «*Revue critique*», «*Annales d'histoire économique et sociale*» (журнал Февра и Блока), «*Annales sociologiques*» (он руководил выпусками, посвященными социальной морфологией) и «*Revue philosophique*». Это позволило ему познакомить сообщество с зарубежной социологией. Именно Хальбвакс пером мастера открыл Франции имена Макса Вебера (1925), Парето (1918 и 1920), Веблена (1921) и других (Шумпетер, Кейнс), способствуя модернизации социологической мысли во Франции. Место, которое он отводит англоязычной социологии, постоянно увеличивается: 58% немецких заголовков против 8% англосаксонских до 1908 года, 18% немецких против 33% англосаксонских к концу его карьеры.

Что касается затронутых в его работах тем, их перечень не перестает расти на предмет социальной морфологии (1/8 от общего числа), исследования классов и экономического поведения (1/7), самоубийства (1/10) и в особенности коллективной психологии (1/5). Он не оставляет без внимания и демографические проблемы, политическую экономию, социальную историю, историю идей, эмпирические методы и, в частности, статистические. Возможно, именно его всеобъемлющая любознательность и гибкость мышления в сочетании с признанием важности его разработок открыли ему доступ в официальные научные учреждения⁷. Безусловно, интеллектуальная конъюнктура послевоенного времени и новый подъем социальной психологии (Шарль Дюма,

⁷ В 1932 году он был избран членом-корреспондентом Академии моральных и политических наук, этого крупного консервативного заведения, которое ни за что не принимало в свои ряды Дюркгейма. В 1935 году он становится членом Международного института статистики, в 1938 году — президентом Французского института социологии, в 1943 — вице-президентом Французского психологического общества. В 1936 году он — французский делегат на Конференцию по статистике труда, а в 1937 — эксперт Общества Наций в смешанном комитете по питанию трудящихся.

Шарль Блондель) и социальной истории (Люсьен Февр и Марк Блок) способствовали пониманию и восприятию недогматической социологии, близкой к фактам, склонной менее, чем это представлял себе Дюркгейм, претендовать на эпистемологическое превосходство, а также отделенной от какой бы то ни было эволюционистской социальной философии. Благодаря гибкости мышления (некоторые сочли бы ее чрезмерной) Хальбвакс был в какой-то мере провозвестником пришествия (осуществившегося в наши дни) социальной науки без границ, разделенной скорее по основанию интересов, чем «объектов» и «методов» наук, которые с ней сотрудничают. Своим личным вкладом в так понимаемую науку он способствовал реализации дюркгеймовского проекта.

Огромный объем работы не помешал ему по окончании войны с жаром содействовать редактированию и распространению трудов покойного мэтра^{*}. Следует, в частности, подчеркнуть значительность усилий, которые пришлось затратить для критического пересмотра результатов знаменитого исследования «Самоубийство» (1930). Для Хальбвакса речь идет не о том, чтобы подвергнуть сомнению методологическую ценность этой классической работы, а о том, чтобы расширить применение метода и, сохранив свойственную ему точность, продвигаться к новым выводам. Он показывает значимость, но и ограниченность корреляций, установленных Дюркгеймом между долей самоубийств и степенью социальной интеграции, проявляющейся в группах, в частности, различающихся конфессионально.

Эти в полном смысле дюркгеймовские исследования не отвлекли его от работы над собственными (среди них мы обнаруживаем наиболее важные в его творчестве произведения), вырастающими либо непосредственно из прежних тем, либо из продолжения, которые они получили в трудах других членов социологической школы.

^{*} См. «Происхождение религиозного чувства по Дюркгейму» (1925) и «Доктрину Эмиля Дюркгейма» (1928).

Некоторые из них опираются на методологию, предложенную Симианом, приверженцем которого Хальбвакс считал себя всю жизнь, — они включают, в частности, критику чистой политической экономии. В этих произведениях, которые отстоят друг от друга почти на пятнадцать лет⁹, Хальбвакс возвращается к проблемам теории вероятностей¹⁰. Он настаивает на отличии статистических измерений в физико-химических и в социальных науках. В последних статистика связана с охватом — через фиксацию индивидуальных случаев — тех черт, которые существуют или имеют смысл только в группе или институте в целом. Таким образом, он возвращается к Огюсту Конту и его закону: всегда исходить из реальных единств. Критика абстрактной политической экономии, которую Дюркгейм едва наметил в случайном тексте, его увлекает и приводит к отказу от дедуктивных объяснительных схем и замене их эмпирическим исследованием экономического поведения.

Работы Хальбвакса по коллективной психологии известны лучше. Они вписываются в единый фронт работ, проводимых социологической школой, с ее претензией на систематичность. Их цель — прояснить социальные условия функционирования разума: «коллективные источники», как было принято говорить в то время, или «социальные рамки», как предлагает называть их Хальбвакс, ментальных категорий и функций. К исследованиям, начатым Дюркгеймом, Моссом, Юбером, Герцем и Чарновски о нациях, представлениях о времени, пространстве, личности, единстве и т. д., Хальбвакс добавляет основанные на фактах исследования об эмоциях и рассудочной деятельности. Вследствие своей специфической направленности дюркгеймовская программа познания посила, главным образом, генетический

⁹ См. в главе 4 настоящего издания, посвященной теории и методу, избранные работы, в которых рассматриваются, порой повторяясь, подобные темы.

¹⁰ «Общедоступная теория вероятностей» (1924), написанная совместно с Морисом Фреше.

характер¹¹ и была направлена на «примитивные» факты, освещая их под эволюционистским углом зрения. Хальбвакс же прибегает к наблюдениям и фактам, относящимся как к прошлому, так и настоящему, имея целью изучение ментальных процессов *hic et nunc*. И коль скоро установлено, что всякая память есть частичное и избирательное воссоздание прошлого, ориентиры для которого могут быть произведены только обществом, Хальбвакса интересует не столько функционирование памяти как таковой, сколько ее социальные функции в различных средах социализации: семье, классах, религиозных сообществах, профессиональных группах¹². Таким образом, память предстает как фактор связности группы; индивидуальная же память выражает только отношение между индивидом и группами, к которым он принадлежит. «Можно сказать, что индивидуальная память — это точка зрения на коллективную память, изменяющаяся в зависимости от занимаемого в ней места; а само это место изменяется в зависимости от отношений, которые я поддерживаю с другими»¹³. Поэтому индивидуальная память подчиняется правилам формирования коллективной памяти и часто лишь выражает идеальные потребности данной группы. Хальбвакс сумел проверить эту плодотворную гипотезу в прекрасном эссе «Легендарная евангелическая топография Святой Земли» (1942), где, по следам своего путешествия в Палестину, он показывает, как сменяющие друг друга поколения христианских общин выстроили связную систему локализации исторически достоверных событий, к которым при этом не ведет напрямую ни одна нить воспоминаний.

¹¹ Ср. выступление Мюссе в дискуссии (1923): «Я бы сказал, что социологии требуется еще больше антропологии и истории. Я даже осмелюсь утверждать, что полная антропология могла бы заменить философию, так как она включала бы в себя именно историю человеческого разума, которую предполагает философия» (*Mauss M. Oeuvres* II. Paris: Editions de Minuit, 1970. P. 127–128).

¹² См.: «Les cadres sociaux de la mémoire» (1925) и «La mémoire collective» (посмертное издание).

¹³ *Halbwachs M. La mémoire collective*. Paris: PUF, 1970. P. 83.

Отдаленным эхом очерка Дюркгейма и Мосса «О первобытных формах классификации»¹⁴ стало исследование о «Коллективной психологии рассудочной деятельности» (1938)¹⁵ — возможно, более смелое, но менее систематизированное, — в котором делается попытка представить специфические логики, то есть способы рассуждения, как свойства или, по крайней мере, продукты конкретных групп. Так, формальная логика, претендующая на выражение всеобщих правил, должна вытекать из философской школы, а математическое умозаключение обязано своим существованием некоторым ученым сообществам. Между индивидуальным мышлением и объектами его приложения повсюду стоят коллективные представления. Само обновление знаний было бы невозможным без разделения научного сообщества на интегрированных членов и исследователей, находящихся за его рамками. Все эти исследования направлены на определение нового места социологии в объяснении психических фактов. Во многих работах обсуждается проблема разграничения предметной области психологии и социологии — основной вопрос теории Дюркгейма, которому в точности следует Хальб-вакс, полагая коллективные ментальные факты основным объектом социологии¹⁶.

Те же идеи мы находим и в его работах по социальной морфологии, специалистом в которой он стал, начиная с диссертации в области права, вновь опублико-

¹⁴ На русском языке опубликовано: Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность / Пер. с фр. А. Б. Гофмана / Под ред. И. Кона. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. — *Прим. перев.*

¹⁵ См. главу 2 настоящего сборника, где помещена также статья «Выражение эмоций и общество» (изданная посмертно), имеющая сходную направленность.

¹⁶ См. в этой связи два текста: «Коллективная психология по Шарлю Блонделю» (1929) и французский перевод статьи «Individual Consciousness and Collective Mind» (1939) в главе 2 настоящего сборника.

ванной с большими изменениями в 1928 году. Впоследствии они нашли выход в небольшой книге синтетического характера¹⁷. В ней он обобщает уже значительный опыт работы в дисциплине, который более полно отражен в монографиях (о Берлине, Чикаго, Стамбуле), но также и в отдельных главах работ (о Париже), освещающих отношения между обустройством городов, движением городского населения и вызывающих их социальных сил¹⁸. Здесь социологические темы оказываются вписанными в рамки географии человечества, что сочетается с попытками социологического объяснения демографических фактов, которые до сих пор объяснялись при помощи либо биологии, либо статистического анализа, лишь поверхностного обращения к социальной экономике. В большом исследовании «О браках во Франции»¹⁹ Хальбвакс последовательно рассматривает объективные факторы, которые из-за военных пертурбаций изменили ситуацию на матримониальном рынке, в частности, предопределили эволюцию расхождения между возрастом супругов и новые разбегания возрастной шкалы из-за относительной нехватки молодых людей. Много внимания уделяется также причинам изменения пропорции полов при рождении. Благодаря многочисленным расчетам был сделан вывод о том, что сокращение расхождения в возрасте супругов лежит в основе циклического роста уровня рождаемости младенцев мужского пола²⁰.

Морис Хальбвакс трагически погиб в 1945 году в депортации, но он оставил нам свое творчество, а также пример выдающейся жизни. Даже во время войны он не

¹⁷ См.: *La morphologie sociale* (1938).

¹⁸ Типичная статья этого направления «Планы расширения и благоустройства Парижа до XIX века» (1920) была включена в главу 3 настоящего издания.

¹⁹ Помещено в 3 главе настоящего издания.

²⁰ См.: «*Recherches statistiques sur la détermination du sexe à la naissance*» (1933) и «*Les facteurs biologiques de la population*» (1935).

прекращал работать, хотя его семья жестоко пострадала в оккупации. Он только был избран в Коллеж де Франс, на кафедру коллективной психологии, когда его перо замерло навсегда²¹.

В истории французской социологии Морис Хальбвакс предстает как ученик и последователь Дюркгейма, сумевший наиболее полно воплотить и развить некоторые замыслы, содержащиеся в первоначальном проекте своего учителя, а также внести в него некоторые коррективы (как в упомянутой работе 1930 г. «Причины самоубийства»). Ему также удалось заполнить наиболее крупные пробелы в этом проекте (социальная морфология), введя новые категории (классы, стили жизни).

Хальбвакс не создал в прямом смысле слова собственной школы, но его произведений не коснулось забвение, окутавшее в послевоенный период работы Дюркгейма (из-за опоры последнего на позитивизм). Внимание к творчеству Хальбвакса все усиливается, и свидетельство тому — недавнее переиздание его наиболее важных работ. Статьи настоящего сборника, являющиеся, как мы попытались показать, необходимыми для знакомства с его мыслью, никогда ранее не были собраны в одной книге. Подборка, которую мы здесь представляем, имеет целью восполнить этот пробел и является практически первым изданием статей Хальбвакса. Здесь можно найти несправедливо забытые тексты, интерес и значение которых невозможно переоценить.

²¹ Его друг и последователь Жорж Фридманн посвятил волнующие страницы последнему периоду его жизни в предисловии к «Наброску психологии социальных классов» (*Halbwachs M. Esquisse d'une psychologie des classes sociales*. Paris: Rivière, 1964. P. 9 и далее).

Бикбов А.Т.

*Метод и актуальность работ
Мориса Хальбвакса*

Что известно о Морисе Хальбваксе современному российскому социологу? Его имя не упоминается сегодня во всех аудиториях наряду с именами «первооснователей»: Вебера, Дюркгейма, Зиммеля, Парсонса. Если эти фигуры уже приобрели монументальные очертания на постаменте из учебников, справочников и обильных ссылок, имя Хальбвакса оказывается едва ли не слабо заметным штрихом на его поверхности: «представитель школы Дюркгейма». Между тем во французских социальных науках — а можно говорить и о европейских в целом — его труды не только не прошли через период забвения, как, например, труды Дюркгейма, но и задали рамки исследования социальной структуры и конструирования социальных категорий, интерпретации демографических данных, изучения социальных форм памяти и мышления. Начиная с 40-х годов во Франции развивается социология социальной структуры, наследующая его работам о классах и стилях жизни [1]¹.

¹ Речь идет прежде всего о работах Хальбвакса [2]; [3].

В 50–60-е годы на основе его разработок, дополненных статистическими данными, новыми приемами анализа, а также новыми политическими проблемами, ведутся исследования классовой структуры современного общества². Статистика превратилась из революционного открытия в привычный каркас социологического метода, но интерес к работам Хальбвакса не остановился на пороге 70-х. В работах 80–90-х происходит возврат к ним, уже в рамках критики инструментария опросов, а также в связи с проблемами конструирования социальных категорий как универсальными институтами, так и самим исследователем³. Несомненно влияние идей Хальбвакса и на смежные дисциплины, например, на сложившееся с конца 1920-х гг. вокруг журнала «Анналы социальной и экономической истории» новое направление исторических исследований⁴.

Идеи и приемы Хальбвакса возвращаются в социологическое производство и продолжают использоваться (или отвергаться) как современный и работающий инструментарий. Трудно не согласиться, что именно такое отношение является лучшим доказательством научного признания и сохраняющейся актуальности разработок ученого. И если в его адрес наряду с определением «современник» звучит «классик», в этом нет ноты консерватизма: труды Хальбвакса контекстуализированы прежде всего в рамках «классики обновления» социального знания, определяемого через новые проблемы и новые способы исследования. Однако в отечественной социологии его идеи почти не звучат. Почему? Ответ,

² См., напр., [4]; [5]; [6].

³ См. [7] и главы, написанные Р. Ленуаром и Д. Мерлье в [8, с. 20–25; 112–116].

⁴ О влиянии идей Хальбвакса на становление школы «Анналов» сообщает один из действующих ее представителей Ж. Ле Гофф: «...Возможно, но труднодоказуемо при отсутствии специальных изысканий, что новые установки в отношении длительности и, соответственно, истории глубоких слоев французского общества оказали влияние на появление “Анналов”. Это безусловно верно в отношении книги социолога Мориса Хальбвакса “Les cadres sociaux de la mémoire”» [9].

расположенный ближе всего к поверхности, может быть таким: была прервана дореволюционная традиция гуманитарного позитивизма, образующая контекст — притяжения и отталкивания — для подобной программы, предлагающей пересмотр ряда положений классической социальной философии. Если мы приблизимся к текущему моменту, главной причиной окажется различие дисциплинарных классификаций в отечественной и европейской социологии. Дело в том, что в первом случае мы имеем более жесткое деление по границе «основатели/последователи», следствием чего становится образование незыблемого и активно защищаемого пантеона избранных великих, препятствующего не только реализации исследовательского императива в социологии, но и реальной теоретической дифференциации дисциплины.

В поисках первых причин такого состояния дисциплины можно указать на политические условия становления и развития социологии в советский период или на ее «пока еще» слабо насыщенный общегуманитарный контекст. Однако внешними условиями нельзя полностью объяснить внутридисциплинарную логику, а потому более продуктивным оказывается обращение к сложившейся и действующей структуре социологического производства. Указанная особенность классификации отражает разрыв между преподавательской и исследовательской позициями, а следовательно, логиками восприятия и оценивания в рамках общего дисциплинарного самообозначения, когда императив исследования более не способен составлять конкуренцию консервативной и хрестоматизирующей логике преподавания и когда профессионал все более уступает профессору по силе, успешности, убедительности, весомости.

Последние десять лет отечественная социология шла к сознанию того, что она нужна только самой себе, и самым простым для социолога способом скрыть это от себя оказалось стать преподавателем социологии. Дело не в том, что социологи прекратили исследования — час-

то те, кто преподает, выполняют эмпирическую работу. Сложившийся еще в советский период разрыв между историко-социологической и исследовательской сферами компетентности, обязанный доминированию философии в символической иерархии всех гуманитарных дисциплин, продолжает воспроизводиться сегодня, в изменившихся условиях. Почему это происходит? Потому что институциональная дифференциация социологии произошла не по отраслевым критериям (по которым упорядочено большинство учебников и вводных курсов): социология труда, социология культуры, социология семьи и т. д., — а по практическим сферам, ранее заключенным в рамки единой академической науки: опросы и маркетинг, преподавание, консультирование и т. д. В этой ситуации «высшее знание», теория отошли тем, кто ими уже распоряжался; то же произошло и с техническими приемами, и с масштабными эмпирическими исследованиями. Теория, которая рождалась бы из духа исследования, в новой структуре разделения социологического труда почти не осталось места. Именно поэтому введение в социологический оборот «современных классиков» или преподавателей-исследователей представляется особенно важным для нарушения сомнительного равновесия, которое делает невозможным продуктивное движение науки.

И именно поэтому в настоящем тексте мы попытаемся представить не самого Хальбвакса как фигуру, имеющую принципиальную (значительную, известную, некоторую, несущественную) ценность для истории социологии, а сборник его работ — своего рода творческую лабораторию, которая нуждается в критическом взгляде и расчистке, но ингредиенты и инструменты которой могут оказаться полезными современному российскому профессионалу.

Работам Хальбвакса свойственна отчетливая эмпирическая направленность, в отличие от трудов Дюркгейма, которые покоятся на фундаменте картезианско-

го дедуктивизма⁵. Дюркгейм вполне следует его принципам, когда гарантией достоверного описания общества делает положение: наука «движется от идей к вещам, а не от вещей к идеям» [11, с. 40]. Социальный факт выступает у него первоэлементом, который, будучи развернут во всей конструкции метода, уже в ней самой раскрывает истину социального мира. Логика метода в качестве своего основания обнаруживает эволюцию социального целого, удостоверенную посредством разума, а благодаря этому доступную непосредственному усмотрению⁶.

В противоположность Дюркгейму, Хальбвакс раскрывает проблематику коллективного восприятия, солидарности и морали вне жесткой связи со схемами органической эволюции: «Нам дано не единственное общество, Общество с большой буквы, но группы. Они могут образовывать различные единства, в зависимости от устанавливающихся между ними отношений. Причем эти единства обладают известной независимостью друг от друга: именно это мы подразумеваем, когда говорим о политической, религиозной, экономической и прочих эволюциях, которые следует различать и изучать порознь» («Закон в социологии»⁷). Тем самым он оставляет открытой перспективу «от индивида и группы к социальному целому», которая у Дюркгейма репрессируется в процессе теоретического развития обратной —

⁵ Принципы которого сформулированы Декартом, в частности, в «Правилах для руководства ума»: «Весь метод состоит в порядке и расположении тех вещей, на которые надо обратить взор ума, чтобы найти какую-либо истину. Мы будем придерживаться его, если шаг за шагом сведем запутанные и сложные положения к более простым, а затем попытаемся, исходя из усмотрения самых простых, подняться по тем же ступеням к познанию всех прочих» [10].

⁶ В этом мы также можем увидеть параллели с методом Декарта. Непосредственную данность истины целого мы находим у того в качестве движущей причины познания: «Ведь именно с помощью природы, взятой в ее целом, я познаю сейчас не что иное, как самого Бога или же установленную им связь тварных вещей» [12, с. 64].

⁷ Здесь и далее дается ссылка на статьи Хальбвакса, помещенные в настоящий сборник.

«от коллективного к индивидуальному». Преимущества подобной открытости становятся явственными, когда пужно идти от логически связанных, но отвлеченных понятий метода к конкретным проблемам, которые не могут быть устранены из социологической практики, в том числе современной, теоретической и исследовательской: условия социального и экономического неравенства, механизмы воспроизводства институтов государства и их функционирование в различных социальных сферах, зависимость социальных представлений от профессиональных практик, поддержание социального порядка на уровне рутинных интеракций и т. д.

Двунаправленность социологического взгляда позволяет Хальбваксу оставаться в круге этих проблем и описывать — с меньшей понятийной строгостью, но с привлечением обширного фактического материала (результатов наблюдения, статистики, исторических источников, вторичных социологических данных) — механику социального воспроизводства, в том числе взаимоотношение общности и индивида. Именно поэтому в числе главных его заслуг первой обычно называется разработка теории социальной структуры, которая как таковая не интересовала ни Дюркгейма, ни Мосса, тогда как именно Хальбвакс представил ее в полном масштабе. Однако спектр проделанной им работы не ограничивается этой темой вкупе с исследованиями по коллективной памяти (точечно представленных в работах второй главы настоящего издания) и социальной истории города (третья глава), дающей привычную характеристику автора. В настоящем сборнике представлены работы, в которых на конкретных примерах (впрочем, далеко не всегда методически рельефно) проанализированы содержание и условия действительности коллективных представлений (первая и вторая главы), индивидуальные мотивы (устремления) и их экономические (первая глава) и демографические (третья глава) детерминанты, проблемы использования статистического анализа при объяснении социальных и демографических процессов

(четвертая глава), социальный генезис способности суждения, а также логика социальных чувств и ритуала (вторая глава). Если пользоваться метафорой лаборатории, набор веществ и соединений, представленный в данном сборнике, притягателен и многообещающ. Однако некоторые из них, несомненно, требуют критического разложения и повторного синтеза.

Имея в виду постоянную опору Хальбвакса, с одной стороны, на фактический материал, а с другой, на методологические допущения, удовлетворявшие критериям достоверности и полноты в общественных науках начала века (начнем обзор с его ранних работ), мы сталкиваемся с обстоятельством, которое, на первый взгляд, способно лишить актуальности его социологическое построение, относящееся к этому времени. Не оказывается ли теперь Хальбвакс, в том числе в качестве разработчика теории социальной структуры, лишь исторически значимой фигурой, чьему имени остается украшать учебники и энциклопедии? Сомнение возникает прежде всего в связи с характером обобщений, в которых интерпретация статистически понимаемых фактов — при раздвоенности методологической перспективы, а значит, избегании понятийной строгости — могла находить (и находила) опору в здравом смысле эпохи, в метафизике правов, в мало рефлекслируемых представлениях о «природе» тех или иных социальных явлений, обусловленных только их смыслом в контексте актуального символического порядка.

Если к началу века в естественных науках системы классификации фактов сформировались почти окончательно, а основной корпус исследовательских практик интенсивно рутинизировался в ходе превращения их в промышленные технологии, содержание наук об обществе основывалось на интуиции и социальной компетентности ученых в намного большей мере, чем на унификации средств описания и объяснения социального мира. Это заставляло (и этой ситуации мы наследуем

сегодня) видеть в естественных дисциплинах пример и образец научной строгости; и именно это не позволяет нам сегодня пользоваться работами предшественников с полным доверием к их обобщениям, в отличие от положения в описательных дисциплинах: географии, ботанике, зоологии, — где особую ценность имеют как раз ранние исследования, зафиксировавшие более несуществующие факты и их сочетания^{*}.

В силу исследовательской ориентации, одновременно преодолевающей и наследующей предпосылок, господствовавшим в социальных науках начала века, работы Хальбвакса совсем не оказались избавлены от общего девальвирующего качества: синтеза нестрого выделяемых фактов посредством обыденных классификаций. Если мы обратимся и к более поздним его работам, напрямую связанным с конструктивистской концепцией факта — статьям по социальной статистике (в третьей и четвертой главах настоящего сборника), и там на месте схем корреляции, признанных в настоящее время достаточным основанием социологического объяснения, мы порой обнаружим максимы здравого смысла или аналогизирующие (заимствованные из естественных наук и, таким образом, неспецифические для

^{*} Конечно, нельзя видеть в этом исключительную характеристику социологии начала века. Достаточно вспомнить, как быстро, в течение нескольких лет, обесценились в среде самих социологов результаты советских эмпирических исследований, в большинстве своем опиравшихся на нормативное политическое конструирование факта. Сегодня мы можем воспользоваться ими как материалом для критического анализа в рамках социологии или частично восстановить по ним эффекты социальной структуры и коллективного сознания, но использовать их как полностью достоверные фактические описания вряд ли решается даже их разработчики. Схожее будущее можно уже сегодня предполагать и для большинства эмпирических исследований последних лет (и не только в России), в особенности тех, которые призваны фиксировать реальность идеально-нормативных сущностей: демократии, модернизации, класса предпринимателей, свободного рынка, — а также для фактов, сконструированных и воспроизводимых в спланированных политологических, маркетинговых схемах и опросах общественного мнения.

социологии) образцы рассуждения. Конечно, по мере развития собственного метода, по мере интеграции в него статистического инструментария и реляционного анализа Хальбвакс становится все ближе к современной концепции социальной науки (правильнее сказать, создает ее для нас), теряя предрассудочную тяжеловесность — достаточно сравнить способ объяснения и социологическую остроту выводов в первой и последней статьях сборника. Но если говорить о помещенных в первых двух главах работах, где закладываются основы социологического метода и объяснения, кажется, можно предоставить их историкам, которые подтвердят правоту Дюркгейма, видевшего слабость современных ему общественных наук в предрассудочности и несистематичности [11, с. 11–12]. Однако попытаемся подвергнуть эти ранние работы переплавке, отделив утратившие весомость факты и общую картину, ими составленную. Может быть, мы сможем воспользоваться исходными абстракциями, которыми питается его исследовательская практика?

Основным допущением, на которое Хальбвакс опирается в анализе взаимосвязи коллективной и индивидуальной реальностей, является тезис Дюркгейма об их независимом существовании как порядков *sui generis*. Однако, в сравнении с последним, в ранних разработках Хальбвакса почти всегда социальному явным образом онтологически предпосланы человеческая природа, естественные навыки и склонности, интеллектуальные способности, виды деятельности, богатство. А вследствие этого мистифицируется и социальное положение. Естественный статус приписывается социальным фактам для первоначального описания и классификации, а потому они наделяются самостоятельной (естественной) — а не соотносительной в рамках одного порядка — сущностью, в свою очередь, не отделяемой от формы быденного опыта, в котором она предстает очевидной.

Фиксация предмета описания через его натурализацию, имеющую точкой отсчета индивида как физио-

психическое существо, сближает Хальбвакса со Спенсером, с которым Дюркгейм — несмотря на существенные заимствования — постоянно полемизирует⁹. Это заметно прежде всего там, где Хальбвакс объясняет функционирование сознания непосредственно в терминах его интенсивности, объема, границ, выраженности представлений, а также когда он обнаруживает источник представлений непосредственно в характере индивидуальной деятельности, тем самым наследуя понимание Спенсером сознания как соответствия между органической деятельностью и изменениями среды [14, с. 236]¹⁰. Как и у Спенсера, характеристики такого протяженного сознания (то есть описание вне картезианской дихотомии протяженное/мыслящее) — не иллюстративная метафора, а рабочая натурфилософия, сходная с той, что охватывает у Декарта область достоверных телесных

⁹ Стоит тут же отметить, что в работах 30-х годов Хальбвакс занимает прямо противоположную позицию в вопросе об онтологическом значении свойств индивида: «Индивид никогда не бывает непосредственно предшествующим событием [то есть причиной. — А. Б.]... Индивид — это только случай, и его чаще всего можно заменить» («Методология Франсуа Симпана»).

¹⁰ В отличие от Дюркгейма, который через интенсивность характеризует чувства или состояния сознания как социальные реакции [13, с. 88–89]. Также, говоря об объеме (соотносительном объеме индивидуального/коллективного сознания) или интенсивности сознания [13, с. 160], Дюркгейм характеризует не содержание сознания и не его части как таковые (в отличие от Спенсера и Хальбвакса), а эффекты социальной структуры, оказывающие на него принудительное воздействие (функции и полномочия социальных институтов, образование социальных типов по психическому сходству/по позиции в разделении труда, приобретение представлениями всеобщего характера). То есть у Дюркгейма физико-физиологическая терминология в описании сознания используется скорее как рабочее (метафорическое) обозначение структурных процессов. Отличие существует и в понимании среды: под ней (в качестве предмета социальной морфологии) Дюркгейм подразумевает не среду обитания индивида (как Спенсер), а определенный способ связи индивидуальных сознаний [11, с. 119], исключая тем самым психологическое описание социальных феноменов, которым нередко пользуется Хальбвакс в рамках понимания среды по аналогии со средой организма.

ощущений¹¹. Но для Декарта (а вслед за ним, в новой форме, Дюркгейма) эта достоверность выступает пунктом сомнения¹² и конечного преодоления в форме указанной дихотомии и вытекающего из нее метода, призванного компенсировать «немощность нашей природы» [12, с. 72]. Для Спенсера же она центрирует описание объективного мира, вытесняя предпринятое Декартом методологическое сомнение в область несуществующего или несущественного.

Если мы рассмотрим эту дихотомию только как элемент философской традиции, ее использование/неиспользование в социологическом объяснении покажется безразличным, поскольку социология не изучает субстанции и не может претендовать на их описание. Однако если мы возьмем ее как исходное допущение социологической теории, а точнее, предположение о непрерывности/наличии разрывов в рядах явлений, объясняемых социологически, мы обнаружим, что натурализация сознания выступает антонимом экспликации истории его социального формирования. И в этом смысле даже экологическая концепция Спенсера («душа может быть понята не иначе чем посредством того, каким образом она развивалась» [14, с. 181]) превращается лишь в историзованную метафизику, поскольку «душа» рассматривается по аналогии с первичным током, телесной организацией, внешним порядком (то есть с не-собой), а значит, ее история оказывается не более чем динамическим моментом в «восходящих грациях... различных типов чувствующих существ» [14, с. 181].

¹¹ «...Я беру здесь природу в более узком значении — не во всей сложной совокупности свойств, дарованных мне Богом; ведь в этой совокупности содержится много того, что имеет отношение лишь к уму... кроме того, сюда относится многое, связанное лишь с телом... о чем я не говорю, ведя речь лишь о тех свойствах, которые Бог даровал мне как сочетание ума и тела» [12, с. 66].

¹² «...Мы нередко заблуждаемся в отношении того, на что наталкивает нас природа» [12, с. 67].

Именно поэтому объяснение Спенсера исходит из допущения постепенного развития, в котором нет разрывов как между существами всей пирамиды живого, так и между различными элементами «субстанции души»¹³. Хальбвакс не следует тем же путем «нечувствительного» перехода от предмета одной науки к предмету другой: его интерес к биологии (как основанию социологии) рудиментарен — он даже отрицает за социологией право изучать наследование профессиональных навыков¹⁴, а его разработки в области объективной психологии всегда подчинены психологии социальной (например, «Коллективная психология по Шарлю Блонделю», «Индивидуальное сознание и коллективный разум») — и здесь он вполне руководствуется принципами дюркгеймианского метода. Но опора на натурализованное представление о сознании закладывает порог применения того социально-исторического инструментария, использование которого (начиная с первой статьи настоящего сборника, где речь идет об исторической эволюции и усложнении устремлений) видится ему единственно правильным.

Даже если сознание наделяется протяженностью не прямо вслед за Спенсером, а в силу господствовавших в конце прошлого – начале нынешнего веков метафизических представлений, это не отменяет сомнения в социологической адекватности подобного допущения. Поскольку у Спенсера «развитие души согласуется с законами развития вообще» [14, с. 118], а развитие непрерывно, даже при соблюдаемых мерах методологической предосторожности, выраженных в указании на параллельное развитие «внешних» и «внутренних деятельности» (то есть физической и психической реальностей)

¹³ Так, состояния первых центров выступают источниками желания [14, с. 82].

¹⁴ «Не социологу надлежит выяснять, передаются ли по наследству телесные отметины от различных видов труда или способности к некоторым специальностям — это биологические проблемы» («Замечания к социологической постановке проблемы классов»).

[14, с. 102], в различении «чувствований и отношений между чувствованиями» [14, с. 122], сознание оказывается одним из элементов развертывающейся всеобщей протяженности, который почти невозможно рассматривать автономно, в рамках специфических для него детерминаций¹⁵. Так и Хальбвакс в ряде работ указывает условием и источником коллективных представлений не социальную историю, а материю («вещественную и человеческую»), которая становится непосредственным предметом индивидуального опыта («Материя и общество», «Характеристики средних классов»).

Конечно, если в качестве демаркационной линии рассматривать оппозицию «исследование/метафизика», значимую для всех ученых дюркгеймianского круга, Хальбвакс/Спенсер могут быть противопоставлены как ее полюса, поскольку первый ищет способ связать множество социальных фактов, понимаемых как вещи (а порой и понимаемых вещественными), в отдельную схему, тогда как у последнего объяснение и сама констатация факта подчинены предпосланной схеме плавной эволюции естественных свойств. Иначе говоря, натурализация выступает для первого точкой отталкивания, а для второго — точкой притяжения. Но все же черты сходства явны. Так, хотя Хальбвакс и утверждает о невозможности прямого проникновения вещей в представления¹⁶, гипотезируя сознание рабочего («Материя и общество»), он выводит его особенности из предмета деятель-

¹⁵ Объясняя возникновение разума, Спенсер пишет: «... Всякое... психическое действие состоит в установлении соответствий между внутренними переменами и внешними сосуществованиями и последовательностями, и... это постоянное приспособление внутренних отношений к внешним постоянно прогрессирует в пространстве и во времени, в специальности, в общности и сложности, посредством нечувствительных постепенных переходов ... самые высокие формы психической деятельности возникают мало-помалу из самых низших ее форм и не могут быть отделены от последней никакою резко определенной пограничной линией» [14, с. 278].

¹⁶ Заметим, что этот же тезис эксплицитно представлен и в работах Спенсера [14, с. 101].

ности. В отличие от Маркса, источник социальной изоляции рабочего (в которой, в свою очередь, можно усматривать натурализованное неравенство) он видит прежде всего не в структуре распределения времени или характере производственных отношений, но в постоянном контакте с материей природы: в процессе работы (на весь рабочий день) материя становится единственной «вещью» индивидуального сознания, отграничивая его от остального общественного сознания и препятствуя развитию навыков социальной жизни¹⁷. Таким образом, если Дюркгейм в силу доминирования интереса к методу над вниманием к предмету описывает сознание в терминах отношений¹⁸, Хальбвакс, уже в ранних работах отрицая прозрачность для коллективного сознания социальной эволюции или законов наследственности («Замечания к социологической постановке...»), в них же отождествляет предмет практики и предмет сознания, сводя их к абстрактно понимаемой сущности той или иной профессии¹⁹.

¹⁷ «Следует добавить также, что данная физическая деятельность не только создает такого рода разделение в сознании между той его частью, что повернута к человеческим реалиям, и той, в которой развиваются представления о вещах и органах, связанных с ними, но также что, располагая вообще к трате органических сил, она вызывает, обостряет телесные ощущения любого рода, усиливает чувствительность к сугубо физическим потребностям и, в свою очередь, отделяет их от системы устремлений, закладываемых в нас социальной жизнью» («Материя и общество»).

¹⁸ «Мы не вдаемся здесь в вопрос, представляет ли собой коллективное сознание такое же сознание, как и индивидуальное. Под этим словом мы понимаем просто *совокупность социальных сходств* [курсив мой. — А. Б.], не превосходящая категории, через которую эта система явлений должна быть определена» [13, с. 88, сноска].

¹⁹ В работе «Индивидуальное сознание и коллективный разум» (1939) он явным образом обозначает противоположную точку зрения, объясняя сознание через отношения: «Коллективный разум существует и реализуется лишь в индивидуальных сознаниях. Кратко говоря, это не более чем *определенным образом организованные отношения* [курсив мой. — А. Б.] между индивидуальными разумами; это состояние сознания более или менее значительного числа индивидов, составляющих группу».

Казалось бы, прежде отделив факты, а теперь выделив исходные посылки, мы не обнаружили вещества, годного для использования в современном социологическом производстве. И тем не менее тексты, в которых теория едва ли строга, а факты даны не систематически, после предпринятого разложения дают остаток, позволяющий с интересом воспринимать их не только с исторической точки зрения. Социологическое значение этих работ состоит в том, что исследовательская техника, избавленная от ряда строгих философских различений, тем не менее позволяет описывать «протяженное сознание» в рамках своего рода феноменологии предметности сознания. Сознанию, понимаемому как натуральный феномен, сопутствует сознание, понимаемое исторически — как становящееся и формирующееся. В отказе от Спенсеровского проекта построения пирамиды наук, соответствующей непрерывной эволюции природных свойств, в фрагментарности и, на первый взгляд, неполноте теоретического объяснения обнаруживается потенциал внутреннего обновления его исходных посылок. Уже в первых работах в методе Хальбвакса намечен разрыв со спенсеровским натурализмом, равно как с дюркгеймским дедуктивизмом («Потребности и устремления...», 1905): в качестве предмета исследования экономической жизни здесь выступают множественные, но систематически воспроизводящиеся регулятивы индивидуального поведения (устремления), основанные на внутригрупповых отношениях. Здесь же, в поисках эмпирического субстрата социальных фактов Хальбвакс намечает контуры анализа связи между содержанием социальных представлений и структурой социальных отношений. Много позже, пользуясь тем же приемом, многообразие опыта он объясняет множественностью логик, включенных в широкую рамку общесоциальной логики, — то есть вводит конструктивно, приближающуюся к понятийной паре «жизненный мир/интерсубъективность» в феноменологии Гуссерля: «Все частичные логики на самом деле имеют единый источник. Они диф-

ференцировались внутри более широкой логики, которая выражается в языке (грамматика, синтаксис), в практической жизни, в общей жизни, подобно тому как разнообразные группы входят в состав общества в целом» («Коллективная психология рассудочной деятельности», 1938)²⁰.

Опора на уже не синкретическое, но все еще неясно определенное тождество социального мира²¹ и его сознания приводит Хальбвакса к допущению сознания как приобретения порядка восприятий через практику. В отличие от парадигмы гуссерлианской методологии, наследующей Декарту и Канту, эмпирический мир здесь не заключается в скобки, что требуется философу для обоснования опыта чистого сознания [15]. Сознание и мир (сущность и явление) редуцируются к тождеству их в представлении. Отказ от используемой Гуссерлем эйдетической редукции делает невозможным анализ чистых структур сознания, но при этом открывает возможность исследования различных сознаний в их частной предметности (что недоступно последовательному гуссерлианцу) — и Хальбвакс вполне эту возможность реализует.

²⁰ Мы обращаем внимание на это обстоятельство потому, что обнаруживаем не только общее структурное подобие между парами «жизненный мир/интерсубъективность» у Гуссерля и «индивидуальное/коллективное» у Дюркгейма и Хальбвакса, но и сходство в интерпретации языка как универсализирующего основания частных (индивидуальных) смыслов. Ср. у Гуссерля: «...Сам язык во всех своих специфических отличиях по словам, фразам, типам речи, что легко видно в грамматической установке, построен насквозь из идеальных сущностей; например, слово «Löwe» встречается в немецком языке только один раз, оно образует то, в чем идентичны бесчисленные его высказывания какими угодно лицами» [16]. Дифференциация внутри единой логики языка у Хальбвакса и чувственное воплощение «идеальной объективности» в бесконечном числе высказываний у Гуссерля предполагают общее основание: трансцендентальная для индивида, но имманентная обществу в целом реальность языка как структура *suí generis*, при этом необходимо социальная.

²¹ Подчеркнем, не бытия как нечто, но мира как множества сущностей.

Например, в «Замечаниях к социологической постановке...» он пытается выявить систему оснований, исходя из которых общественное сознание (прежде всего оно, а не социологический разум) производит классификацию по оси «высший/низший». Примечательно, что в рамках этого анализа «уровень жизни» рассматривается не как множество объективных показателей, но как ряд представлений, очевидностей, в которых реализуется способность социального различения. Следуя этому пути в более поздней работе, он схватывает предметность «протяженного» сознания бюрократической практики: отождествление людей с материей, сведение индивидуальных качеств к операбельным единицам («Характеристики средних классов»). Представление о материи (из приведенного выше примера с рабочим), которое заполняет индивидуальное сознание в процессе труда и изолирует его (предметно определенную) часть, обнаруживает в своем основании не просто метафору или натурфилософское предпонятие, но образ практики, рутинизирующейся в телесно-рациональном навыке. В более поздних работах (в частности, в статье «Индивидуальное сознание и коллективный разум», 1939) этот взгляд получает развитие и приобретает отчетливую терминологическую форму — «техника» (в 1936 году выходит работа «Техники тела» другого видного дюркгеймца М. Мосса)²². В развитии взгляда на «протяженное сознание», Хальбвакс приходит к выводу о том, что формы мышления «кристаллизуются» в социальных институтах, в их материальной структуре («Индивидуальное сознание и коллективный разум», 1939), а также что через акты выражения индивидом «высших» состояний и эмоций сознание вписывается в материальный порядок и становится тем самым доступным для социального контроля: не будучи врожденными, матерна-

²² «Организм и материал превращаются в единое целое: манипуляции и движения первого становятся — в применении техники — скорее физическими, чем осознанными» («Индивидуальное сознание и коллективный разум»).

лизованные в теле формы экспрессии оказываются продуктом научения и последующих групповых воздействий («Выражение эмоций и общество», 1947).

Понятия материи, склонностей, мотивов, богатства, которые, на первый взгляд, выступают продуктом натурализации социальных отношений, приобретают — в связи с конкретными различиями на их основе предметностей сознания — подобие феноменам второго порядка в методологии Гуссерля, которые доступны усмотрению в результате редукции предметности феноменов первого порядка. Однако здесь имеет место не редукция эмпирического мира, а погружение в него: отличием социологической версии феноменологии выступает то, что источником, а значит, и результатом абстракции предмета выступает, в отличие от опыта чистого созерцания, опыт практический. В поздних работах мы обнаруживаем прямое подтверждение императива имманентного, погруженного анализа: «...Причина того, а не иного направления... развития находится не вне ряда фактов — в идеальной модели, которая как таковая никогда не реализуется, — а в самих фактах и в связях между ними» («Методология Франсуа Симиана»). В свою очередь, условием индивидуального сознания Хальбвакс видит сознание коллективное («Потребности и устремления...», «Материя и общество», «Коллективная психология по Шарлю Блонделю», «Индивидуальное сознание и коллективный разум»), поэтому само становление предметности коллективного сознания оказывается событием в процессе социального взаимодействия, как, например, образование классовых организаций («Замечания к социологической постановке...»). Таким образом, в исследование снова возвращается историческая логика, которая казалась утраченной в ходе первой натурализации.

С социологической точки зрения важно то, что из последовательности усмотрений оказывается неустрашимой социальная данность, выступающая не в форме абстрактного факта в рамках дедуктивного метода, но и не в форме простого интуитивного тождества вещи

тому, как она является. Формой данности оказывается непосредственный опыт социально упорядоченной практической сферы. В этом постоянном соотношении социальных очевидностей с социальными условиями упорядоченности опыта и состоит методический принцип, компенсирующий у Хальбвакса недостаточность и неполноту «природного» правдоподобия.

Итак, за первым уровнем объяснения, по виду архаического и не без вопросов получающего сегодня статус теории, обнаруживается второй: поначалу негромко проговариваемая, но разнообразно представленная исследовательская стратегия, своего рода техника социологического созерцания, которая придает трудам Хальбвакса научную остроту. Не исходная метафизика и не здравый смысл, но отталкивающийся от них навык социологической рефлексии оказывается нашим наиболее актуальным приобретением.

Учитывая вышесказанное, какие методические приемы, помимо натурализации, мы обнаруживаем у Хальбвакса? Вот ход, прямо ей противоположный в рамках оппозиции «натурализм/реляционизм»: если низшие классы определяются прежде всего в соответствии с доходами их представителей, то высшие характеризуют прежде всего их расходы («Замечания к социологической постановке...»). Тот же прием использован при объяснении характера потребления, исторических сходств и различий между близкими по положению во властных, профессиональных и экономических иерархиях социальных слоев (там же). Если мы обратимся к работам по тематике коллективной психологии (вторая глава настоящего сборника), наряду с группой, «понимаемой как вещь чувственного восприятия, которую можно потрогать, ощутить...» («Коллективная психология по Шарлю Блонделю») ²³, мы обнаружим социально-

²³ Впрочем, в работе «Статистика в социологии» мы обнаруживаем прямо противоположное замечание: «Но они [группы] представляют собой отнюдь не осязаемые предметы с ясными очертаниями. Прежде чем начать их изучение, их нужно сначала сформировать (constituer)».

генетическое объяснение возможности познания: «... Именно общество — в силу новых контактов, которые устанавливаются между его членами и природой — приобретает, ограничивает, исправляет и изменяет свои представления» (там же). Не менее эвристична попытка проанализировать логику рационального мышления и дискурсивной аргументации как инкорпорированное, соотношенное в индивидуальном сознании взаимодействие различных социальных групп («Коллективная психология рассудочной деятельности»).

Видимо, нам следует отказаться от ранее принятого предположения, будто Хальбвакс просто натурализует социальные факты. Объясняя социальное положение, первоначально он действительно описывает отдельные социальные позиции как имеющие собственную сущность, определенную функциями или способностями, свойственными им в силу естественного порядка. Но вслед за этим он реконструирует «классы», определяемые через множество показателей: доходы и расходы, навыки и стили жизни, представления и предметы деятельности, производственные функции и свободное время — соотнося социальные характеристики их представителей и с особой строгостью подходя к вопросу о границах между агрегациями этих поначалу натурализованных позиций («Замечания к социологической постановке...»). Более того, он осуществляет в отношении категориальной оппозиции «естественное/социальное» процедуру, не потерявшую социологической актуальности и сегодня. Моделируя социальные условия рабства, он явным образом проблематизирует естественное происхождение социальных категорий: этническое происхождение, статус раба или господина, обеспеченность и право на имущество, будучи связаны воедино, воспринимаются как факты природы, источник которых загадочен, а механизм воспроизводства устойчив (там же)²⁴.

²⁴ Хальбвакс резюмирует эту ситуацию следующим образом: «... Устойчивое различие условий порождает разнообразные привычки или типы поведения, которые со временем закрепляются; незнание же

Таким образом, полагается конструирующая природа социального сознания, которая не просто преодолевает «природу», но замещает ее. Подтверждение этому тезису мы находим в эксплицитной формулировке, nasledующей Дюркгейму: «Следует предполагать, что, хотя общество меняется, правила неизменны и, несмотря на то, что охватывают самые разнообразные стороны, их форма едина... Эти правила: административные, юридические, педагогические — навязываются индивиду извне и представляются ему творением общества. Это не физические законы, хотя своей жесткостью и всеобщностью они повторяют законы и силы природы» («Характеристики средних классов»). Впрочем, в общем виде это положение имеет ключевую роль во всей традиции «позитивного» описания/объяснения общества, начиная с трудов Монтескье, откуда оно переходит в построения Конта, а затем Спенсера и Дюркгейма. Но для нас принципиально то, как это общее положение реализуется Хальбваксом социологически, в каких объяснительных процедурах оно развивается.

То же важно и при анализе условий социального порядка в целом. Исследовательская установка позволяет Хальбваксу демистифицировать негласно допускаемый каузальный монизм в социальных науках. Уже в первой помещенной в сборник статье (1905) он аргументирует отсутствие единственного мотива или закона, упорядочивающего всю социальную реальность, и возвращается к этому допущению в работах 30–40-х гг., обогатив его опытом исследования («Методология Франсуа Симиана»). Преодолевая утилитаристскую

причину приводит к тому, что низшее или высшее социальное положение группы приобретает видимость естественного различия». Эффективность подобного анализа доказана использованием его в критической рефлексии одним из ведущих современных социологов П. Бурдьё: «Стремление к различению, которое можно заметить по манере говорить или отказу от мезальянса, производит различия, направленные на то, чтобы их воспринимали или, более того, чтобы их узнавали и признавали как легитимные различия, т. е. чаще всего как *природные различия*... [курсив мой. — А. Б.]» [17, с. 69–70].

догматику, полагающую индивида единственным источником социального порядка. Хальбвакс исходит из дюркгеймianского тезиса: общество или группа предпосланы индивиду в качестве источника чувств, образцов, действий. Вместе с тем он подвергает критике взгляд на общность как неразделимый и в каком-то смысле мистический источник побудительных мотивов и индивидуальных практик, гарантирующий объяснительную силу привычных категорий «рабочий», «буржуа», «средний класс». Исследование социальных чувств, коллективных представлений через призму статистики, ритуала, процесса труда избавляет объяснение от схематизма, к которому ведет сдвиг в социальной онтологии как в сторону универсальных мотивов, так и натуралистически принимаемых социальных классификаций.

Вывод, вытекающий из этого подхода и актуальный по сей день, может звучать следующим образом: общественно значимое действие невозможно объяснить самим фактом существования общества или единым принципом его функционирования: объяснение достижимо только в ходе исследования механизмов, связывающих индивидуальные мотивы и социальное принуждение. Практические следствия данного положения особенно ценны для преодоления социальной мифологии, устойчиво воспроизводимой в отечественной гуманитарной практике, как в отношении демократии (и связываемого с ней социального развития), так и духовности общественной жизни. Ни «естественное» превосходство демократического режима, ни «общемировая» модернизация, ни трансцендентная истина не являются реальными механизмами изменения социальной структуры, так же как не может являться каждая из них единственным принципом организации общества, каким в политической экономии начала века выступала личная выгода. Опыт критики утилитаристской политэкономии Хальбваксом отчетливо показывает, что, в частности, демократию следует изучать как социальный конструкт, возникающий на границе разнородных социальных тенденций, и как действующее социальное представле-

ние, но не как всеобщий порядок, сводящийся к умозрительно благому и должному. Подчеркнем, что этот вполне очевидный сегодня вывод можно сделать на основании внимательного прочтения уже первых работ сборника.

Если к уже указанным чертам позитивного и критического анализа, проделанного Хальбваксом, прибавить объяснение причин демонстративного потребления и самоорганизации классов или тезис о загадочности происхождения богатства (примеры из «Замечаний к социологической постановке...»), можно видеть, что в целом все те социальные факты, которые в целях классификации понимаются как естественные, в целях объяснения их в рамках социальной структуры и эволюции трактуются как соотносительные, будучи едва ли не более, чем у самого Дюркгейма подчинены правилу анализа сопутствующих изменений, при помощи которого «социальная связь постигается не извне, как в предыдущих методах, а изнутри» [11, с. 144]. Мы можем говорить «более, чем у Дюркгейма» потому, что последнему, как уже отмечалось, органическая эволюция дана в непосредственном усмотрении, а отсюда, причиной смены социальных представлений указывается изменение самого типа социальной организации. Для Хальбвакса же каждый из порядков: физический, органический, психический, социальный — обладает относительной автономией и собственными закономерностями, «поэтому искать объяснение изменений общественного сознания следует не в экономической истории, а в нем самом» («Замечания к социологической постановке...») ²⁵.

²⁵ Обобщая, можно видеть, что методическому монизму Дюркгейма: «...Одному и тому же следствию всегда соответствует одна и та же причина» [11, с. 142] — противопоставит методический империатив Хальбвакса о необходимости выделения, например, множественных устремлений, которые в действительности (в отличие от какой-то одной причины) определяют сложную экономическую жизнь современных обществ («Потребности и устремления...»). Инвариант этого тезиса мы обнаруживаем в статье «Коллективная психология рассудочной деятельности», где развивается идея множественности групповых логик

Обращаясь в анализе к каждому из них, он получает конечные схемы собственно социологического объяснения циклического синтеза различных (по ряду физических, органических, экономических и социальных характеристик) социальных позиций и соответствующих им коллективных представлений. В представлениях, научный анализ которых относится Хальбваксом к ведению коллективной психологии, и находит опору соответствие между естественной и соотносительной сторонами социального факта, необходимо сопряженного с элементами субъективности: ментальными способностями, функционированием разума, естественными склонностями, устремлениями и т. д.²⁶ (например, в статье

и соответствующих им различий в типах рассудочной деятельности. Еще один вариант — тезис о множественности техник, охватывающих не только экономическую, но и религиозную, научную и прочие сферы («Индивидуальное сознание и коллективный разум»). Наконец, следует указать на принципиальную оппозицию «единственное Общество/группы» из работы «Закон в социологии» (цитата приводилась нами выше). Пользуясь исторически фразивной аналогией, можно утверждать, что различие базовых объяснительных установок: «одна причина/много причин» («единая логика/множественность логик») — объясняется различием между методом Дюркгейма, приближающимся к «высокой теории» (тогда неслучайным выглядит особое внимание к нему со стороны Парсонса), и методом Хальбвакса, чья «социальная психология», подкрепленная статистикой, оказывается своего рода «теорией среднего уровня».

²⁶ При этом, как отмечалось выше, их содержание, во многом, просто гипотезируется из явных или неявных допущений, предпосланных социологическому объяснению извне — будь то представление о социальном благе или природных склонностях. Впрочем (и это мы уже отмечали), принципиальные тезисы в поздних работах имеют прямо противоположную, критическую направленность: «Сначала можно подумать, что начальник — это человек, отличающийся от всех остальных некоторыми физическими или церебральными свойствами, и что, следовательно, институт правительства предполагает совокупность подобных органических условий у такого-то или такого-то. Но мы знаем, что даже тогда, когда подобные качества вовсе отсутствуют, группа всегда может силой воображения (*fictivement*) принимать тому или иному из своих членов качества, на которых зиждется авторитет. Политическая власть — это порождение группы, а не результат физического либо органического воздействия, которое было бы внешним по отношению к ней» («Закон в социологии»).

ях «Материя и общество», «Характеристики средних классов», «Индивидуальное сознание...»).

Именно отсутствие окончательного предметного основания, которое не может быть ни биологической природой, ни психической жизнью индивида, ни экономическими факторами или мотивами, ни статистическими законами, но и не абстрактно-логическими отношениями между социальными фактами²⁷, придает методу (в смысле Декарта или Дюркгейма), практикуемому Хальбваксом, неоднородность и неполноту. Одни и те же социальные сущности, трактуемые и как естественные, и как соотносительные, нуждаются в диффузной питательной среде, в роли которой выступает докартезианская натурфилософия, родственная здравому смыслу. Конечно, снимая с Хальбвакса ответственность за наследуемые им метафизические предпосылки объяснения, можно усматривать в ней только своего рода риторику сознания. Но, по крайней мере для нас, важным оказывается не то, насколько хорош или плох, ригиден или прогрессивен Хальбвакс в своих работах, а то, что эта натурфилософия оттеняет своим существованием: социологические приемы анализа практик и представлений.

Синтезируя ранее выделенные элементы метода, можно дать следующую схему базового цикла алгоритма, который Хальбвакс использует при описании/объяснении, в частности, социальной структуры: констатация дорефлексивно различимой, данной в обыденном опыте социальной позиции²⁸ и предположение естественных качеств, склонностей или способностей, ей соответствующих — предположение о социальном единстве,

²⁷ Нежелание ограничиваться последним отражено в следующем замечании Хальбвакса: «Дело в том, что Конт... слишком сужал сферу социологии, когда отводил ей в качестве объекта коллективную эволюцию человечества, а в действительности — основные законы и наиболее общие направления этой эволюции» («Коллективная психология по Шарлю Блонделю»).

²⁸ Как естественной категории, имеющей источник, в том числе в обыденном языке: «рабочий», «бюрократ», «высший класс» и т. д.

порядке разделения труда, в рамках которого эта позиция воспроизводится как вид деятельности — гипостазирование коллективных представлений, заданных этим видом деятельности — выделение ее субъективного условия в форме предметности сознания ее агентов — поиск показателей, позволяющих объективно и достоверно различать позиции в рамках социального единства — реконструкция на их основе социальной позиции²⁹, критически пересматривающая первоначальные допущения — фиксация отношения, связывающего представления/операции/телесные признаки, характеризующие агентов (реальные группы), занимающих реконструированную позицию. При этом, если понимать деятельность более широко, чем только как трудовую: как всякое социально регулируемое воспроизводство навыков (этим широким значением обладают, например, «техники») — алгоритм оказывается применим и к предметам, остающимся за рамками разделения труда и социальной структуры. В исследовании коллективных форм мышления и выражения эмоций, длительных экономических и демографических циклов, условий экономического обмена можно выделить схожие приемы анализа.

Несмотря на приписывание (в ранних работах) протяженности сознанию, этот алгоритм проходит у Хальбвакса через ряд конструктивных разрывов, которые берут начало в уже упомянутом допущении относительно

²⁹ Этому этапу соответствуют финальные объяснительные схемы, наподобие уже приведенной, о выделении низших классов на основании доходов их представителей, а высших — расходов. Особое место на этом этапе отведено статистике, приемам работы с которой Хальбвакс уделяет особое внимание (четвертая глава сборника). Несколько показателей, выделенных на предшествующем этапе (доходы и расходы как таковые, степень сложности устремлений, общее время досуга), объединяются в статистические оппозиции, полюса которых воплощаются уже не в форме разрозненных количественных или содержательных оценок, но в идеально-типических конструкциях, представляющих характерные для того или иного класса сочетания признаков (например, рабочие изолированы от остального общества, имеют недостаточный для самоосознания уровень культуры, воспроизводят трудовые навыки в формах досуга, не участвуют в прогрессе техники).

ной автономии различных порядков и препятствуют прогрессирующей натурализации в духе Спенсера. Исходной здесь является дюркгеймнская дихотомия «социальное/индивидуальное», обоснованная императивом объяснять социальные факты через них самих. Мы можем видеть, как в различных предметах исследования воспроизводятся ее инварианты. В приведенном нами объяснении психологической компоненты рабства таковым выступает «социальное/природное», в отличие от Дюркгейма, рассмотренное не онтологически, а на уровне социальных представлений. Отчетливо противопоставляются индивидуальное/коллективное сознание (это противопоставление становится центральным в работах первой и второй глав, затрагивающих проблематику коллективной психологии). Для объяснения экономического поведения Хальбвакс выдвигает тезис об относительной автономии порядка социальных представлений, не сводимого к множеству его объективных экономических условий («Замечания к социологической постановке...»), то есть оппозицию «объективные обстоятельства/ субъективные представления».

Предпринятое подробное рассмотрение ранних работ Хальбвакса вплоть до схематизации алгоритма анализа оправдано тем, что социальная и профессиональная ситуация, в которой происходит развитие социологии в современной России, отчасти схожа с более общей ситуацией в истории развития социологии, которая предстает перед нами в форме интеллектуальной эволюции французского исследователя. Сходство заключается не в том, что сегодня в российской социологии мы вынуждены считаться и бороться с натуралистическим, в духе Спенсера, пониманием социального — теперь это лишь одна из частных и частичных перспектив, не претендующая на универсальность. Сходство состоит в неустрашимости логики профессиональной рационализации, требующей переходить от в общем правдоподобных доводов к достоверным в частности объяснениям. Сходство состоит и в том, что, несмотря на смену кон-

цепции факта и критериев строгости по сравнению с началом века, нередко в качестве объяснительных схем используются современные субституты ранее неколебимой метафизики и теории естественной эволюции: политические предрассудки и обыденная очевидность. Именно потому, что наука раскрывается как социальное предприятие, от проблем и затруднений, характеризующих ее в целом³⁰, не могут быть избавлены отдельные исследователи или теоретики, далее прочих продвинувшиеся в описании/объяснении общества, но при этом как носители коллективной памяти (истории и актуальности своей дисциплины) остающиеся под неизбежным давлением отживших истин.

Поэтому столь важно было обозначить исходный для Хальбвакса проблемный горизонт и путь его преодоления. Конечно, можно было бы начать обзор непосредственно с приемов и открытий, которые делают Хальбвакса не только современным исследователем, но и блистательным классиком — жанр послесловия к первому изданию переводов вполне это допускает. Однако более серьезной задачей, чем удивить читателя тем, что «у Хальбвакса уже все было», явилось раскрытие внутренних сложностей и противоречий, которые изначально заключал в себе его социологический разум. Показав источники и точки отталкивания, мы, таким образом, очертили исторический рубеж, отправляясь от которого можем теперь дополнить картину трудностей кратким очерком свершений.

Логика метода, которую можно описать как движение от естественного к социальному, оказывается здесь и историей его развития — в этом легко убедиться, ориентируясь на хронологическую последователь-

³⁰ Таковы, несмотря на историко развитие, имеют много общего в социологии начала века и в актуальном ее состоянии, поскольку в обоих случаях продолжают действовать относительно независимые от предметного содержания объяснительные схемы, тяготеющие к полюсам оппозиции «натурализм/субстанциализм».

ность написания (опубликования) работ. Вес посылок, приходящихся на натуралистские допущения, в ходе профессиональной эволюции Хальбвакса уменьшается, а их место занимает все более отчетливо декларируемая логика анализа объективных показателей (статьи о статистических методах в четвертой главе) и конструктивистские тезисы, развитие которых мы обнаруживаем уже в современной социологии, в частности, у П. Бурдьё. В качестве примера можно указать на критику последним натуралистской установки в отношении групп («практические группы/классы на бумаге» [17, с. 59–63]¹¹) или анализ процессов делегирования и представительства в группе и классе [18], в которых угадывается происхождение от приведенного здесь тезиса о произвольной связи групповых представлений с их персонификациями и о производительной силе групповых ожиданий («Закон в социологии»). При сохраняющейся с первых работ открытости к обыденному опыту (например, тезис о достоверности категорий общественного сознания, представленный в «Заметках к социологической постановке...», или признание неизбежного заимствования социологом ненаучных категорий и различий в статье «Статистический эксперимент и вероятность») — что мы также отмечаем на новом уровне у Бурдьё (про-

¹¹ Ср. с тезисом из работы Хальбвакса «Статистический эксперимент и вероятность»: «Вполне возможно, такое понятие, например, как вероятность дожития до определенного возраста, было введено в теорию страхования лишь по причине удобства — оно предполагает, что данную естественную группу людей определенного возраста заменяют воображаемой (*fictif*) группой индивидов, полагаемых идентичными или даже принадлежащими к одному среднему типу». Еще более отчетливо мы видим это в следующем тезисе из работы «Статистика в социологии»: «...Имеется риск на реальные группы наложить группы воображаемые (*fictifs*), которые кажутся соответствующими первым только потому, что они не есть реальные группы, но лишённые значительной части своего содержания». Критика понимания возрастных категорий как реальных групп («Статистика в социологии») непользована Лепуаром при анализе конструирования государством «естественных» категорий на основе возрастных различий [8, с. 20–22].

блематизация доксы) — в развитии метода приоритет получают те процедуры из указанного алгоритма, которые обеспечивают анализ структуры, механизмов социального воспроизводства и принуждения, объективных показателей социальной динамики — научное объяснение социальной причинности *suí generis*.

Таким образом, хотя метод (ряд принципиальных его допущений), в сравнении с ранними работами, претерпевает серьезные изменения, нельзя сказать, что Хальбвакс переходит от прежнего множества посылок к какому-то принципиально иному. Метод модернизируется за счет концентрации сущностных различий и исследовательских приемов на втором полюсе оппозиции «натуральное/реляционное», при том что первый предстает все менее заметным, но никогда окончательно не устраняется из описания и объяснения¹². Так, в работе «Закон в социологии» Хальбвакс говорит о необходимости учитывать влияния биологических и физических факторов и свойств объектов, вовлеченных в процессы социального (экономического) воспроизводства, и об органической деятельности людей, занимающих место в физическом пространстве (то же выступает основой анализа религиозной жизни, заявленной в «Религиозной морфологии»).

Принципиальной особенностью работ, принадлежащих более позднему периоду, является статистическая основа, а точнее, статистическая концепция факта, в на-

¹² Наши неоднократные указания в списках на то, что в более поздних работах Хальбвакс придерживается противоположной точки зрения на естественные свойства индивидов, «протяженное сознание», материальные свойства групп, не опровергают сделанного утверждения. Рассматривая метод Хальбвакса, мы действительно имеем дело с циклически воспроизводящимся набором процедур, который направлен на выявление отношений «между самими фактами», то есть на возможность постоянного пересмотра ранее принятых допущений и констатаций. Именно это обеспечивает не радикальную теоретическую ревизию, а постепенный сдвиг в объяснении от естественного к соотносительному (социальному).

стоящее время занявшая неоспоримое место в социологическом описании/объяснении. Здесь для нас важен не сам по себе факт, что Хальбвакс явился одним из наиболее деятельных агентов превращения статистики из подручного инструмента в основание социологии. Интерес представляет прежде всего ряд допущений и доказательств, которые для него еще были проблемой, а для нас уже оказываются очевидностью. Развитие дисциплины, как показал Кун на разнице логики учебников и практики открытия, приводит к тому, что подкрепленные базовые положения лишаются статуса гипотез и переводятся в категорию аксиом. А потому собственной задачей истории универсальных положений (помимо радости узнавания) становится археология проблемного горизонта, в котором происходило их становление. Это применимо и к сложному отношению, которое существует между статистикой (массивами данных и методиками их получения) и социологической интерпретацией. Удивительно обнаруживать, что в первой трети века социология изменений, социальная статистика и теория вероятности не только мыслились отдельно, но и в некоторых аспектах противопоставлялись («Статистический эксперимент и вероятность») — тогда как сегодня они вместе входят в обязательный набор учебных предметов в рамках социологического образования. Если даже нас не интересуют конкретные проблемы связи биологического, математического и социологического знания, исторической урбанистики или демографии начала века, в статьях, где разрабатывается статистическая концепция факта (четвертая глава сборника), мы сталкиваемся с наиболее общими принципами собственного профессионального мышления, бывшими историей и превратившимися в очевидность.

Не будем подробно излагать взгляды Хальбвакса на условия и границы использования статистики в социологии. Во-первых, это неоправданно приблизило бы настоящий текст к историко-социологическому,

а во-вторых, много лучшей демонстрацией метода является его использование в исследовании — с этой точки зрения, сами статьи «Браки во Франции во время и после войны», «Статистика в социологии» являются хорошими образцами, каким является и упоминавшиеся исследования Р. Ленуара и Д. Мерлье в [8], где использован ряд положений Хальбвакса. Укажем только некоторые оппозиции, которые выражают актуальные для него проблемы конструирования (для нас же сегодня, наоборот, ре- или деконструкции) статистического основания социологии.

Прежде всего, рассмотрение границ использования статистики опирается на оппозицию «чистые математические/конкретные эмпирические распределения». Метод социологического анализа не допускает прямого переноса математических методов в объяснение или сведения эмпирических зависимостей к универсальным математическим формам. Формальной компоненте статистики Хальбвакс уделяет в социологии роль средства: «Математика может быть чрезвычайно мощным инструментом при условии, что она подчиняется прогрессу позитивных наук» («Статистика в социологии»). Однако Хальбвакс разделяет кантовский тезис о невозможности установления общего отношения из суммы индивидуальных случаев. Следовательно, должна существовать какая-то универсальная форма, помимо математической, посредством которой можно было бы осуществлять синтез единичных фактов. Ею выступает первый член оппозиции «социальные (органические) единства/частные причины»³³. Хальбвакс предлагает такую последовательность шагов для установления статистически значимых отношений: фиксация единичных фактов

³³ «Если придерживаться частных индивидуальных фактов, в них самих невозможно обнаружить причины связей между ними. Когда же мы помещаем их в социальные единства, придающие им структуру и движение, причины их связи обнаруживаются в самих этих единствах» («Методология Франсуа Симпана»).

путем непрерывного наблюдения, помещение их в социальные единства, помещение этих единств (институтов, групп, представлений, склонностей) в более обширные единства (общества). В итоге, полнота фактического материала и воздержание от априорных гипотез предполагает открытие феноменологической истины: «Достаточно наблюдать за ними [единствами. — А. Б.], следить за их развитием, чтобы понять причины отношений, установившихся между их частями» («Методология Франсуа Симпана»).

Здесь мы снова обнаруживаем возврат к феноменологической предметности, однако речь идет уже не о сознании (рабочего, бюрократа и т. д.), а о численных показателях, рядах фактов, изменениях в социальной структуре — области, в которой социология сегодня мыслит себя наиболее ясно как наука. Что же гарантирует непосредственное усмотрение отношений в объективных фактах? Ответ, данный Хальбваксом, заставляет увидеть, сколь зыбким является фундамент современного объективизма: «...Как бы сформировались и функционировали эти единства, каким образом привели бы они к замечательным следствиям — социальной жизни и согласованности различных ее частей, — если бы сами не были рациональными?» («Точка зрения социолога»). Не просто архаичный тезис — статус *ultima ratio* заставляет скрывать его и предавать забвению при современном объяснении/описании. Однако именно этим он актуален, позволяя нам заглянуть за стертые привычным употреблением формулы корреляции социальных показателей.

Принципиальной оппозицией применительно к анализу экономической и в целом социальной динамики является «равновесие/неравновесие». Согласно Хальбваксу, статистическое изучение должно вестись в соответствии с фактическим порядком, а ему, как порядку социальному, отражающему эволюцию органического единства, внутренне присуще движение посредством

чередования фаз¹⁴. Таким образом, модель равновесия оказывается априорной конструкцией, дающей в корне неверное представление о социальном мире («Статистический эксперимент и вероятность», «Статистика в социологии», «Точка зрения социолога»). Реальная динамика в обществе происходит не колебательно, а поступательно, поэтому статистический факт не является фактом статическим: «...Изучая социальную эволюцию, следует учитывать то, что прошлое сохраняется в определенной форме, что все элементы социального устройства подвержены изменениям и оказываются преобразованными ходом эволюции, равно как и то, что представление о будущем и его ожидание, в свою очередь, воздействует на нее» («Закон в социологии»). Таким образом, конструирование статистического факта не менее прочих (например, содержания представления или ритуала) требует введения элементов субъективности, и граница между качественным и количественным оказывается не подвижной вообще, а проблематизируемой и устанавливаемой в контексте конкретного исследования.

Итак, последовательное наблюдение фактов, установление их соотносительного места в социальных единствах, исследование неравновесных состояний — квинт-эссенция «рационалистического эмпиризма», как Хальбвакс называет статистический метод Симьяна, а по аналогии с ним и свой собственный. Мы указали, что разрабатываемой им статистической концепции факта внутренне присущи элементы субъективности. Но в ка-

¹⁴ Предварительно указав на необходимость избежания финализма в объяснении, Хальбвакс не боится говорить об экономическом или социальном прогрессе, результирующим чередованием фаз («Закон в социологии»). Прогресс, из которого идея конечной цели явным образом устранена, оказывается только вектором следования, а не установленным законом. Однако введение посылки о рациональном устройстве социальной реальности возвращает объяснению просветительское звучание. Это один из элементов натуралистического понимания, который, несмотря на использование статистики, сохраняет построение автора.

кой роли и в какой степени? И где в работах Хальбвакса пролегал деление между опытом исследователя и воплощением позитивного закона? Предлагая эти вопросы, мы не намерены решить их раз и навсегда — это не только не осуществимо, но и не нужно. Однако попытаемся эскизно их прояснить, тем самым связав взгляды исследователя первой половины века с актуальными вопросами. Возьмем для рассмотрения работу, в которой статистическая концепция факта нашла самое непосредственное воплощение: «Браки во Франции во время и после войны».

Мы уже знаем, что порядок фактов коллективной психологии выступает у Хальбвакса опорным при объяснении динамики социальной структуры. В данной статье вступление в брак объясняется ожиданием, стремлением, желанием — субъективными и во многом случайными состояниями. Однако во всей совокупности индивидов раскрываются регулярности брачного поведения, даже маргинальные случаи подчинены статистическому порядку. Задача исследователя сводится, таким образом, к описанию условий и причин тех или иных индивидуальных действий. Говоря об условиях брачного поведения, Хальбвакс называет войну, экономический рост, эпидемии, которые объективно уменьшают или увеличивают вероятность вступления в брак. Говоря же о непосредственных причинах, он называет «стремление к браку», понимая его как некоторую социально-психологическую константу. Таким образом, в связи с определением роли субъективных компонент в статистическом факте возникает вопрос: является ли устойчивое число заключаемых браков следствием предсуществующей положительной мотивации, желания жениться? Этот вопрос отсылает нас к определению закона в социологии: если допускается существование константной причины (стремления к браку), реализации которой способствуют или препятствуют различные обстоятельства, а сама эта причина не имеет источника изменения —

субъективность оказывается только иллюзией наблюдателя, тогда как реально имеет место всеобщая детерминация, подобная физической.

Если мы отвлечемся от работы Хальбвакса и обратимся к сфере языка, мы обнаружим, что в той или иной практической сфере, в той или иной профессии используется устойчивый вокабуляр. Желают ли его использовать те, кто им пользуется, или в этом следует видеть структурный эффект? Существует ли стремление к использованию социологического, бытового, политического языков или мы имеем дело с рядом исходных символических горизонтов, в отношении которых логика желания перелевантна? Очевидно, второе. Однако, если рассматривать совокупность социальных упорядочений как структуру, воспроизводящуюся вне связи с той исторической случайностью (будь это желание или произвол), которая отделила их существование от их возможности, мы обнаружим, что социальный порядок, подобно языку, реализуется как совокупность различий *sui generis* в собственной логике, точнее, топологии. Выбор или желание в его рамках является не прямой причиной или следствием, но второй производной, в которой исходные различия предстают в виде направленного вектора, но не потому что новая величина обладает собственным источником изменения, а потому что таков результат сведения нескольких значений (различий) к одному.

Если приведенная аналогия оправдана (а мы полагаем, что это так), стремление к браку оказывается превращенной формой самого социального порядка, и устойчивость числа заключаемых браков является тому подтверждением. Объективный (статистически регистрируемый) и психологический порядки оказываются двумя формами одной и той же структуры, если только мы не видим возможности изменения самого устремления под воздействием того или иного фактора (например, пропаганды или иных мер субъективного

контроля, влияющих непосредственно на желание заключить брак). В иных случаях различение условий и причин Хальбвакс вводит, разделяя экономические условия и представления о будущем, цикл активности (племени) и религиозные представления. Однако, объясняя демографические данные, он видит в стремлении к браку «позитивную» константу, а потому объективные условия ставит на место прямых причин: число браков изменяется из-за войн, спада или роста торговли и т. д. Правда, в работе «Закон в социологии» он вводит в качестве различия обстоятельства/представление о них: «При вступлении в брак каждый исходит не только из своего личного положения, но также из мнения об [общественной] обстановке. Именно воздействие последнего, то есть коллективного представления, раскрывает нам статистика, и мы действительно не смогли бы выявить его каким-то иным образом». Однако и здесь «стремление к браку» не утрачивает роли автоматизма или априорной величины: психологический конструкт используется только для того, чтобы объяснить статистические регулярности, а значит, сам он оказывается только вторым обозначением социальной структуры, регистрируемой статистически.

Напрямую этому положению не противопоставлено никакого другого. Однако на операциональном уровне Хальбвакс вводит наряду со стремлением к браку ряд психологических мотивов, которые также объясняют число (и его изменение) заключаемых браков: желание получить пособие, спешка или медлительность, оценка своих шансов, уверенность в будущем. Таким образом, множественность психологических устремлений и представлений, образующих отдельное причинное поле, противостоят универсальному автоматизму стремления к браку. В демографической статистике также используется — правда, менее рельефно, чем в статьях, посвященных методу, — принцип автономии порядков, каждому из которых приписывается собственное производящее

основание, в конечном счете выражающееся в изменении статистических показателей. Это проявляется в том, что Хальбвакс выделяет «стремление к браку, свойственное всему обществу в каждую эпоху», и «стремления групп и входящих в них индивидов» («Браки во Франции»). Однако, повторим, не изучая отдельно этих устремлений (например, методом интервью), в которых понятие приобрело бы эмпирическое содержание, Хальбвакс делает его только гипотезой, претендующей на объяснение ряда статистических данных. Это позволяет нам усилить ранее сформулированный тезис: граница в объяснении субъективных и объективных данных определяется не просто в контексте конкретного исследования, но лишь настолько, насколько каждая из них становится предметом самостоятельной разработки и специфического описания/объяснения.

Изложение метода в контексте его трансформаций являет нам персонализированную историю дисциплины. Развернутая в трудах Хальбвакса, она дает возможность не только отмечать обособление эвристических приемов, лишь намеченных им на ранних этапах; она позволяет понимать их *antérieor* современную исследовательскую социологию Франции. Вопросы и разработки, из которых вырастают исследования социальной структуры, мы упомянули в начале статьи — линия наследования здесь вполне очевидна. Не менее важным (но, возможно, менее очевидным) оказывается использование ряда приемов, предложенных Хальбваксом, группой социологов во главе с П. Бурдьё. Полномасштабное представление этой темы потребовало бы соизмеримого по объему и усилиям исследования, поэтому здесь мы лишь конспективно наметим несколько принципиальных моментов, добавив их к сказанному ранее.

Приведенное выше замечание Хальбвакса об относительно независимом развитии ансамбля (экономических) представлений от его объективных условий, раз-

витое в тезисе о сохраняющейся во времени социальной обусловленности индивидуального действия³⁵, уместившееся в метафоре «отпечаток общества»³⁶ и завершенное в формуле сознания как одновременного представления социального прошлого и будущего («Закон в социологии») — принципиально в рамках концепции относительно автономного воспроизводства социальной истории в габитусе [19, с. 192–95] и двойного структурирования социальной реальности [17, с. 63]. Тезисы о множественности причин социальной динамики («Потребности и устремления...»), об отсутствии единого основания для выделения социальных групп и о социологической недостаточности общих номинаций «буржуа», «рабочий» и пр. (работы первой главы по социальной структуре, а также принципиальные замечания в «Законе социологии») и разработка проблематики достоверности статистического объяснения и конструирования в социологии (работы четвертой главы) мы обнаруживаем в основании исследований, осуществленных Бурдьё и его коллегами³⁷.

Речь может идти также и о принципиальных шагах, предпринятых Хальбваксом в направлении социологии символического производства. В частности, основополагающий для социологии культуры Бурдьё императив о необходимости рассматривать произведение в историческом контексте его производства/потребления обнаруживает несомненное сходство с объяснением

³⁵ «... В период рассредоточения племени туземец, внешне представленный самому себе, вовсе не одинок и не находится в контакте только с физической природой... Туземец никогда не выходит за пределы своей группы... поскольку всегда сохраняет те же верования и духовные устремления, которые получил, когда все племя было в сборе» («Коллективная психология по Шарлю Блонделю»).

³⁶ «Даже если индивид искусственно отделен от общества и рассматривается вне связей, существующих между ним и группой, он тем не менее хранит в себе отпечаток общества» («Индивидуальное сознание и коллективный разум»).

³⁷ Например, уже упоминавшаяся работа [8].

социального генезиса сократической диалектики³⁸. Приемы реляционной реконструкции социального порядка, анализ роли социальных представлений и частных логик в эволюции социального целого, использование элементов объяснения, полагающего предметность через оппозиции, позволяют с полным правом усматривать в творчестве Хальбвакса питательную среду и источник социологической доксы для исследователей круга Бурдьё, прямо воспроизводящих некоторые элементы его метода. В конечном счете, и пониманию науки как своего рода ремесла («Материя и общество») наследует Бурдьё, выступающий против схоластического взгляда в социологии и против обусловленного им только теоретического прочтения социологических текстов.

Несколько тезисов в последних работах сборника имеют непосредственное отношение к принципу самообъективации исследователя, лежащего в основании социологической программы П. Бурдьё [20]. В критике абстрактной политической экономии Хальбвакс рассматривает генезис «чистых» понятий, посредством которых объясняется социальная реальность: «...В эти понятия всегда входят, не могут не войти, какие-то эмпирические элементы. Однако эти данные, заимствованные из реальности, являются результатом не методичного просмотра фактов, а особых условий, в которых оказался наш автор, и, в конце концов, случайности. Серьезнее всего, что он не отдает себе в этом отчета и, забыв, откуда пришли эти элементы наблюдений, полагает, будто они являются продуктом чистого и простого разума» («Методология Франсуа Симиана»). Основанием чистого разума оказываются «особые условия», частная перспектива, которая дает содержание мышлению,

³⁸ «Но если мы [мысленно] поместим Сократа в его историческую среду, то увидим, что метод его сформировался в контактах с софистами, о которых мы что-то знаем лишь от самого Сократа или Платона, но которые, похоже, далеко продвинули искусство ведения дискуссии» («Коллективная психология рассудочной деятельности»).

а значит, ученому необходимо делать поправку на частичность собственного видения³⁹. Развернутую и более строго прописанную форму этого императива мы обнаруживаем у Бурдьё. Замысел своего исследования университетского поля «*Homo Academicus*» он определяет следующим образом: «Я хотел сделать именно такую работу, которая способна избежать, насколько возможно, социальных детерминаций с помощью объективации особой позиции социолога (исходя из его образования, звания, дипломов и т. п.) и осознания вероятности ошибки, свойственной этой позиции» [20, с. 144]. Таким образом, хотя императив позитивного исследования и предполагает «методичный и полный пересмотр фактов» — скорее устранение самого исследователя, чем введение в анализ его точки зрения, — именно он обнаруживается в основании социоаналитической самообъективации. Работы Хальбвакса оказываются немаловажной компонентой того плодотворного контекста, в котором П. Бурдьё сформулированы понятия габитуса и двойного структурирования, поля отношений и самообъективации.

Однако, помимо специального интереса, который могут вызвать отдельные положения в работах Хальбвакса или факты подобия и наследования в пространстве социологического объяснения (отношения, связывающие схемы, предложенные Дюркгеймом, Спенсером, Хальбваксом, Бурдьё), можно говорить об актуальности и, в некотором смысле, авантюрном интересе современного российского исследователя к методу Хальбвакса. Он вытекает из сходства социальных ситуаций, которая в нашем случае предстает следствием кризиса научных институций, выразившемся, прежде всего, в фактическом прекращении финансирования академи-

³⁹ «...Следовало бы четче осознать тот факт, что мы опираемся на опыт, даже устанавливая свои предпосылки. Таким образом, нам приходится приступить к продуманному, методичному и полному пересмотру фактов» («Точка зрения социолога»).

ческих исследований. Как из достаточно ограниченного объема эмпирического материала, помимо личных наблюдений, опираясь на статистические и этнографические сведения, существующие в смежных дисциплинах модели — то есть на вторичные данные, — осуществлять социологическое объяснение, которое не было бы полностью обездвижено ценностными предрассудками и не сводилось бы только к политической метафизике или пропедевтике? Вот вопрос, ответом на который является настоящий сборник. Хотя опыт ученого первой половины века не может быть использован как безусловный и эталонный (мы попытались достаточно ясно это продемонстрировать), сама подобная попытка и сопровождающие ее ошибки предоставляют нам сегодня ценный материал для сопоставления и выбора собственных практических ориентиров.

Если, по убеждению Бурдье, успех социологии, как и прочих современных наук об обществе, лежит в развитии реляционного метода анализа и объяснения [19, с. 185] и нам требуется дать своим интеллектуальным привычкам опору в чем-то, эволюционирующем от субстанции к отношениям, то это что-то мы обнаруживаем в работах Хальбвакса. Польза от их освоения, помимо возможности заимствования ряда социологических «техник», состоит в опыте преодоления как если бы универсальных истин, которые, как показывает история, меняются каждые несколько десятков лет, — в опыте борьбы с рационалистическими предрассудками, которые действуют принудительно на наше сознание, а значит, подчиняют себе и нашу профессиональную практику. Настоящий сборник — это в том числе эпическая картина преодоления и борьбы, которая развернулась на сорокалетнем интервале, берущем начало в эпоху социологической классики и завершившемся на пороге «высокой теории». Для того, чтобы понять место Хальбвакса в со-

циологии, совсем не обязательно знать, как это видится В. Каради (биографическая статья в настоящем сборнике), что Хальбвакс происходил из семьи преподавателя и буржуа. Важно уяснить, чем и как его социологический труд может быть полезен нам сегодня.

Литература

1. *Desrosières A. Thévenot L. Les catégories socioprofessionnelles.* Paris: La Découverte, 1988. P. 20–21.
2. *Halbwachs M. La classe ouvrière et les niveaux de vie.* Paris: Alcan, 1912.
3. *Halbwachs M. Esquisse d'une psychologie des classes sociales.* Paris: Rivière, 1955.
4. *Hoggart R. La culture du pauvre.* Paris: Minuit, 1957.
5. *Aron R. La lutte des classes.* Paris: Gallimard, 1964.
6. *Touraine A. La Société post-industrielle.* Paris: Denoël, 1969.
7. *Merllié D. Les enquêtes de mobilité sociale.* Paris: PUF, 1994. P. 106–107.
8. *Шампань П., Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнно Л.* Начала практической социологии / Пер. с фр. под ред. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996.
9. Интервью с профессором Жаком Ле Гоффом // *Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов».* М.: Индрик, 1993. С. 300.
10. *Декарт Р. Правила для руководства ума* / Пер. с лат. М. А. Гаршцева // *Декарт Р. Сочинения в 2-х тт.* / Под ред. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1989. Т. 1. С. 91.
11. *Дюркгейм Э. Метод социологии* / Пер. с фр. А. Б. Гофмана // *Дюркгейм Э. Социология.* М.: Канон, 1995.

12. *Декарт Р.* Размышления о первой философии / Пер. с лат. С. Я. Шейнман-Топштейн // Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. / Под ред. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1994. Т. 2.

13. *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1996.

14. *Спенсер Г.* Основания психологии / Пер. с англ. СПб.: Типография А. А. Пороховщикова, 1897. Т. 1.

15. *Гуссерль Э.* Картезианские размышления / Пер. с нем. Д. В. Складнева. СПб.: Наука-Ювента, 1998. С. 77.

16. *Гуссерль Э.* Начало геометрии. Введение Жака Деррида / Пер. с фр. и нем. М. Маяцкого. М.: Ad Margi-пет, 1996. С. 216.

17. *Бурдье П.* Социальное пространство и генезис «классов» / Пер. с фр. Н. А. Шматко // Бурдье П. Социология политики / Под ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.

18. *Бурдье П.* Делегирование и политический фетишизм / Пер. с фр. Ю. М. Ледовских // Бурдье П. Социология политики / Под ред. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.

19. *Бурдье П.* Социальное пространство и символическая власть / Пер. с фр. Н. А. Шматко // Бурдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994.

20. *Бурдье П.* Объективировать объективирующего субъекта / Пер. с фр. Н. А. Шматко // Бурдье П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994.

Директор издательства:

О. Л. Абышко

Главный редактор:

И. А. Савкин

Художественный редактор,

макет обложки:

Н. И. Пашковская

Разработка серийного оформления:

А. Бондаренко

Редактор:

М. М. Федорова

Корректоры:

Л. А. Абышко,

Т. А. Брылева

ИЛ № 064366 от 26.12.1995 г.

Издательство «Алетейя»:

193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13

Телефон издательства: (812) 567-2239

Факс: (812) 567-2253

E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Сдано в набор 09.07.1999 г. Подписано в печать 25.09.1999 г.

Формат 84×108/₃₂. 16 п. л. Тираж 2000 экз. Заказ № 3680

**Отпечатано с готовых диапозитивов в Санкт-Петербургской типографии
«Наука» РАН: 199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12**

Printed in Russia



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ»: НОВЫЕ КНИГИ О ГЛАВНОМ

Санкт-Петербургское издательство «Алетейя» существует с 1992 г. (первоначально как редакционно-издательская группа, с марта 1993 г. как самостоятельное предприятие). Его создатели — молодые философы, два выпускника философского факультета С.-Петербургского Университета. Это обстоятельство предопределило выбор названия для издательства (в переводе с языка древнегреческих мыслителей на современный русский «алéтейя» означает «истина», «правдивость», «открытость»), и выбор основного направления в деятельности нового издательства: издание и распространение классического наследия, т. е. сохранившихся первоисточников по мировой и отечественной истории, классической литературе, религии, философии, а также издание современных исследований по основным отраслям гуманитарного знания.

Визитная карточка издательства — быстро ставшие известными книжные серии: «Античная библиотека» (издается с 1993 г.), «Византийская библиотека» (издается с 1996 г.); «Памятники религиозно-философской мысли» (издается с 1993 г.); «Исследования по истории русской мысли» (издается с 1996 г.), «Российские социологи» (издается с 1996 г.), французская серия «Gallicipium» (издается с 1998 г.); «Античное христианство» (издается с 1998 г.), «Российские психологи. Петербургская научная школа» (издается с 1998 г.), «Классики русской философии права» (издается с 1999 г.), мемуарная «Петербургская серия» (издается с 1999 г.) и некоторые другие. Всего, включая многочисленные внесерийные издания, «Алетейя» выпустила в свет уже более 200 названий книг.

Издательство «Алетейя» сегодня — это:

— высококачественные переводы классических и современных философских, научных и т. д. текстов на русский язык с основных древних и любых современных языков;

— академическая подготовка публикуемых текстов (научный комментарий, сопроводительные статьи, справочный аппарат), осуществляемая лучшими специалистами в своей области;

— высокое качество полиграфического исполнения и художественного оформления изданий (лучшие материалы и лучшие типографии города) при сжатых сроках прохождения заказа;

— возможность размещения и сопровождения малотиражных полиграфических заказов (книги в твердых переплетах, тиснение фольгой) на самых льготных условиях;

— эффективная технология оптовой торговли специальной, научной литературой, удачный опыт представления лучших образцов отечественного научного книгоиздания на крупнейших книжных ярмарках России и Европы (во Франкфурте, Лондоне, Париже, Лейпциге, Барселоне, Варшаве и др.).

Наши книги знают, ценят, любят и ждут во многих уголках нашей необъятной России, откуда мы получаем сотни писем благодарных читателей с повторяющимся вопросом: где можно приобрести очередные книги издательства «Алетейя»? Отвечаем: это можно сделать, заказав их через отдел «Книга — почтой» Санкт-Петербургского Дома Книги, прислав заказы по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 28, а также по каталогам агентства «Книга-сервис» (г. Москва) через «Роспечать». Книги нашего издательства продаются и в Москве: магазин «Библио-Глобус» (м. «Лубянка»), в книжной лавке «У Сытина» (тел.: 230-8900, 959-2700; ул. Пятницкая, 73), Московский Дом Книги (м. «Арбатская»), магазин «Академ-книга на Тверской» (м. «Тверская»), книжная ярмарка в «Олимпийском». В Петербурге весь ассортимент книг издательства «Алетейя» — в специализированных магазинах и отделах: Дом Книги (Невский пр., 28, отдел истории и общественно-политической литературы); в магазинах издательства Санкт-Петербургского университета (Университетская набережная, д. 7/9); Российская Национальная (б. Публичная) Библиотека

(м. «Гостиный Двор», книжный киоск при входе в Научные Читальные Залы на площади Островского); в магазинах и киосках «Академкниги»; в магазинах издательско-торгового дома «Летний Сад»: Большой пр. П.С., 82 (тел. (факс) (812) 232-2104), В.О., Менделеевская линия, 5, Невский пр., 3; на еженедельной книжной ярмарке в ДК им. Крупской (м. «Елизаровская»).

Среди книжных новинок издательства особенно хочется отметить наши новые переводы, первые издания на русском языке:

- «Древнегреческая элегия»;
- Гигин «Мифы», «Об астрономии»;
- Нонн Панополитанский «Подвиги (Деяния) Диониса»;
- М. Нильссон «Греческая народная религия»;
- Евагрий Схоластик «Церковная история»;
- А. Мацейна «Великий инквизитор», «Тайна беззакония»;
- Ж. де Местр «Санкт-Петербургские вечера»;
- Дарет Фригийский «Повесть о разрушении Трои»;
- Н. Аббаньяно «Мудрость жизни», «Мудрость философии», «Введение в экзистенциализм»;
- Дж. Беркли «Алкифрон, или Мелкий философ»;
- Дитрих фон Гильдебранд «Что такое философия?», «Новая Вавилонская башня», «Сущность христианства», «Сущность любви»;
- К. Барт «Очерк догматики»;
- Ж.-П. Сартр «Идиот в семье»;
- Симона де Бовуар «Второй пол» и многие другие.

К бесспорным успехам издательства можно отнести трехтомную «Историю Византии» выдающегося русского историка-византиста Юлиана Кулаковского, «Алексиаду» Анны Комниной, новое русское издание Павсания «Описание Эллады» (в 2-х томах), издание итоговой книги размышлений об истоках и судьбах русской литературы Дмитрия Лихачева «Историческая поэтика русской литературы», а также возвращение из небытия книги знаменитого русского мыслителя Алексея Лосева «Имя», собранной на основе материалов,

переданных его семье из архивов ФСБ, авторскую версию «Основ средневековой религиозности» Л. П. Карсавина, сборник исторических свидетельств «Суд над Сократом», альманах «Древний мир и мы», сочинения в двух томах основателя русской социологии М. М. Ковалевского («Социология», «Современные социологи»), книги серии «Античное христианство» с параллельными текстами и многие другие издания.

Издательство приглашает к сотрудничеству авторов, переводчиков, редакторов.

Телефон редакции: (812) 567–2239,

fax: (812) 567–2253

E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 13,
издательство «Алетейя»

**Для получения книг почтой
заказы направляйте по адресу:**

199034: Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7/9.

Издательство Санкт-Петербургского университета,
отдел «Книга — почтой»

факс (812) 218–4422, тел. (812) 218–7763,

а также заказав их через отдел «Книга — почтой»

Санкт-Петербургского Дома Книги,

прислав заказы по адресу:

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 28

Санкт-Петербургский



ДОМ КНИГИ

191186, Санкт-Петербург
Невский проспект, 28
Тел.: (812) 219-64-38
Факс.: (812) 311-98-95

Р/с 001345022, филиал АБ «Инкомбанк»
Корр. сч. 800161670 в ЦРКЦ ГУ ЦБРФ
по С.-Петербургу
МФО 044030870

«Санкт-Петербургский Дом книги»
отдел «Книга — почтой»
рассылает по России наложенным платежом
книги и журналы.

Обращаясь к нам, укажите тематику, по которой Вы
желаете получить списки книг и журналов.

В нашем отделе Вы также всегда сможете заказать все
новые книги издательства «Алетейя» (С.-Петербург).

Наш адрес: 1911866, Санкт-Петербург, Невский пр.,
дом 28.

Maurice HALBWACHS

Classes sociales et morphologie

GALLICINIUM